Мы на земле,
где вы живете...

ЗЕМЛЯКИ

Нижегородский альманах

Выпуск тридцать восьмой (№ 1, 2025)

«КНИГИ»
Нижний Новгород
2025

УДК 821.161.1(082)
ББК 84 (2 Рос-Рус)6 я43

З53

Главный редактор *О.А. Рябов*
Шеф-редактор *А.И. Иудин*
Составители *А.И. Иудин, О.А. Рябов*

Общественная редколлегия:
В.Н. Безденежных, Н.А. Бенедиктов, С.А. Горин, Е.Н. Крюкова, З. Прилепин, В.И. Седов, Г.В. Щеглов, Е.Р. Эрастов

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ ООО «КНИГИ»
Адрес редакции и адрес издателя: 603057, Нижний Новгород, ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги». Тел. (831) 412-16-04
E-mail: zemlyaki-nn@yandex.ru
Рукописи не рецензируются и не возвращаются

З53 **Земляки**. Нижегородский альманах. Выпуск тридцать восьмой (№ 1, 2025). Составители: А.И. Иудин, О.А. Рябов. – Нижний Новгород: издательство «Книги», 2025. – 480 с.

В очередном выпуске альманаха наряду с произведениями известных писателей представлены наиболее интересные тексты молодых авторов – как наших земляков, так и из других регионов Российской Федерации.

В отдельных рубриках – литературоведение, воспоминания, обзор новых книг писателей-нижегородцев, ироническая поэзия и проза, а также произведения для семейного чтения.

Альманах зарегистрирован в Управлении Роскомнадзора по Нижегородской области.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 52-0246

© Иудин А. И., Рябов О. А. Составление, 2025
© Издательство «Книги», 2025

ISBN 978-5-94706-293-9

СОДЕРЖАНИЕ

Нижегородский почерк

Олег РЯБОВ
КАТИЛАСЬ ТОРБА 6
Евгений ЭРАСТОВ
БАТЫЕВА ТРОПА 11
Игорь ПАЛАШОВ
ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР 32
Вячеслав САФРОНОВ
ПОЛК ХИРУРГОВ ИВАНКИНЫХ 67
Протоиерей Владимир ГОФМАН
СВЕТЛЫЕ КЛЮЧИ 103
Павел КЛИМЕШОВ.
ОСЕННЕЕ ПОСЛАБЛЕНИЕ 123
Михаил ЧИЖОВ
ЧАД СВОБОДЫ 130

Лирический портрет

Александр ЛУШИН
ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ВСЕГДА ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ 155
Евгений РАЗУМОВ
БАТЮШКА ЖИЛ, И ПРИ НЁМ – ХРИСТИАНЕ... . . 165
Александр КЕРДАН
ОПЯТЬ ПЫЛАЕТ КУРСКАЯ ДУГА... 169
Виктор ЛЯПИН
ТОЛКНЁТ ЛИ БАБОЧКА В СПИНУ... 173

Из свежей прозы

Николай ЛАЛАКИН
ЭТЮД ДЛЯ ДВОИХ 176
Священник Николай ТОЛСТИКОВ
БОГ РАССУДИТ 180
Яков ШАФРАН
СТЫД 201
НОВАЯ ЗВЕЗДА 208
Николай АЛЕКСАНДРОВ
РОМЕО 217
Сергей ВАРАКСИН
ТЕЧЁТ РЕКА 220
Олег ГОНОЗОВ
ТАРАКАНЫ 226

Вера ЗВЕРЕВА
ЦЫГАН 231
Алена ЛОНКИНА
ЛАМПОЧКА 237
Александр ФИЛИЧКИН
СТАЛЬНАЯ БУЛАВКА 277

Лирический портрет

Эльвира КУКЛИНА
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ РАССКАЖЕТ НА УШКО... . . 283
Надежда КОНДАКОВА
Из книги «ЧАСТНЫЙ СЕКТОР» 287
Епископ Геннадий (ГОГОЛЕВ)
ИСКУШЕНИЕ ИНОКА 292
Юрий ГЕРАСИМОВ
ПРОСНЕШЬСЯ В ПОЛНОЧЬ – И ДУША ТРЕПЕЩЕТ.... . . 297

Театр

Маргарита КАМИНСКАЯ
ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ 301

Стихи по кругу

БОЛДИНСКИЙ ВЕНОК СОНЕТОВ. **Елена РИД, Елизавета ДОЛКОВА, Михаил БЕАГОН, Анастасия ИЛЬИНА, Павел БОРН, Надежда КНЯЗЕВА, Наталия ЗАБЕАЛОВА, Мария ЖДАНОВА, Арсений ГЛАЗКОВ, Анна МАЛИНИНА, Никита ДОРОФЕЕВ, Анастасия РОСТОВА, Яна ЯЖМИНА, Екатерина МАРКУС (СОЛЬ)** 324
Марина СВЕРДЛОВА 332
Александр ПОПОВ 333
Светлана ЛЕТЯГА 334

Публицистика

Олег РЯБОВ
В ПОИСКАХ СЛАВЫ. 335

Вехи памяти

Руслан СЕМЯШКИН
«БУДИТЬ В ЧЕЛОВЕКЕ ЧЕЛОВЕКА» 340
Людмила КАЛИНИНА
ЛЕГЕНДА ПО ИМЕНИ СЕРГЕЙ ЧУЯНОВ 353
Вениамин ХАНОВ
АЛЫЕ ПАРУСА МЕЧТЫ И ЖИЗНИ
литературоведа Вячеслава Харчева 359

Алена БАИКИНА
В КОНЦЕ АВТОГРАФА НЕИЗМЕННО ПИСАЛ: «ДУШЕВНО». *О Валерии Шамшурине* 372

Далекое — близкое

Николай СМИРНОВ
ЛЮДИ, ГОДЫ, ВСТРЕЧИ... 378
Людмила ПАНОВА
ТАТЬЯНА И МАТВЕЙ 391

Проба пера

Арина ШЕЛЕПОВА
СОН 399

Книжная полка

ЧИТАЕМ ЗЕМЛЯКОВ. О новых книгах нижегородцев – **Дарья СИМОНОВА, Антон ЛУКИН, Денис ЛИПАТОВ, Ольга КОСОВА** 401

Русский смех

Юрий НЕЧИПОРЕНКО
ЗАРАЗНЫЙ ПРИМЕР 412
Евгений ОБУХОВ
ЛАНДО 418
Ольга БОРИСОВА
СЛАВИК 421
Иронические стихи
Владимир ПЕСКОВ 429
Игорь РОДИН 434
Сергей ФИЛИППОВ 434

Семейное чтение

Валерий РУМЯНЦЕВ
РАЗГОВОР О ВАЖНОМ 436
Мария БАЛЫКОВА
ВЕРА В ЧУДО 464
Александр ЧУРСИН
МИНИАТЮРЫ 471
Стихи для детей
Яков ЗВЯГИН 476
Ирина ШЕЙБАК 477

Олег РЯБОВ

КАТИЛАСЬ ТОРБА

Проходя недавно по Оперному скверику, где стоит памятник жертвам революции пятого года, я краем глаза заметил группу ребят, сидящих на лавочке. Я бы и не обратил на них внимания, если бы не расслышал знакомую всем нам с детства считалку: «Катилась торба с великого горба. В этой торбе: хлеб, соль, вода, пшеница, с кем ты хочешь поделиться? Выбирай поскорей, не задерживай добрых и честных людей».

Удивительно: я вырастил детей, у меня есть внуки, но я ни разу не слышал от них эту считалку – эта считалка из моего детства. Пройдя с десяток шагов, я понял, что мой глаз ещё что-то тоже резануло. Я обернулся: на деревянной скамейке, каких давно уже в этом скверике нет, сидели ребята, которых я узнал, точнее: сидели я, Вовка Филиппов и Танька Нефёдова, в которую мы с Вовкой были оба влюблены. Мы сидели втроем, мы были одеты в ту одежду, в которой ходили тогда, полвека назад, в шестидесятые годы: на мне были трикотажные тренировочные штаны со штрипками и сандалии на босу ногу. И это был я!

Я совершенно чётко разглядел, что на скамеечке сидел я сам!

Видимо, наш мозг – ещё совершенно не исследованное пространство, если он может создавать такие дубликаты. Вот совсем недавно физики-теоретики для решения ка-

ких-то своих физико-математических проблем придумали новую элементарную частицу «шизон» – она могла одновременно находиться в двух точках пространства, и это – не раздвоение. Потом они отказались от этой теории: решили свои задачи и без этого шизона.

Я очень торопился в тот раз и потом, спустя какое-то время, очень жалел, что не остановился и не подошел к тем ребятам, которые сидели на скамеечке, – тогда бы всё у меня прояснилось. А может, это и к лучшему: я же мог разрушить эту картинку, а теперь у меня есть повод посомневаться в правильности моих юношеских поступков.

Я вспомнил, зачем мы тогда втроем сидели на скамеечке в скверике и о чём договаривались. В соседнем дворе – там, где находилось аптекоуправление, напротив здания Острога, строился новый многоэтажный дом, первый небоскрёб в городе, а мы, как все нормальные пацаны, любили в свободное время лазить по таким стройкам. Там всегда можно было найти что-то любопытное, ну, например, карбид; а из него недолго было сделать какое-нибудь взрывное устройство. Но тогда, в присутствии Таньки Нефёдовой, мы, конечно, спорили на очередное геройство. И я до сих пор помню, на какое!

В те годы кирпичные дома строились, окружая их несуразными уродливыми и хлипкими деревянными лесами, а внутри со стены на стену перебрасывались такие же жиденькие деревянные щиты, по которым подсобные рабочие таскали каменщикам раствор и кирпичи. В тот день, наверное, был выходной, на стройке никого не было, рукотворные настилы были сняты, и только одна половица доска-шестидесятка лежала, переброшенная с одной стены на другую. По ней-то и должен был перейти на наружную стену Вовка, а уже за ним и я.

Я знал эту доску, она была посередине сломана, держалась на честном слове, и зачем работяги перебросили её с одной стены на другую – непонятно. Вообще-то, на этой стройке мне было всё знакомо – я бывал тут часто, а вот Вовка приехал к нам сюда погулять, по-моему, в первый раз. Пока мы пробирались по стройке на нужный участок, я представлял себе, как Вовка проломив доску, навернётся и сломает себе или ногу, или шею. А я буду ходить в кино с Танькой.

Танька стояла внизу, глядя на нас, пока мы залезали на стену. Она была несколько странной девочкой: всё время проводила с пацанами, хотя уже начинала невеститься и представлять определённый и недвусмысленный физиологический интерес для нас. Мы все в те годы, сидя на уроках в классе, переписывались друг с другом, обмениваясь записками. Так вот Танька однажды прислала мне записку: «Давай встретимся!» На что я ей ответил: «Давай! Приходи в три часа под трамплин!» Глупо, конечно, – так ведь и не пошли, ни она, ни я. А вот записку, которую послал ей однажды Вовка Филиппов, я нагло прочитал и был удивлён, и даже взревновал: «Танечка! Ты помнишь, как чудесно было в Венеции?»

Взревновал не к Таньке – взревновал к Вовке: у него башка была неординарно устроена для нашего возраста. Вообще, мы с ним не очень были дружны: один раз даже подрались. Это случилось на соревнованиях по бегу на лыжах в Пушкинском садике. Он меня догнал на трассе и несколько раз с перерывами прокричал: «Лыжню!» Но я не уступил, и он стукнул своей палкой мне по лыже, расколов её. Лыжи были мои домашние, новые, хорошие, папа купил. Все на уроках физкультуры бегали на школьных лыжах, а я из дома приносил. Было очень обидно. Я ударил Вовку палкой по башке и рассёк ему бровь, крови было много, мы с ним сцепились и начали бороться с лыжами на ногах. Нас учитель физкультуры растащил.

В классе мы с ним были двумя лидерами, правда, я по хулиганисто-шпанистой линии и всё свободное время проводил в Кулибинском парке, а Вовка активизировался на общественной стезе: стенгазеты, походы, сбор макулатуры и прочие полезные мероприятия. Мы уважали друг друга, наши интересы не пересекались, и потому нам было комфортно друг с другом. Хотя, не знаю, как у него, а во мне чувство зависти всё же иногда пробуждалось.

Помнится, раз на уроке литературы надо было сделать рассказ по картине. Учительница вывесила на доске литографию с картины Репина «Бурлаки на Волге», там несколько мужиков тащат за верёвки здоровенную лодку. Я понял, что пришел мой час: про Волгу я знал всё: мой родной дядька был капитаном на теплоходе «Дмитрий Донской», но к до-

ске вызвался Вовка. Не знаю, что он тогда в целом говорил, но закончил фразой, что теперь по Волге ходят трёхпалубные комфортабельные лайнеры. Я до сих пор помню эти его «комфортабельные лайнеры» – как он, тринадцатилетний пацан, легко мог распоряжаться такими красивыми словами!

Мы с Вовкой очень быстро забрались в тот раз на стену и подошли к доске, чуть прогнувшейся по середине, где был разлом, и висящей над двухэтажным пролётом. Я подошел к доске первым и ногой спихнул её вниз.

– Ты чего сделал? – возмутился Вовка.

– Да, ничего! Ну её на хрен. Башку сломаешь, а нам с Танькой отвечать.

Интересно, что прошло почти полвека, а мне до сих пор стыдно, что я планировал вот такую подлость: я был готов тогда пустить школьного товарища если не на гибель, то уж точно на серьёзные увечья.

Потом, уже в старших классах, мы как-то сблизились с Вовкой, я часто бывал у него в доме, а он заходил ко мне. Его отец, Владимир Иванович, был полковником КГБ, а мой, хоть и в отставке, но тоже был когда-то офицером, и мы оба сознавали, что мы из одной конюшни. Когда Никиту Хрущева отправили на пенсию, Вовкин папа очень интересно пошутил: «Вот, теперь Никита Сергеевич будет ходить на партийные собрания в своё домоуправление, и там он вместе с местными старухами будет решать свои домашние вопросы – это ему по силам».

Вовка уже в десятом классе уговаривал меня поступать вместе с ним в МГИМО, но я отнекивался, говорил, что туда без блата не попасть. На что Вовка говорил, что батька всё устроит: он же был после войны резидентом нашей разведки в Китае, и преемственность в этой области человеческой деятельности очень даже приветствуется.

А потом наши дороги разошлись, и не виделись мы много лет.

Уже после ГКЧП от кого-то краем уха я услышал, что Владимир Иванович Филиппов застрелился из своего наградного пистолета, узнав, что его знакомые, а может, даже и друзья, пошли сдавать в райком свои партийные билеты. Я очень уважал Владимира Ивановича: было в нём что-то

цельное, по-настоящему мужское, и пошел на вынос. С Вовкой мы обнялись, я сказал какие-то общие слова, а он, кивнув, проронил: «Будешь в Москве, заходи в гости».

И вот, через несколько лет я оказался в Москве в какой-то необязательной командировке. Вечер оказался пустым, и я позвонил Филиппову по телефону – благо он у меня случайно оказался. Через час, затарившись бутылкой коньяка, я уже сидел на кухне у Вовки.

Очень часто вот такие встречи с друзьями и знакомыми, с которыми не виделся много лет, бывают очень натянутыми. Видимо, мешает напряжение от возможности узнать что-то неприглядное или непонятное, случившееся с товарищем за эти годы, а ещё противнее узнать, что твой однокашник, как чеховский герой, стал «тайным советником», а ты его всю жизнь дураком считал. Куда легче и человечнее происходит общение с первым встречным – например, в бане.

С Вовкой ничего подобного не произошло. Выпили мы и мою бутылку коньяку, а ещё и бутылку водки из холодильника. На свой вечерний поезд я не попал – так разоткровенничались.

Он после окончания МГИМО оказался на дипломатической работе, служил и в Азии, и в Африке, был военным советником в Египте, два раза в плен к евреям попадал – наши по дипломатическим каналам его вытаскивали. Потом – ранение, отставка, с клюшкой ходит, одной ступни нет. Сейчас в школе историю детишкам преподает.

– А ты помнишь – «катилась торба с высокой горбы»?

– В смысле?

– Что-то я сегодня вспомнил, как мы с тобой собирались на площади Свободы по сломанной доске с одной стены на другую перебраться. С нами ещё какая-то девчонка была.

– Танька Нефёдова.

– Не помню, как её звали. Только ведь я знал, что та доска сломана была. Я бы её всё равно столкнул вниз, да только ты первым успел. Проверял я тебя.

Спал я в кресле на кухне, а в шесть меня Вовка разбудил, и я поехал на вокзал.

Евгений ЭРАСТОВ

БАТЫЕВА ТРОПА

1

Володя Кочемасов очень любил литературу, с детства писал стихи, и только с литературой связывал свое будущее. В шестом классе особое впечатление произвела на него поэма Некрасова «Мороз Красный Нос». Смерть крестьянина, гениально описанная поэтом, что-то перевернула в душе впечатлительного мальчика, и понял он раз и навсегда, что стихи – это не просто слова, а смысл и предназначение всей его жизни.

Конечно, не только изящная словесность привлекала нашего героя в робком детстве, лучезарном отрочестве и на заре туманной юности. Он обожал животных, жалел их и восторгался ими, с интересом наблюдал, как грязные медные монетки цвета нечищеного самовара приобретают первозданный серебристый цвет, попадая в раствор соли ртути, как появляются причудливые тени на фотобумаге, плавающей в пластмассовых кюветах с проявителем, как растет навстречу солнцу посаженная из косточки финиковая пальма и, таким образом, вполне мог стать врачом и ветеринаром, биологом или химиком. Но литература всегда казалась ему выше и значительнее всех других видов деятельности, и Володя ни минуты не сомневался, что станет не просто знатоком ее, но и выдающимся писателем. А где учиться будущему писателю, если не на филологическом факультете?

Правда, мама убедила Володю, что лучше поступать не в университет, а в пединститут – там и конкурс поменьше, и мальчиков особенно любят, поскольку в средней школе всегда у нас с мужчинами проблемы. Так и стал Володя Кочемасов студентом филологического факультета педагогического института, оказавшись в компании деревенских девочек. Мальчиков на первом курсе филфака было только пять человек, и все они были на виду.

Володя Кочемасов с первого курса вел себя шапкозакидательски, всем однокурсникам и преподавателям гордо заявил, что непременно станет писателем, понес свои стихи в многотиражную газету института. Стихи имели некоторый успех, и пастозная редакторша газеты «За учительские кадры», поправляя рыжую шестимесячную завивку на голове, посоветовала Володе посещать литературное объединение при Союзе писателей. В «Фениксе» юного стихотворца встретили куда более сурово, нежели в редакции институтской газетки, однако, как часто бывает с людьми одаренными, бессонная ночь после беспристрастного разбора его произведений не только не отвратила парня от стихосложения, но и бросила его в самый водоворот сочинительства.

Руководителем литобъединения был хоть и не выдающийся, но вполне профессиональный поэт, обладающий к тому же и недюжинным педагогическим даром, что бывает, увы, нечасто. Через полгода Вовик писал уже совсем иначе, вовсю печатался в областной молодежной газете «Ленинская смена» и даже имел две публикации в московском альманахе «Истоки». В институте у него тоже все шло успешно. Талантливого парня вовсю обсуждали молодые и не слишком молодые преподавательницы института, а одна из них, доцент кафедры русской литературы Агнесса Венедиктовна Агнивцева, одинокая незамужняя дама, успела даже лишить невинности, обещав взамен содействие при поступлении в аспирантуру.

Внешне Кочемасов совсем не был похож на поэта – он не пил, не курил, более чем скромно одевался, хотя был сыном весьма состоятельных родителей и получал повышенную стипендию, никогда не проявлял инициативы

в общении с женщинами (они сами приставали к нему!), хорошо и прилежно учился.

Доцент Агнивцева сдержала свое обещание. Когда Вовик заканчивал институт, она как раз защитила докторскую и возглавила кафедру. Агнесса Венедиктовна очень боялась потерять этого парня, который послушно исполнял ее сексуальные прихоти, взяла его к себе в аспирантуру и почти полностью освободила от учебного процесса. Творческие дела молодого аспиранта тоже шли замечательно.

Однажды на его кафедральном столе оказался альманах «Современники», изданный в местном издательстве и посвященный творчеству молодых авторов, и одна из коллег Володи, доцент Дергунова, поинтересовалась, платят ли за такие публикации деньги.

– Конечно, платят, – ответил Кочемасов. – Мне вот за три стихотворения восемьдесят два рубля заплатили.

– Восемьдесят два рубля! – воскликнула Дергунова, и ее коровьи глаза чуть не вылетели из орбит. – Володя, да ты супермен! Не зря тебя наша шефиня обожает! Но что ты забыл на этой кафедре? Иди лучше стихи пиши!

Удивление Дергуновой можно было понять – стипендия аспиранта первого года обучения составляла тогда девяносто рублей, а оклад доцента – триста двадцать.

Однако Володя с кафедры так и не ушел – и после выхода первой книги, и даже после вступления в Союз писателей. А вскоре настало время, когда прожить стало невозможно не только на стихи, но и на зарплату доцента. Но был у Володи какой-то стержень, который не позволил ему скурвиться, стать барышником и спекулянтом или, как принято теперь было говорить, менеджером. Он перебивался с хлеба на воду, но не бросил ни поэзию, ни науку.

Правда, в некоторых аспектах жизни проявлял он непозволительную для мужчины слабость. Заведующая кафедрой обратила внимание, что тридцатилетнему доценту нравится лаборантка Марина, которая, судя по всему, отвечала ему взаимностью. Агнивцева устроила Володе истерическую сцену с театральными упреками

в неблагодарности и предательстве: «Я столько для тебя сделала, а ты…»

Кочемасов прекратил отношения с лаборанткой, и Марина с горя уволилась с кафедры, чему Агнивцева была только рада. Поступок Володи широко обсуждался в небольшом женском кафедральном коллективе, где всё сразу становится известно, и его открыто называли тряпкой и карьеристом. А в действительности он просто жалел Агнессу Венедиктовну, страдающую вагинизмом и не способную на классический любовный контакт. Заведующая кафедрой прыгала до потолка от счастья, что нашла молодого, порядочного и послушного мужчину, согласного удовлетворять ее нетрадиционными способами. Конечно, после расставания с Мариной Володя вовсе не отказался от отношений с женщинами, посещал иногда недорогих индивидуалок, но Агнесса Венедиктовна об этом не только не знала, но ни за что бы не поверила, если б ей об этом рассказали.

Умерла она быстро и неожиданно. Обнаружила на подошве небольшое цветное пятнышко неправильной формы. Врачи сказали, что это меланома. А потом вдруг пятнышко исчезло, и заведующая кафедрой даже обрадовалась поначалу. Нет уже никакого рака!

Но радость продолжалась две недели. Агнивцева умерла от метастазов.

Человек часто не знает сам себя. И не только чужая душа сродни потемкам для человека, но и душа собственная. Владимир Викторович и представить себе не мог, что после смерти Агнессы Венедиктовны почувствует себя таким одиноким. Он продолжал писать стихи, ходил на унылые собрания в Союз писателей и почти не переживал, что книжку стихов сейчас издать было уже невозможно – за это нужно было платить свои деньги или находить людей, способных оплатить издание.

Кафедру возглавила молодая женщина, раньше работавшая в областном министерстве культуры, и сразу там воцарилась такая казенщина и скука, что даже мухи, случайно залетевшие в институтский корпус с площади Минина, сразу же дохли.

2

Наташа Лихоманова родилась в селе Владимирском, стоящем возле известного на всю Россию озера Светлояр. Наташин отец подвизался на местной лесопилке, мама работала медсестрой в сельской амбулатории. Детство у Наташи было спокойное и радостное. Лето она проводила обычно у бабушки в деревне Шалдежке или в пионерском лагере неподалеку. Зимой каталась на лыжах в лесу за селом и на коньках по озеру. Но как только закончила Наташа восьмилетку, жизнь круто изменилась. Советский Союз развалился, родителям перестали платить зарплату. Отец отравился на работе денатуратом и умер от некроза поджелудочной железы. Мама тоже пристрастилась к выпивке, сливала втихаря медицинский спирт в пластиковую бутылочку из-под «спрайта», с которой не расставалась круглые сутки. На водку денег не было.

Наташа поступила учиться в филиал Нижегородского медицинского колледжа в Семенове. От Владимирского до Семенова недалеко, всего сорок километров, но автобусы ходят редко. Поэтому устроилась она в общежитие. Соседка по комнате, Лена, оказалась родом из деревни Боковой, которая находится по пути из Семенова до Владимирского, и домой на выходные они ездили вместе.

Деревня Боковая невелика – там всего четыреста человек живет. Но расположена она на шумной республиканской трассе, соединяющей центр России с северной республикой Коми, и ездят по этой трассе бесконечные фуры, груженные бревнами и прочим лесным товаром.

Боковая – известное место для отдыха дальнобойщиков. Прямо на трассе располагаются кафе «Светлояр», двухэтажный отель на несколько номеров, душевые кабинки. Именно сюда всегда съезжались дорожные проститутки из ближайших районов. В начале девяностых, когда заработать на жизнь обычным и честным способом стало проблематично, да и зарплату раз в полгода платили, Боковая просто ломилась от проституток. Девушки в буквальном смысле слова дрались за место под солнцем, поскольку на открытом месте они лучше видны водителям.

Регулировать профессиональную жизнь дорожных путан взялась на добровольной основе по праву старшей Зинка Пухлая. Она давно уже не простаивала на трассе – и годы не позволяли, и здоровье было не то. Подвизалась посудомойкой в кафе «Светлояр».

Трассовые шалашовки – все, за редким исключением, девчонки молодые и не слишком опытные, подчинились ей – они давно мечтали о том, чтобы их работа была хоть как-то регламентирована. Дежурить на трассе каждая девушка могла только по четыре часа в сутки. Она имела полное право не выходить на работу, но если уж решила выйти, то только в строго узаконенное время. Девушки, работавшие в престижное время, например, вечерами, платили Пухлой небольшую мзду. Сколько было у них клиентов за смену, Зинка проверить не могла да и не пыталась.

Лена познакомила Наташу с Пухлой, и та милостиво выделила ей самое неудобное время для заработков – с часу ночи до пяти утра. В это время обычно темно, и нужно очень постараться, чтобы обратить на себя внимание водителей.

Девушки обычно работали парами. Одна стоит на одной стороне трассы, недалеко от кафе «Светлояр», а другая – на противоположной стороне. Номер машины, в которую села подруга, обычно записывает в блокнотик, на всякий пожарный. Не секрет, что среди дальнобойщиков и маньяки попадаются, хотя очень редко. Как ни странно, маньяки чаще в больших городах живут и ездят в автобусах. А дальнобойщики в большинстве случаев мужики простые, честные, нежадные и всегда трезвые – работа у них такая. Случаев таких, чтоб дальнобойщик не заплатил, практически не бывает. Хотя у трассовых шалав есть неписаный закон – деньги вперед.

Возле отеля тусовалась местная элита, Олеся и Валя, жительницы Боковой. Они предлагали услуги исключительно в отеле и за полторы тысячи в час. Красные мини-юбки, белые сумочки в руках. Трассовые девчонки, одетые, как правило, в спортивные костюмы и теплые сапоги (часами стоять на трассе холодновато) ненавидели их

классовой ненавистью – у них расценки были в три раза ниже (минет – четыреста, секс – пятьсот).

Поначалу Наташе работа понравилась – за первую ночь у нее целых две тысячи в руках оказалось. Каждую ночь работать не будешь, конечно. А днем тебя на трассу девчонки не пустят – зубы выбьют, а то и кислотой плеснут в харю.

За месяц заработала она сорок тысяч – деньги немалые. Маме сказала, что устроилась сиделкой в Семенове, выносить дерьмо из-под парализованной бабки. Мама поверила.

Но однажды притормозил возле Наташи один кавказец. Очень уж он страшным ей показался.

«Только минет», – ответила ему Наташа, пытаясь перебороть отвращение.

– Ну, минэт так минэт, – тихо пробормотал кавказец, а когда Наташа влезла в кабину его фуры, лихо надавил на газ и помчался по трассе.

– Ты куда?! – закричала девушка. – Я тебе не плечевая, я местная. Здесь работаю.

– Работаешь, курва?! – завопил кавказец, резко повернул на проселочную дорогу, проехал метров тридцать, остановился, заглушил двигатель и сказал:

– Вылазь.

– Я на улице не работаю, – сказала девушка. – Здесь давай.

– Что здесь?

– Здесь сосать буду.

– Сосать?! – заорал кавказец благим матом. – Да ты сейчас у меня выхлопную трубу сосать будешь! Раздевайся, сука!

Кавказец не шутил. Сразу поняла Наташа, что никаких сексуальных продолжений не предполагается, но будет нечто более тяжелое и унизительное.

Он вытащил из-под сиденья большой черный целлофановый мешок и велел ей складывать в него свою одежду. Было холодно, шел мелкий октябрьский дождик. Под ногами была обычная слякоть русской проселочной дороги – коричневые лужи с плавающими в них желтыми листьями и сосновыми иголками.

– Быстрей, шкура! Я не шучу!

В руках у кавказца блеснуло серебряное лезвие ножа.

Наташа сняла с себя старые мамины осенние сапоги, спортивные штаны и коричневую курточку на молнии с надписью «Динамо», ситцевую блузку, шерстяные колготки. Нижнего белья на ней не было.

Встала голыми ногами в грязь.

– Клади барахло в мешок.

Наташа дрожащими руками стала засовывать вещи в мешок.

– Мне, проститутка, твои шмотки не нужны. Сейчас проеду еще километра два в сторону Нижнего и выложу мешок на обочину. Если они нужны тебе, пешком прогуляешься. А если нет – иди на работу голая. А теперь бегом в лес!

Кавказец замахнулся ножом. Девушка бросилась в сторону леса, поскользнулась на грязи и упала прямо в лужу. Кавказец тем временем завелся, включил аварийку с задней передачей, задом выехал на трассу и быстро скрылся из виду.

Наташа почувствовала, как вся дрожит от холода. И все же возвращаться голой в Боковую не решилась и побежала за уходящей фурой.

Кавказец выбросил пакет с одеждой возле горящего одинокого фонаря – хотя бы в этом проявил свою человечность. Но, как говорится, горе одно не ходит. Как только Наташа стала судорожно натягивать на мокрое тело колготки, на трассе появилась машина. Из нее вышел дядя Саша, сосед, возвращающийся с вечерней смены из Семенова.

– Наташка, да что с тобой такое? Почему ты голая?! – воскликнул он.

Наташа бросилась ему на шею.

– Дядя Саша! Довезите меня до дому! И ничего только маме не говорите!

– Понял, – мрачно ответил дядя Саша. Дождался, когда Наташа оденется. – Садись вперед, я печку включу.

– Нет, я лучше сзади сяду.

Очень не хотелось Наташе, чтобы дядя Саша смотрел на нее. Готова она была сквозь землю провалиться. А он и не смотрел. Молчал всю дорогу, а потом сказал:

– Ты, Наташка, это дело бросай. Не твоя это стезя. Ты же медик. Про СПИД слыхала?

– Дядя Саша, вы только не рассказывайте…

– Могила, – промолвил сосед.

Он сдержал слово, а Наташа никогда больше не выходила на трассу.

С этого дня пристрастилась она к спиртному. Трудно сказать, что было пусковым фактором – вряд ли неприятная встреча с кавказцем вогнала ее в депрессию. Скорее, наследственность со стороны обоих родителей стала проявляться. Мама таскала спирт из амбулатории, а Наташа из маминой бутылочки потихоньку отливала. Училище она бросила.

Выручила Надежда Васильевна, папина двоюродная сестра. Приехала она во Владимирское из Шалдежки ухаживать за одинокой старушкой, ради завещанного ей бревенчатого покосившегося домика и участка в пятнадцать соток. Надежда Васильевна в свое время окончила библиотечный техникум. Во Владимирском сначала устроилась в абонемент, а потом дослужилась и до заведующей библиотекой.

Она-то и устроила Наташу к себе. Худо-бедно, а все же какая-никакая работенка. К тому же и родственников у нее больше в живых не осталось. Наташе в библиотеке понравилось. Во-первых, от дома идти пять минут. Во-вторых, работа непыльная, исключительно дневная, рано вставать не надо – рабочий день в десять часов начинается. В субботу вообще до двух часов библиотека работает, а понедельник – выходной.

В библиотеке было тепло, светло и чисто, пахло клеем, коленкором и пирогами, которые приносила из дому хозяйственная Надежда Васильевна. Посетителей там почти не было.

Наташа не только на трассу, но и на озеро ходить перестала. Природа никогда не впечатляла ее, а деньги зарабатывать совсем уже не хотелось.

3

Как-то Владимиру Викторовичу позвонила семеновская краеведша с предложением организовать совместный творческий вечер.

– Я тут накопала новых интересных фактов про озеро Светлояр, – сказала Валентина Анатольевна. – Не хотите составить мне компанию? Я о Светлояре местным жителям расскажу, а вы свои стихи почитаете. У вас есть стихи о Светлояре?

– О Светлояре нет, – ответил Кочемасов.

– Ну, что-нибудь другое есть. О нашем крае, например. Да неважно что. Главное, чтобы стихи были.

В годы своей юности Владимир Викторович часто выступал перед читателями по линии бюро пропаганды художественной литературы и получал за это неплохие деньги. Прошло пятнадцать лет после гибели Советского Союза, но потребность выступать перед читателями не исчезла, хотя за это не платили ни шиша.

До села Владимирского от города было сто двадцать пять километров, и с условием городских пробок и бойкой трассы ехать предстояло не меньше полутора часов. Тем не менее предложение Валентины Анатольевны подействовало на него как глоток свежего воздуха. Ему и раньше не раз приходилось быть на Светлояре, и он любил это не только удивительно живописное, но и знаковое для всякого русского человека место.

– Давайте тогда встретимся в воскресенье в половине второго у кафе «Светлояр». У меня в Боковой племянница живет, я к ней в субботу приеду с ночевкой.

Кочемасов выехал заранее, в одиннадцать часов. Он не любил опаздывать и всегда приезжал на встречи заблаговременно.

Стояла прекрасная погода начала ноября. Владимир Викторович любил такую погоду. Осенняя грязь замерзла и затвердела, лужи покрылись тонким слоем льда. Кочемасов только вчера поменял покрышки на своей «Тойоте» и теперь уже совсем не боялся внезапного снегопада. Он всегда любил путешествия, новые места,

новые природные ландшафты. Во время путешествий провинциальный писатель всегда молодел, жизнь наполнялась каким-то новым смыслом, и те неприятные мысли, которые часто волновали его, исчезали или уходили на второй план. Возле Семенова он не удержался от искушения, припарковался на обочине, оставил машину и углубился в лес.

Почему только в лесу он чувствовал себя самим собой? Почему этот густой, неприбранный, почти непроходимый подлесок был ему гораздо интереснее, чем мир людей?

В лесу был какой-то особый воздух. Пахло смолой, озоном, прелой листвой, покрывшейся изморозью, мхом и корой лиственных деревьев. Смешанный лес – это то, что Кочемасов любил больше всего. В России он особенно дик, разнообразен, неприхотлив и непричесан, всегда живет неписаными безбашенными законами, а скорей, отсутствием таковых. Огромное трухлявое дупло в стволе старой липы заставило вспомнить о детских переживаниях, игре в гномов, которую он придумал однажды и в которую вовлек чуть ли не всех детей из своего двора.

Кочемасов посмотрел на часы. Была уже половина первого. Он двинулся в сторону шоссе, спотыкаясь о корни деревьев.

Владимир Викторович был педантичен и точен. К Боковой подъехал за двадцать минут до назначенного времени встречи. Молодая девчонка в высоких красных сапогах, черных ажурных колготках и в белой короткой курточке с маленькой сумочкой в руках стояла на трассе.

«Интересно, какие сейчас цены», – подумал Кочемасов, подъехал к девушке, чуть приспустил стекло возле пустого пассажирского сиденья.

– Минет четыреста, секс пятьсот, – отбарабанила девчонка, не дожидаясь вопроса.

Цены не возросли. Писатель никак не прокомментировал слова проститутки и посмотрел на часы. Закрыл стекло и поехал в сторону кафе «Светлояр».

Дерягина уже стояла у входа.

– Ну вот, вы пораньше приехали, и слава богу, – сказала она. – Надеюсь, выступление пройдет удачно.

Через двадцать минут они уже были у библиотеки во Владимирском.

Возле раздевалки Владимир Викторович увидел большой лист ватманской бумаги, на котором красным фломастером большими кривыми буквами было написано: «10 ноября в 14.00 состоится встреча с нижегородскими писателями Валентиной Дерягиной и Владимиром Качимасовым». Таким образом, в фамилии писателя местные библиотекари умудрились сделать целых две ошибки.

В зале сидели пять человек – заведующая Надежда Васильевна, Наташа, пожилой стихотворец Михаил Игнатьевич, Дарья Семеновна, восьмидесятилетняя учительница литературы и охранник Михаил Петрович.

Встреча началась с выступления Дерягиной. Она рассказала о том, что известная в народе Батыева тропа к озеру Светлояр вовсе не та тропа, о которой пишут в книгах и учебниках, и что в действительности хан Батый подошел к озеру совсем с другой стороны.

– У меня такой к вам вопрос, – неожиданно прервал ее охранник. – Я всю жизнь в милиции проработал, дослужился до майора. А начальник нашего отдела, уйдя на пенсию, стал преподавать в Высшей школе милиции и защитил диссертацию. Был я на его защите. Задали там диссертанту такой вопрос: «А какова практическая значимость ваших исследований?» Он ответил, что его работа позволила снизить преступность в нашем районе на целую треть. А вот у вашей науки какая практическая значимость? Ну не все ли равно, с какой стороны пришел к нам этот самый Батый? И приходил ли он сюда вообще? Где вещественные доказательства? Вещдоки где? Может быть, он потерял здесь что – монеты какие монгольские или снаряжение лошади – стремя, сбрую, саблю какую, наконец?

– Вы знаете, я с такой точкой зрения знакома, – моментально ответила Валентина Анатольевна. – Это все называется утилитаризм. Прикладные цели всегда обречены изначально. Наши реформаторы вовсе не хотели уморить нас голодом. Они разрушили Советский Союз, начали свои утилитарные реформы, хотели народ накормить.

В результате же народ оказался за чертой бедности. Культура никогда не ставила перед собой узкие, утилитарные цели. Если бы все мы прошли по настоящей тропе Батыя к нашему озеру, купно и едино прошли, соборно, может быть, мы бы и загадку земли русской разгадали? Может быть, мы и град Китеж на дне его увидели, а не грязную и коррупционную ментовку?

Охранник был полностью убит ответом и вышел в коридор покурить.

Дерягина передала слово Кочемасову. Владимир Викторович никогда не готовился к выступлениям. Он достал из видавшего виды матерчатого мешка с надписью «Болдино» несколько своих книжек и стал читать стихи.

– Владимир Викторович, – спросила Надежда Васильевна, когда он прочитал несколько стихотворений. – Кого из местных писателей вы рекомендовали бы нам пригласить?

Кочемасов назвал ряд имен, но сразу же оговорился, что хороших писателей так много, что все фамилии просто не успеет озвучить.

– А что такое местный писатель, я не знаю. Если местный тот, кто зарегистрирован у вас, в Семеновском районе, то я знаю только двух человек.

– У нас уже Воскресенский район, – деловито поправил накурившийся охранник. – Семеновский – это Боковая.

Кочемасов предложил слушателям приобрести его книжки по символической цене. Пенсионер Михаил Игнатьевич, долго выбирая из трех книг, выбрал самую толстую, достал из кармана две смятые бумажки.

– Что-то двухсот рублей не набралось, – сказал он, виновато улыбаясь. – Вот сто пятьдесят только.

– Ну так берите за сто пятьдесят, – улыбнулся Кочемасов.

После этого Михаил Игнатьевич долго говорил о своих стихах и о том, что лучше всего публиковаться в интернете, поскольку в газеты и журналы пробиться нельзя – там печатают только своих.

– А вы знаете, в чем причина? – сказал он с заговорщицким видом и подмигнул Кочемасову. – Они просто завидуют настоящим поэтам. Таким как я… ну и как вы,

например, – неохотно добавил пенсионер. – Потому и не печатают.

Надежда Васильевна пригласила Кочемасова и Дерягину в соседнюю комнату. Там был накрыт низкий деревянный столик с хохломской росписью. На тарелках лежали бутерброды с колбасой и сыром, из прозрачной пластмассовой голубой коробочки торчали пакетики с чаем и кофе.

Минут пять Надежда Васильевна гордо вещала о том, что выиграла солидный федеральный грант и теперь в библиотеке будет произведен капитальный ремонт, а потом ушла вместе с Дерягиной в книгохранилище – она давно уже выписывала на бюджетные деньги все новые издания, посвященные Светлояру.

– Вы пока с Натальей Николаевной чайку попейте, – заявила она Кочемасову. – А через полчаса я верну вам вашу спутницу.

– Как, наверное, здорово жить здесь, рядом с этим загадочным и неповторимым озером, – начал Владимир Викторович, обращаясь к Наташе. – Я вам завидую самой что ни на есть белой завистью! Каждый день ходить на Светлояр! Вы наверняка получаете от озера такую энергетику, которая позволяет чувствовать нечто такое, что никогда не почувствуем мы, городские жители.

Потом он долго рассказывал о том, как остановился на трассе перед Семеновым и минут сорок ходил по лесу, как ему не хотелось уходить, что он мечтал затеряться раз и навсегда в этом глухом русском лесу, чтобы разгадать его неповторимую тайну.

– А может, вы покрепче чего хотите? – предложила Наташа.

– С удовольствием, – ответил поэт. – Но не могу. Я за рулем. К тому же везу выдающегося исследователя истории Светлояра. В ДТП может погибнуть сразу два человека, а русская литература с краеведением не выдержат столь тяжелых утрат!

Наташа не оценила его красноречия.

– Ну, тогда я без вас, – сказала она и, расстегнув молнию на коричневой спортивной курточке с белой надписью «Динамо», той самой курточке, которую она месяц

назад судорожно засовывала в пакет грубого кавказца, вынула из кармана бутылочку с надписью «Спрайт».

Налила четверть стакана медицинского спирта, разбавила кипяченой водой из электрического чайника.

– Ну, давайте за встречу, – сказал Кочемасов и чокнулся с Наташей чайной кружкой, из которой застенчиво вылезала на белой скрившейся ниточке оранжевая бирка от пакетика чая «Принцесса Нури».

Наташа мгновенно опорожнила стакан до дна.

– Горькая, сука, – поделилась она с поэтом.

Кочемасов продолжал тему отшельничества. Он вспомнил о книге английского писателя Генри Торо «Уолден, или Жизнь в лесу», которая оказала на него в годы его студенческой молодости неизгладимое впечатление. Талантливый писатель, склонный еще и к научным изысканиям в области естествознания, поселился в хижине на берегу Уолденского пруда и прожил там в одиночестве целых два года.

– А ведь Уолденский пруд, Наташа, это нечто вроде нашего Светлояра. И вы знаете, как интересно! Торо занимался измерением дна этого пруда, который, заметьте, также, как и Светлояр, когда-то считался бездонным! Более того, он тщательно фиксировал точные даты замерзания и оттаивания водоема.

Кочемасов посмотрел на Наташу и внезапно замолчал.

Девушка спала. Спала в какой-то неестественной позе, запрокинув голову на черный металлический ободок стула. Рот у нее был полуоткрыт, и по краю его ползла тоненькая струйка слюны.

Стараясь не разбудить ее, писатель тихонько вышел в коридор, оделся и направился к машине. Через четыре минуты он уже оставил автомобиль на огромной пустой парковке и направился к озеру по аллее, ограниченной облетевшими березами и тополями.

Владимир Викторович всегда ощущал в этом месте что-то особенное. Меньше всего, однако, его впечатляли научные гипотезы возникновения этого удивительно правильного в геометрическом отношении озера, не имеющего никаких бухт и затонов. Теория карстового

происхождения и теория, связанная с падением метеорита, конечно, имели право на существование. Но главное заключалось в том, что именно здесь, наверное, и находилось то сказочное яйцо, внутри которого до поры до времени дремала игла – несгибаемая и острая игла русского национального самосознания.

Владимир Викторович очень рано проснулся в этот день. Долгая дорога и естественное напряжение авторского вечера тоже начинали давать знать о себе. Он почувствовал, что его клонит ко сну.

«Только бы не заснуть здесь внезапно, как заснула эта молодая библиотекарша», – подумал он, сел на старенькую кривую скамейку и стал смотреть на рябь, скользящую по поверхности Светлояра.

4

– Над уруу ир, Дулгун!

Асалбай обожал своего низкорослого гнедого жеребца. Его подарил ему дедушка Чултэм, знающий толк в лошадях.

Никто на свете так не понимал Асалбая, как малыш Дулгун. Никто на свете так не любил его, никто не терся так доверчиво смешной гнедой широкой мордочкой о его руки, не лизал их сухим шершавым розовым языком младенчика, никто не напрягал так острые ушки от любого вкрадчивого звука – будь то треснувшая сухая ветка под копытом или загадочный картавый голос неведомой лесной русской птицы.

Чего только не успел повидать гнедой жеребчик со смешной и трогательной звездочкой на лбу за свою недолгую жизнь! Как непривычно было этому мальчику здесь, в холодном, дождливом русском краю! Бока его были поцарапаны о злые острые сосновые сучки, в кудлатой гриве застряли причудливые кусочки бурой коры и серого лишайника.

Здесь не побегать, не попрыгать, не порезвиться по-хорошему. То ли дело родная монгольская пустыня или приволжская степь! Какие там просторы, какой вольный бег!

Стойкость Дулгуна не могла сравниться ни с чем. Его не нужно было ни поить, ни кормить. Малыш ел придорожную траву, пил воду из ручьев и родников. Он даже сикал во время бега!

– Би чамд хайртай, Дулгун!

Асалбай был стойким воином. Двухлетним ребенком стрелял уже из смешного детского лука, поражая в головы быстрых и юрких полевых мышей. Так же, как и его гнедой мальчик Дулгун, Асалбай был неприхотлив в еде – вечно держал под высоким и гладким сиденьем седла, доставшимся от дедушки, кусок бастурмы – соленого конского мяса, куски от которого отгрызал во время привалов и запивал родниковой водой.

Одноглазый Намсарай, командир сотни, объяснил однажды воинам, что великий хан никогда не хотел завоевывать русские земли. На этой холмистой и поросшей лесами почве негде было размещать шатры и пасти скот.

Но у русских никогда не было ни одного правителя, с которым великий хан мог бы вести переговоры. Местные князья властвовали на крошечных клочках земли, вечно дрались друг с другом, и каждый из них считал себя пупом земли. А когда великий князь киевский Мстислав Романович повелел казнить мирных ханских послов, не поверив в их добрые намерения и приняв их за хитрых разведчиков, великий хан решил наказать их. Не завоевать, а просто наказать.

Намсарай, однако, был всего лишь простым монгольским воином, таким же, как Асалбай. Правда, было у него целых три коня, но кого из кочевников лошадьми удивишь? Не знал Намсарай, что монгольские послы предложили русским мир на очень сомнительных и непростых условиях – князья и их дружинники должны были сквозь пальцы смотреть на то, как монголы уничтожают их союзников, половцев, – тех самых безумных половцев, отношения с которыми у русских всегда держались на соплях и с которыми великими трудами был заключен мир. Монгольские послы предложили киевскому князю предать своих хоть и временных, но все же друзей и союзников, знакомых ему до мозга костей, в обмен на мир… с неизвестными монголами!

Мстислав Романович был тертый калач. Три княжеских престола – псковский, белгородский и смоленский сменил он прежде, чем окончательно пересел на престол великокняжеский, киевский. И были у него, как у опытного правителя, и среди половцев свои осведомители. Хорошо знал великий князь, что не так давно заключили монголы мир с самими половцами, вынудив тех объявить войну аланам. Теперь же все аланы были перебиты половцами, и только их желтые кости догнивали в высоких кубанских курганах. Такую же судьбу скорей всего уготовили узкоглазые кочевники и для русских.

Асалбай же о русских ничего не знал. Он только удивлялся им. Эти люди были так привязаны к своей неплодородной, жалкой земле, что, казалось, ничего не хотели видеть, кроме крошечных своих огородов. Каждый участок земли был обнесен кривым березовым или сосновым частоколом. А дома они строили добротные, на всю жизнь. Даже бани, в которых русские только мылись и никогда не жили, были сложены из толстенных бревен.

Возле крупных дорог нередко простаивали простоволосые румяные непотребные девки, предлагали за незамысловатые гостинцы свои утехи, заманивали в бани. А уж эти бани! Там всегда было удивительно чисто и пахло березовыми вениками. Асалбай всегда как-то особенно возбуждался при виде этих бань. «Помойся сначала, морда басурманская», – сказала ему как-то одна толстая крупногубая и широкобедрая красотка, сняла с себя через голову белую длинную посконную рубаху, и Асалбая догола раздела, положила на высокую сосновую полку и долго хлестала березовым веником.

«Вот тебе, морда басурманская», – повторяла она несколько раз, и очень хорошо запомнил Асалбай слова девушки. Потом, как только видел русских девчонок, всегда представлялся: «Морда басурманская», и не понимал, почему они так заливисто смеются над ним, и хохотал вместе с ними.

Пожалуй, только русские молодицы и нравились Асалбаю. Монгольские женщины были совсем другими. Они не почитали любовные утехи, тем более не брали за них

мзду. Вовремя выйти замуж и стать если не главой, то опорой семьи – таким было предназначение кочевой женщины. А во многих монгольских семьях жены не только вели хозяйство, но и командовали вовсю. Даже если было у кочевника несколько жен, жила каждая со своими детьми в отдельном шатре, и всегда мужем назначалась старшая жена – не обязательно самого зрелого возраста, но самая активная и хозяйственная. Ведь в кочевой жизни без хозяйства никак нельзя! К монгольской женщине так просто и не подойдешь. Если она не замужем, то выкупай ее у родителей. А замужним только с мужьями своими общаться дозволено.

Другое дело русские девушки. *Тэдэнтэй ярилцах нь хичнээн амархан вэ!*

А вообще странный народ эти русские. А уж как они обращались с лошадьми! Только княжеские дружинники знали в них толк, понимали, что конь – друг твой и соратник в борьбе, что никто никогда не разделит так твои чаяния, как верная лошадка. Девка тебе за серебряную погремушку все что хочешь сделает, а лошадь любит тебя, предана тебе до конца жизни своей! Чаще Асалбай видел, как тащили за собой кони нелепые тяжелые деревяшки, которыми русские хлебопашцы боронили неласковую, неурожайную землю. И горько становилось ему, и обидно за рабскую участь животных, которые так умны и так любят людей.

Но все же была у этой земли какая-то загадка. Такое ощущение было, что нет у нее границ. Когда по бескрайней половецкой степи скачешь и только юркого пучеглазого суслика увидишь в траве, чувствуешь всё же, что эта степь не вечная… А здесь…Здесь совсем не то ощущение!

«Вот возьмем Большой Китеж и отдохнем немного, – обещал Намсарай. – Город богатый, старый. Полно серебра, мехов, девиц красивых. Купола позолоченные. *Хогшин, баян, үзэсгэлэнтэй хот!*

Странный был этот город. Золотые купола его, казалось, находились так близко, проступали всей своей красотой неповторимой сквозь узор сосновых веток, а потом вдруг исчезали вновь. Такое чувство было, что Намсарай сбился с пути.

И вот однажды – Асалбай навсегда запомнил это солнечное утро – отряд Намсарая вышел на протоптанную кем-то дорогу. Кони почувствовали близость города и помчали усталых седоков с той скоростью, которая только возможна на узкой тропе между соснами, и вдруг лес закончился, всадники оказались на яркой травянистой лесной опушке, и большой, сказочно красивый город предстал перед ними во всем своем великолепии – громадная белая крепостная стена со стрельчатыми башнями, над которой возвышались деревянные терема и белокаменные златоглавые соборы.

Дулгун остановился и заржал. Ржали и другие кони. Казалось, они не хотели бежать к городу, как будто чувствовали что-то.

И тут увидел Асалбай, как из-под земли забили ключи. Маленькие фонтанчики воды сначала привлекли лошадей, и они бросились пить воду. Но через минуту струи возросли настолько, что сбивали всадников с коней, и они в ужасе падали на траву. Асалбай посмотрел вперед и не поверил своим глазам – город медленно опускался под воду.

На опушке возникла давка. Воины были так обескуражены, что потеряли тропинку, которая привела их к городу. К счастью для Асалбая, он не успел ускакать далеко. Дулгун сам развернулся и поскакал назад.

Удивительно умный это был жеребец, подарок дедушки Чултэма.

5

Поэта разбудил звук сотового телефона.

– Я сразу поняла, что вы на озере, Владимир Викторович, – громко вещала краеведша. – Подъезжайте к библиотеке. Кстати, у меня к вам просьба – не подбросите до Семенова? У племянницы с машиной проблемы.

– Разумеется, – ответил Кочемасов. – Скоро буду.

Наступили ранние ноябрьские сумерки. Лес возле озера совсем уже обнажился, только сосны радовали своим зеленым постоянством. Кочемасов посмотрел на деревян-

ную церковь, стоящую на взгорке неподалеку от озера, и вдруг увидел недалеко от берега низкорослого большеголового гнедого жеребца со смешной звездочкой на морде. Откуда взялась эта лошадь?

Он направился к парковке, завел машину и через пять минут был уже возле библиотеки. Надежда Васильевна попрощалась с ним. Наташа тоже помахала рукой, но чуть не свалилась с деревянного крылечка – за время отсутствия поэта она не раз еще прикладывалась к заветной бутылочке.

До Боковой добрались быстро. Как всегда, там было очень бойко. На стоянке стояли многочисленные фуры.

На обочине мерзла полная девчонка в старомодной мохеровой шапке и зимнем полушубке, накинутом на спортивный костюм. На противоположной стороне трассы дежурила такая же, только в девчоночьей шапочке с пампушкой.

– Как всегда, они, проститутки, – вырвалось у Кочемасова.

– Да что вы говорите, Владимир Викторович, – оборвала его Дерягина. – Проститутки так не одеваются. Они всегда в яркой одежде ходят, чтобы мужчинам понравиться. А эта – в спортивном костюме, замарашка какая-то. Просто попутку ловит, чтобы подвезли за бесплатно. Трудно у нас в глубинке народ живет, Владимир Викторович.

– Это уж точно. Очень трудно, – согласился поэт.

Игорь ПАЛАШОВ

ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР

Меня зовут Архип Лаврентьев. А перед вами – мои заметки о посещении Нижнего Новгорода в 1881–1882 годах, в то время, когда, потрясенный убийством императора Александра, я наряду со многими русскими людьми переживал и гибель самой России.

Долгие годы перед тем над нами сгущались грозовые тучи. Самые проницательные умы пытались постичь природу приближающегося урагана, но тонули в академических спорах, оставив нас в бездеятельном уповании. Мы видели огненные всполохи над головой, но не нашлись предпринять что-либо действенное для своей защиты. Некоторые из нас сочли предсказания кликушеством, а другие прекраснодушно надеялись на государственническую мудрость имперского устройства, в которую сами же давно не верили. Впрочем, возможно, это лишь разные проявления эскапизма.

Так или иначе, долгожданная катастрофа разразилась с такой силой, что, казалось, надломила не только династию, но и ход самой истории. Милая Россия закончилась в один день, в ее духовном тулове разверзся разлом, из которого с гулом и треском взметнулись ледяной вихрь и адское пламя – нечто чужеродное, волевое и требовательное с безжалостной определенностью выпросталось из открытой раны.

Я захотел увидеть, как в селевом потоке хаоса вызревает будущее, и отправился туда, где Россия некогда установилась – на Волгу. Здесь, вовсе не в Москве, заковавшей

кремлевской стеной былинные княжества, тем паче не в Петербурге, рвущемся прочь из родных пенатов, а среди равнинных перелесков, что сплетают в единое целое мрачные северные чащи и залитые солнцем степи юга, она, Россия, и стала. Нет здесь Запада и нет Востока, есть только Север и Юг, долгая зима и заполошное в трудах стремительное лето. Между песчаной бурей и морским штормом проживает Россия свое пограничье, одновременно брезгуя сентиментальной дикостью и чураясь хладного снобизма. И если кто-то думает гордиться подобной уникальностью, я призову его к сочувствию. Юдоль чистилища, горькая сама по себе, лишь тяжелеет неспособностью определить третью опору, необходимую для устойчивости любого даже табурета, с тем чтобы перестать, наконец, подобно подростку отмерять себя от внешних обстоятельств и сторонних сил, – внутреннюю опору взросления.

Однако я увлекся, все еще до сих пор не находя надлежащих слов. По итогам поездок я составил несколько очерков – вы можете найти их в петербургских журналах, – но ни один из этих текстов и даже все они вместе взятые, к моему глубокому сожалению, не выражают полноценно того представления, которое формировалось во мне. Признаюсь, некоторые из них со временем и вовсе вызвали чувство стыда, настолько близоруко и поверхностно они прозвучали уже при втором прочтении. Поэтому я составил выборку из непосредственно путевых заметок, как наиболее честных и точных свидетельств – не правил в них ни слова, убрал лишь даты и время написания. Так и буду хранить – своеобразной летописью, которую сам же еще не раз интерпретирую.

Пятнадцать часов без сна, из ночи в день, в душном вагоне, среди торговцев и мелких чиновников, с их вываренными курами и пирогами. Окна открыты, но лишь папиросный дым спасает от жирного марева. Ходил в тамбур с платком в руках – все выпачкано маслом; кажется, коснешься, и липкие пятна растекутся по коже. В ресторане дали холодный бифштекс, но хлеб был свеж, а чай крепок. За окнами пустота, порой лишь показывались жидкие

деревеньки с нелепо усеченными церквами – напористый куб основания завершается не шатром, а стайкой стройных маковок на почти плоской крыше – похожи на заросшие грибами пеньки.

Когда кондуктор объявил, что осталось две четверти часа, я схватил свои баулы и устремился к выходу. Так и топтался там, не позволяя никому протиснуться между мной и спасительной дверью. Наконец, прибыли. Паровоз свистнул, окутавшись паром, грохнул, встал, толкнулся назад. Я вывалился первым, совершенно одуревший, и постарался как можно скорее покинуть перрон.

Сразу от станции начинается базар. Толчея такая, что не сообразишь, как выйти насквозь, к извозчикам – коробейники и тележки снуют в беспорядке расставленных лавок. Я едва не споткнулся о какую-то бабу, торгующую с земли в окружении тюков. Чертыхнулся – она махнула рукой и затараторила мне вслед; не всякое слово разобрал в певучем ее мордовском выговоре.

Из коляски уже, когда извозчик в похожей на горшок шапке стал поворачивать, я оглядел привокзальную площадь – серая пыль и галдящее море людей. По дальним лишь сторонам видны редкие здания, влево они сходятся теснее и формируют улицу, на которую мой возница направлял лошадь.

Но базар тянулся за нами. Вскоре мне показалось, что здесь он нигде не кончается – подобно волне накатывает, немного спадает, но постоянно плещется вокруг. Мы проезжали мимо трактиров, гостиниц, контор, худых мастерских и мещанских домов, сооруженных по типу крестьянских изб, но вдоль них, на узких дощатых тротуарах, между ними, во дворах, на всяком открытом месте болтались торговые людишки. Редкий лишь жандарм появится или служащий и тут же пропадает, как на высокой волне едва покажется и, моргнуть не успеешь, вот уже прячется речной буй. Представил себе, сколько воров здесь промышляет. Но не представлял, что настоящее изумление мне еще предстоит.

Сначала я заметил в одном переулке целое стойбище груженых телег – ничего подобного прежде не встречал,

даже на Сенной площади. Движение на проезжей части улицы уплотнилось, а позже за поворотом взору открылась знаменитая Нижегородская ярмарка, разом всем своим разноголосым пространством. Она поистине ошеломила меня размахом – торговые ряды и палатки тянулись под распахнутым во всю ширь небом, насколько хватало глаз. Посреди торжища высился главный павильон – крылатая конструкция дворца: весь в резном камне, как собор в Юрьеве-Польском, и родовых пятнах русского терема.

Возгласы тысяч людей и грохот повозок сплавились в единый тяжелый гул; он стоял здесь осязаемой стеной. Лишь надсадные крики чаек с близкой реки и лай собак, привлекаемых съестными припасами и отбросами, отчасти оживляли плотную массу несмолкающего шума.

Я привстал в коляске, чтобы заглянуть как можно дальше, чтобы разглядеть пусть далекий, но предел, и лишь глубже погружался в изумление – в пыльной дали проявлялись все новые и новые шпили торговых павильонов, ветер трепал разноцветные флажки, призванные обеспечить хоть какую-то ориентацию в бескрайнем ярмарочном пространстве.

Впечатление грандиозного явления усиливалось явными признаками стройки – тут и там, ощетинившись лесами, торчали остовы будущих зданий, сквозь лавину шума изредка прорывался ритмичный стук молотков и визг пил. Я не решился бы остановиться, спешиться и войти в этот торговый град.

Упал обратно на сиденье с кружением головы. Смотрел на реку, заполненную баржами и пароходами, и дальше – на лесистые холмы, где прятался город, все теснее собирая свои дома и церкви к ожерелью кремля. Видел грузовые пристани с кранами и устанавливающиеся по берегам набережные. И всюду мерещилось мне разнонаправленное неостановимое движение. Я был опьянен и подавлен открытой перспективой этого места. Не восторгом, но тревожным волнением отозвалась она во мне. Лишь одну опору своему взгляду находил – потную спину своего возницы.

Вскоре мы выкатились на плашкоутный мост – здесь, как на улице, поток повозок в обе стороны. Под колесами,

под настилом из бревен и досок, уложенном на стоящих бок в бок баркасах, я почувствовал тугую мощь Оки и Волги, сливающихся в единый поток. Мутная тяжелая вода с обеих сторон толкает лодки, они скрипят стянувшими их канатами. Нет уверенности, что где-либо не лопнут, что не подломятся доски, что не взбрыкнет и не опрокинет нас лошадь, что я когда-нибудь доеду.

На правом берегу тише. Но словно и сюда просочилась ярмарка – в этом городе торгуют всем и везде, даже подле банков и пароходных товариществ.

Я остановился в гостинице на Скобе, в так называемом Доме Переплетчикова. Как добрался до комнаты, лег спать. Очнулся уже окрепшим вечером. Поужинал в местном ресторане щучьими котлетами и кулебякой, отправился гулять по Рождественской. Завтра первым делом надо бы разыскать транспортное управление и справиться о пароходах в Казань и дальше.

В управлении меня встретил молодой человек в чине губернского секретаря – Свистоков Игорь Ильич, представился, четко, с ударением на второй слог произнеся фамилию. Заметил, что посетители часто перевирают на «Свистаков» или «Свистуков» с привычным упором на последнюю гласную, поэтому он так акцентирует внимание – «фамилия все-таки, документарная личность». Он был учтив и предусмотрителен, почти ласков. Я бы счел его обхождение по-приказчицки приторным, если бы Свистоков этот не сопровождал всякую реплику улыбочкой с деланным прищуром, словно имел дело с полным идиотом.

Выслушал меня, тут же захлопотал, одновременно расспрашивая, откуда я и по какой надобности, потом бросил бумаги и просил зайти через пару дней, покуда он соберет все маршрутные листы.

Вообще Игорь Ильич – замечательный персонаж. Белобрыс, выбрит, немного сутул, словно бы постоянно то ли присесть готов, то ли, напротив, вскочить – как говорят, ходит на полусогнутых, – с несоразмерно росту длинными руками. Его живые пальцы привлекают внимание, постоянно что-то переминая, потирая, теребя. Заметная нерв-

ность отражается и на лице его – кривит и тянет в улыбке губы, играет бровями. Видимо, близорук – порой невольно распахивает веки и страшно таращит глаза.

В его странной фамилии «Свистоков», предмете очевидной гордости, я был склонен расслышать западнославянский корень или усвоенную русскими привычку везде и во всем мнить себя не местным.

Но если бы только это. Позже я заехал в редакцию «Волгаря» с целью полистать подшивки старых выпусков и потереться среди репортеров, чтобы яснее представить себе бытование Нижнего. Меня приняли благодушно и даже выделили для работы колченогий стол; один из сотрудников, Петр Белый (подозреваю, что это псевдоним) вызвался ответить на все мои вопросы. Уселся на тот же стол, удачно оперев его собой, и, прихлебывая чай из мутного стакана, с некоторой ленцой поведал мне будничную жизнь губернского города. Оживлялся лишь при упоминании нового императора Александра III, который приезжал месяц назад с императрицею и цесаревичем на освящение собора Александра Невского, недавно выявленном мошенничестве купца Титова с государственными облигациями, готовящейся свадьбе некоего логиновского помещика на дочери купца Шишкина – «родственники Рукавишниковых, кстати сказать, хоть и дальние; венчание в Рождественской церкви пройдет» – и злодейском убийстве, как без этого, ростовщика с Малой Покровки. Белый охотливо отступал в прошлое упоминаемых персонажей, особенно когда речь заходила о широко известных в городе фамилиях, чем значительно меня путал – приходилось переспрашивать, уточнять. Я записал несколько интересных историй, намереваясь при случае перепроверить их из других источников.

Мой корреспондент остался доволен ловкостью, с которой составил, как букет цветов, рассказ для заезжего гостя – «вот и вся нижегородская палитра во всем, так сказать, разнообразии». Но потом, заметив номер, который я листаю, ткнул пальцем в одну из колонок – «есть у нас и своя литературка, полюбопытствуйте». Я прочел заглавие – «Разговор на веранде» – и посмотрел подпись – «Игорь

Свистоков». Осведомился, не тот ли, из транспортного управления – «да, да именно он». «На мой вкус, слог сырой, неотесанный, композиция нарушена, но с вывертом, бойко пишет – самое то для пустых полос, барышням нравится, ну, вы меня понимаете», – сказал и сполз со стола с риском нарушить его равновесие. Мы обменялись шутками, мол, Гончарову вторит или Салтыкову-Щедрину. Я купил несколько номеров газеты вразброс по датам и отправился дальше. Дал извозчику рубль, чтобы прокатил меня по всему городу.

Лето выдалось жарким и теперь исходило душным сентябрем. Едва отъедешь от реки, сухой воздух сгущается вездесущим запахом яблок и навоза, обволакивает испариной так, что радуешься любой тени. Отовсюду тянет дымами – из-за боязни пожаров в городе было запрещено топить печи, еду готовят во дворах. Так и ехали мы сквозь сизую дымку, неподвижно висящую вдоль крыш и крон деревьев.

Нижний очень зелен, всюду скверы и фруктовые сады. Насколько я успел заметить, много тополей и древесных ив, встречаются ели и березы, вероятно дикорастущие, оставленные при застройке, и уж наверняка специально высаженные кленовые и липовые аллеи. Стоят все еще не тронутые осенним увяданием, темно-изумрудные, словно бы наполненные соком до последнего предела – кажется, еще немного и листья начнут опадать, отрываться от ветвей под собственной тяжестью, как зрелые плоды. Я видел дома, целиком увитые северным виноградом.

Проехали до Новой площади и Крестовоздвиженского монастыря, оттуда спустились по Ильинке и через Покровку, по Варварке, мимо острога, по Напольной добрались до Сенной площади. Дальше – по Верхней набережной, Семинарской и Благовещенской площадям и по Зеленскому съезду вернулись к Скобе. По пути я останавливался, разглядывал дома, проходил целые кварталы пешком, запоминая, куда еще стоит вернуться.

Теперь Нижний казался мне совсем иным, чем я представил его вчера. Я допустил большую ошибку, когда на-

равне с другими путешественниками судил о нем по виду с реки. Там открывается даже не парадная часть города, а случайно приданная пожаром бывшей Макарьевской ярмарки. Настоящий Нижний с реки не виден вовсе, прячется в зарослях по вершинам холмов.

Это тихий, небольшой, односложно организованный город, местами и вовсе напоминающий село, – таких множество на просторах России. Без производств и научной мысли – одна лишь гимназия да семинария. Без художественных школ и мастерских – лишь крестьянские промыслы и простейшие ремесла. Как не пыжится особняками в центральной части – с приземистой, но колоннадой, с аляповатыми, но барельефами, – окраинными улицам и тонет в деревенской расхристанности. Я встретил целые стаи кур и гусей; в палисадниках, привязанные к кольям, пасутся козы. Порой собаки внезапно вырываются из подзаборных зарослей и кидаются с лаем под колеса; где-то из глубины двора раздается грозный окрик: «На место, шелудивый! Хватит брехать». Присутствие людей лишь угадывается, редко-редко встречается какой-нибудь прохожий на жилых улицах. Нижний – сонный город и по-северному безрадостный, словно уставший.

Увидел я крестьянские базары на Новой и Сенной и понял, что ярмарочное торжище, блестящее разновидными товарами, в сущности, не имеет никакого отношения к здешней жизни. Все тамошнее невесть откуда прибыло и неизвестно куда отправится, оставив на память по себе лишь скоротечное тепло купеческих барышей. Здесь же капуста, картофель и морковь на куцых телегах да разночинная трепанная публика, которую запросто встретишь в любом другом городке.

После обеда обошел всю Кожевенную улицу, ничего не купил.

Говорят, здесь, на Скобе, в Нижнем под кремлем посаде, было самое торговое место. Якобы на этой площади Минин и призвал сограждан к походу на Москву во времена Смуты. Но, глядя вокруг в наши дни, никаких следов тех славных времен уже не угадываешь. Возможно, народ

измельчал. Возможно, все в нашей истории было несколько иначе, чем мы хотели бы думать, пытаясь установить в череде вопросительных знаков очередной восклицательный знак.

Но теперь я вижу лишь баб с грязными детьми, что грызут копеечные калачи в благотворительных чайных – и здесь тоже нелепая колоннада! – сальных прохиндеев с незаполненными бланками поддельных документов и карточных шулеров, а с ними и откровенных душегубов, что не погнушаются утопить в реке, если проигрался да долг не выплатил. Вижу подвыпивших кучеров, бурлаков, рыбаков, бродяг и спускающих все до последней нитки в омуте распутства мастеровых. Теперь Скоба – самое злачное место Нижнего. И, как во всяком порту, носится здесь неистребимый запах каленого в кузнях железа, прокисшей мочи и рыбы.

Рыбный дух вездесущ на всей Рождественской. Настигает тебя то нотами болотной тины, то ароматной копченостью, то укропным в ухе отваром, а чаще – сладостью стремительно вызревающей на жаре тухлятины. Рыбу и в моем ресторане подают во всякое время суток и что только с ней ни вытворяют, как только ни приготавливают.

Просмотрел местные газеты – ничего ценного в дополнение к словам Петра Белого для себя не вынес, кроме одного материала о строительстве судов в Сормове. Об этом заводе – он расположен вверх по Волге от города – я еще в Петербурге слышал; там вот люди и вправду делом заняты.

Рассказ Свистокова (ударение на второй слог) показался мне выспренним и колченогим при этом – бытописание с натужно вставленными фрагментами бытовой же философии. Пару раз автор прошелся по самому краю пошлости, но надо отдать должное, удержался.

В то же время меня удивила смысловая плотность текста. Обычно графоманы изливаются свободно, заполняя листы пустопорожними наборами слов без всякого счета. Этот же перед каждым новым предложением, словно наполнялся словами, накапливал их, долго терпел внутреннее давление, а потом испускал порционными струями.

Кровеносные сосуды текста были тут и там пережаты – багровели узлами и лишь изредка провисали прозрачной пустотой сюжетных связок. Текст словно не мог вдохнуть.

Не знаю, чем это объяснить – общей нервозностью автора, его боязнью потерять мысль или скупостью слога, – но так или иначе этот «Разговор на веранде» очень меня раздразнил.

Я подумал, что при встрече стоит все-таки похвалить творчество Игоря Ильича, хотя бы из-за его благожелательного со мной обхождения.

Решился-таки вернуться на ярмарку.

Очень много сибиряков – мех, ценная древесина, орехи кедровые и обратно рыба, только уж в местных реках не встречаемая, – у них здесь есть даже собственная пристань со складами и амбарами. Сколько ни встречаю сибирских людей, всякий раз кажется, что они чем-то неуловимым, но явным отличаются от нас, западных русских. Даже анатомически не совсем такие же. Разрез глаз, форма лица, соотношение частей тела, не говоря уж о манере говорить и строить речь, походке и осанке, – вроде схожи, но все-таки нет. Всякий сибиряк, которого я знаю, – из Иркутска, Тобольска, Красноярска – заслужил безусловное мое уважение.

Разумеется, выделяются китайцы и персы. Я не разбираюсь – может быть, туркмены и представители других азиатских народов, но в таких же просторных одеждах, укрытые ими чуть не с головой, или расшитых бисером шапочках и фесках. Может, и турки, допускаю.

Купил у китайца великолепную чайную пару с круглыми, как они умеют изображать, полнощекими утками.

Часты и европейцы – немцы, французы, англичане, – но эти уж как свои. От них ко мне повеяло Петербургом.

Москвичи особняком стоят, хоть и наши, с улыбчивой хитринкой, мануфактурой лишь выделяются. При мне один английский фабрикант ситец по образцам выбирал, речь заводил о многих центнерах полотна, обговаривали сроки поставки. Заметили мой интерес – в сторону отошли.

Удивило меня еще и то, что, несмотря на многочисленную общину татарскую, в Нижнем нет ни одной мечети, только вот ярмарочная, как цирковой павильон, во время торгов лишь открыта. Казанцев и правда встретил во множестве. Причем торгуют не только своим товаром, но и скупленным в других местах. В их лавках чисто и опрятно. Предлагают лошадей и баранов – неужели и скот сюда по рекам таскают?

В одном месте видел, как явно русский коммерсант, прилично, но с небрежностью одетый, в шелковом жилете и с золотой цепочкой часов, пританцовывал под татарскую переливчатую мелодию. Казанцы прихлопывали ему в ладоши в такт музыке. А один из них устремился к русскому, видимо, с женской партией танца. Вокруг собралась толпа зевак. Я справился, кто таков. Сказали, что Михаил Палеев, старший сын нижегородского пароходчика. Я вспомнил Андрея Палеева, председателя Первого индустриального банка; уточнил, не родственники ли, мне подтвердили: мол, да, братья. Я усмехнулся, дивясь, насколько все-таки тесен мир, в котором можно без следа и выхода потеряться.

Нагулялся я по ярмарке вдосталь. Утомился не столько шагами и толкотней, сколько впечатлениями. Шум ее и размах изнутри иначе воспринимались, чем снаружи, когда я впервые ее увидел – просто очень большой и пестрый базар на поверку, видишь и слышишь только то, до чего можешь непосредственно дотянуться. И бредешь по бескрайним переходам от одной лавки к другой, как по дивному сказочному городу. Даже и знакомым, пусть лишь по книжным иллюстрациям, все вокруг кажется – как знать, может, из описаний тех книжек местные образы и слагались.

Тот же Спасский собор, за которым ярмарка, наконец, сходит на нет – попросту малый Исаакий. Как местные особняки, пусть и в один пузатый этаж, но с колоннадой и портиком, так и собор здешний – до купола едва ни рукой достать можно, но возведен все-таки с непосредственным имперским величием.

Кроме чайной пары, купил поразительной красоты альбом иллюстраций «Тысячи и одной ночи», подумал, что он

составит хорошую память о ярмарке, и – зачем-то – круглолицые настольные часы. В этих металлических ладно сделанных штуковинах есть некая герметичность форм – при известных навыках и умении их можно разобрать до мельчайших деталей, а затем собрать заново в нечто единое. На каждой из частей имеется свой паз или выступ для другой, соседней. Мне особенно нравится думать, что при вторичной сборке часы могут обрести новую, отличную от прежней форму.

На обратном пути зашел в банк Рукавишниковых – самое помпезное здание на Рождественской, с огромными окнами и каменными фигурами на фасаде. Еще в Петербурге я договорился о денежном переводе сюда во избежание дорожных превратностей и надумал снять некоторую сумму.

Зашел с улицы, словно в тайную комнату попал – здесь тихо и покойно, несмотря на множество людей. Банковские служащие неторопливы, но расторопны, вышколенными официантами хлопочут вокруг рассаженных за столами клиентов. В руках лишь у них не тарелки, а шелестящие нулями бумаги, так аккуратно носимые, словно бы сами они из сусального золота.

Пока я ждал своей очереди, расположившись в кресле, кажется, единственный в операционном зале с барахольной сумкой, подумал, что вероятно именно здесь, на Рождественской, Нижний и сплетается своими разнообразными проявлениями провинциального городка, грязного натруженного порта и рассыпающейся богатством ярмарки. Ремесленники и панельные девки, торговцы и губернские чиновники, семинаристы и мещане, что кружат сейчас за этими стенами, все совмещаются в единое целое в этом самом клерке, что сейчас подходит ко мне с видом театрального герцога, чтобы тут же предстать моим лучшим другом: «Чего изволите?»

Зашел к Свистокову за маршрутными листами. Он был по-прежнему приветлив и будто бы ожидал меня – сразу передал собранную папку. Я вытащил из кармана газету

с его рассказом: «С интересом прочитал и должен сказать…» Игорь Ильич стушевался и выбрался из-за стола, стараясь отойти подальше, словно боялся расслышать мои слова, затем приблизился и жадно заглянул в меня, шевеля пальцами. Я отсыпал приличную горсть комплиментов его писанине, стараясь быть в меру сладкоречивым. «Конечно, можно что-то доработать – всегда ведь можно сделать лучше, согласитесь, – но в целом….»

– Вы считаете?

– Уверен.

«Тогда, пожалуй…. – Игорь Ильич метнулся к столу, приноравливаясь своим неловким телом к его всесторонним углам. – Не сочтите за дерзость…» – и вынул из ящика брошюру, жидкую, цвета хлеба с отрубями. Протянул мне : «Вот. Буду счастлив узнать ваше мнение». Я внутренне фыркнул – это был уж целый сборник рассказов Свистокова (ударение на второй слог). «Хорошо, с удовольствием».

– Может быть, встретимся, ну скажем, в пятницу? Не здесь. Вы еще будете в городе?

– Что ж, давайте.

Я планировал пробыть в Нижнем неделю-полторы, но пока не знал расписания пароходов, а потому до пятницы, уж конечно, не уеду. Сегодня вторник.

Свистоков решился пригласить меня к себе на квартиру, которую снимал в доме Попова на Большой Печерской. Условились, что я подъеду к шести часам.

Вновь был на ярмарке.

Весь Нижний обхаживаем за пару-тройку дней, смотреть здесь особенно нечего, если вы праздный наблюдатель, – из развлечений одни лишь трактиры и магазины.

Побродил вокруг кремля. Он давно в запустении, медленно превращается в развалины, зарастает мусорным кустарником, из тенистых углов даже сейчас, в жару, тянет сырым кирпичом и грибами. Здесь, наверное, раздольно гимназистам играть в разбойников или читать в уединении Вальтера Скотта. Или влюбленному юноше сидеть на закате под башней над все той же Скобой и воздыхать. Тайницкой, кажется, та башня зовется.

Чудный сквер на Черном пруду с курортного вида беседками. Мне показалось, что в контуре этих сооружений и их оформлении явно читаются ориентальные мотивы. Здесь место для семейных прогулок – чинные пары с детьми и приготавливающиеся молодожены. Я встретил также дряхлую уже мещанку, которая пришла покормить голубей – опирается на палку, тяжело ступает, трясущейся рукой достает из мешочка ломти хлеба; голубиным пометом здесь выстлана целая площадка под липами.

Но вся общественная жизнь – и деловая, и культурная – сосредоточена на ярмарке. Видимо, только с ней и просыпается. Здесь не только свои храм и мечеть, но и единственный на всю округу театр. Говорят, в Нижнем был некогда свой, крепостной театр князя Шаховского, но он то ли сгорел, то ли был перестроен во что-то более городу необходимое.

Я посетил водевильную постановку «Девушка-гусар», но следил не столько за игрой актеров, сколько за публикой. Подумал, что в репертуаре должна быть и пьеса «Дочь иерея», для парности, так сказать, фривольной. Вспомнил, что Шекспир писал для таких же вот ярмарочных подмостков, но триста лет тому назад – быть может, это многое объясняет.

После спектакля выжидал снаружи, наблюдая, как и в какую сторону разъезжаются зрители – показалось, что многие здесь же на ярмарке и растворились за гостеприимными дверями трактиров. Заметил несколько лишь пар, которые в жеманной провинциальной манере сторонились всех остальных.

Нижний – очень скучный город.

Нижегородцы, те, настоящие, которые в городе, как я заметил, очень неприхотливы в одежде. Редкий случай встретить щеголя, даже в банке или в крупной конторе, да и тот наверняка стремится на ярмарку. Все фанфароны, если они вообще существуют в здешних местах, слетелись ныне туда. Тот же Палеев-младший – я постоянно встречаю его здесь среди палаток – расхаживает с озабоченным видом с портфелем подмышкой, ищет дело.

А в целом народ нижегородский сдержанный. Некогда примерили самого скромного вида сюртуки, переделали их под свои рабочие нужды руками местных портных из евреев, да так и ходят – в лапсердаках разного лишь покроя. Рубахи, штаны, сапоги – все одинаковые.

Насколько слышал, погромы сюда не докатились из южных губерний. Но я не осведомлялся отдельно о жизни местной еврейской общины.

Ужинал поздно. В ресторане уже было пустынно, настоявшийся за день горячий запах кухни весь пропитан чадом керосиновых ламп; официант долго оттирал от жирных капель стол для меня. Пока ждал блюда, в полутьме заприметил рядом мужчину явно средних лет, но словно стремительно стареющего – коротко по-мужицки острижен, с круглым лбом и впалыми щеками, видимо, потерял уже много зубов; борода просеяна сединой. Жует рассыпающийся в руках рыбный пирог и приговаривает «пока горяче». Несколько раз произнес с ударением на второй слог. Слог последний, открывающийся щепотью, скрипом разъехавшегося, словно веер, забора, выходил у него совсем по-ребячьи. Напомнил мне обезьянку, что грызет свой банан, поглядывая, нет ли кого вокруг, кто мог бы его у нее отнять.

Когда официант принес запеченную с картофелем свинину, я справился у него, кто это, мол, такой. Я уже многие портреты здесь собрал таким образом, поэтому он совсем не удивился моему любопытству и привычно нашептал: «Художник наш, – повел глазами по стенам, где висели разные картинки, – декорациями пробавляется, ну и столуется по дружбе с хозяином. Тёма Зайцев. Все его так зовут – Тёма, а по паспорту – Артемий. Ладный дяденька, добрый».

Сколько ни бывал здесь, картинок настенных не разглядывал. При первом же визите бросил взгляд по сторонам, счел их простецким украшательством, а позднее уж замылил привычкой. Но сейчас пригляделся. Когда поел, даже взял лампу, подошел рассмотреть ближе. Картинки бумажные, в кустарных раскрашенных рамках, ожидаемо

изображают виды Нижнего. Ожидаемо приукрашивают их яркими ярмарочными красками и непосредственным исключением любых несуразностей городского пейзажа. Тот же кремль выглядит на этих картинках едва не парадным, вокруг него – аккуратные газоны. Золотого петушка на шпилях не хватает, усмехнулся я. Выполнено хорошо, чувствуется и цепкость взгляда, и опытность руки. Но в наше время, когда раскрыты уже все тайны геометрии рисунка, подобная мастеровитость не диковинна, простой лишь наклонности к художеству достаточно, чтобы выполнить хорошо. Теперь мы нуждаемся в чем-то высшем, в авторстве, в уникальном оригинальном стиле, в особом ракурсе. Верно, и прежде нуждались, во времена, когда истинные титаны искусств добирались до самых совершенных форм в отсутствие разработанных практик. Нуждались, только сформулировать не могли. Но сейчас уже можем.

Возвращаясь к своему месту, я заметил, что Тёма этот оставил свой пирог и наблюдает за мной. Я улыбнулся и кивнул ему.

Приехал к Свистокову (ударение на второй слог) с опозданием. Но оно и к лучшему, потому что застал его за хлопотами вокруг стола – хлеб, колбаса, соленья. Игорь Ильич заметно волновался и как на идиота на меня уж не смотрел. Кажется, при встрече мы оба пожалели, что встречаемся вот так, в его крохотной квартирке. Я не хотел думать, зачем он это устроил – быть может, из желания произвести впечатление. Но какое, помилуйте, здесь может быть впечатление – в комнате с низкими окнами, в которой поместились лишь узкая кровать с набалдашниками на спинках, кофейный столик да платяной комод; стулья нельзя было запросто переставить, приходилось переносить их ве́рхом. В углу не прячется, а словно выползти задом наружу пытается закопченная печка, как кот, который застрял в прутьях. Быть может, этот молодой чиновник попросту боялся моего вердикта относительно его текстов и заведомо пытался его спрятать от сторонних случайных ушей. Не знаю. Как не знаю, почему и я на это согласился.

Свистоков достал из угла графин водки и пару стопок. Но тут уж я решительно запротестовал, и он заметался с посудой, плеская на пол и звеня стеклом. «Не тревожьтесь, пожалуйста, я на минуту. Присаживайтесь». Разместились наконец.

Я терялся, что сказать ему. Признаюсь, прочитал не весь сборник, лишь выборочно, фрагментами, в каждом наблюдая все ту же осторожную, неловкую, натужную поступь текста, угловатого, как инструмент землемера. Как и сам Игорь Ильич.

Какие-то фразы своей рецензии я заранее заготовил, но эта его хлопотливость, эта досадная сцена с водкой растрепала и мой настрой. Я говорил сумбурно, ничего так не желая сейчас, как поскорее бы уйти. Из вежливости ковырнул вилкой колбасу, попробовал грибы – грузди, хрустящие, этого года.

Но Свистоков, кажется, и не слушал меня. Воспользовавшись паузой, он сразу выпалил вопрос, нет ли у меня сношений со столичными большими издательствами. Узнав, что, разумеется, есть, словно потеплел, обмяк и приблизился: «Я хочу написать роман», – и осмелел: – «Вы должны мне помочь». Вскочил на полуслове, выбежал из комнаты. Вернулся с самоваром, видимо, с хозяйской кухни.

– Хотя бы чаю выпейте.

– Вот это с удовольствием.

«Да? Хорошо», – опять убежал, на этот раз за чашками.

«Видите ли, в чем дело…» Разлив чай: «Угощайтесь, пожалуйста», – и сам прихлебывая его впустую, пустился в пространные рассуждения о надобности текстов и надлежащих им структурах. «Читатель должен почувствовать, не узнать, а испытать, понимаете, испытать кожей, уколом в самую душу. Или прикосновением, это уж от замысла автора зависит. Может быть, щекотом. Знаете, весенний ветер, едва прогретый солнцем, за шиворот – и ты чувствуешь, что весна пришла. А? Снег кругом, студеный еще воздух, но ты уже чувствуешь, предугадываешь весну, а следом за тем на тебя обрушиваются все впечатления, прежде когда-либо сопутствующие весне. А что собственно случилось? Ничего. Лишь легкий ветер. Зимой ведь

не бывает ветра… Ну, в смысле вот такого, лишь метель, пурга, вы понимаете меня. Ветра так, чтобы не видеть его, не бывает. Ветер ведь молчалив, он лишь вызывает во всем звуки, но сам по себе не звучит. Вот так и текст. Ничего не случилось, но все произошло. Я хочу сказать, что сюжет, эти ходули беллетристики, может и должен быть преодолен. Нет, конечно, нужна какая-то конструкция, на которой можно укрепить, развесить полотно повествования, его не подвесишь за воздух, как шелковый платок. Но главное не это. Пусть читатель сам переживает начало и конец, свои собственные начало и конец, пусть угадывает, да хоть и выдумает их за строчками, или вспомнит. Автор лишь зачинает и сопровождает его переживание. Понимаете? Согласны со мной? Представьте, вы открываете книгу. Она издана сотнями экземпляров, но открываете ее только вы, единственный и безымянный. Как автору коснуться именно вашей души? Она ведь единственная такая. Сюжет способен объединить многих людей вокруг книги, чем он замысловатее, загадочнее, тем более многих привлекает, да, но он не позволяет отыскать человека единственного. Вот в чем закавыка. Вот такой роман я хочу. Пусть и непонятным будет, о чем он, пусть невозможно будет кратко его описать. Но всякая такая попытка должна приводить лишь к воспроизведению всего текста целиком, слово в слово. Хочу сделать так, что потеряй хотя бы одно слово, поменяй его на любое другое – и весь роман рассыплется мертвыми черепками. Пусть читатели, сколько их ни будет, и читают его по-разному, но каждый из них его проживет. Понимаете?»

Я пытаюсь сейчас лишь воспроизвести по памяти, что говорил мне Свистоков. Его мысли заинтересовали меня благодаря уже горячечной манере, с которой он обращался к совершенно незнакомому человеку. По всему было видно, что подобные рассуждения давно кружат бедного Игоря Ильича и он не находил ни собеседника, ни другого способа их выразить. Наверняка пытался записать, думаю, выбросил уже достаточно черновых записей, но все еще не мог оформить до конца. Возможно, и я сейчас достоверно воспроизвожу лишь сумбурность его речи.

Свистоков рассказывал мне о роли глаголов и прилагательных в русском тексте, в который неоткуда взять достаточного числа существительных: «Наш язык не опирается на сущности, он стремится фиксировать состояния. Состояния не познанного, не познаваемого даже. С этими краткосрочными состояниями мы и имеем дело, без малейшей возможности их в точности повторить в любой другой момент».

Рассуждал о том, как сформировать объемную картину повествования – «чтоб не лежала она плоской засаленной картой перед читателем, но окружала его». «Есть предел числа введенных персонажей, состояния которых допустимо отслеживать. Если героев меньше, читатель скучает, если больше, то впадает в тревогу». Тут же упоминал разнонаправленность действия, чередование, смену ритма, интонацию и даже фонетический строй.

Свистоков развернул передо мной целую теорию конструирования текста с тем, чтобы он не столько являлся чем-то определенным, сколько целостно воспринимался в разных подходах к нему – «многоэтажный дом с фасадами, выполненными в различных стилях». Этот заполошно начинающий писатель словно играл в кубики, и я невольно увлекся этой игрой.

– Так напишите этот роман, – сказал я.

Игорь Ильич заерзал и загорелся улыбкой. Я подумал, что он сей же момент и бросится писать.

– Напишу. Обязательно напишу. Вы поможете мне его издать?

Я обещал приложить к тому все усилия и оставил свой адрес в Петербурге.

На обратном пути я внутренне улыбался этому внезапному событию. Нижний словно открыл потаенный люк, и я провалился в него ногой – ну как тут не заглянуть.

Заезжал в пароходство – расстроился. Все места до Казани проданы на пару недель вперед, до Самары или Астрахани можно было бы отправиться лишь через десять дней. Я подумал, что столь длительное ожидание совершенно измотает меня – не представлял уже, чем еще заняться в Нижнем в оставшееся время. Сказал приказчи-

ку, что подумаю, но внутренне уже понимал, что вернусь в Петербург. Наверное. Сегодня еще позволю себе не решить окончательно, но завтра отправлюсь за железнодорожным билетом. Есть, конечно, дилижансы, можно отправиться в Поволжье по суше, но для такого путешествия – в осень, на перекладных, через российские пустоши по бездорожью – нужно иметь твердую надобность. Я же праздно искал, сам не понимая, что именно.

В клиентском зале пароходства вновь встретил картинки Тёмы Зайцева – здесь уж преимущественно виды реки с кораблями разного типа. Заметил их, рука автора показалась знакомой, справился – действительно он. «Плодовит и всеяден, легок и изобретателен», – подумал я, не столько испытывая уважение к мастерству художника, сколько признавая за ним ремесленную ловкость.

Во всяком деле есть такие вершины исполнения, которые непосредственно соответствуют запросам публики, не выше и не ниже, а точь-в-точь, вровень. Вероятно, это самое удачное сочетание, оно обеспечивает взаимное спокойствие и удовлетворение. Все улыбаются, ничей вкус не смущен. Быть может, и правда, что любые претензии на путеводительство излишни. С чего им собственно взяться в достаточно обоснованной степени, откуда произрасти? В ресторане постоялого двора – туристические виды и достопримечательности, в пароходстве – сцены на реке, а случись мне отправиться на почту, наверняка, увижу там изображение хрестоматийного почтмейстера – бравого, на коне, с тяжеленными сумками писем на плечах, или мужественно ползающего в черных нарукавниках по слоистым бумажным горам. Стоит еще раз зайти в банк, посмотреть, какие живописные мотивы выбраны там.

Весь Нижний в сущности такой – соответствующий. Случаются вот свистоковы, в разделах происшествий городских газет прорываются порой одинокие драмы, но в целом он незыблемо умиротворен. По злобным оскалам на Миллионке догадываешься, что горе тому, кто посягнет на это умиротворение.

Чем больше я узнаю город, тем проще принимаю его. Незаметно для себя обретаю соответствие.

Стал замечать повторяющихся на улице людей, не знакомых – дворник, городовой, приказчик из соседней лавки, – а простых горожан, изо дня в день следующих одним и тем же своим маршрутом. Замечать не местными типажами, которых обычно зарисовывают в своих блокнотах путешественники, а конкретными людьми – сегодня он в другой рубахе, этот вычистил сапоги, другой идет с какой-то барышней, корзина яблок, антоновка уже медовая, а рыба у нее вчерашняя.

Тот же Палеев – встретил его на Покровке с отцом, тот не чёсан и одутловат, борода свалялась клочьями, – казанцы с ярмарки попались навстречу в пролетке; тот же Тёма, что засеял своими картинками, кажется, весь город. Как узнал кто он такой, так едва не всякий день замечаю его на Рождественской.

Раз оказался совсем близко к нему – сидел на колоде у строящегося дома, строгал деревяшку. Встретились глазами, я кивнул, он улыбнулся и сделал движение рукой, словно хотел мне что-то показать. «Пока горяче», – вспомнил я (ударение на второй слог). Остановился, в его руке свежевырезанная фигурка медвежонка. Работа грубая, с крупными ножевыми срезами, но зверь не только угадывается, но непосредственно узнается во всех своих хрестоматийных проявлениях. Изображен стоящим на четырех лапах, с характерно выпуклой спиной и низко посаженной головой – тянет шею, словно принюхивается, и правая передняя его лапа едва приподнята, будто собирается, но не решается еще шагнуть вперед к невидимому предмету своего интереса. Удивительно милая игрушка, я невольно рассмеялся: «Красиво». Тёма засмеялся в ответ: «Красиво». Его водянистые глаза светились детской радостью на стареющем лице, словно бы он не вырезал сейчас эту игрушку сам, а нашел ее. Я держал деревянного медвежонка в руках, не зная, что с ним делать, – казалось, что Тёма был готов его мне подарить, отдать просто потому, что в этот момент я оказался подле него. Нелепая доброта блаженного.

– Берите, если нравится. Детишек порадуете.

– Да нет их у меня.

– Все равно берите. Найдутся.

– Спасибо.

Я сунул медвежонка в карман, присел рядом – что же делать.

– Я видел ваши картины. Вы и резьбой занимаетесь?

– Нет. Просто стелют вон полы дубовыми досками, много обрезков – жаль. Дуб – дерево благородное.

– Только и всего?

– Ну а что еще нужно?

– Может быть, угостить вас? Неудобно как-то…

– Бросьте. Это всего лишь игрушка. Пойду я.

Та же налитая баба с калачами – в неизменном красном сарафане (я бы чуял запах пота, если б не ее румяные свежие хлеба), с визгливым голосом и острым носом, которые никак не шли ее дородной полноте. Я покупал у нее по нескольку штук, один съедал сам, остальные скармливал чайкам на реке; рыбаки неприветливо зыркали на меня и приходилось отходить подальше.

Или настоятель Рождественской церкви. Пару раз встречал его, чинно следовавшего на службу – идет, левой рукой наперсный крест придерживает, правой благословляет всякого встречаемого уж без просьб, не глядя, привычкою.

В архитектуре местных церквей эклектика проявляется даже и в большей степени, чем в особняках и казенных домах. Последние все больше к классике тяготеют, как уж говорил, низкорослo пыжатся, а в церквах все стили опробованы – от древнего Владимира до итальянского барокко, – видимо, сказывается коллективное воздействие и клириков, и мирских жертвователей. Строганов вот явно собственное мнение имел крепкое.

Собор же Благовещенского монастыря, что над мостом, у Гремячьего съезда, почти римский – с портиками на все стороны. Мог быть однокупольным, но объем куба зодчие нарушили и семейством маковок шатер обложили. Словно бы скучно им было напрямую копировать, словно бы русскость каплеобразных луковок – озорная каверза.

Вечером притащился Свистоков. Я никак не ожидал встретить его вновь, а потому был раздражен его поздним внезапным появлением. Но он, как обычно взволнованный,

не заметил моего настроения, прошел без приглашения в номер и упал на стул: «Вы должны мне помочь».

– Я все придумал. Но беда в том, что придумал слишком много, сразу несколько сюжетных систем и теперь не могу выбрать. Вы человек опытный – скажите, очень вас прошу, какая их них наиболее перспективна, на ваш взгляд.

– Вы же говорили, что сюжет не имеет значения, – съязвил я, давая выход своему раздражению.

– Ну все-таки, – отмахнулся Игорь Ильич, теперь явно увлеченный гораздо менее теоретизированными вопросами писательского промысла. Оперся локтями в колени и, запустив нервные пальцы в волосы, принялся перечислять свои «сюжетные системы».

– Представьте себе, что в одном месте в одно время встречается несколько совершенно разных, незнакомых друг с другом людей. Пусть будет поезд, или английский клуб, или гостиница – неважно где, не это важно. Но они вынужденно проводят какое-то время вместе. Один из них что-то рассказывает – декамерон, да. А потом они расходятся, и – это главная закавыка – каждый уходит не просто со своим прочтением рассказа, но и собственным особым выводом из него. Это первый сюжет. Запомнили? Второй – это почти обратная ситуация – но теперь лишь двое человек что-то обсуждают, даже спорят друг с другом, но в кульминации понимают, что говорят об одном и том же. Накрутить действие – я потом накручу, но вот он катарсис – они спорят в сущности ни о чем. А представьте, если они спорили до хрипоты, до прямого физического конфликта! Ага, интересно? Третий – на этот раз семья, семья, в которой все так прилипчиво заботятся друг о друге, что даже продохнуть друг другу не дают. Никто не живет собственную жизнь, и всякий из заботы своей всеохватной мешает жить другому. Семья – это ведь хрусталик, в котором сразу все жизненные токи сосредоточены. Ничто не способно с такой же легкостью и непреклонностью уничтожить человека, как его семья. И только она же поддерживает в нем жизнь. Понимаете, что я хочу сказать?

Этот Свистоков и сам путался в своих тайных ходах, и меня в них запутывал.

– Игорь Ильич, дорогой! Ну откуда ж мне знать? Вы приходите и с порога огорошиваете меня плодами своих, по всему видно, многотрудных размышлений. Я не могу их оценивать в такой абстрактной форме, извините.

– Но именно в этом все дело – в структуре. Это скелет.

– Думаю, то, что вы, как говорите, накрутите на этот скелет, определит результат в гораздо большей степени, что структура исходной интриги. Вы же не собираетесь в предисловии знакомить читателя с сюжетной формулой повествования?

– Нет, конечно.

– Ну вот. Помилосердствуйте, ничем не могу помочь. Вам решать, о чем и каким будет ваш роман. Когда допишите, присылайте, как сговорились. Я покажу его паре редакторов со всеми своими лучшими рекомендациями, уверяю вас.

– Я не могу выбрать. И так, и эдак кручу, пересматриваю, по кругу хожу. Извели меня мысли эти до последней возможности. Голова кипит и словно бы изнутри чешется, по внутренней стороне черепа зуд – то ли через рот, то ли через глаза пальцем лезть, унять его, наконец.

– Ну бросьте, успокойтесь. Утро вечера мудренее. Подумайте еще раз, отпустите все мысли, позже к ним вернетесь – время все расставит по местам. Решение найдется, поверьте, обязательно найдется.

Я видел, что Свистоков выматывает себя бесконечным кружением между собственных же абстракций, словно перебирает осколки абсолютно прозрачного до невидимости стекла и уже не понимает, чем они вообще отличаются друг от друга. В задумчивости принялся ломать пальцы, хлопает веками, таращится в одну точку на стене.

Я едва его выпроводил. И уж твердо решил уезжать.

По возвращении домой расхворался – в Петербурге идут дожди, к тому же сказались дорожное утомление и сквозняки. Несколько дней пролежал в постели. По горячим следам составил пару очерков о ярмарке и будничной жизни Нижнего Новгорода. Навязчивый призрак Свистокова (будь он неладен со вторым слогом) парил

надо мной, невольно окропляя текст язвительными замечаниями. Горькие лекарства, которые я принимал, вероятно, тоже проявились в моей работе – вышло упруго и зло. Даже Тёма Зайцев с его уничижительно мальчишеским для стареющего мужчины именем отразился в моих полных разочарования строчках. Доброта, которая лучилась в его глазах, теперь вспоминалась мне как отвлеченность от места и времени, безразличие, праздное любование и леность ума. Его картинки, которые он готов рисовать на любую тему, на расстоянии утратили карамельное простодушие и обернулись такой же пустотой, что и абстрактные конструкции Свистокова.

Никого конкретно не называя, не выводя своих знакомцев в виде архетипических персонажей, я все-таки именно через них смотрел и их образами видел свой Нижний. А заодно и себя самого – мои, в сущности, праздные поиски и привели меня в мир, полный разнообразной праздности. Петербург своим мрачным холодным величием лишь оттенил сформировавшееся представление.

Деревянного медвежонка, уже заметно затертого в моих карманах, я разместил на столе, рядом с пресс-папье.

Под Рождество я навестил своего старинного, еще с университетских времен, приятеля, архитектора Чеснокова. Встречались мельком, договаривались свидеться, но все бывало недосуг. А к сочельнику, когда я решил объехать всех ближайших знакомых, навестил и его.

Рождество я люблю больше, чем Пасху. Чудо рождения содержит в себе ту меру сказки, которая освежающе исключает малейшую потребность в сомнениях. В эти дни, искрящиеся елочным нарядом, даже самый непоколебимый интеллект, даже сам бог интеллекта вынужден бывает признать подобные сомнения попросту глупыми. Возрождение же таит в себе тяжкий будничный труд перерождения. Некую награду, которая должна бы ценится много выше любого самого щедрого дара и дарования, но неизменно вызывает скуку в молочном темечке души.

К счастью, я, заехавший без предупреждения, застал Чеснокова дома за теми самыми праздничными приго-

товлениями, которые и вызывают дух Рождества. Ради меня он оставил детей с няней, и мы разместились в его кабинете. Приятно провели время за разговорами о последних событиях и коньяком, выкурили сигару, я рассказал о своей поездке в Нижний. Предложил ему и самому обязательно посетить город ради ознакомления с характерной провинциальной архитектурой. В ответ Владимир лишь махнул рукой, сказав, что таковой он уже достаточно насмотрелся и теперь прилагает значительные усилия, чтобы преодолеть ее «болотное» влияние. «В Москве, пожалуй, самые лучшие, самые зрелые образцы этой кустарщины, которую мы по недоразумению называем уникальным стилем. Отчасти так оно и есть – дурновкусие, ставшее, по моему мнению, результатом безоглядных заимствований, сформировало уже устойчивый стиль со своими традициями. Но я бы предпочел развивать в нем что-то определенное, не мне решать, что именно, но целостное, а от прочих наслоений и наносов категорически очищаться. Но мы словно бы боимся не угадать правильно».

Мне было приятно вновь оказаться в канве брезгливого академизма.

Но к нам зашла супруга Чеснокова Наталия Никитична с просьбой разрешить ее сомнения относительно вновь приобретенных картин. Владимир самодовольно усмехнулся: мол, в доме стен уже не хватает с изысканным увлечением жены. И в этом его показном замечании хозяина выражалась такая глубокая нежность к своей милой спутнице, что я животом ощутил тепло их дома.

«Два пейзажа и три портрета – на лестнице или в гостиной? Дело в том, что портреты образуют серию. Но не полную – я еще питаю надежду собрать ее целиком», – сказала Наталия, пока мы с бокалами шли за ней.

Картины были выставлены в ряд, на полу, вдоль стен. Владимир глянул на них и спросил, какие жена видит варианты их размещения. Они принялись ходить из гостиной на лестницу, прикидывая на глаз – влево-вправо, выше-ниже. Я же, посчитав, что это дело все-таки не мое, в ожидании разглядывал полотна. Среднерусские пейзажи,

без экспрессии грозового неба, студеной зимы или ослепляющего зноя – безвременье щемящего покоя, которое, ни на чем не останавливая взгляд, манит дальним планом. Мне понравилось настроение и свет, сложно собранный мелкими мазками, едва угадываемый, скользящий. Портреты явно принадлежали одной руке, на всех трех изображена одна и та же девушка-девочка в разные, казалось, годы ее жизни. Она ничем не занята, не помещена в характерный интерьер, просто смотрит на зрителя, как у старых фламандцев. Без нарочитого славянизма русский образ. Я не смогу объяснить, почему так прочитал эти портреты. Поинтересовался, кто автор. Наталия произнесла имя художника, написавшего пейзажи, но я его не запомнил. «А портреты Артемия Зайцева, московского живописца. Правда они прекрасны?»

– Московского?

– Насколько я знаю, да. Друг Саврасова, мне говорили. А что?

– В Нижнем я встречал некоего Артемия Зайцева, местного художника-декоратора…

Я взял один из портретов в руки в намерении пристальнее рассмотреть. Но что я, не будучи ни экспертом, ни даже знатоком в живописи, мог разглядеть в них?

– Да, припоминаю, что он из Нижнего родом. Так что может статься, именно этого Зайцева вы и встречали. Если так оно и есть, то очень вас прошу, не потеряйте с ним связь – его работы очень высоко ценятся. И вот что интересно. Девушка на портрете – это как бы его дочь. Дело в том, что несколько лет назад жена Зайцева умерла при родах, а ребенок вышел мертвым. Рассказывают, что Артемия так это потрясло, что он принялся писать портреты неродившейся дочери, словно бы она жива, представляет, как она взрослеет. Поразительно, правда?

– Надеюсь, не эта история определяет цену его работ, – Владимир подошел ко мне, тоже всматриваясь в лицо изображенной девушки.

– Нет-нет, картины действительно замечательные, и трагедия автора никак специально не афишируется. Я случайно узнала. Да и не уверена, что все это правда. Но если

все так и было на самом деле… Представьте, рисовать с такой любовью, так доподлинно изображать то, чего нет…

– Если все так, то в ней должны отражаться черты ее матери, живого плотского человека. Вероятно, именно ее образ питает автора, – предположил Чесноков.

– Но посмотри, Владимир, – он рисует ее девочкой. Не только девушкой-невестой, а совсем юным созданием, которым вряд ли знал свою жену. Он представляет состоявшееся детство своей жены, как возможное взросление дочери, – он совмещает время.

– Так или иначе, портреты действительно проникновенные. Может быть, повесим их в нашей спальне? Милая моя Наташа… – Владимир нежно обнял жену за моей спиной.

– Очень вас прошу, Архип Авдотьевич, разыщите Зайцева. Я очень хочу покупать портреты этой девушки, наблюдать, как он видит, как понимает ее.

Я молчал. Тёма.

Зиму я провел в Варшаве. Видные профессоры местного университета – славист Залесский и западник Остроще-кин – одинаково заинтересовались моей книгой «Прошлое: рождение, становление, развитие», выпущенной в самом начале прошлого страшного года, и пригласили на творческие встречи со своими студентами. К этому времени мои многословные рассуждения на тему того, каким образом эмоциональное и интеллектуальное воздействие события формирует наше о нем представление, как последующие события эти представления меняют, а значит, могут быть изменены сознательно множество раз, цитировались во всевозможных диспутах. На меня ссылались и те, кто хвалил за проницательность, и те, кто обвинял в обесценивании едва не любых представлений. Мой интерес не столько к познаваемости сущности событий, сколько к ее множественности – я предположил, что мы фиксируем прошлое лишь выборочно, представляя его, скорее, как опрокинутое назад продолжение настоящего, а вовсе не вступление к этому настоящему, – попал в сложный

философский контекст времени. И моя книга принялась проговаривать то, чего сказать не имела.

В Варшаве я провел почти три месяца и получил значительное удовольствие от общения со студентами, наблюдая, как закаляется их сознание между полюсами социальной справедливости и национализма.

Вернулся в Петербург с идеей новой работы под условным названием «Трансформация культуры». Исписал несколько тетрадей тезисами. Но основные из них формировали простейшую схему креста – Экспансия и Заимствование, Островная и Равнинная.

После Пасхи вновь отправился в Нижний. Ехать ранее я не решился, чтобы не смущать патриархальный уклад своим атеизмом в Великий пост – как знать, разыщешь ли в целом городе скоромной еды в эти дни.

Нижний встретил все тем же привокзальным базаром – казалось, даже та мордовка по-прежнему сидела на своих тюках. И ямщик все с той же бородой и широкой спиной, на этот раз лишь укутанной зипуном. Но ярмарочное поле стояло пустым. Лишь редкие магазины открыты да трактиры, и щербато стучит неостановимая тут и там стройка.

Остановился в том же номере – вспомнил, что на кровать нужно садится ближе к краю, чтоб не скрипела, что стул, на котором сидел Свистоков (ох уж этот его второй слог), когда рассказывал о своих сюжетных системах, с чернильным пятном на спинке.

Вечером погулял. Вернуться в Нижний было приятно.

Поутру справился в ресторане, где можно отыскать Зайцева. Сказали, что до последнего времени он жил здесь же на Рождественской, во флигеле дома Блинова, но давненько уже не появлялся.

Я подумал, что наперед нужно проведать Свистокова – что и как у него с романом получается, удалось ли ему хотя бы сюжетную канву выбрать.

В смешливом настроении приехал я в транспортное управление, предчувствуя встречу со всеми странностями Игоря Ильича. И с порога был ошарашен вестью о том,

что он скончался в марте сердечным приступом. Уволился со службы, сказав, что посвятит себя писательскому труду, а потом помер в один день. Я целую минуту, верно, таращился на клерка, который мне это сообщил, неспособный ни осознать ужасное известие, ни тем более его принять. Не нашелся даже, что можно спросить – «как так?», не имеет ни значения, ни описания это практически междометье, выражающее оторопь перед внезапно закрытой у самого носа дверью. Существует ли пресловутый роман, хотя бы в черновиках и был ли он вообще начат – могло бы быть интригой, если бы я хоть отчасти верил в возможность его появления. Но замысел Свистокова интересовал меня не сам по себе, а лишь в качестве проявления одного из замечательных персонажей моих собственных историй; я следил за тем, не проявляются ли в хлопотливых писательских приготовлениях бедного Игоря Ильича некие характерные, типические черты. Но не мог согласиться, что жизнь, которая пряталась и питала мои наблюдения, вот так, разом, оборвалась. Клерк, сухой и пыльный, с приставшими к мундиру ворсинками, в ответ боязливо переминался с ноги на ногу.

Зайцева я не застал. Мне сказали, что он уехал в Москву, но вот-вот должен быть обратно.

Нижегородские сады утопают в цвету фруктовых деревьев – я подумал о том, много ли пустоцвета будет в этом году.

Тёму отыскал на третий день своего пребывания в опустевшем городе. Меня провели в хозяйский дом блиновской усадьбы по черной лестнице на третий этаж. Огромная зала с нависающей по карнизам лепниной, заставленная строительными стремянками. Пол устлан тряпками и бумагой, в углу на самом верху приставной лестницы одинокая скрюченная фигура – Тёма, медленно проводя кистью на длинном черенке, расписывал потолок. Я осмотрелся – примерно метров шестьдесят квадратных поверхности сплошь покрыты изощренным узором. Не сразу разберешь, что именно изображено – в основном нанесены лишь контурные линии. Только здесь, у входа, уже придан

цвет – алый, золотая охра, лазурь, пурпур и целая гамма оттенков зеленого. Я прошел вперед несколько шагов, повернулся назад – потолок мозаичным шатром, словно бы недостроенный, еще лишь сетчатый, повернулся над моей головой в обратную сторону, блистая собранными участками рисунка. Я замечал ориентальные мотивы, но не мог разгадать структуру изображения, настолько плотно были совмещены цвета на нем, настолько широко расходились опорные линии.

Мы встретились с Тёмой глазами. Я улыбнулся: «Красиво». Он улыбнулся тоже и спустился вниз, оставив кисть и палитру на верхней площадке лестницы. Подошел, кивнул головой: «Здравствуйте! Нашли медвежонку место?» Вытирает о фартук руки, выпачканные краской.

– Да. Оставил себе, стоит на моем столе в Петербурге.

– Его бы отшлифовать, расписать, может, лаком покрыть. Впрочем, это ваше дело.

Я рассказал ему, зачем разыскивал. Рассказал, что видел портреты девушки. Он слушал с приветливой улыбкой, не меняясь в лице, так что я было подумал, может, тот Артемий Зайцев и не он вовсе. С осторожностью заглядывая в глаза, спросил, его ли это работы. «Да, похоже, что мои», – просто ответил он. «Можно ли увидеть другие ваши картины?» – «Почему нет, пойдемте».

Тёма привел меня к себе во флигель. Картины раскрашенными холстами на подрамниках стояли на полу вдоль глухой, без окон стены плотным рядом, развернутые боками в комнату. Они словно вытолкнули в тесный беспорядок всю мебель здесь, лишь мольберт с установленным на нем, незаконченным, но без всякого суеверия открытым полотном устоял на своем месте – готовые работы толкались у его ног. На полотне намечалась собственно эта самая усадьба Блинова.

– Не знаю, что вам показать, – выхватил первую попавшуюся картину, дал в руки. Потом еще одну и еще. Все его работы среднего размера – охватны одним взглядом. Стал выставлять их также на полу, разворачивая лицом, раскладывать на кровати, на столе, небрежно накладывая друг на друга. Я не решался спросить о девушке, сказать, что знаю

об его мании. Но думал только о ней, хоть и все больше поражался обилием работ, разнообразием жанров и тем, цветовыми решениями и вольным ветром света, который вскоре уже словно начал покидать картины и смешиваться с воздухом комнаты.

Но вот она промелькнула, та самая девушка. Я вцепился в раму, разглядывая ее неуловимо меняющееся от работы к работе лицо. Оно дышало жизнью.

«Это же ваша дочь», – невольно проговорил я и тут же осекся. Артемий на мгновение замер, встрепенувшись: «Надеюсь. Где-то». Едва заметно скривился внутренней болью. И привычно улыбнулся, пронизав меня острым стыдом за несдержанность.

Я отставил картину в сторону, решив сказать Наталии Чесноковой, что не нашел у Зайцева больше ни одного женского портрета.

Мы проговорили часа два. Артемий не торопился вернуться к своему потолку и не цеплялся взглядом за выставленную на мольберте работу. Так было бы с каждым, кто еще не закончил – в нем сама по себе тянулась бы неусыпная мысль продолжения; прядильщица свивает облако путанной шерсти в едино направленную нить. Но Артемий словно бы никакого продолжения не искал, не ждал, не предчувствовал. Всякая проживаемая им минута, чем бы ни была занята, была равноценной. Он вообще никуда не торопился. Заварил чай, выставил земляничное варенье и с готовностью отвечал на мои вопросы.

Меня же интересовало все – как и почему он начал рисовать, как приходят к нему сюжеты картин. И что это вообще для него – рисование. Я досадовал на собственные формулировки, школярски вырубленные из полного незнания предмета, спрашивал со смущенным смешком, цеплялся за разные сторонние мелочи, не потому, что разбирался в них и был готов оценить и не из желания продемонстрировать осведомленность, но лишь с целью заставить своего собеседника говорить, больше и больше, не останавливаясь. Это был единственный для меня способ понять, из чего состоит то, что он делал. Но Артемий был

односложен и не пускался в объяснения, просто отвечал, заставляя меня вновь и вновь изворачиваться очередным нелепым вопросом.

Рассказал, что родом из мещанской семьи, учился в Московском художественном училище у Василия Перова: «Вот вы хвалите мои рисунки, а портреты и сценки всякие перовские видели? Он ведь словно в темной сокровищнице свет зажигает». «Или Саврасова взять, Алексея Кондратьевича: сколько уж я рассматривал его работы, до последнего ведь штриха, боялся свечой масло на холсте зажечь, но не разглядел, чем они дышат. Так – все понятно, а эдак – именно что красиво. Каждая веточка трепещет, воздух кожей чувствуешь – влажный».

Но мастерство, ремесленничество художника Артемий стороной обходил как малозначимое что-то: «Рыбу ту же надо приготовить, чтобы есть. Но приготовлениями ли рыба вкусна и получишь ли что иное, кроме рыбы, как ни трудись?» То же самое «красиво» он помещал в автора, в самую сердцевину его, средоточие, в корень, но и поверх всяких умений. Коснулся пейзажей – вспомнил о молодом художнике Левитане, мол, приятельствовали в Москве, пока того не выслали. «Вот уж где! Видел я его вечерний полустанок – одной краской ведь, не пишет, рассказывает. Боюсь, присутствовал бы там, на месте, не увидел бы того, что его глазами очевидным образом открылось».

Просто и ясно, снова и снова Артемий говорил о красоте. Без видимого восхищения или преклонения перед ней, без удивления даже ее явлением говорил о красоте как форме бытования окружающего мира. Он видел красоту буквально во всем, сыпал примеры полными горстями. Или замечал что-либо ровно настолько, насколько то было красиво.

Поле, огороженное от вешних ветров аллеями берез. Корова, что пасется на едва различимом холмике луга, – и ты видишь за ней опрокинутую чашу небес. Лесная чаща, сползающая вниз, в темный овраг, в том овраге стоит озеро, в озере стоит рыба. Дом и дерево рядом с ним. Столб печного дыма тянется к небесам, словно рука, которая собирает звезды, чтобы в той печи держался огонь.

В его трактовке красота не обретала никакой функции – ни спасения, ни воспитания человека. В ней не было никаких кодов, знаков, секретов и тайн, которые необходимо разгадать и раскрыть. Его красота не подразумевала даже устремления понять и описать ее. Ни математика, ни музыка, ни архитектура или поэзия, никакое направление искусств или любых других предметных областей не возникали в качестве языка или деятельности из его понимания красоты. Не стоило изучать и познавать ее внутреннюю природу. Артемий излучал лишь любование красотой. И казалось, не слишком даже ею дорожит из уверенности, что красота не может пропасть, исчезнуть.

Упомянул мертвого голубя, чье тело встретил минувшей зимой на дороге, – изъеденный ночными хищниками, распластанный полозьями саней труп вмерз в лед, с раскрытыми крылами застыл геральдической фигурой. Артемий сказал, что очень долго пытался повторить изгиб его шеи на виноградном листе потолочной росписи.

Мне показалось, что увиденная в свидетельствах смерти красота его со смертью примиряет. Что красоту он невольно ищет в смерти, раз уж та существует, чтобы ее принять. Ожидал, что Артемий упомянет Бога, его промысел, установленный чудом Творения порядок вещей. Но его ощущение красоты было безмысленным, он никак ее не объяснял, лишь непосредственно любовался – ни намека на присутствие некоего высшего начала в окружающем мире в его словах не было.

Артемий не смирялся перед смертью из любования красотой – я видел, как он до сих пор переживает двойную утрату дочери и той женщины, которая ему ее дала. Но словно бы ничего, кроме красоты, не считал возможным оставлять после себя в мире, настолько красивом. То была какая-то исключительная душевная гигиена, не мне судить – врожденная или достигнутая.

Я спросил о потолочной росписи. Артемий рассказал о девушке, которая некогда жила в этом доме, но стала жертвой жадной и злой любви, спорящие за нее женихи разошлись сторонами, оставив свою возлюбленную наедине с одной лишь Волгой.

– Она любила китайский шелк – платочки, шали, знаете, эти женские укрывания. Вот хозяин Блинов и решил в ее память оформить залу… Я не учился китайской росписи, по наитию пишу. Как считаете, похоже на их рисунок?

– Мне трудно судить, Китай все-таки слишком далек от нас во всех смыслах. Но красиво! – это я утверждаю уверенно. Завораживает.

– Хорошо. Согревает меня та история, не знаю уж, насколько правдива, – любила, была любима и вся в той любви истратилась.

– Чем же согревает-то?

– Спокойным выбором. Это правильно – делать выбор, когда выбора нет для тебя. Его ведь никогда не бывает. Посмотрите сами – что вам выбирать вот сейчас, в эту минуту.

Я купил две работы Зайцева – ту девушку для Чесноковой и лодки, причаленные на песчаном речном берегу, пустые. Расчувствовавшись, пытался дать больше, чем он просил, но Артемий не взял лишних денег.

Уезжаю из Нижнего с ощущением тревоги.

Вячеслав САФРОНОВ
Дзержинск

ПОЛК ХИРУРГОВ ИВАНКИНЫХ

Ничего не изменилось в жизни Иванкиных после февраля двадцать второго года. В простые дни они работали, в выходные выбирались на природу или отдыхали дома. Но если раньше телевизор включался у них редко, теперь горел непрерывно. Когда сообщалось что-либо о специальной военной операции (СВО), начатой Россией на Украине, Иванкиных было не оторвать от экрана. «Вот стервецы! – кипел от возмущения Николай, слыша извещения об обстрелах донецких городов украинскими военными. – Так им, негодникам! – радовался он ударами наших войск. – Крепче надо!»

Многие россияне не поняли тогда, что происходит, не знали, как жить дальше, и это порождало страх перед будущим. Из-за возможной военной мобилизации часть молодых людей покинула пределы страны. Николай не осуждал их, как и растерявшихся людей. «Поймут, что ничего не изменилось, и будут жить спокойно, как прежде», – уверял он. И действительно, замешательство людей прошло быстро. Боевые же столкновения бойцов СВО с украинскими националистическими формированиями становились горячее.

«Как ни крути, а помогать Донецкой и Луганской республикам придется, – думал Николай, – да и русское население, проживающее в них, защищать от артобстрелов надобно». Раз мирным путем не получилось остановить варварство, резонно будет в ход пускать всю нашу

боевую мощь, убеждал он людей, сомневающихся в важности СВО.

Когда повсеместно началось волонтерское движение по сбору средств и вещей для бойцов, сражающихся на фронте, Николай активно включился в эту работу. Будучи медиком, он проводил ее в больницах и среди медперсонала, закупал оборудование и инструмент. Набралось всего много. А у Иванкина начинался отпуск, ему и предложили сопровождать груз на фронт. И он согласился. «На месте узнаю о происходящих событиях, а не из теленовостей, – подумал он. – Свой глаз – алмаз. Чужой глаз – стекло, веры в него меньше».

Донецкие селения потрясли Николая разрушениями от обстрелов. Еще больше встревожило большое число раненых и недостаток медперсонала. «Мое место врача сегодня – здесь, у боевых позиций,– осознал он. – Помогу, чем могу за время отпуска».

Разыскав командира батальона, Николай сообщил ему, что он врач и желает помочь военной медслужбе. Комбат, мужчина лет сорока, с капитанскими погонами и в пообносившейся, выгоревшей форме, что говорило о продолжительности его пребывания в местах боевых действий, смотрел на Иванкина оценивающим взглядом. «Дать бы ему автомат, а не сумку с бинтами», – думал он.

– Мне айтишники позарез нужны, чтоб управу на вражеские дроны нарыли.

«Мог бы и я айтишником стать, – мелькнуло в голове Николая. – Нет, айтишники – это не мое. Слава богу, что он наставил меня пойти в медицину».

Когда Николаю пришла пора поступать в вуз, он долго не решался какой выбрать. Ему нравилась физика. Два года он даже физический факультатив посещал. И мог бы на мехмат пойти, как его друзья-одноклассники. Но и медицина, с которой знаком был с детства, влекла ничуть не меньше физики. К тому же профессия медика была традиционной у Иванкиных. И он не решился нарушать ее.

– А ты, говоришь, медик, – продолжил комбат. – Тоже годится. Санитаром могу взять в медроту. Пойдешь?

Николай не ожидал, что ему, доктору, дадут работу санитара.

– Медсанбат в мои правомочия не входит. А вот санитаром в медроту как волонтера взять можно.

– Согласен, – решительно ответил Николай. «Помогать следует, где просят, а не где тебе хочется», – подумал он. – В медроту так в медроту.

– Но здесь стреляют и снаряды рвутся. Не боишься быть убитым?

– Понятное дело, что стреляют, если все дома без крыш и окон, – ответил Николай. – Я не из пугливых. Но как карта ляжет.

Такой ответ волонтера понравился командиру батальона, и он направил Иванкина в медицинскую роту.

– Понюхай, чем жареное на фронте пахнет, – добродушно улыбнулся Иванкину.

Медрота, вместе со штурмовой группой, располагалась в блиндаже, находящемся в красной зоне, то есть поблизости от линии соприкосновения. Ее санитары и фельдшеры, выходя на позиции, оказывали экстренную помощь раненым, после чего отправляли их «на ноль» к врачам или дальше, в госпиталь.

Мимо места дислокации медроты шли бэтээры и другая техника. В машинах передвигались одетые в форму молодые мужчины, бодрые духом, с веселыми глазами и уверенными лицами. Время от времени доносились звуки залпов и взрывов. Это и была та самая зона соприкосновения, ранее о которой Николай слышал лишь в репортажах. Кругом стояли разрушенные дома, напоминавшие кадры из военных фильмов. «Эти раны следует лечить одним средством – уничтожением врага», – думал Николай.

Он сменил гражданскую одежду на военное обмундирование, доставшееся ему от выбывшего бойца из штурмовой группы, и получил медицинскую сумку со всем необходимым для оказания оперативной помощи. Почти всю свою первую ночь в медроте Николай практически не спал. Он лежал с закрытыми глазами, и в голове его рисовалась картина предстоящего выхода на позиции. Она походила на кадры из старых фильмов о войне: по открытому полю

большой отряд наших солдат с криками «Ура!» и оружейной стрельбой бежит в сторону неприятеля и натыкается на встречный пулеметный огонь. Некоторые солдаты падают убитыми и ранеными. К ним спешат санитары. А немецкие пулеметы все бьют и бьют. И уже меньше остается санитаров, а число павших наших бойцов, наоборот, увеличивается. И в этом огненном аду от раненого к раненому, пригнув спину, перебегает он – Николай. Рисовались ему и другие, не менее спокойные сцены. В реальности же, а не во сне, все происходило иначе.

Уже на следующий день по прибытии в медицинскую роту в ее составе Николай шел вслед за выдвинувшимися на боевое задание бойцами штурмовой группы. Это были проверенные боями люди: смелые, опытные и хваткие, как тигры. Казалось, что все они спокойны и равнодушны к предстоящей схватке с врагом. Их лица не выражали ни радости, ни печали. Слышно было, как некоторые нараспев шептали слова полюбившейся песни «Дай ему сил»:

…И не шагу назад, пускай дождь или град
Он не ради наград…

«Видимо, хорошая песня», – решил Николай.

– Часто поете, отправляясь на позиции? – спросил Николай одного из бойцов.

– Да всегда поем. С песней и побеждать и умирать легче.

– А о чем думаете обычно перед боем?

– Каждый о своем, – ответил боец. – Я, например, бывает, о семье вспоминаю. Чаще же об оружии думаю, а иногда вообще ни о чем. Идешь, смотришь под ноги, чтобы не споткнуться или на мину не наступить, – вот и все думы мои.

Дольше пообщавшись с бойцами, сблизившись с ними, Николай понял, что их спокойствие основано на стойкости духа и неприязни к врагу, без чего выполнить боевое задание невозможно.

Шли молча и быстро. Николай озирался по сторонам, вглядывался в серую от дыма даль, вслушивался в тревожную тишину. Ничего подозрительного не замечалось. Неожиданно со стороны, в которую направлялись бойцы, началась стрельба. «Значит, подошли уже близко к их око-

пам», – подумал Николай. Били плотно и, казалось, со всех сторон. Только санитары залегли, укрываясь от обстрела, как стали рваться вражеские снаряды. Когда стрельба затихла, медрота двинулась вперед, к своим бойцам. Хотя они и сменили диспозицию, обстрел повторился. Пошла обоюдная перестрелка. И такое чередование продолжалось весь день. К счастью, ни убитых, ни раненых среди своих не оказалось. Хотя перевязывать и тащить никого не пришлось, Николай еле волочил ноги.

– Еще пару таких вылазок и привыкнешь, ноги перестанут болеть, – подбадривали его опытные санитары.

– Если не убьют, – тихо ответил Николай.

На другой день было гораздо горячее. Сопровождаемые артиллерийским огнем, националисты из «Азова»* пошли в наступление. Сидевшие в засаде бойцы СВО открыли встречный огонь. К ним поспешила подмога, заработали наши орудия. В это пекло направилась и медицинская рота с Николаем.

Еще до выхода на задание ему подсказывали: «Увидишь, наш лежит, подай сигнал, что спешишь на помощь. Без этого он выстрелит или бросит гранату, ведь на твоем месте может оказаться и вэсэушник».

Прибыв на линию соприкосновения, санитары рассредоточились для поиска раненых. Николай обнаружил лежащего на земле и стонущего бойца. Лицо и рука его были в крови. Парень находился в сознании, но казался очень испуганным. Он с мольбой смотрел на Николая. Одна его рука была замотана бинтами, покрасневшими от крови.

– Что с головой? – спросил Николай.

– Ничего страшного. Нос разбил о камень, когда упал от взрыва.

– А рука? С ней что?

Раненый показал на лежащий рядом человеческий палец. Больше он не произнес ни слова, лишь стонал.

– Сейчас посмотрим, что тут у тебя, – участливо произнес Николай.– Будет больно. Ты, брат, уж потерпи.

Николай осторожно размотал бинты, через которые продолжала сочиться кровь, и увидел кисть без двух пальцев.

---

* Запрещенная в России террористическая организация.

Обработав рану и забинтовав ее, он поинтересовался, где же другой палец.

– Этот висел, как на ниточке, и я оторвал его. Другой улетел куда-то.

– Пришить палец не удастся, поскольку весь раздробленный. Однако тебе повезло,– приободрил Николай раненого. – Пальцев-то ты лишился на левой, а не на правой руке. И моли Бога, что не всю руку оторвало или осколок в голову не попал. Так что не переживай, боец.

Иногда бойцы штурмовой группы на выполнение заданий брали и Николая. В свой очередной выход в зону огневого контакта с противником он надел бронежилет с каской, спереди на пояс прикрепил укомплектованную всем необходимым санитарную сумку, на грудь, стволом вверх, повесил выданный автомат и пристроился к концу отряда. Навыки владения автоматом, приобретенные на службе в армии, на передовой могли пригодиться в любую минуту.

Это была роковая дорога. Николай инстинктивно озирался вокруг. Стояла гнетущая, жуткая тишина: в оставленной жителями деревне не тявкали собаки, не каркало воронье, молча стояли искалеченные взрывами редкие деревья. В любой момент группу могли накрыть американские «Хаймарсы», прилететь вражеские вертолеты или тяжелые беспилотники, прозванные «Бабой-ягой».

Николай не ощущал страха. У него появился даже откуда-то взявшийся задор: «Вот спокойно прошли еще сто метров. Раз, два, три… Вот еще сто…» Этот счет прервала разорвавшаяся невдалеке мина противника, затем еще одна и еще. Бойцы дали знак Николаю, чтобы он залег, укрылся, а сами двинулись дальше.

Когда минометная стрельба стихла, Николай решил осмотреть местность. На вспаханном минами поле он увидел двух раненых и растерялся: «Кому первому оказывать помощь?»

– К нему поспеши, – указал находившийся ближе боец на своего товарища, – он тяжелый, а я потерплю.

Николай нагнулся над бредившим бойцом. От него пахло кровью, потом и опаленной одеждой. Это был парень

лет двадцати восьми. Его левая рука выше локтя была в крови. Правой рукой он прикрывал рану на ноге. Разрезав одежду, Николай увидел на обеих ногах несколько осколочных ранений. В ране на руке обнаружилось повреждение плечевой артерии.

Первым делом специальным зажимом он остановил кровотечение, затем проверил сердцебиение. Хотя оно не вызывало опасений, Николай все же ввел в вену инъекцию адреналина. «Теперь, герой, дышать тебе будет легче», – заверил он бойца. Затем ввел ему столбнячный анатоксин и перебинтовал ранения гемостатическим бинтом, наложил жгут, а на лбу раненого маркером записал время.

Только после этого Николай посмотрел по сторонам. Не обнаружив ничего подозрительного, он взвалил раненого на спину, благо тот был невысокий и худощавый, и перенес его в ближайшую ложбинку. Еще раз окинув глазами местность, Николай поспешил к другому бойцу. Но того на месте не оказалось. Как потом выяснилось, его забрала эвакуационная группа. Оказав помощь еще нескольким раненым бойцам, Николай побрел на базу.

Промокший и озябший, он осторожно шел по бездорожью, словно по тонкому, хрустящему льду реки. В открытом поле для врага он мог быть хорошей мишенью. Впереди показались кусты, в которых человек становился незаметным. «Еще немного, и я дома», – предвкушал санитар.

Вдруг сзади раздался взрыв. Николай споткнулся и упал, напугав взлетевшую из гнезда птицу. «Бежать, быстрее бежать, пока еще раз не шарахнуло», – решил он. Быстро поднялся на ноги, осмотрелся по сторонам, пригнул голову и устремился вперед. После дождя, земля была грязной, липла к обуви и сдерживала торопливые шаги. Серые тучи рассеялись, и тут же в небе показался бесшумный дрон. Бум, бум, бум – стучало в висках. От боязни, что может подорваться от гранаты, сброшенной с дрона, или на мине, проступал холодный пот. Участившиеся вдалеке разрывы усиливали страх.

Позже, лежа в постели, Николай вспомнил поэтические строки Юлии Друниной:

Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

«Да, страшно, конечно же, и бойцам тоже, – думал он. – Страшно, когда со всевидящих дронов на головы сыпятся осколочные мины, когда рвутся пушечные снаряды или прицельно бьет вражеский скорострельный пулемет, когда натыкаешься на тела убитых бойцов».

Вместе с тем у Николая возникали несхожие со страхом вопросы: «Почему при обстрелах большинство укрывается, а отдельные бойцы даже головы не наклоняют и остаются живы, словно заговоренные? Может, и правда смелого пуля боится? Или это усталость от войны?» Ответа на это не находилось. Но он знал точно, что рисковать без крайней необходимости бессмысленно, страх помогает стать осторожнее, приспособиться к тяжелым условиям. «В конце концов, – убеждал он себя, – страх способствует развитию чувства уверенности в борьбе с противником».

Для оказания помощи раненым и их эвакуации из зоны боевых действий требовались не только умение и внимательность, но и сила. В мирной обстановке ее хватало. Здесь же она восполнялась за счет каждодневной рабочей накачки и осознания важности выполняемого дела. За короткое время отпуска Николаю довелось помогать бойцам как с разными ранениями, так и в самых непредвиденных ситуациях.

Однажды БТР подвозил бойцов к месту боевых действий. Впереди шел танк, а БТР – в пятидесяти метрах от него. Когда до места высадки было уже недалеко, БТР вырулил из танковой колеи и подорвался. Хорошо, что мина оказалась пехотная, но ранения все же были. Следом за бойцами шла санитарная «буханка» с Николаем. Он оказал раненым первичную помощь и возвратился с ними на базу.

Обычно Николай был хладнокровным, но не бездушным человеком. Все несчастные вызывали у него чувство жалости: одни больше, другие – меньше, в зависимости от тяжести ранения. Но однажды, оказывая помощь бойцу, он ощутил иное чувство. Раненый вместо жалоб и просьб заговорил о штанах, разорванных в клочья.

– Тебе ноги порвало, а ты о штанах переживаешь, – смеялся Николай.– Подлечишься, новое обмундирование получишь.

Иванкин понимал, что санитары на войне – значимые люди. Свою работу им приходится выполнять в весьма опасных условиях, и никто из них не застрахован от гибели. Не был исключением и Николай.

…В тот день, как обычно, медрота выдвинулась вслед за бойцами штурмовой группы. Издалека доносились звуки разрывов снарядов и автоматной стрельбы. До лощины, поросшей лесом, бойцы ехали на бэтээре, а санитары – на «буханке». Затем озираясь вокруг шли пешком. Через километр увидели сидящего у кустов нашего бойца. Одной рукой он опирался на палку, а другой звал на помощь. Обе его ноги были в крови. Санитары решили, что с раненым останется волонтер Иванкин, а сами двинулись дальше.

Николай уложил раненого на траву, склонился над ним и начал, как обычно, оказывать помощь. Боец молча смотрел в небо. Вдруг он зашевелился и стал что-то непонятное шептать. Николай взглянул вверх и увидел пролетавший рядом дорон. Бежать куда-либо было поздно, а укрыться негде. Но дрон улетел. «“Птичка” не заметила, – успокоился Николай. – Сейчас сделаем укольчик, наложим повязки и мало-помалу пошагаем на базу».

Вдруг у раненого бойца глаза расширились, рот открылся, словно он вновь хотел что-то сказать, но не мог выговорить. Это встревожило Николая. Он поднял голову и на миг растерялся. От кустов, приближались три вэсэушника. Они не стреляли, видимо, решив взять санитара с раненым бойцом в плен. У Николая сработало чувство самосохранения и решительности. Он схватил лежавший рядом автомат бойца и дал в сторону врага длинную очередь. Они в свою очередь тоже открыли огонь. «Нет, так не пойдет, патроны надо беречь, бить только прицельно», – решил Николай. Вэсэушники расползлись и начали стрелять с трех сторон. «Врешь, не возьмешь!» – чуть не закричал Николай, увидев, что один из неприятелей прекратил стрельбу. Через минуту замолчали и два других. Их уничтожили возвратившиеся наши санитары.

– Вот повезло-то мне, что вы так быстро вернулись, – радовался Николай.

– Услышали стрельбу, поняли, что к чему и поспешили на выручку.

Только сейчас Николай осознал, в какой безнадежной ситуации он оказался с раненым бойцом.

– Да ты, друг, не переживай. Здесь и похлеще случается. Увидишь еще.

Дни действительно проходили в каждодневных испытаниях. В опасных случаях в головах людей иногда появлялись странные мысли. Однажды у Николая спросили:

– Что разумнее, спасать людей, когда стреляют или спасаться самому?

Ломать голову над подобной теоремой ему не приходилось.

– Помогу бойцу. А Бог даст, тогда и сам выживу. Так по совести будет, – не задумываясь ответил Николай.

– А я однажды струсил, – признался санитар, – был грех.

– «Не согрешив – не покаешься, не покаявшись – не спасешься», – говорил в рассказе А. Горького ротмистр Аристид Кувалда. А ты, брат, покаялся. Вряд ли еще раз совершишь подобную низость.

Николай верил в раскаяние. Помощь больному, раненому была для него святым делом, а потому предпринимал для этого все возможное и невозможное. Это гуманное, человечное качество он перенял от своего отца, деда и прадеда Патрикия Семеновича, который тоже был медиком.

* * *

Когда Николай сообщил родственникам о своем решении поехать в отпуск волонтером в войска СВО, отец спросил, справится ли он в необычной и очень сложной обстановке. Николай ничего не ответил на это, лишь перевел взгляд на портрет прадеда, Патрикия Семеновича. Все поняли, что возражать против поездки бессмысленно.

Портрет Патрикия Семеновича появился задолго до рождения Николая. Еще его дедушка заказал картину мест-

ному художнику. Она получилась удачной и была повешена на самом видном месте квартиры. Любой пришедший в дом непременно замечал ее. С картины смотрел немолодой уже человек с чуть прищуренными, мягкими, лучистыми глазами и едва уловимой умненькой улыбкой. Его голова была пострижена под полубокс. На двубортном пиджаке старинного покроя красовался орден. Все впервые видевшие портрет непременно спрашивали, кто изображен и за что он получил боевую награду.

Не единожды спрашивал о нем и Николай. Он с детства знал, что это его прадед Патрикий. Как отец и дедушка, он тоже был хирургом. Став немного постарше, Николай часто обращался к деду с просьбой рассказать о своем предке.

Дедушка Николая, Григорий Патрикиевич, с удовольствием откликался на просьбу внука. Он доставал семейный фотоальбом, садился за стол, подзывал к себе внука и, перелистывая страницы с фотографиями, начинал отвечать на вопросы. Парень много раз видел уже пожелтевшие снимки, но снова и снова смотрел на них будто в первый раз.

– А кем был папа Патрика, тоже медиком? – интересовался внук.

– Нет, он был сельским священником.

– Почему священник дал своему сыну необычное имя? Так ведь никого не зовут.

– Это сейчас такое имя не в ходу, хотя и присутствует в православном церковном календаре, а когда-то оно было на слуху. Большинство священников считали, что будущее человека тесно связано с его именем. Поэтому отец Патрикия и выбрал своему сыну необычное сегодня имя. Патрикий – благородный, знатный значит.

– Ух ты! – воскликнул мальчик. – А он тоже ходил в школу?

– В их селе была церковно-приходская школа. В ней Патрикий и учился.

Когда внук стал постарше, то Григорий Патрикиевич более подробно рассказывал о жизни его прадеда.

– Патрикий тоже хотел стать священником. В 14 лет, после школы, поступил в престижное учебное заведение –

Нижегородскую духовную семинарию, расположенную на Семинарской площади, напротив кремлевской стены. Семинаристы находились на полном обеспечении: еда, форма, проживание, как и обучение, – были бесплатными.

– Как в военном училище?

– В чем-то сходство есть, но дисциплина в семинарии была строже. Семинаристам запрещалось читать книги по своему выбору, одеваться по-светски, посещать увеселительные заведения, на улице общаться с девицами. Каждую субботу и воскресенье они посещали Благовещенский собор и Алексеевскую церковь, что стояла в начале одноименной улицы. Проучился Патрикий в семинарии шесть лет и мог бы стать проповедником веры и священнослужителем или учителем на гражданской службе. Но судьбу многих таких же семинаристов своим отрицанием Бога поломала революция. Духовные заведения повсеместно позакрывали, а людей духовного сословия советская власть признала изгоями общества.

– И что же с Патрикием стало?

– Через год после революции его призвали в армию. И он стал красноармейским стрелком. Хотя шла Гражданская война, стрелять ему не довелось. Патрикий служил в Нижегородском кремле. Белые казармы гарнизонного батальона находились в двухэтажном здании в центре кремля, недалеко от Архангельского собора.

Отбыв двухгодичную воинскую повинность, Патрикий решил поступить в институт. Наиболее престижными считались тогда технические вузы, выпускавшие инженеров. В них был самый большой конкурс. В это время, в 1920 году, в Нижегородском университете открылся медицинский факультет, желание учиться на нем изъявляли большей частью выходцы из семей интеллигенции. Но в первую очередь в вузы принимали детей рабочих и беднейшего крестьянства. Это было важнее даже уровня знаний абитуриентов. А для сына священника, «нетрудового элемента», дорога в вуз была закрытой. Но недавнему красноармейцу Патрикию духовное происхождение не стало препятствием для поступления в университет. Успешно сдав экзамены, он был зачислен на медицинский

факультет. Много лет спустя бывший семинарист признавался, что это был выбор, продиктованный свыше. Он рассказывал, как несказанно радовался поступлению в вуз: «Уж если церковь и дорога к людским душам для меня оказались закрытыми, то в больнице путь к человеческой плоти оставался свободным».

– Нелегко, вероятно, ему было жить и учиться?

– Человеку из духовной семьи, с его каждодневными молитвами, посещением церкви, со вселюбием и определенными житейскими ограничениями, не просто было общаться с людьми, считавшими Патрикия классово чуждым элементом. Спасала военная форма, оставшаяся после службы в армии. В ней он ходил на занятия, гулял по улицам, сдавал экзамены. Были трудности и другого характера. На голодный желудок хорошо вузовский материал не усвоишь, а стипендии в семьдесят рублей даже на скудное питание не хватало. К тому же, обучение в вузах через два года учебы стало платным. Приходилось подрабатывать то грузчиком, то сторожем или дворником. Несмотря на житейские трудности, Патрикий учился хорошо. Профессора, большей частью из «бывших», отмечали незаурядные способности недавнего красноармейца. Но в 1922 году начались чистки. Оставляли учиться только студентов из рабочих и крестьян. Тогда же на священников, как после революции, нахлынула волна гонений. Попал под нее и поповский сын Патрикий. После четвертого курса его, почти врача, администрация вуза исключила из университета.

– Как же, недоучившись, Патрикий стал доктором?– удивился Николай.

– Помогла решительность – важнейшая черта его характера. Патрикий поспешил в Москву, в наркомат просвещения, который был его последней надеждой.

– Стал умолять не выгонять его?

– Его настойчивость удивила московских чиновников, но они оставались непреклонными. Тогда он достучался до главного начальства и предъявил ему свою экзаменационную книжку, а в ней стояли одни отличные оценки. Против такого аргумента возражать было глупо,

и Патрикию Иванкину позволили завершить образование. Осенью 1925 года ему присвоили звание врача и направили хирургом в районную больницу поселка Растяпино.

Через много лет Николай тоже стал врачом. И вполне естественно, что он интересовался тем, как врачевали во времена Патрикия.

– К нему всегда стояла очередь, – рассказывал Григорий Патрикиевич. – Случалось, хирург заменял терапевта, сам делал уколы, навещал больных на дому. Такова была особенность довоенных лет, с ее пугающей заболеваемостью и низким уровнем медобслуживания.

– Как же в таких условиях врачи умудрялись работать? – удивлялся Николай.

– Выручала практика, изучение новых методов лечения и опыта древней медицины. Как рассказывал сам Патрикий, в довоенные времена, когда еще не было пенициллина, для предотвращения нагноения, воспаления и для заживления ран некоторые хирурги наряду со спиртом использовали деготь, камфару и карболку. В качестве антисептика не был забыт и древнейший метод применения личинок мясных мух. Прежде чем поставить диагноз, больных прослушивали трубкой, ощупывали, проверяли состояние кожи, запах изо рта, белки глаз.

– Так же как доктор Хаус из телесериала?

– Именно. Посмотрит Патрикий изучающе в глаза больной, словно семинарист в Священное писание, и мягким голосом скажет: «Ты, душа моя, не беспокойся. И петь еще будешь, и плясать». И больная, окрыленная его словами, наполовину уже выздоравливала.

Патрикий отличался умением поставить точный диагноз. На это его качество указывал, например, нижегородский профессор Н.Н. Блохин. Он не раз посылал к нему на консультацию других докторов. И Патрикий давал им практические советы, при этом отмечал всегда, что нельзя резать, не узнав действительной болезни человека.

– Когда началась Финская война, – продолжал рассказывать дед Николая, – Патрикия назначили начальником хирургического отделения эвакогоспиталя города Горького.

– Дедушка, а Патрикий был на войне? – По боевому ордену на портрете, Николай догадывался, что его прадеда наградили не за работу в больнице.

– Как только 21 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, его сразу же призвали в ряды Красной армии. Сейчас я тебе кое-что интересное покажу.

В своем столе Григорий Патрикиевич бережно хранил многие старые документы, рассказывающие о жизни в далекие годы и о Патрикии, конечно. Он достал из стола папку с газетами и одну из них, со словами: «Читай, дорогой», – передал внуку.

Это была пожелтевшая уже городская газета за 24 июня 1941 года с обращением Патрикия Иванкина к жителям города:

«Я горжусь тем, что меня призвали в ряды нашей доблестной могучей Красной Армии одним из первых среди медицинских работников города, – взволнованно произносил Николай слова своего предка. – Завтра я уезжаю. На прощание я обращаюсь с призывом к работникам всех медицинских учреждений нашего города – врачам, сестрам, санитаркам: работайте, товарищи, так, как призывает к этому долг гражданина советской страны. Работайте, не считаясь со временем, не щадя сил и энергии! Помните, что этим вы крепите обороноспособность нашей Родины, оказываете сопротивление фашистским захватчикам. Я лично обязуюсь работать там, куда меня назначат, с удесятеренной энергией. Отдам всю свою энергию, свой опыт хирурга, накопленный мною при работе в госпитале во время финской кампании, делу помощи раненным и больным бойцам родной армии. Если потребует обстановка, я готов сменить инструмент хирурга на винтовку и с оружием в руках отстаивать нашу молодую страну, наши права на светлую жизнь, на свободный радостный творческий труд».

– Сменить инструмент хирурга на винтовку… Значит, Патрикий был храбрым человеком, ведь война – это бомбы, стрельба, страшно.

– Он оказался в самом пекле войны – в стрелковой дивизии Брянского фронта. Не красноармейцем, как служил когда-то, а хирургом медсанбата. По словам отца, – продолжал

Григорий Патрикиевич, – бои шли совсем рядом. Раненых подвозили прямо с поля боя, и многим нужна была помощь хирурга. Рука со скальпелем нередко уставала, но всегда была уверенной и точной. Оперировать приходилось и днем и ночью. Случалось, медсанбат попадал под вражеский артобстрел. Отцу везло. Снарядные осколки не задевали его. Но здоровье стало сдавать, и в мае 1942 года его уволили с фронтовой медслужбы.

Все дальнейшие годы войны Патрикий работал главным хирургом в городском эвакогоспитале. Нагрузка здесь тоже была почти фронтовая. Людей на костылях и с забинтованными головами подвозили чуть ли не каждый день. Все они нуждались в лечении, после которого многие вновь вставали в строй, а на их место доставляли новых больных и раненых солдат.

В 1944 году за службу на фронте и в военном эвакогоспитале майора медслужбы Патрикия Иванкина наградили орденом Красной Звезды. А в декабре того же года ему присвоили звание «Заслуженный врач РСФСР». После войны эвакогоспиталь расформировали, а Патрикия Иванкина назначили заведующим городской больницей и главным хирургом города. Пришлось заниматься не только лечебными, но и административными делами. Но больше ему нравилось быть в непосредственном контакте с больными, оказывать им помощь своими руками. Поэтому через два года он переходит в хирургическое отделение больницы и двенадцать лет возглавляет его. Всякое случалось за эти годы, многих наш Патрикий поставил на ноги. Вот послушай, – обратился к внуку Григорий Патрикиевич.

Он достал другую старую газету и уже сам вслух прочитал отзыв одного из пациентов.

«Десять раз болезнь заставляла меня ложиться на операционный стол, и десять раз Иванкин избавлял меня от огненной боли, возвращал к жизни. Сотни человек, спасенных им от смерти, как в тылу, так и на фронте, поднимались, чтобы жить, воевать и трудиться».

С самыми разными больными приходилось сталкиваться замечательному хирургу. Однажды на железной дороге из проходящего товарняка вылетела жердь и перебила на-

ходящемуся у полотна рабочему ключицу. Словно стрела, она застряла в его плече. Когда мужчину привезли в больницу, жердь так и сидела в его теле. Без операции было не обойтись, как и без наркоза.

В состояние наркотического сна пациентов тогда вводили с помощью проволочной маски, похожей на дуршлаг, и ватной прокладки, пропитанной хлороформом или другим эфиром. Вот и в этот раз медсестра наложила дуршлаг на лицо пациента, накрыла полотенцем и попросила больного дышать глубже. Когда он заснул, началась операция. И Патрикий Семенович провел ее как всегда успешно. Вот за такую работу больные и уважали этого доктора, верили ему.

«Один его вид, – рассказывала в газете медсестра, работавшая с ним, – жизнерадостного, уверенного в себе, вселял в пациентов бодрость. Всегда к нему, заведующему отделением, можно было запросто прийти, посоветоваться, душу излить. По-доброму относился он к медсестрам и санитаркам. Словно отцом нашим был, старшим братом. Простой был, шутливый. Когда говорил, так и сыпал пословицами и поговорками. Больные, да и мы, заслушивались. Но и требовательности не ослаблял. Следил, чтобы порядок в отделении ничем не нарушался, чтобы пища для больных не уходила на сторону».

– За такие его качества могли и наградить. Я слышал, медиков редко награждали, – подметил Николай.

– Да, производственникам куда чаще вручали ордена, нежели учителям или медикам. Но и они иногда удосуживались этой чести. Нашего Патрикия Семеновича государство наградило орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени. За филигранную хирургическую работу. Помню, в середине пятидесятых годов, когда я тоже уже работал хирургом, в больницу привезли человека с проникающим ранением в сердце. Местный хулиган ранил учителя. Требовалась немедленная операция. Но в городе ни один хирург к сердцу еще не прикасался, а в областной центр можно было не довезти…

Когда Патрикий Семенович вошел в палату, на учителе уже разрезали одежду, сняли основные показатели жизнедеятельности, приготовили капельницу для ввода

наркоза, обработали рану. На левой стороне груди раненого Патрикий Семенович увидел торчащий нож преступника. В этот момент он испытывал двойственное чувство. С одной стороны, стремление помочь пациенту, а с другой – неуверенность в успехе операции. Хирург смотрел на нож, но думал не о нем: «Хорошо, что раненый находится в сознании и, хотя и слабо, самостоятельно дышит. Это обнадеживает. Необходимо рискнуть, попытаться спасти человека».

Даже без тщательной подготовки, без проверки насыщения крови кислородом и других действий, Патрикий решился на сложную операцию. Сначала он трижды перекрестился, промолвил тихо: «Господи, благослови», – перекрестил раненого и по центру его груди, где намечался разрез, йодом начертил православный крест. Подобное действо давно стало правилом для Патрикия, к которому медработники больницы уже привыкли и принимали как должное. Когда-то давно его спросили: зачем он, доктор, крестится? «Все от Бога, – мягким голосом ответил Патрикий. – Не один я вспоминаю Всевышнего перед работой. У иных хирургов иконы стоят в операционных».

Он вскрыл грудную клетку и осторожно извлек нож из мучившегося сердца. Затем случилось то, чего хирург особенно боялся: при бьющемся сердце возникло пульсирующее кровотечение. Оперировать стало невозможно. Охлаждать раненого, чтобы остановилось сердце, было поздно, да и лед не заготовили. «Что же предпринять? Что делать? – мысленно спрашивал себя доктор. – Медлить нельзя. Действуй!» – скомандовал он себе.

И пальцы умных рук Патрикия нашли мгновенное решение. Они опустились в рану и сдавили сосуды с кровью, сердце остановилось. Чтобы освободить пальцы, Патрикий поставил заготовленные кровоостанавливающие зажимы. «Быстрей, быстрей», – торопил он себя. «Иглу!» – повернулся к медсестре. Та держала ее наготове. Когда место, проткнутое ножом, было ушито, волнение Патрикия постепенно стало спадать. Он убрал зажимы, открыв тем самым зажатые сосуды. «Ну, давай, милый, давай, начинай же стучать», – шептал Патрикий.

Опасение, что сердце не заработает, не покидало операционную. Патрикий повернул голову в сторону аппарата искусственного кровообращения. Ассистенты готовы были немедленно подключить его. Но сердце молодого пациента наполнилось кровью и заработало само. Критический момент операции миновал. Далее спокойно, без спешки, Патрикий скрепил грудину скобами, поставил клапанный дренаж и зашил рану. «Слава Тебе, Боже! – с удовлетворением произнес Патрикий. – Пощадил Всевышний человека. Видимо, он жил без греха».

За этой операцией, с самого ее начала, наблюдал сын Патрикия Семеновича – Григорий. Он часто заходил к отцу посоветоваться, а иногда и понаблюдать за его работой.

– С отличным завершением, отец. Я вряд ли рискнул бы взяться за такое.

– Рискнул бы, Гриша, уверен. Кто не рискует – рискует больше всех. Случись у тебя такой редкий случай, ты бы руки не опустил.

* * *

Он с детства знал, кем станет, когда вырастет. Быть медиком вдохновляли рассказы отца о знаменитых врачах и о случаях из своей практики. Родился Григорий, когда Патрикий Семенович только начинал работать хирургом, в 1926 году. В четырнадцать лет он провожал отца на фронт. «Возьми меня с собой, – просил он, – я помогать тебе буду». «Помощники у меня найдутся, – отвечал Патрикий. – Уроки не пропускай. Главное у тебя школа, помни об этом».

Школу он окончил уже после войны, и сразу же его призвали в армию. Отслужив положенное, поступил в Горьковский медицинский институт. По окончании вуза молодого доктора направили в далекий Камский край лечить зырян. Условия для работы там были не лучше, чем у Патрикия в довоенные годы. Людей врачевали дедовскими методами. Научиться чему-либо не представлялось возможным, и через два года Григорий вернулся в родной город.

Как и отец, Григорий работал хирургом, но не в главной городской больнице, а в поселковой. Оборудование в ней было весьма скромным да и врачей не хватало. «И за терапевта ставят, – рассказывал он отцу, – и роды принимать приходится». Патрикий же напоминал сыну, что главным мединструментом для него должен быть не фонендоскоп, а скальпель. В рабочем поселке, в котором находилась больница Григория, проживало несколько тысяч жителей, и пациентов среди них для хирурга хватало. Григорий, конечно же, не считал себя виртуозом в хирургии, каким был его отец, Патрикий Семенович, однако успешно справлялся со всеми операциями в своей больнице.

Однажды, как несколько лет назад, весь город вновь заговорил об Иванкине. На этот раз не о Патрикии, а о Григории Иванкине. Случай был громким. Известный футболист местной команды спрыгнул с подножки трамвая, оступился, упал, и его нога попала под колесо вагона. Мигом прилетела скорая, забинтовала ему раздробленную ногу, наложила шины и доставила в больницу к Григорию Иванкину. В больнице начали срочно готовиться к операции.

Григорий всегда помнил наставление отца, что первым делом надо смотреть, как пациент дышит – без усилий или поверхностно и часто. Казалось, что футболист не дышал вовсе. В его глазах, кроме страха, Григорий ничего не увидел. Медсестры поставили футболисту кислородную маску, а в вену ввели наркотический раствор. Больной тут же заснул. Не снимая шины, ему сделали рентгенографию голени, рассекли бинт и осмотрели ногу. Нижняя треть голени была расплющена трамвайным колесом, порванная кожа выглядела сплошной раной с сочившейся кровью. У большеберцовой и малоберцовой костей обнаружилось множество отломков. «Сохранить ногу трудно, но рискнуть можно, – подумал Григорий. – Пульсация сосудов слабая, но определяется. Вот и периферическая часть голени со стопой не потеряли свою обычную телесную окраску». Григорий удалил мелкие отломки, ушил обе берцовые артерии и мягкие ткани, на кожу наложил швы и замотал ногу лангетной гипсовой повязкой. Уже вскоре

пострадавшего выписали домой. Он, хотя и прихрамывал, ходил с палочкой, но на своих ногах.

Через восемь лет, когда Григорий набрался опыта и приобрел авторитет, его назначили главным врачом той самой поселковой больницы. По-прежнему в ней не хватало врачей, палаты были переполнены, а машины оказались не на ходу. Лечились в больнице в основном работники заводов, которые мало-помалу помогали решать хозяйственные вопросы. Заболел как-то один из руководителей завода, лег на лечение. И своими глазами увидел все больничные проблемы. Когда выздоровел, отремонтировал двигатели всех больничных машин и колесных покрышек прислал с запасом.

В своем кабинете Григорий никогда не засиживался. То по лечебным палатам ходил, за хозяйством больницы присматривал, а то с завода на завод торопился. Через пять лет работы Григория главврачом к поселковой больнице и ее руководителю пришла признательность не только вылечившихся больных, но и коллег и директоров предприятий. Убедившись в организаторских способностях Иванкина, они выдвинули его кандидатуру на должность заведующего городским здравотделом. Не сразу согласился Григорий, спросил совета у отца, других ветеранов городской медицины. «Человек ты дельный, ответственный, справишься», – подбодрил Григория старший Иванкин.

«Легко сказать, ″справишься″, – сомневался Григорий. – В городе больниц не хватает, в поликлинике всегда большие очереди, с медперсоналом вопросы, денег – кот наплакал, медпоказатели не на высоте. От таких проблем у любого голова кругом пойдет». И все-таки он согласился.

В первую очередь, как говорится, разложил все дела по полочкам и выделил главные. Затем принялся за их реализацию. При его активном участии в городе построили еще одну больницу, две поликлиники, расширили детскую больницу и больницу скорой помощи. Для них и проекты сам выбирал, о медоборудовании хлопотал. Григорий Иванкин знал все тяжелые случаи, происходящие в больницах города, всю статистику, часто использовал их,

когда просил заводских руководителей помочь приобрести новые медицинские приборы и технику.

Однажды он пришел к одному из директоров предприятий с просьбой закупить для больницы необходимое оборудование. И вместо согласия наткнулся на глухую стену.

– Все просят. Мы продукцию выпускаем, а не купюры тискаем, – жался директор.

Другой оскорбился бы и покинул директорский кабинет. Григорий же подавил неприятные чувства и тактично попросил выслушать его.

– Знаете, что произошло у нас недавно? – спросил он директора. Тот пожал плечами. – У одного молодого, здорового парня случилась беда. Во время еды рыбная чешуйка зацепилась за пищевод. Начались кровохарканья, острые боли. Обследование ничего не давало. Когда пошло сильное кровотечение, парня отправили в операционную, но спасти не смогли. А был бы в больнице фиброгастроскоп, – уверял Иванкин, – поставили бы диагноз, и человек остался бы жить.

Эти слова Григория растопили ледяное сердце директора.

– Умеешь ты, Иванкин, уговаривать, – ответил он. – Закупим оборудование, раз очень нужно.

– Так ведь в укреплении медпомощи людям, в том числе и вашим работникам, в равной мере заинтересованы как врачи, так и предприятия, – подытожил Григорий.

Его подобная дипломатия помогла открыть в городе гемотологическое отделение, обеспечить лечебные учреждения ценным кровезаменителем, установить уникальный электрокардиограф, показатели которого могли считываться и в других городах.

Как-то Григорий Патрикиевич узнал, что один из городских научных институтов планирует построить у себя одноэтажный корпус. И его осенила дипломатичная идея. Он пришел к директору этого НИИ и спросил, если у него дети.

– Двое.

– И как их здоровье?

– Всякое бывает. Случается, в поликлинике толкаемся. Далековато, правда, она.

– И очереди там большие. Разгрузить бы ее неплохо. И в этом ваш институт мог бы помочь.

Директор весьма удивился.

– Каким же образом мы можем помочь разгрузить поликлинику? Сделайте милость, просветите.

– Вы собираетесь построить одноэтажный корпус для своих проектантов, а у министерства нашлись бы средства и на четырехэтажное здание. Запроектируйте, постройте, и будет в городе еще одна детская поликлиника.

И действительно, через несколько лет она появилась.

И многие прозаические устремления не чуждые были Григорию Иванкину. Предложили однажды ему по бесплатной путевке отправиться в кругосветное турне. На удивление всем, он отказался. Не мог находиться вдалеке от своих больниц, да и родные места для него были лучшими всего на свете. Обычно поблизости, в санатории, отдыхал или в доме родителей супруги над Окой. С удочкой в выходной на берегу Оки постоять или у лунки на льду посидеть – самыми желанными занятиями для него было.

Но особенно страстно Григорий Иванкин относился к медицинским делам. Узнал однажды о разработке и производстве молочного лактобактерина в институте микробиологии в Горьком. И загорелся открыть подобное производство в своем городе.

– Поеду к ним, – дал знать он председателю горисполкома, – попрошу академика Ирину Блохину помочь и у нас наладить выпуск этого ценного продукта.

Руководитель института возражать не стала. И, благодаря лактобактерину, в короткое время в городе в три раза снизились детские желудочно-кишечные заболевания.

«Жизнь дороже всех сокровищ», – часто повторял Григорий Иванкин и делал все возможное, чтобы взрослые жили дольше, а дети не болели. Об охране детства и материнства много писали и постоянно говорили. На обсуждение этой темы Иванкина однажды пригласили в Москву. Он поехал с ожиданием положительных перемен в медицинской сфере, но сразу же разочаровался. Раздражали одноликость выступлений по бумажке, пиджаки и галстуки у всех

под одну гребенку, аплодисменты там, где следовало бы топать ногами. Григорий весьма удивился, когда и его пригласили выступить. «Что ж, буду резать правду-матку, скажу, что наболело», – решил он.

Слова Иванкина с трибуны шли вразрез с лакированными выступлениями министерских чиновников. «Все существующие медицинские программы замечательные, написаны золотыми буквами, – начал Григорий Патрикиевич. – Но лежат-то они в красивых папках мертвым грузом. Хотя бы копеечку выделили на выполнение этих программ, – повернул он от трибуны голову в сторону высокого начальства. – А то ведь средства на обеспечение больниц приходится по заводам клянчить».

Зал одобрительно гудел, а министерское руководство вместо поддержки и помощи влепило Иванкину выговор.

– Как в Москву-то съездил? – спросили в горисполкоме Иванкина.

– Замечательно. Даже выступить удосужился.

– Хвастался, небось? Тебе ведь есть, о чем министерскому начальству доложить.

– Что больше всего меня беспокоит, о том и говорил. О случившимся в медицине неврозе поведал.

– Зря горячился. Начальство надо понимать и уважать. Но ты не огорчайся, сегодня пожурили, а завтра и похвалят. Есть ведь за что.

Иванкин и не думал расстраиваться. Он размышлял о другом медицинском начинании, о всеобщей диспансеризации населения.

– Как проводить ее при недостатке врачей, отсутствии свободных кабинетов, лабораторного оборудования и очередях в поликлиниках? – спрашивал Григорий городское и областное руководство. – Ведь даже бумаги для электрокардиограмм и пленки для рентгена не хватает.

– Но ты же, Иванкин, не будешь отрицать важность диспансеризации? – изворачивалось начальство.

Григорий, конечно же, понимал необходимость массового медобследования и старался, чтобы им было охвачено большинство населения города. Но повсеместный дефицит врачей, нехватка медикаментов и инструментов

тормозили это важное дело. Даже академик Чазов признался в этом с трибуны партийной конференции.

«Если институты не дают нам врачей, найдем их в другом месте», – решил Иванкин, и перевел из заводских медсанчастей в городские больницы врачей узких специальностей. Так, хотя и ненамного, он восполнил их дефицит.

За время работы Иванкина заведующим горздравом, в городе вырос новый большой микрорайон. Планировалось открыть там госпиталь. По мнению Москвы, в нем могли бы лечиться люди со всех краев республики. Эту масштабную идею Григорий Патрикиевич встретил в штыки. «Кроме больных в нашем городе предостаточно социально опасных людей – туберкулезников, наркоманов, зэков, – напоминал он. – Чужая "грязь" нам не нужна». И мнение Иванкина возобладало. Решено было строить госпиталь местного значения, но лучший в стране. Григорий сам и проект выбирал, и с архитекторами работал.

Иванкин всегда работал в тесном контакте с другими докторами, со многими дружил, ценил их опыт и знания. Встречаясь с молодежью, не давил своим авторитетом, беседовал на равных, всегда поощрял стремление к повышению квалификации. Главной темой на этих встречах была диагностика. «Для распознания заболевания нельзя резать больного – это позор для хирурга», – вслед за Патрикием постоянно повторял Григорий. Он не был кабинетным чиновником, часто посещал больницы и поликлиники, тосковал по работе хирурга. Чтобы руки не отвыкли от хирургических манипуляций, нередко вставал к операционному столу. Как и Патрикий Иванкин, Григорий тоже был удостоен высоких наград – орденов Трудового Красного Знамени и «Знак почета».

Кроме медицины, одной из важных забот Григория были его дети, их воспитание. Когда они поступили в медвуз, он внушал им: «Учитесь так, чтобы от занятий с книгой заднее место болеть начинало». Дочь и сын Григория достойно продолжили дело отца и деда. И внук выучился на врача. «Самым главным в нашей профессии, – внушал ему Григорий, – являются честь, порядочность и совесть». Эти человеческие качества стали для Николая жизненным кредо.

* * *

Прошло две недели после пребывания Николая Иванкина в медицинской роте одного из батальонов, сражавшихся против вэсэушников в Донецкой республике. За тысячу километров от боев его мирная жизнь вошла в привычное русло. Работы в больнице, как всегда, хватало. Но это была совсем иная, нежели на фронте, работа. В своей больнице, как и до отпуска, Николай проводил большей частью плановые операции, связанные с тем или иным заболеванием. Раненые не поступали. Он по-прежнему следил за событиями на Украине, радовался успехам россиян и переживал из-за продолжавшихся обстрелов киевскими нацистскими войсками мирного населения Белгорода, Шебекина и многих других мест.

Домашние замечали повышенное внимание Николая к военным сообщениям и догадывались о его намерениях. И вне дома Николая не раз спрашивали, собирается ли он вновь отправиться в войска. Но он всегда уклонялся от ответа, хотя все чаще и чаще задавал этот вопрос и себе.

– К раненым бойцам поедешь? – без обиняков спросил Николая его дед Григорий. – У тебя, я вижу, задор санитара не угас.

– Окончательно не решил, но, пожалуй, поеду. Вместе с бойцами буду делать историю.

И когда в больнице появилось объявление военкомата о наборе среди медиков добровольцев для участия в специальной военной операции, Николай принял решение вновь ехать на Украину. На работе отговаривали: «Кем мы тебя заменим? Где найдем другого хирурга? Подводишь ты, Иванкин, родную больницу». «Но там я буду нужнее», – убеждал он начальство.

Его направили в батальонный полевой госпиталь, находящийся практически в зоне боевого соприкосновения. Располагался госпиталь в брошенном здании в недавно освобожденном поселке. С первого дня Николай включился в работу. Врачи оказывали здесь помощь как раненым, так и соматически больным. Ранения в основном были осколочные. Случалось, лечение проходило очень трудно

и не всегда давало требуемый положительный эффект. В этих случаях раненых бойцов отправляли в больницы крупных городов России.

Как и у всякой войны, в работе медиков случаются приливы и отливы. Во времена наступательных боев у них наиболее горячие дни, работа в госпитале проходит в таком же боевом темпе, как и в медицинской роте. У операционного стола доктора и медсестры стоят тогда до последнего раненого.

…Несколько дней подряд на донецком направлении шли упорные бои за освобождение от вэсэушников небольшого селения. Один за другим в госпиталь прибывали раненые бойцы. Ранения были самые разные и требовали хирургического вмешательства. Доктора не мешкали, дело свое делали быстро и старательно.

Был уже вечер, когда на операционный стол положили последнего бойца, нуждавшегося в помощи. В палату, заставленную шкафами с инструментом, мониторами и переносным рентгеновским оборудованием, вошел среднего роста человек в синем медицинском коттоновском костюме, застегнутом наглухо, в синей же шапочке в виде колпака и в голубой медицинской маске. Это был хирург общей практики Николай Иванкин. На его обветренном лице чернела легкая щетина, спрятанные под густыми бровями живые глаза смотрели на медкарту, заведенную только что. Пробежав глазами несколько записей, он поправил резиновые перчатки, взглянул на медсестру с фельдшером, втиравшими в кожу кистей стериллиум, еще раз спросил их о ране бойца и обратился ко всем с вопросом:

– Все готово?

– В полной боевой, доктор, – тихо промолвил фельдшер, ассистирующий хирургу. Было заметно, что весь операционный персонал порядком утомился, но все старались пересилить усталость.

– Что ж, приступаем, –произнес хирург и перекрестился.

На операционном столе, из сдвинутых вместе двух письменных столов, лежал молодой мужчина с потемневшим лицом и глубокой зияющей раной на бедре. Раненого ввели в наркоз. Медсестра отодвинула капельницу

с анестезиологическим раствором в сторону, обработала операционное поле. Николай вместо скальпеля взял в руку магнит и стал водить им у раны, но осколка не обнаружил. Видимо, он был из какого-то сплава. Нащупать его не удалось и зондом. И только на рентгеновском снимке, подготовленным только что, осколок проявился. Он оказался в стороне от раны. Николай привычным движением рук сделал разрез и извлек у раненого несколько минных осколков. Затем медсестра ушила рану.

– Этому протез не понадобится, в отличие от предыдущего бедолаги, – с удовлетворением заметил Николай.– На своих двоих скоро побежит.

– Может, еще и повоюет, – предположил фельдшер.

– На все сто, повоюет, – поддержал фельдшера Николай.

Медсестры сделали свое дело и на каталке увезли прооперированного.

Николай подошел к окну, открыл форточку и сделал глубокий вдох свежего воздуха. Ему не давала покоя предыдущая операция. «Возможно ли было спасти ногу раненому? – ломал он голову. – Потерял много крови, слишком туго наложили жгут, долго пролежал на холоде, плохо обработали рану, нога стала бесчувственной и отвердела, началась гангрена. Нет, сделал все правильно. Слава богу, что ампутировать пришлось только до колена, что бедро оказалось менее поврежденным. Отправят подальше в тыл, там сделают все для полноценной жизни», – успокаивал себя Николай.

Хотя на душе остался горький осадок, весь день он простоял у операционного стола. Иногда, правда, сам бегал к носилкам, чтобы выбрать наиболее тяжелого раненого. Поскольку дорога была каждая минута, никаких опросов раненых, обдумываний порядка действий не проводилось. «Мы никогда на гражданке не бываем полностью предоставленными сами себе: всегда есть штатный врач, с которым можно посоветоваться. Здесь же ты один на один с раненым, и твои решения не должны быть ошибочными», – отмечал про себя Николай.

Иногда он задавался вопросом: «Как в этой ситуации поступил бы Патрикий?» Николай помнил все рассказы

о своем предке, вспоминал его перед сложными операциями. В этих случаях он представлял Патрикия не таким, каким он изображен на картине: не в цивильном костюме с орденом на лацкане, а в белом халате и со скальпелем в руке. Такой образ Патрикия-врача был ближе Николаю. Особенно импонировали ему уверенность и решительность Патрикия. Однажды он спросил своего деда Григория: «Что имел в виду Патрикий, когда говорил о добросердечном отношении к больному?» – «В первую очередь стремление сделать ему больше, чем необходимо», – последовал ответ. С тех пор Николай непременно стремился соблюдать эту заповедь.

Жизнь медиков в зоне боевых действий рутинная, как монотонный звук капель воды из худого крана. Раненые со своей бедой, торопливые медсестры, старательные фельдшеры, операционный стол с мединструментом, иногда такой же замотанный коллега – это все, что видит за день фронтовой медицинский доктор.

Ежедневно операция следовала за операцией. Зачастую на обед времени не находилось. Перекусил два раза на ходу, вот и вся трапеза. Случалось, побриться было некогда, обрастал щетиной. «Не отпустить ли мне бороду?» – спрашивал тогда Николай себя. Но тут же вспоминал наказ деда Григория о том, что у хирурга не только руки должны быть стерильные, но и лицо чистое. И вопрос о бороде снимался.

Такие каждодневные суровые условия многим бы скоро наскучили. Но сознание важности выполняемого дела не позволяло падать духом и расслабляться. Лишь однажды во время операции у него дрогнула рука. Не от спешки, по другой, неожиданной причине. Перед ним с осколком в груди лежал молодой боец. По привычке он взял скальпель, но рука на мгновение опустилась. На груди бойца синела большая татуировка портрета девушки. «Нельзя портить парню память о ней, наверняка любимой, – мелькнула мысль. – Аккуратно, чисто работаем!» – скомандовал он себе.

Когда его сменил другой доктор, было уже не до еды. Николай с ног валился. Руки, словно плети, повисли, в голове

не возникало ни одной путной мысли. На металлическую кровать он упал не раздеваясь. И сразу вырубился. Разное привиделось Николаю во сне: то молодой боец с испуганными глазами и хриплым голосом, умоляющий спасти его, то он с бойцами шлепает по грязи к передовой, то картинки из молодости, то пугающая своим миганием лампа над операционным столом. Чаще же всего снился дом родной, жена и дети. Вот и в этот раз приснились Николаю не раны бойцов, а жена, обнимающая его ласковыми руками. Но вдруг Николай почувствовал, что кто-то отрывает его от жены, треплет за плечо. Он открыл глаза и увидел перед собой человека, прервавшего отрадное сновидение.

– Вставай, Николай Михайлович, – осторожно тряс его плечо коллега, – труба зовет. У операционного стола бригада ждет и солдат с перебитыми ногами.

В военный госпиталь прибыла новая партия раненых. Не доспал Николай, не досмотрел свой светлый сон, быстро поднялся.

– Сейчас, сейчас, – пережевывая бутерброд, принесенный медсестрой, ответил Николай торопливо. – Допью чай и пойду рукодельничать.

Он давно от отца и других опытных хирургов усвоил, что в экстренной хирургии очень важен фактор времени: промешкай, и случится беда – инфекция, а то и ампутация.

– Что там за шум-гам? – спросил Николай коллегу. – Кто кричит дурным голосом?

– Каптенармус материт почем зря водителя «таблетки», на которой раненых привезли.

– За что же он его так?

– В тему костит. Кресты на машине плохо закрасил и поставил ее не куда следует. Птичка-то сверху все видит. Засечет – госпиталю хана будет. Прилет тут же накроет. Хохол скрупулезно охоту за нашим братом ведет.

– Поделом, значит, чехвостит. Крохотный дрон не сильнее жука гудит, да страшнее рева пушек бывает, – рассудил Николай и поспешил в операционную.

На операционном столе с большой зияющей раной на ноге лежал молодой боец. Его испуганные глаза умоляли сохранить перебитую миной ногу. Николай осмотрел рану

и на секунду задумался над тем, что необходимо предпринять для сохранения работоспособности человека, лежащего перед ним. Миндальничать было некогда. Рука с мединструментом была твердой, уверенной и работала механически, словно по шаблону. Один за другим Николай удалил несколько металлических осколков, не все, конечно, – мелкие, словно пыль, остались. «Будут еще одним напоминанием бойцу о фронте», – подумал Николай. Для сращивания костей он зафиксировал голень стержневым аппаратом, сам зашил рану, а фельдшера попросил наложить окклюзионную повязку.

«Теперь и свежего воздуха глотнуть неплохо», – подумал хирург. Он вышел из операционной и направился во двор. В вестибюле госпиталя стояло несколько носилок с ранеными. Но это были не «трехсотые», которые к операционному столу поступали в первую очередь, а легкораненые. Большинству из них помощь оказывали фельдшеры. Выйдя из помещения, Николай машинально поднял голову и посмотрел в небо. Проверять, не кружат ли там вражеские беспилотники, уже вошло в привычку. Небо было чистым, но вдали виднелось опаловое облако. «Вероятно, от взрывов», – подумалось Николаю. Несколько выздоравливающих бойцов грелись на солнышке, в кустах чирикали воробьи. Николай прошелся по двору, разминая онемевшие от долгого стояния ноги, и вновь возвратился к операционному столу.

У него уже накопилась небольшая кучка разного рода осколков, извлеченных из тел раненых. «В металлолом сдавать пора, – в шутку говорил Николай медсестрам. – Так ведь не дадут, сколько на самом деле они стоят». Вскоре к осколкам добавилась пуля.

В госпиталь поступил боец с огнестрельным ранением в грудь. Пуля подкосила его не в бою, а на пути из окопа в свой блиндаж. Шальная пуля, а возможно, и снайперская. Найти ее по раневому каналу Николаю труда не составляло. Но пуля оказалась разрывной, повредившей не только легочные ткани, но и соседние органы. За них Николай беспокоился больше всего. Пулю он извлек, ушил поврежденное легкое и желудок, поставил несколько

дренажей и ввел антибиотик. Но уже скоро температура тела раненого стала подниматься, а анализ крови говорил о начавшемся воспалении. Парня срочно отправили на лечение в ростовскую больницу.

Пока медсестры готовили к операции следующего раненого, не выходя из палаты, Николай выпивал стакан теплого чаю и на пару минут закрывал глаза. В этот момент он ничего не видел, ничего не слышал и ни о чем не думал. Такое расслабление неплохо помогало в длительной, напряженной работе, которая, казалось, никогда не кончится. Так было и на гражданке, но с гораздо меньшей напряженностью. Там все регламентировано, по плану. На линии же соприкосновения предусмотреть все невозможно. Ранения не только самые разные, но и непредсказуемые.

Однажды из соседнего поселка привезли мальчишку с разорванной стопой. Он шел по улице и наступил на сброшенную вэсэушниками противопехотную мину «Лепесток». Из-за маленьких размеров и зеленого цвета заметить на траве ее было трудно, ребенок и подорвался. Оперировали его в первую очередь. При осмотре Николай обратил внимание, что тыльная артерия стопы пульсирует, а вот задняя большеберцовая повреждена. На рентгенограмме были видны множественные мелкие костные осколки. Чтобы восстановить разорванную стопу, пришлось собирать осколки костей, ушивать порванные связки, сухожилия и мышечные ткани, в общем, пахота была не из легких. Но ножку ребенку Николай все же спас.

Когда он вышел из операционной, увидел женщину с влажными, опущенными глазами и серым, как тень, лицом.

– На следующий год в футбол играть будет, – обрадовал Николай мать ребенка. От этих слов ее лицо посветлело. Располагающая улыбка доктора вселяла надежду, и она поверила ему.

– Ой, доктор, вот счастье-то!

«Как бы ненароком она в обморок от счастья не упала», – подумал Николай.

– А я к ополченцам примкнула, вот за дитем и недосмотрела, – заговорила женщина. – Скорее бы этих киевских выродков одолеть. Ждем не дождемся. Замучили ведь нас

каждодневные ихние обстрелы. И когда только кончатся наши страдания? Сколько это будет длиться? Согласитесь вы со мной или нет, но жопное это дело – воевать, скажу я вам, доктор.

В ее словах Николай почувствовал некие сомнения по поводу окончания войны. В войсках об этом не рассуждали. Медики, да и бойцы, избегали тем, неизбежно вызывавших споры. «Там, где стреляют, болтливым не место», – слышалось иногда. В окопах и в больнице говорят мало, в основном о деле. Но тревогу этой несчастной женщины Николай решил рассеять.

– Река жизни полна мелей и водоворотов. Сегодня мы радуемся, а завтра печалимся. Вчера жили в мире, а сегодня приходится драться, проливать кровь. Легко в войну войти, почтеннейшая, куда сложнее из нее с честью выйти. Навалилась на нас вся натовская орда, вот и тянется, как жвачка, эта заварушка. Долбим мы их, холуев байденских, каждый день долбим. Соледар отбили, Артемовск, Марьинку, Авдеевка стала нашей. И другие селения захватим, хотя на раз-два это не получится. Но победа непременно будет за нами, и жизнь, поверьте, станет веселее. Если же совсем будет худо от долгого ожидания летального исхода вэсэушников, хватайтесь за физическую работу. Она хорошо отвлекает, лечит даже.

Мать мальчика слушала доктора не мигая. Он казался ей непререкаемым авторитетом. Ее лицо выражало такую же кротость, как у нашкодившего ученика, втянувшего перед учителем голову в плечи.

«Что-то я заговорился», – подумал Николай. Он пожелал женщине удачи и попрощался с ней. Настроение его было на редкость приподнятым. После работы с мальчиком он чуть не пел от удачно выполненной операции. Редко такое случалось. Чаще возникали иные, противоположные чувства. Не от неудач в операционной, а потому, что число искалеченных ребят становилось все больше. «Им бы жить да жить, – думал Николай, – а война отняла у них эту возможность. И не у всех добровольным был выбор. Действительно, скверное это дело – война. Сколько она уже длится и не утихает. Человек беспомощен перед ней.

Но что без толку рассуждать об этом. Раз такое случилось, надо оружие брать в руки».

Оружием Николая был скальпель, предназначенный не только для раненых, но и для бойцов с соматическими заболеваниями – травмами и болезнями различных органов. На фронте, особенно на передовой, физическая нагрузка – как у иного штангиста. И даже сильных людей, бывает, прихватывает. Тогда они попадают в госпиталь, в том числе и к хирургу. И их у Николая тоже было немало…

Незаметно закончилось знойное, пропахшее пороховой гарью лето. Прилеты в соседние с военным госпиталем селения прекратились, канонада ушла вдаль, раненых с передовой стало меньше. Закончился и полугодичный срок пребывания Николая в зоне военной операции. С чистой совестью можно было отправляться домой. Ему не терпелось встретиться со своим сынишкой, с женой, горячо расцеловать их, крепко обнять отца и деда, ощутить тепло их родных душ. Родные тоже с нетерпением ждали Николая.

Когда Иванкин появился в своей больнице, коллеги встретили его аплодисментами и наперебой завалили вопросами.

– Сегодняшний Донбасс – это прекрасный, но печальный край. Ужас вызывает дрожащий город, рушащиеся здания, пыль, смешанная с дымом. И при этом всем усиливается чувство уважения к бойцам, сражавшимися не за страх, а за совесть.

– Работы, наверняка, хватало?

– Руки не успевали отдохнуть. Раненые поступали потоком. Кто-то из них возвращался в строй, а кто-то становился инвалидом. Жалко их. Обидно и за страну, лишившуюся многих наиболее трудоспособных людей.

– Когда лес рубят, щепки летят, приходится слышать иногда в связи с этим…

– Нам, медикам, такие взгляды чужды. Погибшие люди – не щепки. Они за страну отдали жизни. Кто сравнивает их со щепками, тот вряд ли отважится на такое, как эти защитники наших устоев.

– Да, конечно, ты прав, Николай, это действительно так, – согласились коллеги. И чтобы не забрести в политические

дебри, попросили рассказать, с чем новым как хирург он столкнулся на войне.

– Для меня там все было новым. Ранения у бойцов встречались самые разные, часто не в одном месте тела и конечностей. В боевых условиях хирурги становятся многопрофильными специалистами. На передке, чтобы стабилизировать состояние бойца, даже если это тяжелораненый, в твоем распоряжении не более десяти минут. А уже в военном госпитале, куда его переправят «извозчики», доктора сделают все возможное, чтобы поставить на ноги. Чему научился? Многому. Убедился, например, как раненому важно правильно наложить жгут. Здесь ноги не ампутировал, а там довелось. Приходилось оперировать бойцов и с пулевыми ранениями, чего не делал в нашей больнице. Советую и другим докторам поработать в боевой обстановке.

– А чем, Иванкин, ты занимался в свободное время?

– Честно говоря, его было очень мало. Иногда удавалось сыграть с коллегами в шахматы, за которыми обычно не бывает разговоров ни о политике, ни о работе. Кроме игры в шахматы часто «общался» с женой, сыном, дедом и отцом, рассматривая семейные фотографии в смартфоне. Звонить-то было нельзя...

Жизнь Николая быстро вошла в свое обычное, спокойное русло. Но месяца через три после приезда ее прозаичность нарушил телефонный звонок из военкомата. Настоятельно просили зайти. «Видимо, вновь будут предлагать поехать на Украину», – подумал он. Но ошибся.

– Как говорится, награда нашла своего героя, – помпезно встретил Николая военком. Он поздравил его за отличную службу и вручил медаль «За отвагу».

– Полк хирургов Иванкиных, – торжественно произнес дома дед Николая Григорий Патрикиевич, – пополнился еще одним кавалером боевых наград. Так держать и дальше!

Все близкие родственники сели за стол, чтобы отметить награду Николая. И вновь он рассказывал деду с отцом, матери, жене и сыну о фронтовой жизни медиков, делился впечатлениями, о которых ранее никому не рассказывал.

– Там, в военном госпитале и в медроте, я хорошо узнал, что происходит с больными и ранеными людьми. Как хирург стал гораздо опытнее. Общаясь с бойцами, убедился, что на войне люди сближаются, становятся добрее и мудрее, их чувства обостряются, лишь жизнь для них приобретает подлинное богатство.

Помолчав минуту, Николай взглянул на лица собравшихся за столом, прикидывая, следует ли рассказывать о его переживаниях, связанных с войной. Все внимательно смотрели на него и ждали, что же он скажет дальше.

– О войне можно легко читать, слушать, видеть же ее – мучительно, – продолжил Николай. – Страшнее войны ничего не бывает. Вот и я глотнул ее горького дыма. Война – это кровь, страдания и, как медики говорят, прострация. Там, на фронте, ты не знаешь, что с тобой будет даже через минуту.

Николай рассказывал не торопясь, делал паузы. Мягкий, приглушенный голос выдавал его волнение.

– Говорят, что жизнь на войне ничего не стоит. Или так говорят для красного словца? – спросила Николая его мать.

– Да, война упивается кровью. Но только на войне многие начинают понимать, как дорога человеческая жизнь. Война – это горе не только тех, кто воюет или находится под бомбежками, – это терзание всех людей.

Чувствовалось, что время, проведенное на стонущей донецкой земле, потрясения, вызванные войной, оставили глубокий след в сердце Николая. Он и сам хорошо понимал, что вспоминать о медицинской роте и военном госпитале будет всю жизнь, как помнили о Великой Отечественной войне Патрикий Иванкин и все другие защитники Родины.

Протоиерей Владимир ГОФМАН

СВЕТЛЫЕ КЛЮЧИ

Назову деревню – Светлые Ключи. Поселю в нее людей, дорогих моему сердцу. Живите. Рожайте детей и растите хлеб. Так было всегда и так будет до скончания века.

Знакомьтесь, добрые люди.

Светлые Ключи – деревушка малая, тринадцать крыш. С трех сторон окружают ее поля, а с четвертой – глубокий овраг, склоны которого заросли ивами, черемухой, гигантскими лопухами и крапивой. Журчит, невидимый, на дне оврага, по круглым камням среди кинжально острой осоки быстрый ручей. По левому склону оврага вытоптаны деревенским стадом тропинки, даже в жару влажные и вязкие.

За оврагом – ровная большая поляна, за ней – березовая роща. Стоял там в незапамятные времена барский дом да в лихое время сгорел однажды ночью дотла. С тех пор и поныне зовут это место Пожарищем.

Если идти из поселка, который расположен в полукилометре от деревни, то надо спуститься с горы, потом перебраться по шаткому мостику через широкий в этом месте ручей, снова подняться по узкой тропинке в гору – вот вы и в Светлых Ключах.

Дома деревни смотрят друг на друга через улицу. Глухих заборов нет совсем – все на виду: стоит дом, справа к нему двор пристроен, где скотина содержится, сенница тут же, за двором сад с огородом тянутся. На задах баньки прилепились.

Каждый дом, конечно, на свой манер выглядит – один бревенчатый, пегий от дождей, солнца и ветра, другой –

обшитый рейкой и выкрашен яркой краской, чаще синей или зеленой, а наличники на окошках – белые, как пена. А у Мити-немого весь дом в деревянных кружевах – легкий, словно парит в воздухе. Чудо!

Плотник Митя и не немой вовсе, просто говорит не очень понятно. Например, знакомясь, он скажет: «Митя», а получится «Мика». Однажды весной мальчишки запускали в ручьях вдоль деревни кораблики. Тут Митя проходил. Смотрел-смотрел на пацанов, как кораблям их простора и скорости не хватает, и говорит:

– Подите на ку реку, там вода чегез вегх буглик!

Те глаза на Митю вытаращили и ну хохотать. А он только рукой махнул и сам смеется: лицо у него темное (где-то уж загореть успел), а морщинки возле глаз белые, как лучики к вискам разбегаются.

Вообще прозвища в Светлых Ключах в ходу. Ведь что любопытно: как так получилось, никто не знает, но половина деревни носит фамилию Мельниковы, а другая половина – Бобылевы. Это официально. А в жизни совсем по-другому. Зовут друг друга, как тут говорят, – «по дедушке». Так среди Мельниковых есть Панкратовы, Луканины, Матвеевы; среди Бобылевых – Захаровы, Епишины, Лавровы, Николины...

Можно нередко такой разговор услышать. Приедет, например, к кому-нибудь из города внук, его спрашивают:

– Ты чей?

– Бобылев.

– Чей Бобылев-то?

– Я к бабушке приехал, к Анне Петровне.

– А-а, Захаров, значит, так бы и говорил.

Но это не все. Немало прозвищ давалось в шутку, а то и в насмешку по какой-нибудь приметной черте в характере, во внешности или благодаря случаю. Вот как Павлу, которого все звали «пожарником», хотя ни малейшего отношения к пожарному делу он не имел, работал на колхозной лесопилке, но было как-то раз, что участвовал Павел в тушении пожара – дом старухи Захаровой (Бобылевой) горел – и будто бы уж очень на том пожаре отличился. С той поры носил звание «пожарника».

На прозвища никто не обижался, воспринимали их как должное. Да надо заметить, особо обидных и не было.

Конюха Серегу называли «рыжим». А был Серега не просто рыжим, а прямо-таки огненным. Мальчишки, которые его, кстати, очень даже уважали и любили за то, что он допускал их к лошадям, распевали:

Рыжий красного спросил:
«Где ты бороду красил?» -
Я не краской, не замазкой,
Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал.

Серега и сам, бывало, добавлял под веселую минутку:

Красно солнышко взошло,
Мне бородушку сожгло!

А то еще есть в деревне два Александра, мужики уж в годах, при седине. Так вот одного зовут Саня, а другого – Сашка. И того, который Саня, никогда не назовут Сашкой, а Сашку, в свою очередь, никогда Саней не называют. Или такое: у колодца стоит дом, в котором живет Софья, просто – Софья. А еще есть две Сони – Соня-большая и Соня-маленькая.

Вот и поди тут разберись!

Прошлым летом в Светлых Ключах провалился колодец. Лет тридцать служил верой-правдой, и вдруг – на тебе! Вышли люди утром по воду – журавль в небо рвется, а сруб в землю ушел. Ну, пока мужики новый сруб ладили да землю копали, бабы потянулись за водой на забытый почти родник.

С войны из него воду не брали, он и затерялся, спрятался в густом разнотравье на склоне оврага под корнями старой черемухи. Но жил!

Как колодец провалился, старик Арсеньтич пошел и расчистил родничок, выкопал под корнями яму и кадку в нее небольшую аккуратно опустил.

Хорошо возле родника. Тихо, сквозь ветви солнце косыми лучами бьет, пахнет травой, землей мокрой. Самого

родника и не слышно, только пчелы гудят... Придет какая бабенка, наберет воды да и засмотрится на красоту, что вокруг. Потом вздохнет, зацепит ведра коромыслами и айда – дела не ждут. Короче говоря, вся деревня на родник ходить наладилась, все черпали ведром из Арсеньтичевой кадки, а в ней не убывало...

Утром над Светлыми Ключами еще можно услышать сухой, дробный звук: данг-данг, дан-дан-данг... Это барабанка, развеселый пастуший инструмент. Доска на веревке да две палочки – куда проще! А какие коленца выстукивают на ней при умении. Далеко в рассветном воздухе раздается: данг-данг, дан-дан-данг.

И вот замычали коровы – пора! Овцы забеспокоились – открывайте ворота! День начался.

Собирается стадо. Невеликое оно в Светлых Ключах, но держится, не исчезает совсем. Хватает еще работы Сережке Синице, извечному пастуху Светлых Ключей. Вот уводит он стадо и пустеет деревня до вечера.

Пастушья работа на деревне не из последних. Уважают тут пастуха и ценят. Сохранился еще обычай, когда кормят его в очередь – дом за домом. В полдень, когда пригоняет Сережка стадо на стойло – так зовут пологий склон оврага под огромными старыми вязами, – несет ему очередная хозяйка обед. И это для нее за честь, каждой хочется накормить пастуха лучше, вкуснее, чем соседка. А Сережка ест, нахваливает, как впрочем, и вчера.

Был Сережка из Бобылевых-Захаровых. Семейство большое – одиннадцать душ детей, Сережка – восьмой. Как перебивалась семья в те и без того не сытые годы, сказать трудно. Но по миру не шли, дети всегда были опрятно одеты и гордые все – ничего не возьмут у посторонних.

Поговаривали, будто бабка их клад нашла. Идет, дескать, она раз под вечер по Пожарищу, вдруг петушок из-под березки – порх! Откуда тут петушку быть? Да и странный такой – росточком небольшой, а гладкий – перышко к перышку и будто медью отливает тускло. Ну, старушка в первый-то раз на это внимания не обратила, но когда дня через два этот петушок на том же месте ей опять повстречался, тут уж и разглядела. Испугалась маленько,

а любопытство-то бабье верх берет; она опять на закате к той березке, петушок – порх! перед ней. Она с собой овса прихватила и давай его подсыпать на тропинку, петушок – клевать. Так и привела домой. А только за ворота – ударила петушка по спине граблями и перекрестилась – он золотом и рассыпался.

Другие рассказывали, что достался Захаровым диван из барского дома, где бабка их в горничных служила, стали обшивку на том диване менять, а внутри червонцы царские угольями горят.

Только это все сказки. Золото! Откуда ему в наших местах быть, кладов тут никто не зарывал, про разбойников и слуху не было. А что про Стеньку Разина болтали, так то по всей Волге. Не дошел до наших мест Степан Тимофеевич. Не золото, труд да руки золотые – вот и все богатство Захаровых. Отец в работе с темна до темна, мать – тоже, старшие помогают, да и младшие за ними тянутся.

Душа не злая, это и есть клад. Так бабушка Маша считает. А бабушке Маше не верить нельзя, ее вся деревня уважает за доброе сердце и светлый ум. Уж на что старики народ своенравный, а и те к Марье Петровне за советом идут.

Бабушка Маша – из Мельниковых тоже – жила в третьем доме от оврага. Две рябины у нее под окнами стояли и липа – сама сажала, на рождение каждого внука – дерево. Домишка ее старый, в три окна, с крыльцом и двором; над дверью в бревне врезана позеленевшая от времени медная иконка – великомученик Георгий Победоносец.

Старуха плохо видела. Бывало говорила: «Выплакала я глазоньки-то, по грехам, значит!». Она все сидела на завалинке, а рядом бегал ее городской внук, а может, и правнук – белоголовый Вовка. Побегает так и к бабушке – стук ладошкой по колену:

– Я здесь, бабуся!

И снова задаст стрекача по деревне.

Досталось на веку бабушке Маше – и горя, и радости. Горя, уж как на Руси повелось, конечно, больше. Помнила она старую жизнь и рассказывать про нее была охотница. Управится люд деревенский с делами, и вот соберутся возле бабушки Маши – и молодые, и постарше – беседуют.

А что, интересно послушать – телевизоров тогда в Светлых Ключах еще не было. И слава богу!

Ах, бабушка Маша, бабушка Маша!.. Ведь познакомил я уже людей добрых с деревней, названной мною Светлые Ключи и ее славными жителями. На том бы и точку поставил, кабы не твои рассказы. Ну что делать? Посиди-ка, милая моя старушка, еще на своей завалинке, полюбуйся из-под руки на закатное солнце – вон как заливает оно неярким светом бескрайнее поле, уставленное золотыми снопами, порадуйся, родное сердце, жизни – хорош этот час! И говори, говори…

Из рассказов бабушки Маши

Сыновья

Пятерых ребятишек мне Господь послал. Двоих сынков да три дочки. Младшенькая-то, Катюшка, в семнадцатом родилась – год почти минул, как мужа моего Алексея Иваныча на германскую взяли. Ушел – и ни весточки, ровно в воду канул. Уж я его ждала. Не верила, что убили. Двое наших-то, деревенских, вернулись с войны – Павел да Егор.

Вот, думаю, и Алеша мой – хоть бы калекой, а вернулся. Истомилась ждать-то. Бабы и присоветовали: сходи, дескать, к Рачихе. Она скажет, что с мужем твоим приключилось.

Старуха у нас жила – Анна Рачиха – в Пустошке, деревня так называлась за лесом, теперь ее и следа уж нет. Рачиха – все знали – знахарством да гаданием промышляла.

Ну вот. Думала-думала я – грех ведь, знаю, и раз под вечер, осенью, помню, дело было, взяла в узелок яичек с десяток и пошла.

Стемнело. Дорога не дальняя, а все-таки жутко однойто. Лес по левую сторону. Над ним месяц висит – красный такой, недобрый. Иду – боюсь. Узелок к груди прижала и молитвы шепчу – «Отче наш» да «Богородицу».

Дошла, однако. Изба Рачихи с краю стояла, у оврага. Гляжу – в окошке огонек. Значит, дома хозяйка. Стучу. Рачиха дверь мне отворяет:

– Проходи. Проходи, Марья-солдатка!

Как, думаю, она меня в темноте-то разглядела? Иду за Рачихой через сени, не видать ничего, хоть глаз коли. Она меня за руку ухватила, цепко так, пальцы у нее холодные, сухие, и ведет.

В избу вошли. Смотрит на меня старуха, а мне не по себе как-то. Уйти бы, да куда теперь денешься?

– Вот, – говорю, – гостинец тебе принесла, бабушка, а и ты мне помоги.

– Какая от меня, старой, помочь, милая? – заныла Рачиха.

– Муж мой, Никитин Алексей Иваныч, третий год вестей не подает... Как взяли на Германскую, так и пропал...

– То мне ведомо. А от меня тебе чего надо?

– Погадай, бабушка! До смерти хочу знать, что с Алешей сделалось... Пятеро ведь у меня, мал мала меньше!..

И заревела я тут.

– Ладно, не вой, – говорит Рачиха. – Такое наше бабье дело – ждать. Увидишь сейчас сама все, да уж не обессудь, коли правда горькая будет.

Взяла Рачиха два зеркала, поставила друг против друга и свечи зажгла меж ними. Пока она свечи двигала, устанавливала все, я глазами икону ищу. Темно в избе-то. Только за занавеской у печи лучина в светце над блюдом коптит. Перекрестилась потихоньку на левый угол. Тут старуха и говорит:

– Сиди молча, думай про мужа своего и гляди туда, – на зеркало показывает. А в нем навроде коридора видно, свечами освещенного.

– Поняла? – спрашивает Рачиха.

– Поняла, – шепчу, а губы со страху не шевелятся.

– Ну жди.

Долго ли я так-то просидела, не знаю. Вроде и не страшно уж мне, мысли какие-то тягучие. И про Рачиху забыла. А глаза от того коридора в зеркале отвести не могу. Как приковал он меня. Гляжу и не моргну даже. И вот будто колыхнулось что в глубине. Вижу, явственно так, – из тьмы за свечами показался стол, а на нем гроб черный. Без крышки. И справа вроде как покров свешивается. Движется

тот гроб ко мне – ближе, ближе... Сейчас увижу, кто в нем лежит... Только в ту минуту так-то уж мне страшно сделалось, никогда с того дня страху подобного не знала, что криком я закричала да бежать! Не помню, как и до дому добралась...

Рассказала бабам то видение. Что, говорят, тут и толковать нечего. Я и сама поняла уж, что нету моего Алеши в живых. Только сердцу не прикажешь – не верит оно в смерть.

Ладно. Поплакала я, помолилась и стала умом своим бабьим раскидывать, как дальше жить. О себе уж не думаю – детишек растить надо. Старшему моему Саше (Александру Алексеевичу, значит, и ему нынче Царство Небесное) тогда лет двенадцать было. По тем временам – помощник: за плугом уж ходил, да и по дому какую работу – все на нем, сердешном.

Что я? Не про то ведь хотела. Жили не хуже людей. Голоду особого не знали. Земля-матушка прокормит, коли руки есть. Да... Сватались, конечно, и ко мне мужики. Было. Да только нет, как подумаю так, вспомню Алексея Иваныча – и от ворот поворот.

Сначала пошептывались в деревне, а после, гляжу, с уважением ко мне и бабы, и мужики наши. А мне и раздумывать некогда, хозяйство немалое – полон дом ртов, скотина опять же, огород...

Долго-то чего говорить. Выросли мои детушки. Все как один. Александр женился. Девку хорошую взял, красивую, работящую. Свой дом поставил. Работал в колхозе, тогда уж колхозы образовались. Пять деревень объединили – вот тебе и колхоз «Гудок Октября». Ладно. Другой мой сынок – Ванюша (Иван Алексеич, Царство и ему, соколу, Небесное), тот по иной части пошел. Токарем работал в городе, это от нас километров шесть будет. Каждый день туда ходил в завод.

И дочки тоже. Аннушка в артели гладью вышивала, подзоры со скатерками строчила – любо-дорого. Филя – в колхозе. А Катюшка – эта к учению прилежной оказалась. Вот. Оно бы все ничего. В доме достаток какой-никакой. Внучок у меня появился. Димитрием назвали, Митюшкой,

значит. Хороший мальчонка – синеглазый, волосы как лен мягкие. В Никитиных пошел, в дедушку. У Алексея тоже волосы шелковистые были, светлые...

Выровнялась будто жизнь. Да видно, Бог на нас разгневался – война. Опять германец проклятый на Россию двинулся. Александру повестка пришла вскорости. Ну да, сенокос в разгаре был – в июле, значит. Поревели мы с Варварой, невесткой, а что поделаешь?

Провожать Александра в военкомат я отправилась. Да Митюшка увязался. Годов шесть ему тогда минуло. Путь неблизкий, лугами вдоль Волги. С полдороги прошли, сынок и говорит:

– Ладно, мама, дальше не ходите.

Я не соглашаюсь, до конца, мол, проводим.

– Нет, не надо. Я быстро пойду. И тебе тяжело, и Митюшка устанет. А вам еще назад возвращаться. Так что давайте простимся тут.

Обняла я сынка, сердце-то, как ножом ржет, но не реву, креплюсь.

– Возвращайся, – говорю, – Сашенька, живым и здоровым. Береги себя, а береженого и Бог бережет.

Только отпустила я его, перекрестить не успела, как Митюшка на грудь отцу кинулся.

– Папка! Папка, не уходи!

Маленький, а откуда силы взялись. Я его еле оторвала. Тащу за руку, а он вырывается и опять к отцу:

– Папка, не уходи!

Я уж и сама реву, тащу Митюшку, он мне руки в кровь искусал да исцарапал. Кричу Александру:

– Иди, сынок! Скорее иди. С Богом...

Он зашагал, а Митюшка опять вырывается, догнал его.

– Папка!

Кричит, захлебывается. Как чувствовал ведь, что не увидит больше отца-то... Господи Иисусе Христе, Сыне Божий... Не помню, как и справилась с ребятенком. Дома только в память пришла...

Лето проскочило, а по осени письмо от Александра Варвара принесла. Под Москву ихнюю часть отправили. Он так и написал: «Попробовали московских булочек,

которые сыпались с неба». Ясно, что за «булочки». Полгода потом писем не было, и вот бумага пришла из военкомата: «Пропал без вести». Надеялись, что живой, в плену, может. Да, видать, ошиблись... Беда! Не знаю ведь даже, где могилка сыновняя-то. И есть ли она, та могилка?..

А тут и Ванюшка в скором времени на фронт ушел. Грешна, Господи, а только больше других деток моих любила я его. Самая жаль моя – Ванюшка... Он с малых лет кроткий да ласковый был. Все в церковь со мной ходил, пение любил церковное слушать. И сам пел хорошо.

От фронта у Вани бронь была. С завода. А он уж больно рвался на войну. И ведь что выдумал! Раз утром, гляжу, на работу Ваня мой не собирается.

– Ты что, – спрашиваю, – никак заболел?

– Нет, мама, – отвечает, – не заболел.

А сам все ходит из угла в угол по избе.

– Так ведь строго, – говорю, – ныне. Засудят тебя за прогул-то.

Посмотрел он на меня.

– Засудят. А я того и хочу.

Тут понятно мне стало, чего он надумал. По его вышло. Три месяца тюрьмы ему дали. А как вернулся, так и повестка пришла.

Не вернулся с фронта мой сынок. Царство ему Небесное и всем воинам, за землю нашу русскую павшим. Много их перед Господом предстало в ту лихую годину...

Помню, во вторник было, на Фоминой. Радоница. Пошла я после службы на кладбище родителей, как водится, помянуть. Стою возле могилки, а тут моя младшая бежит.

– Пойдем, мама, домой!

– Что ты, Катюшка, чай я только пришла! Еще к крестному на могилку схожу...

– Потом сходишь, пойдем!

Вижу, на ней лица нет, на Катюшке-то. Меня, как ударило.

– Али с Иваном что?

Она молчит, за руку меня тянет. Я остановилась.

– Говори!

– Ты, мама, крепись...

– Убили? – спрашиваю, а у самой сердце падает, падает куда-то.

– Убили, – шепчет.

И стала я ровно каменная. В груди огнем палит, а слез нету. Пришли домой. Дочери сидят, и Варвара с ними. Письмо на столе лежит. Я читать не стала, молчу. Пол подмела, у печки управляюсь. Аннушка мне и говорит:

– Поплачь, мама, легче станет. Нельзя так-то...

Кабы могла поплакать-то! Уж потом прорвало. Пошла корову доить. Тут вспомнила, как Ванюшка мой молоко парное любил. Подойник уронила, уткнулась коровушке моей в бок, обняла за шею и дала слезам волю...

Умер Иван Алексеич в госпитале. Два раза его в бою ранило. В суматохе ему укол против столбняка забыли сделать, оттого и помер. Страшная, говорят, смерть, от столбняка-то. А какая она не страшная-то?

Схоронили его в селении Крестцы Новгородской области. В могиле номер три лежит. На обелиске имя его есть, мне из военкомата Крестецкого писали. Знать, много там могил, коли номера. Не зря их братскими называют. А как же – все они братья, кто в бою погиб. Значит, и сынки мои. Так выходит. А я вот и съездить на могилку не могу. Куда слепой-то? Только и есть, что помянуть в молитвах ко Господу. Простите мне, соколики!..

Раечка

…Не надо было мне впускать их в избу, прости, Господи, ряженых-то этих! Да что ж, мой грех, мой... Думала как лучше, а вышло, гляди, совсем наоборот. Вот расскажу по порядку.

В войну было. Декабрь студеный выдался. Как говорится, и холодно, и голодно. Оно бы все ничего, да остались в доме одни бабы – сынков-то моих на войну взяли. А дочки при мне, да... У меня ведь трое их, дочек-то, так и управляем.

Вот помню, незадолго до Рождества, приходит средняя моя – Аннушка – с работы, в строчевышивальной артели работала, что в селе у нас за оврагом, и говорит:

– Можно, мама, я Раечку к нам привезу домой?

Я про Раечку эту уж слыхала, девчушку так звали, татарочку. Погибли родители ее, то ли потерялись, не знаю, всяко в войну-то случалось. Вот и привезли девчушечку в артель, там она и жила в сторожке. Аннушка сказывала, будто заболела Раечка крепко, а ухаживать за ней некому. Оно и понятно, у всякого в такую годину свои заботы. Да... Что ж, думаю, ртом больше, ртом меньше – какая разница, а все же за девчонкой догляд будет.

– Привози, – отвечаю, – чего уж там, привози, чай, проживем.

На другой день и привезла. Сосед Павел Арсентич, инвалид, лошадку запряг и съездили. Я у печки возилась, слышу дверь: бух! Выглянула – с морозу в избе пар, целое облако, а в нем – Аннушка моя да с ней девчонка годов двенадцати-тринадцати. Тонюсенькая, что твоя камышинка! Одни глаза, вроде как во все лицо. Да, глаза... Глаза-то у нее большие были, черные, горячие такие...

– Здравствуйте, – говорит.

Вижу, стесняется девчушка. Надо, смекаю, с ней поласковей.

– Здравствуй,– отвечаю,– доченька. Озябла, поди?

– Йок,– улыбается. И опять застеснялась. – Зима холодный.

– Ну, проходи, у печки вон погрейся. Скоро обедать станем.

Так-то вот мы с Раечкой и познакомились. Оно, конечно, привязалась я к ней, жалела, видит Бог... Да и она поначалу стеснялась да дичилась, а потом пообвыкла и открыла сердце-то. Доброе оно у нее, чистое. Все языку меня своему обучала, что как называется, как говорится.

– Исямисис,– говорит,– здравствуйте.

– Исямисис, – повторяю.

Она смеется. Будто колоколец серебрянный по избе. И я за ней, грешница. Да... А хворь в ней все одно сидела, притаилась только. Чем болела Раечка, не знаю, а так что-то вроде лихорадки какой. Днем ничего, а к ночи – как огонь, глаза-то бывало, так и жгут и ко лбу не притронешься. Уж я,

грешница, по-всякому ее лечила: и баней, и травами – без толку. Знахарка была в соседней деревне, Рачихой звали, да померла на Казанскую.

Скоро совсем девчушке плохо сделалось – все больше лежала, к теплу тянулась, а то наоборот – жарко ей становилось, ровно в бане. Да... Личико-то осунулось, и ручонки, помню, поверх одеяла лежат – тоненькие, прозрачные даже...

Тут святки. Это вот я и впустила тогда ряженых.

Война войной, а ребятишкам все одно радости хочется. Ходят по деревне, где споют, где спляшут – ну, кто что и подает: хлебца там, картошку горяченькую – все еда. Чем богаты, тем и рады.

И к нам заявились. Я было сперва не хотела впускать – нашумят, дескать, холоду нанесут, а потом думаю, что же, пусть поглядит Раечка-то, может, сердешной и веселее станет.

– Открой, – говорю Катюшке (это моя младшенькая). – Пусть заходят.

Их и было-то человек пять-шесть. Война, понятно. Разве раньше так было! Я помню, сама в девчонках хаживала. Бывало, соберемся, девки, вечером – а мороз трещит, звезды колючие, снег под ногами, что твой поросенок взвизгивает, – и по деревне. А парни за нами... Ну, не про то речь. Так вот, влетели эти мальчишки – в снегу, рожицы сажей вымазаны, у одного подушка под пальтишком засунута, другой в шубе на изнанку. Пляшут, визжат, чертенята, да и только!.. Гляжу – смешно, а и заплакать в пору. Да что там!..

Вижу, Раечка моя сначала вроде как испугалась, а потом, видно, поняла, что тут игра такая – смотрит, радуется, аж привстала на кровати-то. Щеки раскраснелись, а глазенки – что твои фонарики. И в ладошки хлопает. Вот, думаю, и ладно – все праздник сердешной. Измучилась, чай, душа у нее на чужбине, без родителей, да хворость еще эта...

Ушли ряженые, я и спрашиваю:

– Что, Раечка, у вас, чай, такого-то нету?

– Йок, – отвечает, – нет, апа.

Это она меня так называла – апой. Бабка, значит, по-ихнему.

– То-то, – говорю, – понравилось?

– Понравилось. Смешной мальчики...

А сама легла спать, но успокоиться весь вечер не могла, крепко ее плясуны чумазые разволновали. Все распрашивала – что за ряженые, зачем по домам ходят, ну и все такое прочее. Я сидела возле нее и рассказывала: про звезды колючие, лучистые, про Рождество Христово, святки, про молодость свою. Она мне «Рахмат! Рахмат!» шепчет. Уж я знаю, что это по-татарски «спасибо».

– Да мне-то за что спасибо, доченька? Это вон ряженым...

– Я знаю, знаю... – говорит. – Ты, тетя Маша, – хороший. У тебя сердце добрый...

И ведь дура я дура, рассудила – на пользу радость-то, дескать, на поправку дело пойдет. Ан нет. Совсем даже наоборот. После этого вечера в два дня как свечечка истаяла, Царство ей Небесное, хоть и не крещеной померла...

Последний наш разговор мне часто вспоминается.

Утром Раечке полегчало. То все бредила, лопотала по-своему: «Эти!.. Эни!..» Это она маму с тятей звала, ну, как все дети. Да... А тут отпустила ее хворь. Лежит, помню, улыбается, покушала даже малость – из окуньков, что Павел Арсеньтич принес, ухи я сварила.

Дома никого, дочки мои на работе, дай, думаю, полы помою. Вот и скребу половицы, а Раечка глядела на меня, глядела да и говорит:

– Не умеешь ты, апа, полы мыть!

Смешно мне стало – это я-то не умею!

– А сама ты умеешь ли? – спрашиваю.

– Я умею.

– Ну вот, поправишься и меня научишь.

– Эе, я люблю дома чисто-чисто! Секрет знаю. Тебе расскажу.

– Вот, – говорю, – и ладно.

А потом вдруг и говорит:

– Я покреститься хочу. В веру вашу...

– Ну что ж, – отвечаю, – это можно. Вот поправишься...

Она затихла. Уснула, думаю. Домыла полы, подошла к ней, а она уж холодная...

Вот такая история. Я и думаю, чему быть, тому не миновать, известно, а все ж – ну как не впустила бы я тогда ряженых, вдруг оно все по-иному бы обернулось и поправилась бы моя Раечка? Али зря себя мучаю, так-то думая? Может, и не зря? Может, нужна была девчушке радость эта светлая? Один Бог знает. И забыть бы, да нет, сколько годов прошло, а не забывается. И другое покоя не дает. Скажи она раньше про крещение-то, я бы домой батюшку позвала… Знать, на роду так написано.

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешную... Ведь взяла грех на душу. Рачка-то померла некрещеной. Что делать? Как схоронить? В нашей деревне, да и в селе не то чтобы татарского кладбища, у нас и татар-то сроду не бывало. Ну и решилась я – положили Раечку в нашей могилке, там все мои дорогие лежат. И сама в ней лягу, когда час придет.

А пока в поминальнике Раечка у меня записана – там мама, тятя, сестра, муж Алексей Иваныч и сынки мои оба – Александр и Ванюшка, с войны не вернувшиеся. И Раечка там. Ведь перед смертью-то хотела она святое Крещение принять. Прости, Господи! А что? Тоже, однако, дитя Божие.

Корова

Чу! Барабанка: дан-дан, дан-дан-дан... Это Сережка Синица, пастух наш, стадо собирает. Мастер он, Сережка-то, барабанить. Такую музыку на своей доске выстукивает, что любо-дорого! Как услышу – все, пора, значит, корову со двора провожать – Божий день начался.

У меня нонче хлопот, однако, немного – одна живу. В старое время – да, семья большая была: пятерых ребятишек Господь дал. Муж мой, Алексей Иваныч, Царство ему Небесное, мужик был справный. Извозом занимался – почту

из села доставлял по назначению. Ну и там товаришко какой, седоков-попутчиков для веселия.

Ладно жили, не богато, а и по миру не ходили. Оно, конечно, всякое случалось, Алексей Иваныч-то, что греха таить, нравный был. Ну, дело прошлое…

Не стало Алексея, а у меня на руках пятеро. Не жизнь – слезы. И реветь-то некогда. Выросли детки мои, однако. Всех подняла. Два сына – Александр и Ванюшка. Александр-то на все руки оказался. Балалайки мастерил, любо-дорого! А Ванюшка, тот другой – сызмальства все больше в церкви, службу любил, и батюшка его отмечал.

Вот, значит, наградил меня Бог сынками-то... Оба с другой войны не вернулись.

А дочек у меня трое. Тоже одна к одной, не нарадуюсь. Старшая – рукодельница, такие кружева вяжет, любо-дорого! Средняя – работящая, душой к Богу тянется. А младшая – та до книжек охотница. Сама я не шибко грамоту разумею, мне зачем, – молитвы помню да Святое Писание немного разбираю, куда больше? А она мне читала книжки разные. Вот ведь люди, слова-то какие находят – складные да добрые, аж сердце, бывало, защемит.

Кто Царь-колокол подымет?
Кто Царь-пушку повернет?
Шляпы кто, гордец, не снимет
У святых в Кремле ворот?!.

Это она в девчонках учила, а я и запомнила. А потом другие книжки читала вслух, про этого, помню, про графа французского, ну, который в темнице много лет томился, а невеста его замуж выскочила. Известно, французы...

Ну, девки, ясное дело – как чуть, так и разлетелись, ровно птицы. И выходит, что одна я осталась век свой доживать. Все бы ладно, да старость одолела. И не болит вроде ничего, а чувствую, силы уходят. Уходят силы-то...

В позапрошлом годе совсем было слегла. И думаю – нет, не справлюсь с хозяйством, надо корову продать. Тут и покупатель подвернулся – в деревне за лесом бабенка одна.

Только ведь ничего не вышло из моей продажи-то. А дело так было. Утром, как Сережка в барабанку засту-

чал, начала моя корова волноваться – известно, я ее в это время со двора провожаю, а тут нет. Мычит, сердешная, и у меня сердце-то обрывается за нее – жалко ведь.

Ладно. Замотала ей на рога веревку и повела, уж так я с той бабенкой сговорилась, что, дескать, сама приведу корову. Вот веду, за деревню вышли, а она все назад оглядывается. Понимает, значит. А то как же, конечно, понимает. Так и идем – тяну я за веревку и плачу. Плачу и тяну. Все вспомнила – и как спасала она нас в голодные годы, и как телят рожала... Да что!

До леса дошли мы с моей коровушкой. Встала она как вкопанная, и я идти не могу, обняла ее за шею и шепчу в ухо слова какие-то, ровно дура – ничего не соображаю. И тут, видно, Господь меня услыхал да и вразумил, а только поняла я, нет, сердцем почуяла – не то делаю, нельзя мне корову продавать. Обе мы старые, вместе нам и доживать век-то.

Наревелась и повернула обратно. А и правильно. Слава Богу, как воротилась, так и хворость моя отступила, ничего, управляюсь понемногу. Летом внучат то одна, то другая дочка привезет. Без коровы-то как? Они, детки, в городе хиленькие растут. А тут нате вам молочка парного. Когда уезжают, так не узнать – щеки что твои мячики. Любо-дорого.

Ну, с сеном, конечно, канитель. И то ничего – зятья, когда приедут, накосят, прикупаю еще, понятно. Глаза вот только мои ослабли. Плохо вижу. Да опять же, что мне видеть-то? В доме своем, на дворе али в огороде так все знаю, где что лежит. Операцию, говорят, надо делать. Куда мне? Ни к чему. И так ладно. Солнышко маленько вижу, чего же еще? Сижу вот на завалинке – кто идет мимо, со мной здороваются, а я их всех по голосу знаю.

– Здравствуй, бабка Марья!

Это сосед, Павлушка, – крыльцо мне недавно подновил.

– Доброго здоровья, Марья Петровна!

Это Софья. У колодца живет. Я к ней в баньку хожу.

– Здравствуйте, бабушка!

Светланка это. Арсеньтича внучка. Совсем невестой стала.

А тут слышу: дан-дан, дан-дан-дан. Сережка стадо домой гонит. Ага, надо корову встречать. Тоже дело не хитрое. Встану у двора, протяну руку и зову:

– Зорька! Зорька!

Подойдет она и ткнется губами своими мягкими мне в ладонь.

– Ну, здравствуй, Зоренька! Пошли, подою тебя.

Еще один день прожит с Божьей помощью.

К Сергию

У нас по сию пору про покойника перед погребением так скажут: «понесут, мол, его, сердешного, к Сергию». Или дни у кого сосчитаны, тоже вздохнут – «скоро, видать, ему к Сергию». А уж никто из нынешних-то жителей, пожалуй, и знать не знает, почему так говорят – «к Сергию». Что за Сергий такой? Вот я вам расскажу.

А это просто – на кладбище, значит. Там, на кладбище, храм раньше стоял. Красивый! Белокаменный, с тремя куполами. И святых престолов было тоже три. Главный – в честь преподобного Сергия Радонежского. Два других, южный – честь иконы Пресвятой Богородицы «Знамение», северный – в честь святого апостола Иоанна Богослова.

Вот, значит, как преставится человек, его и понесут отпевать к Сергию, в кладбищенский храм. Так было. Только того храма давно уж нет. И следа не осталось, окромя невеликой ложбинки посередь погоста, где он когда-то стоял. Да… Натворили делов, прости, Господи! А все равно говорят по обыкновению люди – «к Сергию». И всем понятно, куда и зачем.

В молодости моей в селе пять церквей было – Смоленская, что на площади, рядом Крестовоздвиженская, на горе Предтеченская да Рождественская (но не в честь Рождества Христова, а в честь Рождества Пресвятой Богородицы). И пятая, как раз на кладбище – Сергиевская. Одна Рождественская и осталась после лихолетья. Не ведали, что творили, когда думали без Бога жить. А без Бога, известно, ни до порога. Народ зря не скажет.

А кто-то и ведал, наверно… Ну да не про то речь. Первую порушили Сергиевскую. Помню, пришли мы к храму – как раз иконостас разбирали мужики. Не из наших, нашито будто бы отказались это делать. Оно понятно, святыня! В этих стенах родителей отпевали, тут бы и нам в землю лечь. А чужим что – чай, не своё.

Народу столпилось много, в диковину еще было, как церковь-то ломают. Это потом привыкли. Да… Двери нараспашку. И входные, и Царские. Иконы таскают, грузят на телеги, как доски простые. Много икон было, и с иконостаса, и со стен – в ризах позлащенных, а иные камнями цветными украшенные. Хоругви, подсвечники – туда же, навалом. Ни стыда, ни страха Божия. Бабы на паперти и дальше, у могил, стоят, плачут. И я поплакала, чего греха таить, было. И батюшка тут стоял, отец Василий. Старенький, тоже плакал. Скуфейку снял, в руках мнет, а ветер волосы его треплет, белые-белые… Как сейчас вижу всё, а прошло больше полвека.

К вечеру разобрали все три иконостаса. И остался в центральном приделе один ряд – самый верхний, где иконы праотцов, под самым крестом стояли. Из мужиков никто туда подниматься по лестнице не решался –высоко, опасно. Как ни уговаривал их начальник, что из областного центра командовать этим святотатством приехал, чего ни сулил, смельчаков не нашлось. Сам, говорят, полезай, коли такой отчаянный. Он и полез.

Снял кожанку, бросил на пол и говорит:

– Мне дело поручено, я сделаю! Вон по центру икона с тремя ангелами – её сниму, а дальше сами будете. Ясно?

Никто не ответил.

– Ладно, говорит, держи лестницу!

Двое подошли, держат. Лестница составная, из трех частей. Начальник, помнится, его то ли Семёном, то ли Семёнычем звали, окурок затушил сапогом на церковном полу и полез.

Лезет, лестница шатается. Еще двое подошли на помощь. Поднялся злодей до самого верхнего яруса, стал икону Святой Троицы из гнезда вытаскивать. Она не поддается. Так он и так, наконец, вытащил. А как вытащил,

взял её в руки-то, тут пошатнулся да вниз и сверзился. Господи помилуй!

Живой остался, но башку крепко разбил. Усадили на скамейку его, положить-то нельзя, кровь ручьем льется, весь пол залила около лестницы, а он, видно, в беспамятстве, все ругается матерно да зубами скрежещет. Жуть! Побежали за фельдшером, а пока тот шел, начальник-то Богу душу и отдал. А сдается мне, что и не Богу отдал, а кому другому.

Слыхала я, что многих страшная участь постигла, кто церкви Божии рушил. Не знаю, правда ли. Но что сама видела, то и рассказала.

Когда хожу на кладбище, навестить родных, на Радоницу, на Троицкую субботу и в другие дни, всегда бываю на том месте, где Сергиевская церковь стояла, вспоминаю тот день, а перед глазами – как тот богоборник с лестницы летел вниз, и замрет в страхе сердце. Помолюсь у ложбинки за всех чающих жизни будущего века, лежащих в этой земле и ожидающих здесь воскресения, тоже и за тех, кто обижает и ненавидит нас. А такие завсегда находятся. Во все времена.

– Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас грешных!

Скоро и я к тебе отправлюсь. Девяносто шестой годок пошел. Пожила, слава Богу. На всё воля Его.

Павел КЛИМЕШОВ

ОСЕННЕЕ ПОСЛАБЛЕНИЕ

1

Александр проснулся затемно – его разбудила странная поселковая тишина и зыбкий полусвет, что полнил комнату. Осторожно, чтобы не потревожить жену, он поднялся и вышел на кухню. Бог ты мой! За окном плавно опускался крупный снег, сероватый в утреннем сумраке. Экая невидаль: в начале октября – и первый снегопад, плотный, плавный и мягко укрывавший окраинную желтизну кустов и деревьев; крыши посёлка уже утратили исконное многоцветие, лужайки высветлились, окрестные тропинки ярче обозначились среди тихих улочек, потому как поселковые собаки, поражённые густым небесным ниспадением, умолкли.

Александр зачарованно любовался густой снежной пеленой. Внезапный снегопад словно бы заносил острый вечерний разговор с возбуждённой супругой. Анна, мучительно подавляя в себе застарелую хворобу и житейские беспокойства, обострённые затянувшимся безвестием о сыне, давно воюющем на Донбассе, порывисто кляла безумные западные угрозы, нескончаемые фронтовые обострения, по её убеждению, чреватые скорой мировой войной; Александр почти не возражал: в самом деле с каждым днём становилось всё тревожнее, и всё внешнее, тёмное и мрачное, на беду, затмевалось горьким безвестием о сыне. Что с ним? Жив ли он?..

Родители говорили всё встревоженней, жена то и дело всплакивала и кончила настоятельной просьбой срочно закупить побольше соли и сахара. Александр начал было возражать, но бесполезно: изначальная, поди, с древнейших времён, женская неизъяснимая предвоенная тревога была несгибаема, и мужчина смирился.

2

Когда рассвело, Александр пошёл в местный магазин. Заснеженные проулки сладковато пахли озоном; всё было тонко убелёно, растительная осенняя желтизна едва просвечивала сквозь лёгкое оснежье, тропы сочно похрустывали под ступнями – было несколько празднично, что никак не вязалось с внутренней тревогой о воюющем сыне. Острые думы о нём невольно начинали затмевать ранний снегопад, так что вопреки утреннему освещению снежность в глазах встревоженного отца изрядно потускнела. Да и в магазине он рассеянно отвечал на приветствия некоторых земляков – околофронтовые опасения почти затмевали внимание.

В самом деле, всё возможно. Стоит вспомнить тревожные телерепортажи с передовой: укрытые масксетями орудия, спрятанные в густых зарослях, напряжённых солдат возле них, то и дело всматривающихся ввысь, где зависают вражеские «птички», – как же подавляет даже телезрителя эта горячая тишина, внезапно взрываемая артвыстрелами. Каково же нашим ребятам, денно и нощно стоящим на страже! А ведь где-то среди них и родной Олег...

Когда вышел из магазина, утреннее небо покрылось пологом сизых туч. В раздумьях возвращался той же тропкой меж оснеженных кустов и деревьев. По-прежнему укромно посвистывали синицы, где-то в посёлке лаяли собаки, но в пути было тихо и думалось хорошо. Россия выдержит! Оружие постоянно обновляется, в снарядах недостатка нет, добровольцев-контрактников предостаточно. Раздавим, как поганую гадину... Тоже мне, братья по крови. Американцы затуманили мозги, вдохну-

ли свою мерзопакость, и теперь мы – ярые враги... На что Витька Полищук, бывший дружок, и тот ощетинился, как рыжий пёс: «Сволочи вы, русские! Резать вас пора, как гнилую скотину!...» Сколько раз пытались договориться – ведь корешились с юности, но взыграла дедовская хохлацкая кровь, и на тебе – стали смертельными врагами...Ну что ж, воевать так воевать. Правда на нашей стороне.

3

Открывая входную дверь, услышал громкие рыдания жены. Торопливо разделся и кинулся на кухню. Анна в полурасстёгнутом пёстром халате сидела на табуретке, на столе перед ней лежал сотовый телефон.

– Что случилось? Почему ты ревёшь? – дрожащим голосом спросил оторопевший Александр.

– Только что звонил Олежка. Он ранен и лежит в московском госпитале. Я разревелась и не смогла спросить, где это. Он успокаивал, говоря, что рана несерьёзная... А я ревела ещё громче.

Больно было смотреть на полную, растрёпанную женщину с опухшим мокрым лицом – Александрово сердце сжалось.

Успокоившись и переодевшись, Анна приготовила завтрак. Они молча поели и выпили чаю.

– Соберись и проведай сына. Я кое-что ему приготовила, возьмёшь с собой, – и указала на аккуратный свёрток в дорожной сумке. Александр смотрел на жену и почти не узнавал её – так она подобралась и посерьёзнела, но казалась похудевшей: щёки её как-то сгладились, глаза потемнели.

– Передай мой подарок и скажи, что очень жду. Душа изболелась невмоготу. Я ведь знаю: он не из слабых, на жалобы поскупится, а ты не настаивай, будто всё хорошо. .. Да какое «хорошо»?! Она снова всплакнула. – Какое «хорошо»? Москва, главный госпиталь министерства обороны... А ты виду не показывай, что мы почти убиты этой новостью...

К вечеру Александр помылся и побрился в ванной. Тщательно скобля по щекам, он вглядывался в зеркало. Да, немного похудел, но это ему шло: лицо словно подобралось, помолодело, синие глаза стали строже и пристальней, подбородок подобрался – ну, словом, скинул пяток лет.

Позднее ехал на вокзал, вовсю валил густой снег и в его летучей пестроте словно парили встречные автобусы и маршрутки, а придорожные многоэтажки, казалось, воспаряли над заснеженной низью.

4

В вагонной тесноте, в тускловатом свете, под колёсный перестук и пассажирские разговоры, что по мере движения постепенно стихали, Александру отчётливее вспоминалось минувшее. То же непростое рождение сына: Анна тяжело переносила беременность – дважды лежала на сохранении. Роды были непростыми; Александр не знал подробностей, но как только взял в руки заветный роддомовский свёрток, рассмеялся от счастья... И потекли недели, месяцы, а затем годы с извечным кормлением младенца, чутким наблюдением над ним, с нервными реакциями на детские хвори и прочее, прочее... Анна вопреки всему всячески нежила, а то и баловала своё дорого давшееся дитя, Александр отлично понимал её и ничуть не препятствовал, но когда Олежек дорос до школьного возраста, начал упорно, подчас вопреки Анне воспитывать «настоящего мужчину»: по-своему закалял его холодными умываниями, плотными утренними зарядками, а позднее даже определил в поселковую секцию каратэ... Олег рос в жестковатых отцовских условиях, и это окупилось сторицей: сын физически не уступал сверстникам, более того – был уважаем ими и, по слухам, особенно одноклассницами.... Да что говорить! Родители просто не могли наглядеться на своего наследника... А потом была армейская служба, могучий российский ритм в войсках ВДВ, благодарности командования «за воспитание отличного защитника Отечества» и как

естественный исход – решительный олегов отъезд на донбасский фронт...

Стучали вагонные колёса, на стыках подрагивал состав, нарушая пассажирскую полудрёму. По пути Александр и не спал, вспоминая прошедшие годы и десятилетия. Конечно, помимо прошлого невольно думалось о тревожном настоящем: что с сыном, опасны ли ранения, каков он стал?

5

Ранним утром в Москве снега не было – видно, он перестал идти накануне. Сквозь низкие тучи изредка просвечивало солнце и всё вокруг – мокрые, лоснящиеся трассы, тысячи разноцветных автомобилей, автобусов и маршруток на мгновения сияли, празднично преображая широкие трассы. Столица есть столица, у ней особая стать с державным наполнением. Если вслушаться в тысячеголосый богатырский гул, сразу почувствуешь могучий российский ритм, равного которому нет...

Конечно, это радует, но и мучительно смущает дремучего провинциала, глубоко вросшего в пригородные поля и леса, пожизненно оглушённого исконной тишью, тонко пронизанной древним птичьим пением. Но дело есть дело, так что срочно пришлось обратиться в справочное бюро; там объяснили, как проехать к искомому госпиталю – две станции метро.

У высоченного здания ярко синим по белому сияли сотни окон, вокруг здания плотно стояли разноцветные автомобили, но среди них выделялся автотранспорт Первого телеканала с крупными логотипами.

У входа его встретила полиция. Проверив документы и расспросив о цели посещения госпиталя, полицейские попросили подождать в первоэтажном фойе, пока президент разговаривает с ранеными воинами. Александр расположился около одного из многочисленных телевизоров. На экране была видна группа пациентов в одинаковых голубых одеждах (это и были раненые), они расположились большим полукругом перед Владимиром Путиным,

что сидел на госпитальном стуле и, улыбаясь, беседовал с воинами. Из фрагментов монолога было понятно, как он озабочен их выздоровлением, душевно благодарил за мужество, с каковым они отстаивали суверенитет Родины, заверял, что их семьи будут полностью защищены государством; в заключении простился с каждым, пожав руки.

Когда президент уехал, все посетители разошлись по этажам. Александр поднялся на пятый в сто пятидесятую палату. Увидев отца, Олег поднялся с постели, взял клюшку и пошёл навстречу. Они крепко обнялись, порывисто дыша.

– Ну ладно, сынок, отпусти, нето на радости раздавишь, богатырём стал, ручищи железные, – заговорил Александр. – Во тебе материнские подарки, всё, что любишь.

– Спасибо, но это лишнее, здесь отлично кормят. Я понимаю маму – это от души. Вот выпишусь, возьму это на фронт, угощу ребят.

– Я ей это передам...А что с тобой? Это не опасно?

– Врачи говорят «нет». Это было под Бахмутом. Мы успешно отстрелялись, разбили их окоп, а тут над нами зависла их «баба-яга», сбросила осколочный боеприпас, вот меня и задело по ногам. А друга моего Саньку – насмерть... У меня ничего серьёзного, врачи извлекли осколки, через пару недель вернусь в строй.

– А домой съездить не собираешься?

– Нет, батя. Нельзя. Дело идёт к концу, враг дрогнул, американцы подмогу сбавили, боеприпасы истощаются, боевой дух падает. Ты, наверно, смотрел по телевизору, сколько хохлов сдаются? Ещё немного, и всё кончится... А нам расслабляться нельзя, вот додавим гадину, тогда по домам. На радостях попируем, батя!..

Говорили долго, но как-то беспорядочно: отец сердцем прибывал в глубоком тылу, сын даже в госпитальной палате всё ещё воевал на передке, укрываясь от вражеских «птичек», всё-таки заряжал артиллерийскую пушку и палил, палил по вэсэушникам и чем дальше, тем горячей, перекрикиваясь с однополчанами. Это были лихие междометия, исполненные боевого русского духа...

6

Возвращался с лёгким сердцем. С сыном почти всё в порядке – ранения не ахти какие. Пару недель полежит, наберётся силёнок – и снова праведный бой за свободу. А ушлые Штаты потерпят полный крах – туда им и дорога!..

Поезд нёсся в синей темени. Вагон слегка подрагивал, отстукивая на стыках. Александр не спал; отодвинув занавеску, всматривался в пролетающую темень. Потом она начала светлеть, и вдоль дороги уже проносились полуоттаявшие деревья, взгорья, посёлки. Небеса, освобождённые от туч, тонко голубели.

Александр улыбался. Сон окончательно слетел с глаз, начиналось новое обнадёживающее утро, несущее тайную радость. Колёса стучали на стыках, словно успокаивая: всё образуется, не тревожьтесь, жизнь продолжается.

Михаил ЧИЖОВ

ЧАД СВОБОДЫ

1

Под вечер душного июньского дня майор Дмитрий Михайлович Пименов из следственного управления Юго-Западного округа Москвы вернулся после работы домой и уселся в любимое мягкое кресло. В нём усталый майор утонул без остатка, а от крупного тела, казалось, осталась видна одна седеющая голова да кисти рук с крепкими пальцами, спокойно лежащими на подлокотниках. Вскоре он задремал и даже начал видеть сон, в котором привычно метались тени молодых крепких людей, похожих на убийц или ментов в телевизионных рекламных роликах, завлекающих на тот или иной многосерийный детектив.

Стук входной двери разбудил Пименова, и он поспешил в прихожую, чтобы встретить жену. По заведённому раз и навсегда обычаю он приложился к щеке жены и сказал:

– На улице жара, а ты свеженькая, будто с мороза.

– Молодая ещё, не то что ты, седой лунь, – шутливо ответила жена и взлохматила его седеющую шевелюру. – Ты даже не разделся. И опять дремал в кресле?

– Да. Когда не двигаешься, то не жарко даже в штатских белых штанах, – с улыбкой ответил Пименов, намекая на Остапа Бендера, мечтавшего ходить в белых штанах по Рио-де-Жанейро.

– Ну-ну! Ужинать будешь? Надень шорты: кожа должна дышать.

– Что новенького в твоей конторе?

– Пройдут выпускные вечера в школах, пойду в отпуск. Твоё начальство сдержит слово и отпустит тебя вместе со мной, пока наши дети в спортивных лагерях?

Она работала в управлении образования общего для них округа.

– Всё зависит от ЧП. Не будет насильственных смертей – уйду без проблем.

– Каждый год одно и то же, – недовольно пробурчала жена.

Жена об отдыхе мечтает, а у майора вдруг стало тревожно на душе от мыслей о детях: как сложится их судьба? Старший сын вроде определился: окончил институт военных переводчиков, служит за границей, а старшеклассники Михаил и Даша продолжают занятия плаванием в загородном лагере. Как окончат школу и поступят в институт? Как создадут семьи? Будут ли счастливы? Какие внуки у него будут?

– В такую жару хорошо бы сплавать на теплоходе по Волге, чтобы не ходить по солнцепеку, а сидеть на палубе, обдуваемой свежим ветерком, – мечтательно промолвила жена, прервав мысли мужа.

– Поздно спохватилась, уж все билеты расхватали, небось, – с укоризной заметил Дмитрий Михайлович.

– А как с твоей работой закажешь заранее? Никакие планы не сбываются! Всё у нас выходит спонтанно.

– И почти всегда получается неплохо, – с удовольствием сказал муж.

– Так уж и всегда? – с сомнением в голосе возразила жена.

Пименов промолчал. Опыт следственной работы убедил Дмитрия Михайловича в том, что женщины всегда испытывают потребность подчеркнуть свою значимость в любых вопросах, даже в которых слабо разбираются. Так что лучше промолчать.

– Вермишель по-флотски, – объявила жена, подавая Дмитрию тарелку с едой. – Первое тебе удалось съесть за обедом?

– Да, суп по-флотски, – пошутил муж.

Раздался телефонный звонок. Пименов взял смартфон. Густые чёрные брови сошлись на переносице.

– Ну вот, я же говорила, что нельзя с тобой ничего планировать! Даже поужинать спокойно нельзя, – в сердцах произнесла жена, взглянув на мужа. – Теперь куда?

– Недалеко. Дом рядом с хосписом.

2

Молодая женщина лет 30 лежала в палисаднике 17-этажного дома с разбитой о металлическую оградку головой. Длинные волосы пепельно-серого цвета, пропитанные потемневшей кровью, закрывали страшную рану. Одна нога в коротких шортах неестественно подвернулась в колене. Если бы не эта нога, можно было бы подумать, что девушка прилегла отдохнуть. Хотя трава пожухла, была пыльной, и при виде её желание прилечь могло возникнуть лишь у очень большого оригинала. Зевак вокруг из-за позднего часа и духоты не было. Только из открытых, зарешёченных окон первого этажа выглядывали напряжённые лица жильцов да на скамеечке возле подъезда сидела, согнувшись, девушка. Казалось, она внимательно изучает трещины на асфальте.

Сотрудники его следственно-оперативной группы были уже на месте. Врач судебно-медицинской экспертизы на корточках возился с телом погибшей. Рядом с ним стоял фотограф, а чуть в стороне от них лежал на траве известный всей группе чемоданчик медицинского эксперта – настоящая походная лаборатория с химикатами, спиртовкой и даже микроскопом. Эксперт поднял голову и доложил Пименову:

– Сердце, вероятнее всего, остановилось в полёте от страха. Точное время я установлю позже, при вскрытии. Судя по сломам рёбер, инерция падения значительная, что говорит о приличной высоте, с которой она падала. Этаж десятый, а то и выше. Но следов борьбы и признаков насильственной смерти нет. Видимо, самоубийство или неосторожность.

Пименову вдруг вспомнилось, как он мальчишкой впервые прыгнул в бассейн с 10-метровой вышки. И пока летел

вниз головой, успел подумать: «Ну когда же вода?» Летевшая наземь девушка, вероятно, тоже не единожды успела подумать о приземлении. Это были страшные мысли, но она не мучилась. Смерть наступила мгновенно.

– Сергей Иванович, как закончите с осмотром, поднимитесь на этаж, я позвоню вам – на какой, – обратился Пименов к врачу.

– Вы были с ней? – Майор, не теряя ни минуты, повернулся к девушке на лавочке. Подошёл к ней ближе и ощутил резкий запах спиртного и ещё какого-то непонятного вещества.

– Да, мы с ней жили в одной студии.

– Что с ней случилось? На каком этаже вы жили?

Не дожидаясь ответа девушки, Пименов повернулся к судмедэксперту.

– Скажите примерное время смерти.

– От получаса до часа тому назад, – уточнил тот.

– Вот ещё вопрос: кто вызвал полицию? – Пименов приступил к первичному опросу.

– Мы с Машей, моей подругой, отдыхали после смены в хосписе.

– Точнее, расслаблялись со спиртным, – дополнил Пименов.

Девушка вызывающе уставила на следователя чёрные глаза, в которых не было жалости к погибшей подруге, а только сверкали огоньки ненависти.

– Не имеем права, что ль? – с вызовом ответила та вопросом на вопрос.

– Имеете, имеете! – успокоил её Пименов. – Дальше.

– А чего дальше-то? – попыталась тянуть время черноглазая девица.

– Я повторять больше не буду, а отведу тебя в отделение и допрошу по всем правилам, и ночь ты проведёшь в «обезьяннике». Хочешь? Так какой этаж?

– Десятый. – Злости в её глазах могло хватить на десятерых.

Пименов поднял голову и внимательно вгляделся в открытые в большинстве своём окна прямоугольного человейника. Жара спадала. В надвигающихся сумерках

чувствовалось напряжение и тревога. Или это только так казалось?

– Дергач, – окликнул он полицейского дознавателя, входившего в его следственно-оперативную группу. – Пройдись по квартирам этого подъезда и опроси жильцов. Всё как всегда – ты же понимаешь.

– Понимаю.

– Полицию вызвали соседи, я ничего не видела, – глухо и невнятно пробурчала девица и отвернулась.

– Ваши документы.

– Они не со мной.

Ноздри у неё непроизвольно раздувались и сжимались, что явно говорило о пристрастии к наркотикам.

– Пошли в квартиру! – приказал Пименов и крепко взял девушку за локоть.

– Это не моя квартира. Мы с Машей снимали студию, работая в хосписе неподалёку.

Майор с черноглазой девицей на лифте поднялись на десятый этаж. Вошли в длинный душный коридор, на обе стороны которого выходили двери квартир. Всё как в общежитии. Девушка открыла дверь ключом. Взору майора открылись «прелести» малюсенькой 24-метровой студии. В узком и коротком пенале прихожей слева была дверь в санузел, а справа стоял книжный шкаф, занятый отнюдь не книгами, а посудой. После полуметрового простенка слева открылось расширение. Это собственно и была главная комната, совмещавшая в себе гостиную, спальню, кабинет и кухню с электрической плитой, холодильником. Справа – платяной шкаф. Всю дальнюю от входной двери сторону занимало окно с дверью на балкон. Вдоль окна вытянулся во всю длину диван. В центре – табуретки, два стула и низенький столик с немудрёной закуской и бутылками водки.

– Что праздновали? – спросил Пименов без единого намёка на иронию.

– Конец рабочего дня, – с издёвкой пробурчала черноглазая и подала майору российский паспорт.

– Дина Асхатовна Шалумова, – вслух прочитал Пименов и спросил кратко: – Откуда?

– Из Азербайджана.

– Давно ли и как познакомилась с Машей? Да, и найдите документы погибшей подруги.

Та недолго рылась в тумбочке. Видимо, паспорт требовался часто из-за постоянной смены работы, а также… Вот в этом и предстояло разобраться.

– Мария Григорьевна Сартакова, – увидел Пименов и всмотрелся в фото, на нём была погибшая девушка. Он полистал документ: 31 год, замужем, двое детей, прописка в областном, крупном городе N.

– Как и где вы познакомились? – повторил вопрос Пименов.

– На Ярославском вокзале в Москве год назад. Я искала подругу, чтобы выполнить условие владелицы студии: нас должно быть двое.

– Тебе нужна была провинциальная русская простушка, которой легко командовать?

Дина вновь сверкнула огненными глазами в сторону Пименова, но промолчала. Зато вся её гибкая фигурка в коротких шортах, призванных не скрывать интимные места, а подчёркивать их, выражала оскорблённую невинность.

– Чем вы целый год занимались? Где работали?

– В разных местах работали, а последнее время ухаживали за умирающими старухами в хосписе.

Она говорила по-русски чисто, без малейшего акцента.

– Давно в Москве?

– Да. Училась в Институте стали и сплавов.

– Чтобы получить диплом и стать свободной птицей?

– Да, и что из этого? В России худо-бедно соблюдаются права человека.

Девица призывно, можно сказать, профессионально улыбнулась следователю. Она была красива: точёная фигурка, длинные, густые чёрные волосы, восточный тип лица с правильными чертами и крупными, чуть раскосыми глазами, ставшими модными в последнее время на различных конкурсах красоты. Лишь злость в глазах портила их, но она легко могла быть спрятана при наличии маломальских актёрских навыков. У стоявшей перед Пименовым молодой женщины они, несомненно, были.

Майору вспомнилась подобная девица, закончившая технический вуз, но всё время учёбы не отходившая ночами от шеста в стриптиз-кафе. После выступлений часто обслуживала подвыпивших клиентов, порой опустошая их портмоне. Ассоциативная память майора могла вытащить на свет божий множество примеров, так или иначе связанных с происходящими на его глазах событиями. Таким, как эта закавказская девица, нужны были девушки со славянским типом лица. Они, начиная ту или иную аферу, использовали славянских девиц в качестве подсадной утки.

Подошел вскоре Дергач и подтвердил мысли Пименова. Следователь вышел с ним в коридор, плотно закрыв дверь.

– Тут целая азербайджанская диаспора квартирует. Они почти в половине квартир.

– Кто-то слышал крик падающего человека?

– Никто. Только жильцы первого этажа услыхали шум падения. Они и вызвали полицию.

– Они русские?

– Не знаю, но точно не кавказцы: у них светлые глаза.

– Пройдись, пожалуйста, по соседним подъездам. Хотя не надо. Узнай, где находится управляющая жилищная компания и возьми завтра списки всех жильцов.

Вернувшись в студию, Пименов продолжил опрос.

– Вы вдвоём с Машей отмечали конец рабочего дня. Третьего не было?

– Нет, нет! Никого не было! Но даже я не могу вам ничего путного сообщить. Я была в туалете за закрытой дверью, когда Маша упала с балкона.

Пименов понял, что из такой прожженной девицы ничего не вытянешь. Он догадался, почему эта пара девиц работала в хосписе. Славянка влезала в доверие той или иной старушке своей лаской и безукоризненной исполнительностью. Узнавала, есть ли у неё квартира, одинока ли она и обещала ей, что в случае возвращения старушки из хосписа домой будет ухаживать за ней как за родной бабушкой. Ведь позорно умирать в казённом заведении. Старушка возвращалась на место постоянного жительства, аферисты оформляли на Машу дарственную, а потом… Ясно, что было потом.

Пименов вышел на балкон. Застеклённые окна, размером с двери, были распахнуты. Противомоскитной сетки, полагающейся по стандарту, почему-то не было. На подоконнике и на полу никаких следов борьбы или драки. Странная история: молодой женщине, матери двух детей, младшей из которых было всего полтора года, вдруг надоело жить? Психологическая загадка? Или простая уголовщина?

– Сергей Иванович, – сказал Пименов в смартфон, – поднимитесь к нам. Десятый этаж, квартира 95.

Когда судмедэксперт вошёл в студию, Пименов приказал ему тщательным образом снять отпечатки пальцев со всех гладких предметов, в том числе и у девицы.

– Вы не имеете права брать отпечатки у иностранки.

– У тебя, дорогуша, два гражданства, а при нахождении на территории РФ ты гражданка России, и с тобой мы можем делать всё, что предусмотрено законами РФ, – разъяснил Пименов, а на скулах его заиграли желваки.

Наконец-то он понял, чем ещё пахло от девушки и в комнате. Тонкий «аромат» уксуса. А это верный признак использования героина.

– Да, и ещё, – обратился он к эксперту, – проверь девицу и погибшую на предмет применения ими героина. Или другого наркотика.

Девица презрительно пожала голыми плечами, но протянула руку эксперту для снятия отпечатков…

3

Отпечатков лишних пальцев в студии у двух девиц было много. Нетрудно было догадаться, что данное жилище было «студией» терпимости. По своему опыту Пименов знал, что расколоть любую женщину непросто, тем более такую прожженную бестию. Женщины-преступницы почти никогда не идут в сознанку, не то что мужики. Внешнее наблюдение за Диной, установленное с вечера, результатов не дало. Скорее всего, она легла на дно и обрезала все контакты со своими одноплеменниками.

На утренней оперативке Пименов предложил провести ночную облаву в доме и снять со всех подозрительных иноземцев отпечатки пальцев. Однако полковник, начальник отдела, испугался сложностей и протестов от азербайджанской стороны. Он даже что-то говорил о международном скандале, который мог устроить посол независимого, как он сказал, государства. Расследование дела зашло в тупик, тем более следов насилия обнаружено не было. Нетрудно было понять, что начальник хочет закрыть дело. Единственным положительным результатом оперативки стало решение передать дело в главное управление по контролю за оборотом наркотиков: в крови Дины какого только зелья не было обнаружено. Удивительный факт – погибшая наркотики не принимала, только спиртное.

Пименов после оперативки задержался в кабинете начальника.

– Товарищ полковник, – строго по уставу майор попросил разрешения обратиться к старшему по званию.

– Чего тебе, «националист»? – шутливо спросил полковник. Он жил по принципу: не знать ничего лишнего, только необходимое по службе, и потому успешно продвигался по служебной лестнице. И только выйдя в отставку, хотел позволить себе размышления на досуге, что морально, а что нет.

Однако Пименов ценился им и другим начальством за вдумчивое отношение к ведению дел и высокую их раскрываемость.

– Хочу докопаться до психологической стороны дела. Что могло толкнуть молодую женщину, мать двоих малых детей, убежать из семьи и ринуться во все тяжкие?

– Да, к сожалению, у нас нет полиции нравов. А тебе это надо?

– Ну как же! У меня дети, а в последнее время много примеров вовлечения русских подростков в мусульманские джихадистские группировки. Я хотел бы найти родителей погибшей и разобраться в причинах её побега из семьи. Город, откуда она родом, в четырёх сотнях километрах от нас, а впереди суббота и воскресенье. Хочу даже на своей машине туда махнуть: голова отдохнет на

водительском месте, да и хвалёную трассу М-12 хочется посмотреть. Оплатите за бензин – и хорошо!

– Ну что ж, валяй, – вальяжно разрешил полковник. – За два дня управишься?

– Без времени на дорогу, конечно, управлюсь. Я подготовлю приказ?

– Твори, я подпишу!

4

Июньский день дышал зноем. На голубом небе ни облачка. От мягкого асфальта тротуаров и дорог удушливо наносило запахом мазута и ещё неких неизвестных нефтепродуктов. После свежего ветерка, врывавшегося в его машину на скорости 110 километров в час, запахи застойного городского воздуха показались особо противными и удушающими.

Майор Пименов остановился перед подъездом девятиэтажного многоквартирного дома. Нажал на кнопки домофона, высветившие цифру 24. После вызова мужской басовитый голос спросил раздраженно:

– Кто там?

– Следственный комитет! Откройте!

Поднимаясь в лифте на 6-й этаж, Пименов вспомнил газетный заголовок, что этим летом у 130 тысяч российских лифтов заканчивается срок разрешённой службы. «Что делать?» – следователь привычно задал сам себе извечный русский вопрос. Он по такой же извечной традиции не требовал ответа.

Дверь открыл высокий, плечистый и худой мужчина лет 60–65-ти в шортах и белой, тщательно выглаженной рубашке. Лицо украшала седая, длинная, но весьма редкая бородёнка, просившая прикосновения ножниц. Влажные и такие же редкие неопределённого цвета волосы были, как у гимнастки, плотно стянуты на затылке резинкой. Оттого волосы казались приклеенными к угловатому черепу.

«Старый пижон», – с усмешкой, никак не отразившейся на лице, подумал следователь, заметив, что ноги у хозяина,

видимо, больны: цвет ниже шорт отдаёт синевой. Пименов поднял руку с удостоверением на уровень глаз «старого пижона». Тот внимательно изучил его.

– Извините, Дмитрий Михайлович, но я записан на приём в медицинском центре и не могу вам уделить много времени.

– Давайте прежде всего познакомимся.

– Григорий Петрович Малкин, – сообщил хозяин квартиры.

– Гриша, кто к нам пришёл? – из-за закрытой двери раздался несколько дребезжащий, но властный женский голос.

– Мама, мама, не волнуйтесь – это мой друг по работе.

«Единожды соврамши», – подумал Пименов, но вслух сказал:

– Мария Григорьевна Сартакова – ваша дочь?

– Да. А что с ней случилось?

Майор, даже прослужив в правоохранительных органах свыше десятка лет, никак не мог привыкнуть к жестоким словам о гибели.

– Она погибла.

– Господи Иисусе, я предполагал, что добром это не кончится, – мужчина в белой рубашке, казалось, безвольно опустился на небольшой диванчик в прихожей. Лицо его не выразило ни скорби, ни каких-либо других эмоций. Лишь пальцы мелко задрожали и сложились в привычную щепоть.

– Как это случилось? – спросил отец погибшей после крестного знамения и невнятного бормотания под нос непонятных еле слышимых слов. И голос, и слова звучали как-то постно, как у священника в церкви.

– Вопросы задавать буду я, – ушёл от ответа Пименов. – А что собственно, не должно было кончиться добром?

– Её неожиданный побег из семьи.

Отец Марии замолчал, а потом решительно встал.

– У меня совсем нет времени. Я с трудом добился приёма у известного врача, – он показал рукой на ноги синеватого оттенка, – пока я хожу на приём, вы поговорите с матерью Марии. Хотя её мнение очень предвзято, но…

Освободившись, я вам позвоню, но думаю, что бывшая моя жена всё вам лучше расскажет.

– Мне важно и ваше мнение.

– Тогда поговорим дорогой в клинику, – согласился хозяин. – Мама, я ухожу! – крикнул он, открыв дверь в спальню.

Пименов увидел смятую постель, на которой возлежала старая женщина. Квартира была трёхкомнатной, с планировкой семидесятых годов прошлого века. Вход в спальню или в кабинет, как у кого, шёл из прихожей, а дверь в третью комнату открывалась из гостиной. Окна выходили на две стороны дома.

– Как это случилось? – повторил отец Марии, как только за ними закрылась дверь в квартиру.

– Ваша дочь или сама выбросилась с балкона, или ей помогли это сделать. Она упала с десятого этажа, у неё в двух местах оказался сломан позвоночник, к тому же она ударилась головой о стальной штакетник.

– Она не мучилась?

– Нет. Судмедэксперт утверждает, что смерть наступила в воздухе.

– Где это случилось?

– Позвольте вопросы задавать мне, – жестко напомнил Пименов, – тем более, вы утверждаете, что у вас мало времени. Кстати, я на машине и подброшу вас, куда скажете.

– Хорошо, хорошо.

– Мария была замужем?

– Да. Муж Андрей и двое детей: сын Тёма четырех лет и годовалая дочка Лиля.

– Что же её заставило бросить мужа и детей и отправиться по чужим весям?

– Это и для меня загадка.

– Чтобы разгадать её, поговорим о вас.

– Дочь моя – взрослый человек и сама должна отвечать за свои поступки.

– Дочь вашу уже не спросишь. Поговорим о вас. Расскажите кратко о себе.

– Не буду же я рассказывать всю биографию. Задавайте вопросы вы. Я не знаю, что вас конкретно интересует.

– Вы священник?

– Да. Как вы догадались?

– Давайте оставим мои соображения при мне, – почти зарычал следователь. Благообразный мужик стал выводить его из себя. Он обладал каким-то исключительным умением не смотреть в глаза: вроде лицо обращено на тебя, но глаза смотрят куда-то вверх, в небо. Пименова такая манера у мужиков раздражала.

Они вышли из подъезда, и Пименов повторно предложил, показав на легковушку:

– Я вас подброшу к медцентру. Показывайте дорогу и рассказывайте, как вы очутились в лоне церкви.

– Вот спасибо-то, – улыбаясь, поблагодарил отец Марии. – И…

– Итак, слушаю, – Пименов прервал поток предстоящих благодарностей.

– Вообще-то, я закончил радиофак политехнического института, – с гордостью заявил собеседник и даже напыжился от осознания своего превосходства. – Я со своей юной супругой, она младше меня на восемь лет, частенько ходили в церковь, что стояла рядом с нашим домом.

– В каком году вы поженились?

– В 1990-м. Так вот, в те годы в храм ходили только бабушки, и на нас, видных, высоких и красивых молодых людей местный священник и паства обращали внимание. В один момент мы разговорились, и, узнав, что я радиоинженер – я тогда работал по направлению на радиозаводе, – они попросили меня отремонтировать церковные динамики. Я успешно выполнил просьбу.

– Вас отец приучил к работе руками?

– Нет, я воспитывался без отца. Мама отдала меня в радиокружок Дворца пионеров.

– Что случилось с отцом?

– Не знаю. Когда мне ещё не было и года, мама забрала меня и ушла к своим родителям. Потом она постоянно говорила, что мой отец – очень плохой человек.

«Прогресс, – с грустью подумал Пименов, – бабушка ушла из семьи, забрав ребёнка, а Мария, внучка, уже бросила мужа вместе с детьми».

– Вы отремонтировали динамики, а дальше?

– Да, я их ремонтировал не в одном только храме, а в нескольких. Кроме всего прочего, у меня хорошо подвешен язык, и обо мне доложили епископу, владыке. Тот пожелал со мною встретиться. Очевидно, я произвёл на него отличное впечатление. Владыка предложил мне стать священником. В начале 90-х перед РПЦ стояла задача увеличения числа служителей и прихожан. Радиозавод, где я работал, разваливался, и я после долгих раздумий согласился. После двухмесячной подготовки меня рукоположили в диаконы, а через год в иереи. Я говорил очень мудрые проповеди.

«От скромности, ты, милый друг, не умрешь», – подумал Пименов.

– В год, когда я стал иереем, у нас родилась первая дочь Маша. Через два года и вторая дочь, Даша. Жена, выскочив за меня в 18 лет, высшего образования не имела, была из простой деревенской семьи, волею судеб оказавшаяся в областном центре. Моя мама, заместитель директора средней школы, считала её неровней мне. Отговаривала в своё время от женитьбы, сватала мне других девушек. Все мы пятеро жили в малогабаритной квартире мамы. Было тесно в 30 квадратных метрах. Когда Маше было 10 лет, мы развелись.

Пименов внимательно слушал и анализировал сказанное. Известны были ему частые случаи, когда у женщин, школьных завучей, сыновья – неудачники в семейной жизни. Сапожники без сапог, воспитательницы терпят неудачи в воспитании своих детей. Известная проблема.

– Я подъехал, – выдохнул с облегчением отец Маши.

– Продиктуйте мне адрес вашей бывшей жены.

– Тут недалеко, записывайте…

5

Здесь в домофоне не прозвучало ни единого вопроса. Оживлённое моложавое лицо симпатичной брюнетки, примерно тех же лет, что и Пименов, тут же померкло при виде на пороге незнакомого мужчины, даже не успевшего сказать, кто он и откуда.

– С Машей случилось что-то плохое?

– Да! Вы её мать? – Пименов говорил резко и односложно.

– Она жива? – с замиранием сердца и застывшей во взгляде надеждой спросила мать.

– Нет.

– Боже мой! – слёзы неудержимо побежали из её глаз.

– Я войду? – не дожидаясь ответа, Пименов прошёл на кухню и налил в фаянсовую кружку воду.

Молча, подал. Но женщина отвела его руку в сторону. По всему чувствовалась глубина её скорби.

– Вам надо, вероятно, задать мне вопросы? – женщина кухонным полотенцем вытерла лицо и высморкалась. – Извините. Присаживайтесь! – И она показала на видавший виды стул. Пименов медленно опустился на него, рассохшаяся конструкция застонала, как живая. Вдруг откуда ни возьмись в кухне появилась дымчато-рыже-серая пушистая кошка. То, что это была кошка, а не кот, Пименов определил по трём цветам её шерсти. Она села на пол возле ног следователя и вопросительно уставилась на него, спрашивая: «Ты кто? Откуда? Зачем здесь?»

– Не буду скрывать, у нас две версии: то ли ваша дочь совершила самоубийство, то ли ей помогли. Меня интересует, что могло послужить сведению счетов с жизнью такой 30-тилетней женщины, как ваша дочь? Я, на ходу, уже переговорил с её отцом, но картина мне не до конца ясна.

– Спрашивайте, – единственное слово с трудом выползло из помертвелых губ.

В моложавой женщине чувствовалась достойная простота, которая передаётся по наследству вместе с умением прямо и с уважением смотреть на собеседника.

– Ваше имя, отчество?

– Наталья Владимировна Снежина.

– Фамилия по мужу?

– Нет, я после развода вернула себе девичью фамилию.

«Во как надоел тебе муж! – молнией пронеслась мысль. – А ведь смена фамилии стоит усилий, и немалых».

– Где вы работаете?

– В городской администрации. В жилищной инспекции.

– Зарплата, скорее всего, невелика?

– Точнее сказать, мала. Но мне, оставшейся одной, хватает. Вторая дочь вышла замуж и уехала. Я была глупенькой девчонкой, только окончившей школу, когда выскочила за Николая, который поначалу показался мне крепкой, надёжной стеной, а за ней будет нам спокойно и уютно. Он был старше меня на восемь лет. И знать не знала, как могут зависеть парни от воли матери.

– Маменькин сынок?

– Да, что-то вроде этого. Нахлебалась я горюшка, живя в одной квартире со свекровью, да ещё такой властной и безжалостной. Она меня не считала за человека. Так, какой-то забавный зверёк, сексуальная игрушка для её сынка, а для неё домработница без содержания.

Пименов заёрзал, и стул заохал в ответ. Майор твёрдо знал, что женщины любят, когда муж надёжен, крепок, и готовы поступиться многим ради этого. В противном случае…

Слёзы на глазах Натальи высохли, но говорила она без злобы. На живом лице всё сказанное ею отражалось, как в зеркале. Мягкость, беззлобность, видимо, были частью её характера. Многое она пережила, и всё пережитое в ней перекипело, а часть обид испарилась бесследно. Но ей ещё предстоит много и безутешно страдать, вспоминая рано ушедшую дочь.

– Никакой специальности сначала у меня не было. Пошла в детский сад работать няней, а потом повысили до воспитательницы. В городе закрыли десятки детских садиков, будто власть решила, что российские женщины не должны рожать. Их переоборудовали в какие-то жилищные конторы, в техникумы, а то и в филиалы института образования. Но, даже несмотря на трудности с устройством детей в садики, мне Машу, родившуюся после четырёх лет брака, не доверили. Свекровь устроила её в садик при своей конторе. Были тогда ещё живы ведомственные детские учреждения. И чувствую, как Маша, совсем ещё малолетка, начинает отдаляться от меня: не слушается, грубит мне, на вопросы «почему?» не отвечает, стоит бука букой. Через два года я вторую дочь родила. Как-то до Маши руки не доходили: всё внимание на маленькую Дашеньку.

Маша стала ревновать, и слышу, как свекровь наговаривает Маше всякие глупости на меня. Не любила свекровь меня – это точно, но зачем душу ребёнка портить? Я этого не пойму никогда. Я к Николаю. А он: потерпи, всё образуется. Потом крепко встал на сторону матери. Однажды, когда я возразила свекрови по несущественному поводу, то она подняла крик, что на неё нападают. Не разобравшись, Николай набросился на меня, ударил по лицу, свалил с ног и прижал лицо моё к полу. Называл дурой, грозился отправить меня в психушку, где меня закормят таблетками и я помру. Я спрашивала Машу: «Чем я тебе не угождаю?» А она отвечает совсем по-детски – ну правильно: Маше не было ещё и 10 лет, – что я кормлю её всухомятку. Семейный бюджет у нас не был общим, каждый трясся над своей заработанной копейкой. Свекровь к тому времени ушла на пенсию, и, понятное дело, Николай с матерью скооперировался, перестал мне помогать. Стал готовиться к поступлению в Сергиево-Посадскую семинарию, мечтал о повышении по церковной линии. Уже не служил в храмах, а был, по сути, чиновником в епархии.

Наталья ещё долго рассказывала о разменах квартир, о съездах-разъездах, о своих обидах, о поступлении в университет, видимо, в пику свекрови и мужу, чтобы доказать, что она не лыком шита. «Вот уж воистину: все семьи счастливы одинаково, а несчастны по-разному», – эта мысль сверлила сознание Пименова во время всей беседы.

– Вы долго впятером жили в одной квартире у свекрови?

– Да. Но теснота несущественна, если жить не в обиде. Помните такую поговорку?

– Разумеется, – тепло отозвался Пименов.

Мать погибшей внушала ему доверие, не то что её бывший муж, умело отводящий взгляд. «В РПЦ тоже разные люди встречаются, – подумалось Пименову, – как везде».

– Когда лопнул ваш брак? Вы, наверное, венчались?

– Да. Маше тогда было 10 лет. Разойтись было непросто: нужно было благословение владыки.

– И вы его добились?

– Уговорила, хотя стоило это мне немало нервов и времени. Виновницей развода считалась я, потому отноше-

ние ко мне было предвзятое. На суде мирском Маша заявила, что не хочет жить со мной, а хочет жить с папой и бабушкой.

– Вот давайте о ней подробнее.

– Сейчас принято ругать время. Детей, родившихся в лихие 90-е годы, общепринято называть «потерянным поколением». Поколение игрек. То время действительно было сложным, не мне вам рассказывать. Тогда все вынужденно забыли о коллективизме, об идеологии, а думали только о себе. О том, как выжить, как накормить детей. Тревоги матери по материальным поводам: кормление, одежда, отражались на детях. До отрочества дети воспринимают только то, что видят. Словесные внушения им почти недоступны. Маша и Даша видели и запоминали, откровенно говоря, неприятные картины ссор между мной и мужем. Они не привыкли к близости и теплоте, но всё же одна, младшая, встала на мою сторону, а Маша на сторону отца и бабушки. Потому никого не хочу винить, во многом виновата я. Выросла Маша эгоисткой, не чувствительной к чужой боли, не сострадающей, в частности, родной матери. И при этом эгоизм был разрушительным и для неё, а это я не сразу поняла. Есть такое понятие «ленивое сердце», когда человек не способен полюбить другого человека. Но при этом, не любя других, он или она становятся постепенно равнодушными и к себе. Такие люди перестают быть эгоистами в прямом смысле: они не любят даже и себя.

Женщина помолчала, переживая сказанное и собираясь с мыслями. Порой философские обобщения совершаются спонтанно во время разговора, требующего напряжения духовных сил. Кошка вскочила с пола и прыгнула на колени хозяйки.

– А-а, Муська! Моя милая!

Руки женщины привычно принялись гладить кошку по голове и спинке. А та опять уставилась на Пименова. С колен хозяйки Муське было удобнее смотреть на неожиданного гостя.

– Вот моя теперешняя отрада, – Наталья кивнула на кошку и продолжила свою исповедь: – Нельзя исключать

отрицательное влияние свекрови, но мне как-то надо было найти противоядие её тлетворному воздействию. Ведь вторая дочь совсем не такая. Конечно, можно свалить всё на генетику: одна пошла в незнамо кого, другая – в проезжего молодца, что ли? В младенчестве Маша была гиперактивной, неспокойной, а повзрослев, превратилась в полную противоположность – равнодушного, подверженного чужому влиянию и внушению, безэмоционального подростка-дичка, а потом в такую же девушку.

– У самой Маши было уже два ребёнка? По любви ли она вышла замуж?

– Этот вопрос и меня мучит всё время. Чужая душа, даже дочери, те ещё потёмки. Ещё раз повторю, что не оправдываюсь, но, видимо, воздух в России стал другим, что ли, когда появляются такие апатичные дети, как моя Маша. Примеров, может быть, единицы подобных, а похожих сейчас тысячи – когда выходят замуж или женятся просто по многовековой привычке «так надо», «так делают многие». Не вышла замуж – значит, по мнению других, или некрасива, или глупа как пробка, или слишком высокомерна и разборчива. И детей рожают по привычке, хотя они им в тягость, мешают «жить». Одна моя знакомая развелась с мужем потому, что тот ничего не делал по дому и не занимался с сыном. Придёт с работы и сразу садится за компьютер. Не отходя от него, сидит до ночи. Сын тормошит его: «Папа, папа, поиграй со мной!». Отец: « Подожди, сынок! Я щас!» И это «щас» тянется десятки часов. У другой знакомой сыну за сорок, а он вообще (а может, слава богу) не женат. Мать его говорит, что женат он на компьютере. У третьей знакомой дочь замужем за великовозрастным, но с детским сознанием игроком в компьютерные стрелялки и «Танки». Эта пара вообще прозевала сына: не подрезали вовремя уздечку под языком. Знаете, что это такое?

– Знаю, – Пименов не мог сдержать улыбку от такого проверочного вопроса.

– Потому он поздно стал говорить и соответственно умственно развиваться. Теперь ему восемь лет, а он с диагнозом аутизм всё ещё в специализированном садике.

Школ же для умственно отсталых детей, как были в СССР, теперь нет. Такие дети идут в обычную школу, а там их встречают насмешками, если не сказать больше. Учителя только на них обращают внимание, и потому качество образования для других одноклассников сильно страдает… Андрей, муж Маши, был другой, настоящий мужик. Родом он из маленького моногорода на севере области. Крепкий, надёжный, рукодельный. С активной жизненной позицией, как принято сейчас говорить: занимался спортом, играл на аккордеоне, даже Дедом Морозом бывал на новогодних праздниках. Всё чаще думаю, что в миллионном городе трудно воспитать настоящего мужчину. И, казалось бы, чего ещё желать Маше? То ли она ущербность некую чувствовала перед ним?

Она говорила гладко, несмотря на внутреннюю боль. Пименов мог дополнить слова матери погибшей своими наблюдениями, как у родителей примерно его возраста, есть одинокие сыновья-трутни, живущие за счёт отца с матерью до их ухода в мир иной. Они сидят день и ночь за компьютерами и называются блогерами. Они свободны от обязанностей трудиться на общество, они редко покидают свою нору и не могут ладить с другими людьми, они точно знают, что тяготы совместной супружеской жизни почти никак не окупаются. Они «свободны» от всего, что и кто их окружает, и, прежде всего, от любви. И таких, мужиков, с позволения сказать, всё больше и больше.

– Маша окончила коммерческий институт с красным дипломом, – продолжала рассказывать Наталья, резко меняя направленность разговора. – Значит, не дура. Работала бухгалтером на крупном машиностроительном заводе. С Андреем познакомилась на какой-то вечеринке. Он был постарше её на пять лет. По её словам, она чувствовала, что Андрей не её суженый. Накануне свадьбы проплакала всю ночь. Сердце – вещун? Не знаю я истинных причин и оттого теряюсь и не могу объяснить её бегство от надёжного мужа и прекрасных детей. Призрачная свобода от семейной рутины? Может, она чувствовала свою вторичность и ущербность перед мужем? Бросив своих детей-кровинушек на руки мужа, может, она тщилась доказать:

вот попробуй без меня с ними справиться? Свободы захотелось? Свободы от обязанностей? Свобода от подчиненности? Эмансипация? Тогда выходит, что я кругом виновата. Боже мой, сколько ни живи, не разберёшься, чего ждать от людей, даже таких родных, как дочь.

Она опять заплакала. Кошка, лежавшая у неё на коленях, вскочила на ноги и прижалась к груди хозяйки, как бы пытаясь её утешить. Пименов не пытался успокоить мать. Он молча сидел, уставившись в окно, будто там проходило интересное спортивное мероприятие.

Чтобы разрядить тяжёлую ситуацию, Пименов сказал:

– Был я как-то в оздоровительном детском лагере, что раньше назывались пионерскими. В советское время висели на доске объявлений «Права и обязанности юных пионеров». И сейчас висят, да только слово «обязанности» исчезло. Остались одни права!

– Да, это ужасно, когда у детей исчезают обязанности, – поддержала разговор Наталья. – Все мы, в том числе и родители, перед детьми вечные должники, а они – нет.

Пименов по нравственному настрою был с ней согласен.

– Истрепали слово «любовь», истаскали, – продолжила Наталья. – Мне же сейчас ближе и понятнее слово «жалость», которое некоторые умники клюют, считая, что жалость унижает личность. Ерунда! Враньё! Умственные закидоны! Настоящая жалость предусматривает прежде всего понимание чувств и желаний другого человека. Если можно так сказать, влезание в его шкуру. Вот самый элементарный пример. Стоит в автобусном проходе громила-шкаф, а его надо обойти. Жалостливый человек сжался бы, повернулся бы бочком, а безжалостный сухарь стоит себе, как стоял. Ему на всех наплевать, он не хочет понять затруднения пробирающегося к выходу. Вот этой жалости, ласки и теплоты я ей не додала! – горько подытожила мать.

– Эмпатией это свойство называется.

Кошка вдруг вспрыгнула Пименову на колени. Он опустил ладонь ей на голову, и кошка, замурлыкав, затихла, согретая теплом руки.

– Добрый вы, оказывается, человек, – заметила Наталья. – Кошка вас оценила.

Пименову же вспомнились беседы с 80-летним отцом, у которого был ласковый кот, о котором как-то зашёл разговор. Отец говорил:

– Каждое живое существо ищет теплоты, физической ли, моральной. Я не думаю, что коту страшно спать где-то одному, но он всегда ночью прыгает ко мне на кровать и укладывается в ногах. И всегда норовит прижаться к голому телу. Ему, видимо, важно почувствовать контакт с живым человеком. Все живые существа, кроме человека, не знают, что им придётся умереть. Человек – самое сложное и сильное существо на земле, потому что знает о своей смерти, но тем не менее живёт, не дрейфит, работает, рожает детей, даёт им дорогу в жизнь. И она продолжается, согретая теплом души и ладони. Не верь, сынок, советам врачей и психологов, что нельзя спать с ребёнком в одной постели. Дитя одиноко в этом большом и непонятном для него мире. Согрей его вечером своим телом, расскажи сказку или спой колыбельную. Он будет спать крепко-крепко и на всю жизнь запомнит твою теплоту. Надо воспитывать совесть – чувство понимания страданий другого человека. Но слово «совесть» в России почти совсем исчезло из оборота. Его заменили импортным словечком «эмпатия».

– Вы брали маленькую Машу в свою постель? Рассказывали ей сказки на ночь? – под впечатлением своих мыслей спросил неожиданно Пименов свою собеседницу.

– Не-ет, – запинаясь, прошептала Наталья. – Врачи не советовали, говорили, что дитя надо приучать к самостоятельности.

– Думаю, что с этих пор и начинается отчуждённость между родителями и детьми, – подытожил Пименов и обратил свой взгляд на фото в деревянной рамочке, стоявшей на телевизоре. – Можно взглянуть? – спросил он.

– Пожалуйста.

– Давайте вместе рассмотрим. Я буду догадываться, а вы поправлять, если я ошибусь, – предложил Пименов. – Итак, крайний слева – это муж Маши, а она стоит крайней правой. Так?

– Да! Тут момент после крещения младшенькой дочери Маши. Меня на крещение не пригласили, – с глубокой горечью произнесла Наталья.

– На Маше лица нет. Взгляд её обращён внутрь себя. Будто не её ребёнка только что крестили. Она такая отрешенная в такой счастливый и ответственный день, что диву даёшься, да и стоит она особняком. Маша будто прощается с жизнью. Удивительно! Это другая бабушка? – спросил Пименов, указывая на седую женщину в платочке с ребёнком на руках.

– Да, это мать Андрея.

– Маша после бегства как-то общалась с вами?

– Краткие эсэмэски по сотовому телефону, и ничего более. Но два месяца тому назад она приезжала в родной город. Детей Андрей перевёз в свой городок и там нашёл место работы. Он и его родители-пенсионеры охотно воспитывают ребят. Я пытаюсь наладить с ними отношения, но они плохо идут на контакт. Они мне не доверяют, – с горечью прошептала Наталья.

– Маша ездила к детям?

– Нет. Но, когда я с ней проезжала мимо садика, куда водили её старшего сына Мишу, она заплакала. Я предлагала ей остаться, но она отказалась.

– Я вам более жуткую историю расскажу. У нас на московском областном телевидении была молодая способная журналистка, прослывшая «звездой» экрана. Её материалы отличались «собственным информационным лицом» – так воздыхатели заумно характеризовали её заслуги. Она часто ездила в горячие точки, в нулевые годы это была Чечня, и привозила оттуда яркие материалы. Там познакомилась с боевым офицером, за которого позже вышла замуж и родила ему двух сыновей. Однако медные трубы вскружили ей голову и пристрастили к спиртному. По пьяни нашла нового избранника, видимо, подобного себе, а офицера бросила с двумя пацанами. Вернулась в отчую квартиру. К тому времени отец её скончался, а мать, она была примерно нашего с вами возраста, вышла за другого. Отчима «звезда», назовём её Ксения, невзлюбила, по самой простой причине: он и мать осуждали Кс-

нию за ветреность. И вот как-то ей, пьяной, отчим сделал замечание, мать поддержала мужа, тогда Ксения схватила кухонный нож и умелыми ударами, позаимствованными в Чечне, зарезала родную мать и бросилась на отчима. Тот, крепкий ещё мужик, обезоружил её, связал и вызвал милицию. Ксения, чёрная душа, не повинилась, а пыталась обвинить в убийстве отчима. Мне пришлось расследовать это дело и изрядно потрудиться, чтобы доказать виновность этой «звезды».

– Боже мой, какая жуть, – содрогнулась Наталья.

– Вы воспитывались в крепкой семье? – спросил без задней мысли Пименов, вспомнив слова священника, отца Маши, что Наталья из деревенской семьи. Он считал, что сельские браки гораздо крепче городских.

– Нет, – потупилась мать Маши, – я родилась от второго брака мамы. Она ныне покойная.

«Кругом разводы-сходы, – с разочарованием подумал Пименов, – а чему, собственно, удивляться, если на десять браков приходится восемь разводов. На глазах разваливаются семейные отношения на Руси святой. Вот в чём настоящая жуть!» Вслух же произнёс, чтобы закончить тяжёлый разговор, не приблизивший его ни капли к ответу на вопрос: почему у нынешней молодёжи почти совсем исчезла совесть.

– Вам нужно поехать со мной по двум причинам. Первая – для опознания, вторая – для транспортировки тела погибшей. Тысяч двадцать рублей надо захватить с собой. По возможности я помогу вам в организации перевозки и оформления документов.

И для успокоения Натальи добавил:

– Учёные докопались, что на отсутствие эмпатии у человека влияют не только воспитание и общество, но и структура мозга. Учёные говорят, если в лобной извилине не хватает нейронов, то человек не способен проявлять сочувствие, преданность и благодарность.

– К чёрту таких учёных, – вдруг взорвалась Наталья, – они готовы объяснить и оправдать любое извращение. Гомосексуалисты и педофилы, оказывается, вовсе не извращенцы, а жертвы плохой работы мозжечка. Алкоголизм –

это болезнь. Дети не любят книги – это болезнь, плохо читают до 10 лет – тоже болезнь. Надоели эти оправдания.

– Вы, однако, стали весьма самокритичны, хотя я с вами полностью согласен. – Пименов поднялся со скрипучего стула.

6

Пименов гнал свой седан «Хендай Акцент» во всю мощь его стосильного мотора и пытался уйти от тяжёлых мыслей. Но они не автомобиль, они не материальны. Мысли влетали в голову и там застревали, как кинжал, воткнутый в деревянный стол. Ладно ещё, что не хватает нервных клеток в мозге, а если вообще отсутствует эта самая лобная извилина? Что тогда? Люди озвереют? Но даже звери ради забавы или во гневе не убивают себе подобных по классу или отряду, а тем более нет у них самоубийств. Русский вопрос «Что делать?» не имел, как всегда, ответа.

Наталья сидела на заднем сиденье, и лицо её напоминало гипсовую посмертную маску с провальными глазами. На неё жутко было смотреть.

Лирический портрет

Александр ЛУШИН

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ВСЕГДА ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ

ФЕНОМЕН ЛУШИНА
К выходу в свет книги избранных произведений
Александра Лушина.

Предисловие Михаила САДОВСКОГО

«На таких Русская земля держится!» – это про Александра Николаевича Лушина, человека, гражданина, писателя, краеведа, ученого, педагога.

Гармоническое соединение – своеобразная творческая триада – ученого, писателя (поэта и прозаика) и педагога с ярко выраженной гражданской позицией создает такое уникальное явление, которое со всей ответственностью можно назвать феноменом Лушина.

Он потомственный русский интеллигент. Поэт и доктор медицинских наук Ярослав Кауров справедливо утверждает, что Лушин принадлежит к золотому фонду русской духовной интеллигенции.

И здесь сразу на память приходит судьба его предков. Дед Александр Петрович Никольский – протоиерей, известный в широком православном кругу как поэт, автор духовных стихотворений. «Через грозы и беды» Великой Отечественной прошел отец Николай Александрович: трижды ранен, был даже заживо похоронен, награжден боевыми медалями.

Продолжением славной династии Лушиных стал сын Александра Николаевича Антон, человек с обостренным чувством справедливости и достоинства, героический участник боевых действий, погибший на полях сражений в Луганской Народной Республике.

Александр Лушин афористически четко выразил свою судьбу в стихах:

Когда свою я вспоминаю жизнь,
Перебираю в памяти события и даты,
Себе порой командую:
– Держись!
Ты сын солдата и отец солдата.

Сегодня достойной надеждой и продолжателями добрых лушинских традиций являются наследники – трое внуков. Они уже сейчас демонстрируют успехи на всероссийских конкурсах и олимпиадах.

Александр Николаевич Лушин с самой ранней поры был окружен великими Учителями, такими, что пишутся с заглавной буквы. Назову только двух из них. Так, на жизненном пути судьба ему счастливо даровала встречу с большими русскими литераторами – писателем-историком Валентином Пикулем и нижегородским поэтом Юрием Адриановым. Процитирую Валентина Пикуля, положительно оценившего ранние сочинения Лушина: «Вы находитесь на верном жизненном пути…», «В добрый путь…», «…Попробуйте постучаться в “Молодую гвардию”» (московское издательство). Александру Лушину посчастливилось долгое время близко общаться и дружить с выдающимся нижегородским поэтом Юрием Адриановым. Свидетельством тому – автографы поэта на книгах, подаренных Лушину: «Дорогому Саше Лушину, славному нижегородскому краеведу, дружески…», «Александру Лушину с памятью, дружески…», «Дорогому моему Саше Лушину, человеку, влюбленному в отчину. Сердечно и с дружбою Ю. Адрианов»…

Такие дружеские дарственные надписи-признания патриарха нижегородской литературы дорогого стоят.

Издание избранных произведений Лушина – яркое подтверждение. Книга «День Победы – всегда Главный День» словно некий урок, требующий глубокого изучения, осмысления и освоения нравственных ценностей, отстаиваемых автором. Слышен настойчивый призыв «в сердцах сохранить православную веру», как незыблемую основу русского национального духовного богатства:

Помолись всей душой у заветной иконы.

Чувство патриотизма, любви к Родине, вера в высокие идеалы постоянно сопровождает жизнь и творчество Лушина:

Мы знамена свои пронесем
И победным пройдем мы парадом.

Или:

Я верю: мы жили в великой стране,
И не было лучше на свете.

К сожалению, светлая чистота души («Душа прозрачна, как янтарь»), отнюдь не исключает нескончаемой глубокой душевной боли:

И все же память вороша,
Не год, не два, а много боле
Пусть плачет русская душа
От горечи отцовской боли.

Невозможно не разделить эту боль, читая стихи, посвященные памяти сына.

Так и хочется сказать словами стихотворения: «Держись!» Держись, дорогой Александр Николаевич!

При всем разнообразии тематической палитры картины нижегородского края преобладают и становятся центром поэтических сюжетов Лушина. Особенно удаются лирические портреты нижегородских улиц. Я бы рекомендовал изучать эти стихи в школах в рамках краеведческих предметов и кружков. Их полезно читать и знать не только школьникам и студентам, но и экскурсоводам. Своеобразный гимн детству, пронзительная ностальгическая нота пронизывает весь стихотворный цикл «Улицы детства».

Такого чудодейственного средства
Наука не изобрела пока,
Чтоб окунуться с головою в детство.

Если наука не изобрела, то такой феноменальной возможностью обладает поэзия, стихии которой полностью без остатка отдается Лушин.

Например, здесь запечатлены некогда тихие нижегородские улицы, напитавшиеся древней и таинственной стариной и верной мальчишеской признательностью.

Полевая, дорогая,
Нет мне улицы милей,
Полевая, как родная,
Вечно в памяти моей.

С какой щемящей любовью и выразительностью рисуется картина счастливого нижегородского детства!

И пока живу на свете,
Мне становится теплей.
Ведь как лучик счастья светит
Имя улицы моей.

Лирический герой Лушина, понятно, не может не любоваться речными пейзажами Нижнего Новгорода и признается: «Люблю смотреть на пенистые воды, кричащих чаек слушать голоса…», и так восхищается природой, что открывается нашему взору поэтическая фантастичность картины: «И даже берег, кажется, плывет!»

Следует особо отметить, что выход книги приурочен к славной немеркнущей дате – 80-летию Великой Победы и посвящена этому незабываемому событию.

Клятву верности мы принесем
Славной памяти павших героев.

И это признание Александра Лушина покоряет своим твердым патриотическим настроем и верностью памяти героев тяжелейших битв. Он отчетливо фокусирует наше понимание исторической важности события в жизни Отечества:

День Победы – всегда Главный День,
И таким он останется вечно!

Книга Александра Николаевича Лушина, можно сказать с полным правом, выступает в едином строю «Бессмертного полка», мощного народного движения, свидетельствующего о величии подвига нашего народа в Великой Отечественной войне.

Книга адресована нам, современникам, молодым и взрослым, но еще более направлена в будущее – нашим потомкам: неразрывная связь разных поколений отчетливо просматривается в ней. Наши предки и наши современники, о которых мы всегда говорим с неизменной гордостью, не раз доказывали на полях сражений свою бессмертную правоту. Современники и будущие поколения непременно должны гордиться священной и героической историей Родины, черпать неистребимую веру и непоколебимую духовную силу наших предков, наших славных предшественников.

Именно такой высокий смысл и решительный познавательно-воспитательный посыл вкладывают автор и издатели в книгу стихотворений и рассказов Александра Лушина, посвященную 80-летию Великой Победы.

Да будет так!

Наследство

Оловянный солдатик из детства
От отца мне достался в наследство.
Только с ним мой отец не играл:
Он его на войне подобрал
На пороге разбитого дома.
Мне история с детства знакома.
Он в кармане лежал гимнастерки,
Весь в щербинах и сильно потертый:
Он в атаке, поднявшейся рано,
Как отец, получил свои раны.
Но, пройдя через грозы и беды,
Он с отцом возвратился с Победой!
Был других он солдатиков строже
И от этого много дороже.
Оловянный солдатик из детства,
Он останется внуку в наследство.

* * *

Когда свою я вспоминаю жизнь,
Перебираю в памяти события и даты,
Себе порой командую:
– Держись!
Ты сын солдата и отец солдата.

Пусть не всегда легко бывает жить,
Ведь жизнь подчас сюрпризами богата,
Но я обязан памяти служить
Как сын солдата и отец солдата.

Мы все умеем Родину любить,
Нам это чувство от рожденья свято,
И жизнь свою готов я положить
Как сын солдата и отец солдата.

Но если кто осмелится забыть
И отойти в сторонку виновато,
С того посмею грозно я спросить
Как сын солдата и отец солдата.

В висках моих серебряная нить,
Погоны с честью я носил, крылато,
И памяти клянусь не изменить
Как сын солдата и отец солдата.

* * *

Мы знамена свои пронесем,
И победным пройдем мы парадом,
И правдиво везде и во всем
Станет память нам главной наградой!

День Победы – особый для нас,
И под марша победного звуки
Возвратились Луганск и Донбасс
В Материнские нежные руки!

Мы знамена свои пронесем
И бессмертным торжественным строем
Клятву верности мы принесем
Славной памяти павших героев.

И когда грусти легкая тень
Налетит и уйдет быстротечно,
День Победы – всегда Главный День,
И таким он останется вечно!

Сын

Памяти сына Антона, погибшего 6 ноября 2022 года под г. Алчевском в боевых действиях Специальной военной операции

Холодную гнало по Волге волну,
И ветер срывал мою кепку….
Я сына тогда провожал на войну
И руку пожал ему крепко.

Нам свыше такая награда дана:
За прошлое цепко держаться.

Но в мирную дверь постучала война,
И, значит, в поход собираться.

Я сам бы защитную форму надел,
Но силы осталось немного.
И сын, что с кавказской войны поседел,
В последнюю вышел дорогу.

Мы знали, что это большая война,
Не жили надеждою зыбкой.
– Вернемся с победой и выпьем вина, –
Сказал сын с обычной улыбкой

И в быстрых мгновениях грозной цепи,
Где каждый стал больше, чем братом,
В застывшей от боли луганской степи
Навечно остался солдатом.

Как мамина горько-солена слеза,
И дети под утро заснули…
Но сын, пока смерти бушует гроза,
В бессменном стоит карауле!

Два года спустя

Я фото твои тихо глажу рукой,
И детство твое вспоминается сразу.
Мне голос твой слышен ночною порой,
Звучащий в раскатах с предгорий Кавказа.

Бывает и грустно, и больно вдвойне….
В ладонях – твои боевые награды,
Ты был на войне – и погиб на войне,
Но мне не ответил, что так было надо.

Все в мире изменчиво, движет к концу,
Лишь память, как факел, всегда негасима.
Какие слова подберутся отцу,
Который оплакал любимого сына?!

* * *

Душа прозрачна, как янтарь,
И разве может быть иначе,
Когда она и в свет, и в хмарь
О сыне бесконечно плачет.

В созвездье многих лиц и дат
Одно лицо и злая дата:
В родную землю лег солдат
За Землю Русскую когда-то.

Ведь так бывает только раз,
И не бывает смерти дважды.
Я верю: праздничный Донбасс
Всех вспомнит имена однажды.

И все же, память вороша,
Не год, не два, а много боле
Пусть плачет русская душа
От горечи отцовской боли!

Трамвайчик детства

Механический пел колокольчик,
К остановкам слегка дребезжал, –
Так уютный трамвайный вагончик
Суетливой Белинкой бежал.

Под нулевку постриженный мальчик,
На бегу развернув карамель,
Ловко прыгнул в звенящий трамвайчик,
На сидение бросил портфель.

Самосвалов протяжные всхлипы…
Летний воздух от зноя густой…
И омытые солнышком липы
Вслед трамваю кивали листвой.

На трамвайном стекле замер пальчик,
И, прищурясь на солнечный свет,
В тихих думах своих ехал мальчик,
Отходя от простых детских бед.

Город жил не спеша, как обычно,
Патефон из окошка звучал.
И трамвайчик маршрутом привычным,
Как по нотам, по рельсам бренчал.

Пассажиры входили, сменяясь,
(Узнавал многих мальчик в лицо),
Не толкались, шутили, смеялись…
Городского трамвая кольцо.

* * *

Из-за гор Жигулевских тихо солнце встает,
И лучи золотые на волнах играют,
А вдоль берега плавно скользит теплоход,
И красивое слово на нем «Водоходъ»
Рыбаки с орфографией старой читают.

Перелески, ложбины, лугов аромат,
Так и хочется с палубы крикнуть им: «Здрасьте!»
И рукой помахать каждый искренне рад,
И под вечер сентябрьский смотреть звездопад,
Разве это не счастье? Конечно же, счастье!

* * *

Мне любы волжские лесистые откосы,
Прибрежных рощ заманчивая сень,
Где ветерок берез ласкает косы,
В низинах спят высокие покосы,
И ясный улыбающийся день!

Люблю смотреть на пенистые воды,
Кричащих чаек слушать голоса,

Что кружат за кормою теплохода.
В зеленом платье русская природа,
Нарядная как девица-краса!

Речные упоительны просторы,
И, неслучайно, каждый поворот
Вдруг преподносит дивные узоры,
И восхищенно замирают взоры.
И даже берег, кажется, плывет!

* * *

Я верю: мы жили в великой стране,
И не было лучше на свете!
И пела душа на особой струне:
Ведь, послевоенные дети,

Так радостно жили и счастливо мы,
Войны не познавшие беды.
Но знали: четыре суровых зимы
К подножью Великой Победы

Дорогой тяжелою с честью прошли
И нам подарили в наследство
Отцы, что в сердцах наших детских нашли
Свое повзрослевшее детство!

Евгений РАЗУМОВ
Кострома

БАТЮШКА ЖИЛ, И ПРИ НЁМ – ХРИСТИАНЕ...

* * *

Памяти Дарьи Дугиной

Она останется на фреске,
где подпись будет – *Ангел Света*.
Из Петербурга в Мариуполь
не ходит поезд, но она
доедет как-то через осень,
доедет как-то через лето –
с мечом серебряным без ножен
(поскольку – *Русская Весна*).

Её не похоронят дети.
Её не похоронят внуки.
Она их просто не успела
на этом свете обрести.
А впрочем, ангел – выше мира,
где марша свадебного звуки.
Труба зовёт. Труба взывает.
(Отцу послышалось – «Прости».)

Напрасно демоны в тот вечер
всю в мире выпили горилку.
Она воскресла. Не на фреске –
на белом облаке. Живёт.

С мечом серебряным без ножен.
(Ей даже дарят эсэмэски.)
А конь?.. От Жанны д'Арк, наверно.
Не постарел за лет пятьсот.

* * *

Питер Брейгель висит на стене.
Лёд в шестнадцатом веке прозрачен.
За окном машет варежкой мне
алконавт дядя Паша Темпачин.

Мимо льда прудяного везут
сено на нидерландской телеге.
Дядя Паша бывает разут,
всё от альфы пропив до омеги.

Но сегодня он – кум королю.
Кабана закоптили в трактире.
Машет варежкой. Вдета в петлю
лисья тушка. Пудовая гиря

дядю Пашу уже не гнетёт –
«вота пензия… тута, в кармане…»
Зря спешит. В магазине учёт.
На коньках тут и там – поселяне.

От заснеженных скал холодок
вдоль спины. Дядей Пашею пропит
на Россию взирающий Бог.
А замёрзшие ноги торопят.

Скинуть обувь и эля глотнуть.
Смазать пику, чтоб не заржавела.
Дядей Пашею избранный путь
вдаль уводит тщедушное тело.

Ну и что… Мне бы эля глоток…
Да чумы чтобы не было боле.
А над дядею Пашею – Бог.
Во своей поднебесной юдоли.

Артюр Рембо

Искательница вшей, найди себе клошара!
А мне теперь слоны милее во сто крат.
И, альбатрос, – лети вокруг земного шара!
Не вспомню о тебе, как десять лет назад.

Ведь бивень отпилить – не плёвое ли дело?..
Но прежде пулей в глаз ещё догнать слона
приходится. Болит от лихорадки тело.
Душа?.. Где Норт-Дам оставлена она.

На поясе – мешок. В нём – золота до чёрта.
Через болото вплавь уже не перейдёшь.
Гомункулус ли я?.. Молчит моя реторта,
что родила меня. На чёрта я похож.

Я проклят-вознесён. Я проклят-всеунижен.
Из Африки вернусь, я знаю, без ноги.
И для меня в раю не остаётся вишен.
Искательница вшей, дотопать помоги

до склепа, где покой и проклятому нужен!..
Но прежде – позови всех вшивых малышей.
И пусть они придут на поминальный ужин.
И пусть не гонит их трактирщица взашей!

* * *

Памяти Владимира Леоновича

Нарисует икону другой богомаз.
Ну а я напишу, что встречал человека,
в ком Господь до последнего дня не угас.
«Леонович В.Н.» – прочитала аптека.

А ему Кологрив прописали врачи,
что лежат в Соловках, где построил часовню.
«Топором ишемию, Володя, лечи», –
говорил Кологрив до вчера, до сегодня.

А сегодня дровец нерасколотых воз
у забора лежит, дожидаясь Володю.
«Я – хозяин и гость», – человек произнёс.
Вроде дом на юру. И Вселенная вроде.

Где он щурится глазом?.. На мир на какой?..
Отпоёт человека церквушка лесная.
И наступит практически вечный покой.
Будет жить *не у нас, эту* жизнь вспоминая.

* * *

Памяти отца Евгения

Батюшка жил, и при нём – прихожане.
(Жили, молились, пекли пироги.)
Умер – и кто, на каком *ераплане*
к ним прилетит, коль не видно ни зги?..

Если и видно, на тракторе надо
скарб-то везти по ухабинам тут.
Малая родина, я – твое чадо.
Некому ждать его, вот и не ждут.

А по соседству, где теплились жизни,
жил *за меня*, получается, тот,
не было в ком никакой укоризны,
рядом с которым светлел и народ.

Тоже Евгений. Не странно ли это?..
Кротко пронёс уготованный крест.
Батюшка умер – и кончилось лето,
лето Господне, для этих для мест.

Книгу о том написал прихожанин.
Увековечил *святого* шаги.
Батюшка жил, и при нём – христиане.
(Жили. Молились. Пекли пироги.)

Александр КЕРДАН
Екатеринбург

ОПЯТЬ ПЫЛАЕТ КУРСКАЯ ДУГА...

Баллада о сыновьях

На завалинке старуха,
С нею – дед.
На двоих почти им
Двести лет.
У старухи на коленях –
Кот клубком.
И сидят старуха с дедом
Ря-
дыш-
ком.

А в избе герань
Алеет на окне,
Фотографии теснятся
На стене.
Все солдаты,
Все похожие с лица...
Восемь было их у мамы
И отца.
Три войны прошел старик –
И сам живой.
А вот дети не вернулися
домой –
С той последней,
Самой страшной, мировой.

У избушки – две березы,
Два ствола.
Облетела, поосыпалась
Листва.
Все глядит на них
Старуха,
Смотрит дед:
Два ствола стоят живые –
Листьев нет.

* * *

Опять пылает Курская дуга
Под залпами старинного врага...
И нет тут оговорки никакой –
Фашизм и в вышиванке, он – такой,
Каким уже показывался здесь:
Всё те же и воинственность, и спесь.
И что бы ни втолковывали мне,
Кресты всё те же на его броне.
Гутарит на десятке языков,
Стреляет и в детей, и в стариков,
Забыв уже преподанный урок
И то, как еле ноги уволок...
Ведь как бы ни сгибали нас в дугу,
Мы не уступим злобному врагу,
И вспять его погоним в свой черёд,
А кто не сдастся, так же здесь умрёт
И станет перегноем для полей
Непобедимой Родины моей.

Рядовой

Ах, как землица неровна…
Неровности землицы
Любить заставила война,
Чтоб мог солдат укрыться.

Любая ямка, бугорок –
Спасение от пули.

И, крепко заучив урок,
Солдат живым остаться смог
В сорок втором, в июле.

Вжимался плотно в землю он,
Мечтая слиться с нею.
И был Победой награждён –
Стирал портянки в Шпрее.

И вот – землёй навеки стал,
Привнёс в родной суглинок
Своих осколков драгметалл,
Полученный в Берлине.

Да прах, что прорастёт травой,
Да память, что нетленна…
Итог, как будто рядовой,
В судьбе обыкновенной.

Канун двадцать пятого

Цены, словно альпинисты, лезут вверх...
Слава Богу – отменили фейерверк,
Городской оптимизируя бюджет,
Чтоб защитник не был голоден, раздет,
Чтоб копейки не пришлось опять сшибать –
Амуницию да дроны покупать,
Зажигая новогоднюю звезду,
Вняли разуму на третьем на году
И прислушались, что говорит народ,
Ведь война-то настоящая идёт!

Коль чиновники прозреют до конца
И закупят всё для каждого бойца,
Вот тогда-то и наступит перелом
И мы точно всех фашистов разобьём,
И поверит в справедливость весь наш люд
И зажжёт тогда над всей страной салют,

Прославляя песней подвиги и труд,
Всех, кто, надрываясь там и тут,
Не щадил себя, боролся против зла,
Чтоб Победа к нам великая пришла!

* * *

Милая родина,
Малая родина,
Дедов приземистый дом…
Дальше, конечно же, в рифму –
Смородина,
Та, что растёт под окном.
Рядом – малина,
Колючий крыжовник,
А за забором – репей…

Будь ты, хоть праведник,
Хоть уголовник,
Будь в этой жизни – ничей,
Здесь обретёшь,
Всё, что было утрачено,
Пусть никого не найдя…
Холмик над мамой,
Крестом обозначенный,
Сетка косого дождя…

Добрая мама –
Кровиночка алая –
Сделалась пядью земли.
Родина милая,
Родина малая –
Можно в горсти унести.

Виктор ЛЯПИН
Кстово

ТОЛКНЁТ ЛИ БАБОЧКА В СПИНУ...

* * *

Соловьиною Волгой в ночи
это лето течёт где-то рядом.
...Одинокая лодка урчит.
Молоком набухают Плеяды.

Не откликнется, не застучит
тьмою-крыльями дальняя птица.
И реке, собирая ключи,
в лунный свет шелестеть и катиться.

Воздух скошенной мятой натёрт.
Острым лезвиям первые сроки.
И горит-догорает костёр,
поджигая зарю на востоке.

* * *

Трогаешь мглу, пеленаешь, таешь
в спелых сиренях, в ночных краях,
и, зацелованная, читаешь
сад в нескончаемых соловьях.

В облаке с белыми лепестками,
душной любовью дыша, плывёшь.
Что там за плёсами-берегами?
Разве из облака разберёшь?

С крайних границ полноты и неги,
с кровью искусанных губ, сладка –
не пожалеешь ли о ночлеге
в белых мерцающих лепестках?

* * *

Толкнёт ли бабочка в спину,
боднёт ли болиголов –
искать на солнечных глинах
живую клинопись слов,

где, прикасаясь друг к другу,
летят жасминов снега
к неутешимым излукам,
к неутишимым лугам,

где поздним вишеньем соткан,
сбивая к Волге тебя,
колотит ветер по лодкам,
стучит по хлюпким цепям.

Твердит всезнающим Лотом
из бездн речной пустоты:
– Ты то, кем создан. И кто ты –
совсем не ведаешь ты...

* * *

В яблоневых полях слишком медова завязь.
Белые лепестки выстлали нам постель.
Будет для счастья дочь, будет сынок на зависть.
Будет прозрачной – ночь, яблоневой – метель.

Тихий вчерашний бог – солнце в реке утонет.
Бакены и костры. Млечные зеркала.
Бьётся, как певчий дрозд, сердце в твоих ладонях –
губ моих прикоснись, рук моих возжелай.

Медленно, как слова – с теми же лепестками –
полня листвой и мглой ложе согретых глин –
зёрнами в жернова – в воздух, в дыханье, в камень,
в девственные сосцы с ласками слаще вин...

* * *

Певучие глины, шмелиные глины,
шумерская глинопись лапок шмелиных
в вербейниках, в зарослях дикой малины,
в густой, нескончаемой мгле соловьиной.

Он словно подсказка, их ропот, жужжанье,
их виолончельное света дрожанье.
...Застынь, оглянись, перепутай страницы –
сквозь глинопись леса в земные кошницы,

где царства сминаются в тонкие вербы,
где солнца колышет от млечного ветра,
где кровь проступает на лапках шмелиных,
...где стелются зори в певучие глины.

Из свежей прозы

Николай ЛАЛАКИН
Владимир

ЭТЮД ДЛЯ ДВОИХ

Я помог тебе выйти из такси. Наши руки медленно разжались. Целуя меня, ты сказала:

– Я буду ждать.

И лёгким, но неторопливым шагом пошла по тротуару. Я невольно залюбовался тобой. Порывистый ветер плотно лепил на тебе одежду и разметал по плечам твои длинные волосы. Пытаясь поправить причёску, ты развернулась ко мне вполоборота и смущённо, как бы извиняясь, улыбнулась. На какое-то мгновенье ты стала скульптурой. Вот так, именно так, тебя нужно лепить, мелькнула мысль. Я был благодарен ветру за подсказку…

Я сел в машину и опустил стекло. Не хотелось расставаться с ветром. Мы медленно проплыли мимо тополиной аллеи, затем прогромыхали по мосту через Клязьму, словно проиграли на разбитом ксилофоне, и стремительно помчались навстречу городу с парящими на высокой круче золотыми куполами белокаменных Успенского, Дмитриевского и Георгиевского соборов, памятнику князю Владимиру и святителю Фёдору, медленно проплыли мимо древних стражей Владимира Золотых ворот.

«Я буду ждать, очень ждать», – повторял я твои слова, вслушиваясь в их звучание. Мы мчались по проспектам

и улицам, нехотя задерживаясь у рябиновых светофоров. Майская буйная зелень радовала взгляд.

Неожиданно зазвучала музыка, точнее мелодия. Вначале её слабый голос я ощутил где-то там, внутри себя. Но с каждой секундой он становился всё слышней и слышней. Я стал улавливать звуки мелодии в стремительном потоке встречных машин, в суетливой спешке пешеходов, в мелькающих стёклах витрин. Мне казалось, что поют облепленные снежными лепестками деревья, звенит под шинами после вчерашнего дождя асфальт, тихо гудит гранит памятников и обелисков…

Звучала музыка. С каждым её аккордом я чувствовал, как во мне прибавляются силы, меня тянуло вырваться из ползущей металлической клетки и взлететь над городом и рекой…

Звучала музыка. Весь город был наполнен ею. Неожиданно пошёл дождь. Крупный, звонкий. Его росистые капли ударялись об асфальт и разлетались маленькими радугами… Я закрыл окно. Дождь прозрачными пальцами забарабанил по стеклу. Я вспомнил вчерашний день и дождь. Мы шлёпали по лужам, не желая, как другие, прятаться от него. На запруженных улицах мы открыто целовались на виду у сгорбившихся под зонтами прохожих… Позже ночью, у себя дома, я долго не мог заснуть. Добрый теплый дождь заставил меня написать стихи о том, как мы радостно слушали стук дождя и сердец. Заканчивались стихи так: «легче дышится, я убеждён, нам с тобою вдвоём под дождём»… Сегодня, слушая их, ты долго смеялась, затем упрекнула меня в том, что я хочу её простудить. Чувствовалось, стихи тебе нравились…

Звучала музыка. Я вспомнил, как мы с тобою познакомились. Это произошло в Минске. Я был в командировке. Жил в гостинице «Планета» уже несколько дней. А ты тщетно пыталась поселиться в ней.

Так случилось, что ты приехала в гости к своему жениху-лейтенанту, не застала его в части. Лейтенанта внезапно отправили на учения, и ты осталась одна в этом огромном городе. Я помог тебе устроиться в гостиницу и предложил познакомить тебя с Минском и его

жителями – моими друзьями. И рад был, что ты приняла моё предложение. Мы, не торопясь, ступали по улицам и площадям старинного славянского города, ловили ладонями пушистые парашютики первого снега и вслушивались в его белые звоны. С моста в незамерзающей реке кормили чёрных лебедей…

Тебя тепло приняли мои друзья. Кинорежиссёр Анатолий Кудрявцев, с которым мы родились в один год и в один день, показал нам свой фильм «Свеча». Художник Алексей Кузьмич, в чьей мастерской мы ахнули от его мадонн, задумчиво смотрел на нас. На одном из полотен, мне показалось, была изображена ты. А известные белорусские поэты Сергей Законников и Алесь Письменков, просто пришли от тебя в восторг. Они прозвали тебя Славянкой и наперебой читали стихи о любви на своём родном белорусском, но мы всё хорошо понимали… И когда наступило последнее утро нашего пребывания в Минске, ты призналась мне, что не хочешь отсюда уезжать… Я был счастлив от этих слов…

Неожиданно, перебивая мои воспоминания, фальшивым аккордом взвизгнули тормоза. Раздался пронзительный милицейский свисток. Музыка смолкла. Я перестал её слышать, очнулся, плохо соображая, что происходит. Мой водитель, ругаясь, грозил кому-то кулаком. Вокруг нас сгрудились машины. Лавируя среди них, к нам приближалась с красным околышем фуражка…

Но, судя по всему, ничего страшного не произошло. Какой-то чудак на «Таврии» выехал на встречную полосу и чуть было не врезался в нас. Я же, расстроенный тем, что оборвались звуки музыки, не стал дожидаться конца этого дорожного ЧП и, бросив деньги на сиденье, выскользнул из такси.

Пройдя с полкилометра, завернул в скверик с кустами сирени, подёрнутыми зеленоватым дымком. У памятника композитору Танееву ворковали голуби. Я присел на скамью и стал наблюдать за птицами, силился вспомнить свою мелодию, но тщетно. Музыка не возвращалась ко мне. Тогда я выскочил на дорожный асфальт, поймал такси, надеясь, что в прежней обстановке музыка снова

зазвучит. Но напрасно. Машина петляла по безмолвному городу. Я искал во всём прежнем музыку и не находил её.

Грустный, неожиданно для себя, я очутился на привокзальной площади, у цветочных рядов, где мы обычно встречались с тобой. Знакомое волнение охватило меня. Вновь я увидел твои широко раскрытые сияющие глаза и зазвучала мелодия. Восторг охватил меня, мне захотелось петь и плясать. И уж совсем не понимая, что я делаю, бросился к цветочным рядам и купил три пылающих тюльпана. Навстречу мне попались две симпатичные девушки и сгорбленная слегка старушка. Недолго думая, я вручил им по цветку. Девушки, недоумённо пожав плечами и растерянно промолвив «спасибо», пошагали дальше, а старушка, внимательно посмотрев на меня, спросила: «Наверное, кто-нибудь родился?» Я утвердительно кивнул.

– Сын или дочь?

– Музыка! – воскликнул я.

– Музыка!

Священник Николай ТОЛСТИКОВ
Вологда

БОГ РАССУДИТ

Маленькая повесть

1

Лука опять, пьяный вдрызг, пёрся к родному дому. Улочка сбегала круто под горку, и кривые, колесом, ноги мужика не справлялись со стремительным спуском, все норовили за что-нибудь зацепиться – Лука, пролетев ныром, пропадал во взметнувшемся облаке пыли. Скрежеща зубами, он долго раскачивался на четвереньках, пытаясь подняться, наконец ему удавалось сесть на задницу. Ворочая очумело белками глаз, резко выделявшимися на черном, в несмываемой угольной гари лице, он угрозливо мычал. Встав на ноги, мотая безвольно из стороны в сторону осыпанною щедрою сединою башкой, Лука правую руку держал за спиной вытянутою, зажав мертвой хваткой в ней горлышко посудины, чудом сберегаемой при падениях.

Таким макаром Лука добирался до крайних, стоявших друг напротив друга на речном берегу домов и, прежде чем вильнуть к своему и ввалиться бесчувственным кулем в калитку, поворачивался к соседнему. В полубезумных остекленелых глазах мужика вдруг проскальзывало вполне осмысленное выражение, злое и ехидное; Лука, вытанцовывая на кривых своих ногах, поворачивался и выставлял на обозрение соседу тощее гузно и, довольно гогоча, хлопал по нему ладонью.

– Послал же черт и родню и соседей! – Иван Никанорыч Худяков солено ругался и захлопывал окошко. Мог бы

сделать это раньше и цыгарку, не досмолив, бросить, но ретироваться и перед кем! Еще подумает, что струсил...

Лука появился на Старой улице не так давно. Еще жива была полоумная бабка Зоя, как оказалось, его родная мать; до пятидесяти лет держала его за дорогую кровиночку, усыновив, Зоина бездетная сестра. Приемный же папаша после ее смерти присутствие Луки не вытерпел и дня, выгнал с треском, вдобавок чужую старуху привел. Лука тут и вспомнил про мамочку...

Говорили, что он был когда-то красивым парнем, от девок не было отбою, но служить попал на подводную лодку и, когда возвернулся в форсистой морской форме, высокий, статный, выявилась одна закавыка. Девки, а пуще молодые разведенки, ринулись к нему гурьбой; бабенки побойчее норовили затащить морячка в постель, и... ждало их разочарование. Потом уж, много погодя, иная из самых страстных с нескрываемой застарелой обидой ругала его при встрече мудреным иностранным словом, и, поскольку не каждая это словцо могла правильно произнести, чаще вслед Луке летела такая похабщина, что он, бедный, горбился, старался вжать голову в плечи и пускался прочь да дальше чуть ли не бегом.

Лука крепко пил, валялся под заборами, по-стариковски съежился, глубокие морщины грубо прорезали его лицо, в одной грязной «робе» ходил он в будни и в праздники, таким и прибился под крылышко к родной маме...

Дом себе дед Ивана Никанорыча ставил хоть и возле самой реки, но на сухом взгорке, а вот свояк его, перевезя из деревни большущий пятистенок, взгромоздил его напротив худяковского прямехонько «на ключи»: из кожи вон – лишь бы родственничка перещеголять.

Прокатилось времечко; дом, теперь Ивана Никанорыча, в заботливых руках стоял себе по-прежнему, хозяин его вагонкой обшил и покрасил в нежный лазуревый цвет, а свояков пятистенок, подтачиваемый родниковой водичкой, исподоволь завалился на передние углы, будто набычился на ухоженного соседа; просел в нем пол, отчаянно дымили разщелившиеся печи, в пазах стен то и дело выползал куржак плесени. И в огороде, сколько бы ни сыпали

на гряды песку, «ключи» неугомонно пробивались на поверхность.

Запыхтишь тут завистливо и злобно на месте Луки, если еще и руки не из того места выросли. К тому же на отвалившемся от дома крылечке встретит сидящая на ступеньке и беззаботно напевающая похабные частушки полоумная мама Зоя.

Кабы только это!

...Тетка Зоя в молодости была криклива и сварлива, а в зрелых годах – еще пуще.

В соседские окна она могла кричать исступленно, неистово, до саднящей горло хрипоты, даром что и затворены они плотно, и супруги Худяковы сидят смиренно, зажав уши: высунься, начни лаяться – еще хуже будет.

Вон, Зойка, ведьма ведьмой, космами растрепанными трясет, кричит на всю улицу:

– У меня мужик на фронте честно голову сложил, а ты, фашист гребаный, в плену всю войну отсиживался, задницу немцу лизал!

Иван Никанорыч, чтобы не слышать этих ранящих слов, еще крепче, чуть ли не до звона, давил ладонями на ушные раковины: знает, стерва, где больное, не зажившее с годами место, норовит ударить на раз, под дых.

И досадил-то ничего: Зойкин сын, оболтус Сашка, залез в огород, и словил его Иван Никанорыч, напихал ему, матерящемуся на чем свет стоит, крапивы в штаны. Потом было пожалел парня, время послевоенное, голодное, а тут началось...

Сашка, почесывая место пониже спины, вышел на подмогу мамаше, принялся бухать камнями по воротам обидчика.

Потом и пошло-поехало: чуть мама Зоя в ругань, так и сыночек примчится камнями ворота обстреливать. И тоже кричит вместе с мамашей:

– Фашист!

Худяков от еле сдерживаемой ярости скрипит зубами да сидит неподвижно, глядя в испуганно-молящие глаза су-

пружницы. Может, и выскочил бы надрать мерзавцу уши, кабы не ходил отмечаться каждую неделю в отделение милиции как бывший военнопленный. Сдержался, даже когда Сашка, заманив к себе верного дворнягу Шарика, задушил его и с удавкой на шее выбросил посередь дороги перед худяковским домом...

Отслужив в армии, недоросток Сашка поокреп, раздался в плечах, но росточком почти не прибавил, и прочная детская кликуха – Окурок – так от него и не отстала. Камнями хоть, слава богу, перестал соседу в ворота пулять, встретив на улице, воротил заносчиво в сторону рыло.

Было с чего. Работать Сашка устроился в милицию: Худяков благодарил судьбу, что после смерти Сталина туда хоть отмечаться теперь ходить не надо – представить жутко, какие бы от Сашки козни претерпеть пришлось! Сосед лихо подкатывал к дому на потрепанном, с залатанным шалашом брезента газике, долго, надувшись, похаживал около машины, бахвалясь новенькой милицейской формой и, уж когда мать опять лаялась с Худяковыми, показывался на крылечке, важно и выразительно прокашливался, и мама Зоя без промедления умолкала.

Вызналось, конечно, потом, что Сашка состоял в милиции не ахти каким важным чином, всего лишь водителем, да и «козлик» его часто ломался, так что приходилось Сашке, сбросив китель и забыв про фасон, задирать крышку капота и копаться в движке.

Через это-то все и стряслось...

Дочку, родившуюся слабой и болезненной, супруги Худяковы берегли и лелеяли, только что пушинки не сдували, да разве углядишь за пятилетним ребенком! Как она оказалась со своими игрушками в куче песка на дороге?.. И тут же Сашка возился с газиком, потом, видимо, на радостях, что починил, заскочил в кабину и почему-то дал задний ход.

Навсегда, до смертного часа запечатлелось в памяти Ивана Никанорыча:и белокурые локоны, рассыпанные по личику дочки и быстро вязнущие в застывающей крови, и перемазанное песком и грязью синенькое платье на изуродованном тельце, и вскинутая тонкая ручонка

с расставленной, будто для защиты, ладошкой. Хотелось верить, что в страшном сне нес он домой дочку с запрокинутой назад, как у подбитой птички, головкой, под высокими кладбищенскими елями видел свеженасыпанный маленький холмик. Помнил – в плену, когда несколько бедолаг, вместе с ним за попытку к бегству запертые в карцере, ждали расстрела, он, юнец еще, вдруг ощутил жгучее желание погладить ладонью по мягким волосенкам то ли дочку, то ли сына, не родившееся еще от него дитя и, когда сказал кому-то об этом, тот человек не удивился, лишь покачал согласно головою, сам страдая от последнего предсмертного и невыполнимого желания.

После войны жена Клава таилась до поры, боялась сказать молодому мужу, что надорвалась на лесозаготовках, но, слава богу, все обошлось...

Очнулся от тяжкого кошмарного сна Иван Никанорыч в зале суда – Сашку оправдали: дескать, не чаял, как задавил, сам ребенок виноват. Худяков, взглянув на довольно ухмыляющееся лицо соседа, сдавленно простонал и выбежал из зала.

«Нет, не будет он, гад, небо коптить да лыбиться!» Как рассчитаться с Сашкой, Ивану Никанорычу взбрело на ум сразу же.

Тот, как ни в чем не бывало, по-прежнему подруливал на газике домой обедать и опять, задрав крышку капота у машины и выставив нетощий зад, ковырялся в моторе.

Иван Никанорыч, поглядывая из окна на соседа, поглаживал приклад охотничьего ружья. Раньше, случалось, баловался в лесу по мелочи: тетерок пострелять, рябчиков. Ружье было еще барское, с гравировками, реквизированное покойным отцом-активистом из какого-то окрестного имения и без надобности провалявшееся на чердаке многие годы.

Худяков нашел пару патронов, один, помеченный, с пулей-жаканом, заслал в правый ствол; левый зарядил патроном с картечью. Сухо-деловито клацнул затвор. Иван Никанорыч, чувствуя прихлынувшую к вискам кровь, напрягся, как перед прыжком; мушка промеж ружейных стволов, положенных на подоконник, плясала перед гла-

зами. Вон он, широкий зад, вываленный из-под капота! Горячий жакан просадит Сашкино жирное тело насквозь и вышибет, расплещет по грязным машинным закоулкам его мозги!.. Иван Никанорыч по-детски крепко зажмурил глаза, но дрожащим непослушным пальцем спустил левый курок, вывертывая вбок, в сторону, ружье и оглохнув совершенно от грохота выстрела.

Он даже не слышал, как пронзительно, по-поросячьи, заверещал Сашка – видно, пара-тройка картечин все-таки влетела ему в задницу, – задрав дымящиеся стволы, повернулся, и елозя спиной по простенку, сполз на пол, невидяще уставясь на появившуюся на пороге горницы жену.

Она стояла какое-то время непонимающе, потом с ревом повалилась к ногам мужа.

2

Худяков отправился топтать зону, а Сашка, залечив ранения, женился вскоре. На преподавательнице.

Стройная, с гладко зачесанными назад черными волосами, школяров она строжила почем зря, и на уроках у нее самые хулиганистые безмолвствовали, муха пролетит – слышно. Встречая родителей своих учеников, Раиса Яковлевна здоровалась свысока, задирая остренький носик и хмуря тоненькие над светлыми холодноватыми глазами выщипанные бровки.

Уж как такую цацу улестил кривоногий опилыш или опенок, соседи крепко недоумевали.

Сашку из органов вытурили за пьянство; где потом он только не работал: и городской бани начальником, и техником-озеленителем, и завхозом, и еще леший знает кем. Девки и молодые бабенки, ведая про его шебутной характер и совершенное смертоубийство – о задавленной худяковской девчушке в городке помнилось долго, старательно обегали, открещивались, как от нечистой силы. Ему бы век вековать в холостяках, кабы в соседнем доме не сняла комнату приезжая учительница.

Сашка, приодевшись во все лучшее, с самым деловым видом, выразительно покашливая, забегал вдоль изгороди,

то собираясь таскать дрова, то позвякивая пустыми ведрами. Учительница же, сидя у окна за проверкой тетрадей, носик свой востренький в Сашкину сторону не воротила, как и не существовало докучливого соседа вовсе. Тогда Сашка приволок домой из клуба, где последнее время труждался оформителем, малюя на афишах названия фильмов, подрамники с холстами, расставил их в огороде и принялся, так сказать, за дело. Дескать, я вам, дорогая учительша, тоже не хухры-мухры, а гражданин с художественным вкусом.

Раиса Яковлевна удостоила, наконец, Сашкины упражнения беглым взглядом из-под стеколышек очков, нахмурилась и вдруг окликнула его:

– Мужчина, извините, но вы в слове допустили грубейшую ошибку!

Сашка, отвернувшись от афиши, где с нарочитой сосредоточенностью выводил длинное название какого-то фильма, малость смешался от долгожданного внимания к себе:

– Где?

– Да вот там, там!

Так, слово за слово, разговорились, и вскоре он, подкараулив, провожал учительницу от школы домой. Правда, не под ручку или же вовсе облапив за плечи, а подпрыгивая бестолково рядышком с ней, шагающей с независимым видом.

Но на то слыл Сашка шалопутом! Заманив Раису Яковлевну в компанию, он сумел накачать ее, непривычную к местным дозам пития, до беспамятства и, утащив на веранду, совершил там свое дело. Вроде и слышал кто-то возмущенные крики, но сунуться в веранду побоялся: ну еще связываться!

Жить они стали, как все в городке. Сашка прохаживался со своей женщиной теперь, не притрунивая следом, а подставив ей согнутую крендельком руку, старательно выпячивая пузцо, и не с мятой, как прежде, с перепою рожей, а прилизанный, чисто выбритый, слегка взбрызнутый одеколончиком.

Через положенное время родилось дите – мальчик, и довольная баба Зоя, катая внука в коляске, даже перестала затевать свары с соседями.

Обзаведясь семьей, Сашка посолиднел, пора – плешь по затылку расползлась, но страсти-страстишки остались прежними: злопыхать на земляков, вредничать им и, чтоб такое лучше удавалось, подзаправляться регулярно водочкой. Через нее, горючую, чуть не пропал...

Жена, взяв с собой сына, уехала попроведать больную тетку. Сашка, почуяв волюшку, ушел в загул. Он и раньше-то несвободой особо не тяготился, а тут не один день кряду... Пробудившись среди ночи с пересохшим горлом и трещащей головой, Сашка кое-как добрел до стола, но в чайнике было пусто, ни капли и в ведрах на полавошнике, глоток же воды вперемешку со ржавчиной со дна перевернутого рукомойника жажду не утолил. Сцапав ведра, Сашка поплелся на колодец...

Баба Зоя проснулась от холода: в неприкрытую дверь выдуло всю избу. Долго непонимающе шарила взглядом по горнице: свет включен, а сынка не видно. Встала, заглянула на кухню, сразу заметила пропажу ведер – утвари-то не лишка и, кутаясь в платок, вышла темным сенником на крыльцо.

Ветер хлопал незапертой калиткой, крутил вихри поземки, злобно бросил пригорошню колючих снежинок бабе Зое в лицо. Она еще постояла на крыльце, покричала Сашку, продрогла, но все же сердце подсказало куда идти. Переметенную пургой тропинку к колодцу баба Зоя нашла без труда, хоть и ветер норовил свалить с ног, побрела, опираясь на батог, и вскоре увидела бугор посреди тропы, оказавшийся заметенным снегом Сашкой. Уж какая сила помогла старой матери затащить бесчувственного сына в дом: с виду не богатырь, но веса в нем – что в кабане порядочном. Баба Зоя, переводя дух, оставила его лежать на полу под порогом, завалить на кровать не было моченьки. Пооттирала еще снегом белое лицо, закоченелые руки и, когда Сашка замычал, устало привалилась к теплой стене русской печи...

Утром Сашку отправили в больницу, и вернулся он оттуда без обеих кистей рук, ладно что ноги тогда обуты в валенки были – уцелели. Ему изготовили протезы, но он невзлюбил сразу эти искусственные руки, ходил, пряча

в карманы культи, расщепленные до локтя, как у рака клешни. Сделался он слезливым, в компании в какой-нибудь кочегарке налезал широко распяленным ртом на стакан, лихо опрокидывал, перебросив потом порожний через плечо, чтоб мужики ловили, закусывал, черпая из миски ложкой, привязанной резиновой лентой к культе, и распускал нюни. Раньше мужики, зная его зловредный характер и халявные замашки, могли и по шее накласть, теперь же терпеливо сносили все от пьяневшего мгновенно Сашки – и то, как он бился головой и культями об стол, размазывая остатки немудреной закуски, и то, как поливал всех и вся матерными словами.

«Сам, сам!.. Никто тебе не помогал!» – вслух не говорили, думали. И домой его доволакивали: хоть пуля в одно место дважды не бьет, да кто знает...

Попрочухавшись, Сашка переключался на мать:

– Зачем и спасла, дура старая?!

Жена как-то подействовала на него, не растерялась, надоумила учиться в местной профшколе на бухгалтера, может, и свела сама. Сашка, вгрызаясь в гранит науки, стал попивать реже, ходил на занятия с полевой «командирской» сумкой на тоненьком ремешке через плечо. Правился и, как прежде, поднимая кверху, будто принюхиваясь, картофелину носа, пытался напустить на себя деловой вид; встречные же не подсмеивались, а жалостливо лишь отводили в сторону глаза...

В свою «учебку» и обратно домой Сашка бродил через реку по шаткому узкому мостику. Летом речка пересыхала, превращалась в затянутый ряской и тиной ручей, но в половодье разлилась плесом до крайних домов на берегу, несла на стремнине льдины, коряги, доски, всякий мусор. Вода почти доставала хрупкую, ненадежную ленточку настила мостика, часто какая-нибудь кокора или льдина шаркала по ее низу, норовя разломать, унести за собою.

Всякий такой удар приводил в восторг стайку мальчишек-первоклашек, повисших на еле держащихся перилах. Сашка еще издали приметил красную лыжную шапчонку сына, щуря глаза, ругнулся: куда бабы смотрят! Ребятишки все-таки увидели его раньше, потому как резко оберну-

лись в его сторону и... что тут произошло – с визгом метнулись на берег и там бросились врассыпную. И тотчас до Сашкиного слуха донесся не то захлебывающийся крик, не то плач, очень знакомый. Сашка ускорил шаги, побежал, успев ухватить взглядом мелькнувшую из воды подле моста красную шапчонку. Он с протяжным воем бестолково забегал по настилу; шапчонка сына ярким пятном еще раз вынырнула из серой свинцовой воды. Парнишка даже вскинул руку, будто надеясь за что-нибудь ухватиться. Сашка, сбив брюхом хлипкие перила, бухнулся в воду, на мгновение оцепенев от жуткого холода, отчаянно забарахтался, вытолкнутый на поверхность, отплевываясь, жадно захватал ртом воздух. Сына больше не было видно. Вмиг намокшая одежда потянула ко дну, Сашка забил что есть мочи по воде своими культями, теряя силы и с ужасом понимая, что сыну-то помочь он ничем не сможет.

Его успели вытащить живым прибежавшие на шум мужики: в речке в этом месте было не так глубоко.

Весть о происшествии тотчас разнеслась по Городку.

Иван Никанорыч, стоя у окна, смотрел на Сашкин дом, зябко подрагивая плечами. Когда он обернулся к окликнувшей его жене, на глазах его блеснули слезы.

3

Сашку и после гибели сына продолжало добивать.

Внезапно загуляла женушка Раиса Яковлевна. Всегда такая серьезная, недоступная, вся из себя, сняв черный траурный платок, стала она иногда приходить на уроки разрумянившаяся, с блестящими глазами, потом и в компашку гулящих родительниц-разведенок затесалась. Сашка ворчал, ругался, плакал – она его не слушала, поглядывала лишь из-под стекол очков насмешливо-презрительно. И он тихий сделался, плечи опустились, голова посивела – старик стариком.

Собрался он за советом к Раисиной тетке, единственной ее родне. Хотелось дорогой развеяться, поплакаться хоть кому-нибудь, мама Зоя мужских слез не терпела и не воспринимала. Но и тетка Раисы, восемьдесят с лишком,

Сашку разочаровала и озадачила: «Будь мужиком!» – и весь сказ.

«Пить, что ли, с ней вместе? – раздумывал всю обратную дорогу Сашка. – Дак ведь не будет, на стороне ей интересней».

Дома ожидало убийственное и презрительное сообщение мамы Зои:

– Твоя-то цаца у «черных» навроде подстилки.

Раиса уж не один раз не ночевала дома. Ее новые подружки-разведенки нацелились на бригаду горбоносых шабашников, в своих кепках-аэродромах приехавших строить коровник. Темпераментных «нацменов» бабенки разобрали по квартирам; Раиса Яковлевна приглянувшегося кавалера привести к бабе Зое на постой не посмела и, видимо, у кого-то из знакомок сняла уголок для ночей утехи и страсти.

Сашка заметил их еще издали... Затаился за изгородью и разглядывал – она, без очков и оттого кажущаяся много моложе и красивее, легко шагала, облапленная за талию усатым смуглокожим красавцем, с радостным возбуждением смотрела на него и, похоже, ничего больше вокруг не замечала.

Сашка, распаляясь яростью, тихо взвыл, но броситься на широкоплечего, мускулистого супостата не решился – плевком зашибет. Эх, юные б годы, силенок если маловато, так сгреб бы уразину! А теперь... Он тоскливо воззарился на свои культи: и штаны не расстегнуть без посторонней помощи.

Раиса с ухажером свернули к домику одной из родительниц: там, наверное, было пристанище, а Сашка, скыркая гнилушками зубов, удрученно поплелся домой...

Раиса совесть поимела: прослышав о возвращении муженька, пришла на другой вечер ночевать домой. Баба Зоя, оставляя супругов наедине, едва разминулась с невесткой в дверях, отправилась в гости к сестре. Раиса разделась, в легкой ночнушке забралась на кровати под одеяло и отвернулась к стене.

«И тут чистенькой хочется быть, сволочи... И тогда не прозеворонила бы, так парень-то не потонул!»

Сашка шустро, но бесшумно, по-тараканьи, подбежал к ней и как боксерскую грушу принялся молотить культями. Раиса кричала страшно, умоляла, но это его еще больше осатанило; содрав с жены сорочку, он и по безжизненному телу бил долго, до изнеможения, пока отшибленные культи не заныли.

Ударив локтем по выключателю на стене, Сашка при свете взглянул на измолоченное тело с начинающими уже стынуть вытаращенными глазами и закушенным зубами языком, жалобно заскулил, руки и ноги сделались ватными от страха. Весь безумный дьявольский запал сгорел, Сашка трусливым нашкодившим щенком заметался по комнате. Нашел веревку, хотел сделать петлю, зубами начал вязать узел: искусственные руки куда-то запропастились. Ничего не получалось, да и Сашка особо не старался; бросив затею, он захныкал, стараясь не глядеть в сторону кровати. Было жалко себя...

4

Спасскому монастырю под Городком досталось. В давние времена, в польско-литовское нашествие, его не смогли взять приступом разъяренные воровские рати; не в столь же отдаленные – коммунарские – без всякого штурма одолел его один местный ярый активист, свой русский, Никаха. В годах мужик, не безусый глупый парень, но бегал на полусогнутых с оравой городковских голодранцев за хмурыми сосредоточенными «чернышами», облаченными в кожаные тужурки, услужливо подсоблял им вытаскивать из монастырских храмов ценности; потом, клацая затвором винтовки, сгонял в телегу остатних, не сумевших по причине немощи уйти из обители монахов и вышагивал неторопливо, закинув винтарь на плечо, до ближнего леса, где бедняги навеки и упокоились.

Когда погнали на Север раскулаченный люд и Спасское стало пересылочной тюрьмой, Никаха уже сам похаживал в скрипучей блестящей коже и с наганом на боку, хозяйски поглядывал на обкорнанные, без крестов, главы собора, где за толстыми стенами страдали, томились и встречали

свой последний час несчастные. Никаху подхалимы величали теперь Никанором Ивановичем или «товарищем Худяковым».

Тут и случилось происшествие: кто-то из охранников, видимо, рассчитывая чем-либо поживиться, проник в маленькую церковку иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» и пулей вылетел обратно:

– Там Богородица на иконе плачет кровавыми слезами!

– Заткнись, придурок! – Никаха грозно одернул трясущегося подчиненного и тут же приказал выкидать из церкви на двор все иконы.

Скоро на паперть набросали их порядочную груду, Никаха, черкнув кресалом, подпалил ее и даже спокойно прикурил от заплясавшего по древнему лику огонька: «Смотрите, ссыкуны, как надо!»

Пламя вмиг опряло все: в жутком полыхающем костре корежились, обугливались, пропадали то суровые, то благостные святые лики; кучка Никахиных приспешников, прикрываясь локтями, испуганно отпрянула от огня; из собора, где кто-то из узников сквозь узкое, как бойница, окно разглядел творившееся святотатство, донесся горестным стоном многоголосый плач. Никаха, похаживая возле теплины и подпинывая головешки, вдруг хлопнул ладонью себя по шее, будто комара придавил – из взметнувшегося снопа искр одна, видать, ожгла его; он, оскалив зубы в недоброй ухмылке, засмеялся.

Что творилось в закопченной его душе – кто ведает?..

Странная эта ухмылка уродовала потом Никахину рожу чаще и чаще; стал он заговариваться, дальше – больше, родную избу пытался запалить. В конце тридцатых Спасское превратили в юдоль для умалишенных, и Никаха оказался в их числе...

Иван Никанорыч помнил, каким видел отца в начале войны перед своей отправкой на фронт... В монастырском дворе санитар указал ему на кучку людей в одинаковой мешковатой одежде, слоняющихся бесцельно в загородке, обнесенной сеткой.

– Никаха!

Но никто не отозвался санитару, и тогда он, ражий детина, шагнув в загородку, выхватил оттуда невзрачного, стриженного под ежик мужичка, цепляя за ворот, подвел его к Ивану. Мужичонка с морщинистого лица по-рачьи пучил глаза, но как-то пусто глядел перед собой, будто ничего не видел, и то ли мычал, то ли просто шлепал толстыми губами. Иван с некоторым даже трудом узнал в нем отца: как Никаху сюда посадили, сын не проведывал его. И так ровесники дразнили дураковым отродьем, а старухи плевались Ваньке вслед: «Иродово семя!» Отца еще первое время спроваживали домой, но он неизменно вытворял что-нибудь веселенькое и теперь в дурдоме прописался на постоянно. Он тоже не признал сынка:

– Ты из какой деревни? Где-то я тебя видал?

Никаха скрюченной ладошкой цапнул Ивана по щеке. Тот отпрянул, а отец захохотал.

– Я проститься пришел, на войну отправляют. – Иван, вжимая голову в плечи, отвел глаза в сторону. «Мать заставила» – чуть не добавил, но прикусил язык: хоть дурак, а вдруг поймет. Никаха резко оборвал смешок, спросил, ни к селу ни к городу, про одного бывшего активиста – своего растоварища.

– В тюрьму забрали, – ответил Иван. – Враг народа.

Спросил про другого – того, по слухам, расстреляли.

– Вот видишь, а я здесь живой! – шепнул он быстро на ухо Ивану, упирая на слово «здесь», и кивнул на приоткрытые ворота: – А там бы мне – каюк! Спасся я!

Иван изумленно смотрел на отца: показалось, что рядом совершенно здоровый человек, прежний – взгляд осмысленный, испытующе-хитроватый, да и говорил отец без ужимок и подхихикивания. Но, кажется, тогда Ванюха все-таки ошибся: отец внезапно захохотал да и еще принялся часто креститься на обезглавленный им же собор:

– Спасся, спасся! Ха-ха-ха! – затараторил, будто считалочку.

Подошел верзила-санитар, мигнул: мол, прощайтесь, постоял немного и опять за ворот потащил

приплясывающего Никаху в загородку. Иван, уходя, оглядываться не стал, не думал, что видит отца последний раз...

...Кавалерийскую часть, состоящую из новобранцев, бросили в прорыв; это был для Ивана первый и последний бой. Оружие – у одного взвода шашки, у другого – просто палки, и так через раз. Батог Ванька выбирал поувесистей: испытаем, крепка ли у немчуры башка?!

Вместо пехотной цепи в поле навстречу разворачивающейся в атаку сотне из перелеска выскочила одинокая мотоциклетка, протрещала парой длинных очередей из пулемета и юркнула обратно.

Конная лава вытаптывала поле; Иван, раскручивая над головой палку, разевал в крике рот, когда из ложбины впереди выкатились стальные коробки. Топот копыт, крики кавалеристов стремительно сближались с деловым рокотом танковых движков, лязгом гусениц; отворачивать было поздно.

Иван успел заметить возле башни одной из коробок дымок – земля перед мордой коня вдруг взметнулась, черной тяжелой волной ударила Ивану в лицо, ослепительный огонь, наверное, выжег глаза, грохота разрыва Иван, вырванный неведомой силищей из седла, уже не слышал...

Он очнулся от звона в ушах, сел, потряхивая головой, и с испугом, с омерзением попытался отодвинуть свое враз занывшее всеми косточками тело от полураздавленной, забрызгавшей все вокруг кровью, лошадиной туши. Оперся об землю ладонью и тотчас отдернул ее, словно обжегся: четкий след траков танковой гусеницы отпечатался всего в нескольких вершках.... Что-то острое ткнулось в шею – Иван, повернув голову, сначала увидел сизую сталь широкого штыка и, подняв глаза, немца, кивавшего: вставай, рус!

Со всего поля согнали малую кучку уцелевших бедолаг, повели и вскоре втолкнули в длинную колонну военнопленных.

Иван в лагере с голодухи чуть не помер, больного его едва не пристрелили, за попытку побега в расход только

что не «расписали» – Бог уберег, а потом и вовсе увезли куда-то через всю Германию.

Эх, на родной дом хоть бы одним глазком глянуть!

И когда однажды в фольварк, где Ванюха молол зерно на мельнице, вкатили танки с белыми звездами на броне и солдатами-неграми и хозяин – толстый добродушный бауэр-мельник предложил остаться: «Рус Иван, тебе дома капут, колхоз, Сибир!», Иван отрицательно помотал головой – теперь хоть ползком, но к дому. Как ползком и получилось, через пяток лет, через советский лагерь, куда отправился, едва попал к своим. И потом – надолго клеймо...

Никаха сына не дождался. Говорили, что перед концом войны он из тихопомешанного сделался буйным, никакими мерами не могли его утихомирить и засунули в палату-изолятор для таких же бесноватых, что размещалась в стенах Спасского собора. Там Никаха долго не наобретался, разбил башку об стену или помог ему кто...

Иван Никанорыч заходил в недавно открытую церковку иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте» все чаще: поставить свечку, помянуть усопших, неумело и робко перекреститься. Выйдя потом на паперть перед храмом, где когда-то отец его палил костер из икон, он стоял и разглядывал щербатые стены Спасского собора и пенял отцу, будто живому: «Мало сам взбесился и жизнь свою загубил, так и мне довелось кровавых сопель на кулак потереть вволюшку! За тебя в наказание!»

Всем за помин души свечи ставил, только не ему.

5

Лука ненадолго пережил свою мать. Оставшись один, он сунулся было обратно к приемному отцу, но тот, крепкий еще старикан, уже обзавелся новой старушонкой, приемыша, которому когда-то, уступив уговорам жены, дал и отчество и фамилию, безжалостно турнул. Так и не полюбил неродное, просто терпел годами блажь супружницы. Лука прежде отвечал тем же и с кулаками лез, но тут побитым кобелишкой покорно поплелся в холодный,

нетопленый дом, где и завалился на кровать во всей своей грязной рабочей одежде.

Раньше, упившись, Лука всеми возможными способами передвижения, хоть по-пластунски, ползком, упорно норовил добраться до дому, где ждала его пусть и полоумная мама Зоя; теперь же, когда стремиться стало не к кому, недвижный Лука валялся где попало. Менты его не трогали – нечего взять, шпанята в карманах не шмонали – все равно пусто, и добропорядочные граждане аккуратно обходили сторонкой – проспится и убредет преспокойно в свою кочегарку. Летом к нему не прикасались, но когда подмерзло и закружились густым роем белые мухи, Луку прохожие тормошили и старались направить к дому.

Однажды Иван Никанорыч едва не споткнулся об него, лежащего возле тропки и уже присыпанного снежком, прошел бы мимо, но – дух не дал! – вернулся, запотаптывался около, с нарочитым небрежением окликивая: «Эй, ты! Хозяйство отморозишь!» Лука не издал в ответ ни звука, пришлось его тормошить, а поскольку он лыка не вязал, лишь бессмысленно таращил зенки, и тащить. Как нарочно, не подвернулось ни одного прохожего, кому бы можно было передоверить эту почетную миссию. А может, и лучше, что никто не видел.

Иван Никанорыч волок Луку и ругался: «Жизнь вот так прожить – врагу не пожелаешь! Обморозишься же, дурак, будешь вдобавок и уродом, как братец твой Сашка-клешнятый, ни дна б ему ни покрышки! Околел, говорят, в тюряге – туда ему и дорога!»

Лука был грубовато доставлен по месту назначения.

Потом, в лютые крещенские морозы, тоже «притрелеванный» в свое нетопленное жилище кем-то из сердобольных земляков, окочурился.

Опустевший дом до весенней капели пугающе угрюмо пялил на соседа бельма затянутых куржаком окон; на хату положили глаз шустрые горсоветовские клерки: наследников не осталось – приемный отец Луки, не совладав с новой старушонкой, тоже преставился, наследство через положенный срок пойдет в казну, и за сущие гроши, не упусти момента, можно дачку нехудую отхватить.

Но претендент неожиданно вытаял...

Иван Никанорыч из окна увидел, что в палисаднике соседнего дома бродит какой-то незнакомый сгорбленный старик с обметанной редким белым пухом головой. Вот он споткнулся раз-другой обо что-то: видать, подслеповат, прижался лбом к углу дома, плечи мелко затряслись.

«Эко, вроде плачет!» – присвистнул удивленно Иван Никанорыч и... перекрестился. Так-то стеснялся, даже самого себя, и в церкви, поставив свечку, крестился торопливо, украдкой, а тут поневоле пальцы сами сложились в щепоть. Незнакомец-старик, вскинув руки, ровно оглаживая, провел ими по венцам сруба; рукава фуфаечки задрались, и Худяков вместо кистей увидел расщепленные страшные рачьи клешни.

Сашка Окурок!

Мало того, он, отерев рукавом мокрые глаза, заковылял через дорогу. Иван Никанорыч и спрятаться не успел, словно пристыл окаменело к стулику у окна; Сашка его, даром и подслеповатый, все равно заметил.

– Дорогие мои соседушки, родственнички мои, Иван Никанорыч да Клавдия Ивановна! Слыхал, что вы еще живы-здоровы, откликнитесь! – Сашка говорил елейно, ласково, плаксиво морщил и без того ссохшееся с кулачок, желтое, как лимон, личико.

Худяков удивлялся теперь, что такой гад может вежливо и уважительно разговаривать; потом вспомнил, что не слыхивал Сашкиной речи еще с его юношеских лет и выражения там были – святых выноси, недаром уши затыкал, а впоследствии Сашка при встрече молча и горделиво воротил в сторону рыло.

Как было не выйти, приманенному таким обращением, из дому: завороженный Иван Никанорыч, медленно переставляя ноги, чувствовал себя сурком перед пастью змеюки.

Сосед новоявленный, размазав сопли, полез целоваться, попытался облапить своими клешнями, но Худяков брезгливо отстранился. Сашку это нисколько не смутило, предполагая, что в гости его вряд ли пригласят, он пристроился на лавочке у забора.

– Ох, ножки мои, ноженьки!.. – застонал он. – Сколь мне перенести пришлось, век свободы не видать, фраером буду, одним и дожил, домотал срок, что мечтал – помирать, так дома!.. Только живым-то в землю не запихаешься прежде времени. А дом-то козлы горсоветовские присвоить хотят, вон и бумажкой с печатью дверь заляпали. Дом мой родной! У матери, видно, крыша совсем съехала, раз придурку этому Луке его подписала. Я сунулся сегодня в горсовет, а мне там заявляют: никакой он, мол, тебе не брат, родители, согласно документикам, у вас разные. В суд, говорят, подавай, коли свидетелей сыщешь, докажут если родство, то ладно. Но дело тухлое – да последняя моя надежда. Вот вы с бабой-то своей про все в нашей родове ведаете, кроме вас некому, выступили бы в суде, замолвили словечко! Родня ведь, не чужие мы. А?! Неохота век свой в богадельне средь урок кончать, и так до печенок казенный дом меня достал!

Сашка талдычил дальше и дальше – какой он разговорчивый, когда приперло, оказался. Иван Никанорович, приходя после нежданной-негаданной встречи в себя, ощутил, как застарелая, казалось порою уж и забытая боль ворохнулась в сердце, стала нестерпимо распирать его.

Худяков встал с лавки и грубо прервал Сашкину воркотню:

– А хоть бы ты и сдох в казенном доме, глядишь, не пригорбатился бы у нас воздух портить!

Сашка подавился на полуслове; Иван Никанорыч уже прикрывал за собой калитку, когда он разразился диким матом, наклонился и стал судорожно шарить в траве своими культями. Худяков усмехнулся: «Теперь ты такой, какой есть!» и задвинул засов.

Сашка, видимо, все-таки нашел камень, но то ли булыжник из его клешни выскользнул, то ли не решился им по воротам запустить, только взвыл, запричитал слезно:

– Иван Никанорыч, дорогой, прости меня, дурака! Не дай погибнуть! Не подсобишь если, руки на себя наложу! Прости!

Он даже ослаб в коленках, упал в грязь на дороге – видел подошедший опять к окну Худяков – и так, ползком, обессилев, убрался в свой двор и там затих где-то.

Иван Никанорыч всю ночь не мог уснуть, повалявшись с боку на бок, вставал, курил на крыльце, глазел на звезды. «Как земля такую пакость на себе носит?! – вздыхал и сокрушался он. – И вроде бы бьет и мает ее, эту пакость, по жизни и мучит, но истребить ее вовсе не может. Почему так?.. Но мне ли, человеку, судить».

Чуть свет Иван Никанорыч убрел в монастырь. Возле церкви иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте» всякий хлам, груды битого кирпича, мусор убрали – Худяков сюда приноровился ходить подсоблять трудникам, теперь не только по воскресеньям забегал в храм свечку поставить. Взялись и вокруг облупленной, с карминно-красными пятнами выветренного кирпича громадины Спасского собора чистоту и порядок наводить.

В ранний час даже сторож дрых, его собака затявкала, но, узнав частого посетителя, дружелюбно завиляла хвостом. Иван Никанорыч, взяв из потайного места лом, принялся яростно долбить кирпичный завал прямо пред вратами храма: хотелось забыться, утишить все взбаламученное в душе внезапным вторжением в устоявшуюся тихую жизнь давно похороненного Сашки. И, может, преодолеть растерянность. Ведь когда тот, стоя на коленках, умолял заполошно, плакал, все-таки что-то дрогнуло в Худякове, хоть он сейчас и не старался вспоминать об этом.

Скоро он устал, взмок, вдаривая железным «карандашиком», пусть и овевало утренней прохладой, огляделся, куда бы примоститься, и, увидев приоткрытые, обитые листами заржавленного железа врата храма, решился туда зайти. Сколько уж тут мимо ни ходил в церковь, ни работал рядом, а заглянуть внутрь собора, где отец-безбожник в припадке сумасшествия разбил об стену свою непутевую голову, страшился.

В храме с забитыми досками окнами было сумрачно, шаги гулко отдавались под высокими сводами, как ни старался Иван Никанорыч тише, осторожнее ступать

по каменному полу. Весь собор внутри был наглухо, плотно заштукатурен, стены по низу вымазаны краской и пестрели всякими скабрезными, выцарапанными недоумками надписями.

Худяков поморщился, взглянул вверх, туда, где ближе к куполу в верхний ярус незаколоченных окон лились лучи восходящего солнца, и обомлел: из-под свода смотрели на него пристально проницательные, бездонной глубины глаза Спаса Всемилостивого. Видно, недавно толстый пласт штукатурки обвалился, явив фреску; осколки его хрустели на полу под ногами попятившегося и торопливо крестящегося Ивана Никанорыча.

– Вот оно, вот оно... – бормотал Худяков. – Кто наказует – тот и милует...

Под вечер, подходя к дому, он обстоятельно обшарил взглядом Сашкино подворье: уж не вздернулся ли где, сердешный, как обещал. Не высмотрев ничего худого, Иван Никанорыч вздохнул: ладно, подтвержу родство Сашки с Лукой, будь что будет. Бог ему судья.

Яков ШАФРАН
Тула

СТЫД

Да будут прокляты эти интересы цивилизации (европейской. – Я. Ш.), и даже самая цивилизация, если, для сохранения ее, необходимо сдирать с людей кожу.

Ф. М. Достоевский «Дневник писателя»

С низко нависшего серого неба моросил мелкий дождь. Был ранний октябрь, и угасающие листья, всей разнообразной, жёлто-красной палитры, ещё довольно прочно держались вокруг на поникших ветках озябших деревьев. Под ногами на асфальтовой дорожке хлюпала жидкая грязь. Впереди в большом ольховом кусте суетно возились уже практически повсеместно исчезнувшие воробьи.

«Странно, – уныло подумал Дамир, – почему-то именно только здесь я их всегда вижу…»

Настроение, как и всё теперешнее состояние ума, души и тела, было отвратительным. Почти пять дней и ночей он с друзьями юности беспросыпно отмечал день рождения Стёпы, своего холостого друга. Да…

Дамир работал обычным менеджером, или, по определению некоторых недоброхотов, «манагером», по прямым продажам в одной солидной фирме. Главная задача его – заряжать, мотивировать, подталкивать потенциального клиента к покупке требуемого оборудования исключительно у них, а не у других, того же профиля компаний, каких на рынке города имелось достаточно. Таланта у него на это – по благословению свыше, как думал Дамир, а может,

и от лукавого, хватало. Основная зарплата была сдельной, отсюда постоянное напряжение, стрессы, страх не получить необходимый доход и оставить жену и детей без более или менее достойной в глазах многочисленных окружающих их друзей и знакомых жизни. Кроме того, работа менеджера всегда возбуждала оскорбительное недоверие у вышестоящих, что тот, мол, вороват, если есть удовлетворительный результат, а когда нет – вызывала подозрение в возможном сбыте конфиденциальной информации конкурентам; а у нижестоящих в первом случае – чёрную зависть, а во втором – неприкрытое злорадство.

Как достали эти химеры безнравственных умов Дамира! Потому он даже обрадовался приглашению Степана. И, если время от времени погружался в пьяное забытьё, ловил себя на внутреннем желании насколько можно на более длительный срок отключиться от осточертевшей ему реальности. Не думая больше ни о чём…

Покутили они хорошо. В первый день, в субботу, всех угощал, естественно именинник. А потом… они продолжали пить вскладчину. Кто-то из друзей потихоньку отчаливал домой. В последние два дня оставались только Степа и Валера с Дамиром.

Когда уже все темы для пьяных разговоров исчерпались, Степан нетвёрдой рукой включил компьютер. И удачно. По Интернету демонстрировалась какая-то весёлая гулянка. Мелькали лица известных в распространённых соцсетях и поп-культуре личностей, в основном, в неглиже, почти в чем мать родила, – в исподнем или в насквозь прозрачных в обтяжку «одеждах». А были и такие, кто поверх них надели бриллиантовые украшения в миллионы рублей. Чуть позже появился гость «в одном носке» на гениталиях.

Пронеслись мысли у Дамира: «И это во время войны… Да и в чём “великий смысл” этого действа?» Но они быстро растворились в пьяном дурмане и игривом смехе друзей-собутыльников, пальцами, хохоча, указывающих на тощую задницу одной «героини», оснащённую ярко сверкающими бриллиантами и изумрудами; на другую участницу, скачущую в кружевном белье, на жирный го-

лый живот третьей и на пляшущего в открывающей взору всё сетке их партнёра.

В общем, повеселились…

И вот он шёл теперь, после многосуточной «потусторонней» жизни, сказать изможднный – не сказать ничего, полностью разбитый. Мысли тяжело ворочались в уме, хотя всё кружилось перед ним, сердце как набатом стучало. И постоянное чувство собственной вины тяготело над ним.

И не мудрено. Ибо отсутствие в течение трёх будних дней на работе, к любой гадалке ходить не нужно, приведёт к его увольнению. А дома жена, дети… Деньги какие-то, конечно, есть, но они имеют плохое свойство быстро кончаться, если не добавлять новых. А в другую фирму с достойной зарплатой не так-то легко и скоро можно будет устроиться с нынешним, и до того не слишком-то хорошим, реноме – всё владетельное начальство ведь связано друг с другом…

Навстречу Дамиру ехал инвалид-колясочник в военной форме, но без погон. И без ног. Ему так не хотелось возвращаться домой, где предстояло тяжёлое объяснение с женой, тем более в его теперешнем состоянии. Поравнявшись с ним и остановившись, он решил поговорить с этим человеком.

– Кури,– проговорил он, протягивая тому раскрытую пачку сигарет. – Меня Дамиром звать, а тебя?

– Виктором, – ответил тот, беря крепкими пальцами сигарету.

– Где потерял? – спросил Дамир.

– Там…

– Ну, что делать… Стремился заработать, никто не виноват, – произнёс Дамир.

– Нет, всё не так,– довольно спокойно сказал Виктор, видимо, уже привыкший к подобным речам. – Я пошёл, потому что русским нужно отстоять себя, право жить, как мы хотим. Не получилось мирно – придётся драться! А потом, кто знает, вот жители курские не думали, не гадали, что лютый враг придёт к ним и будет творить такое в их сёлах и городах. Моя семья живёт на Орловщине, и воюя там,

я защищал и своих родных. Притом, надоела эта болотная жизнь, превращающая в жалкого слизняка, захотелось остаться мужчиной. И, кроме того, дети… Наступит время, спросят любимого папу, где он находился и что делал в те годы. А что касается денег – ну, платят и платят, наши бойцы не обогащаются на этом, семьи же должны на что-то жить, тогда как мужья и отцы воюют!

– Понял… – промолвил Дамир.

– Вот и сейчас, – продолжил Виктор, – пока мастерят мне протезы, мои существуют на те деньги. Как только сделают, стану трудиться по своей специальности.

– Пойдём, Виктор, посидим немного в кафешке, а то тяжело мне… отметим знакомство… поговорим… – пробормотал Дамир, которому, действительно, было тяжко.

– Ну, что ж, пойдём, вернее, ты пойдёшь, а я поеду, – усмехнулся новый знакомый, видевший состояние его собеседника и по фронтовому чувству локтя решивший помочь.

– А ты как? – спросил он, когда они разместились в кафе.

Дамир взглянул на Виктора. Тот приглянулся ему – по виду сверстник, да и по речи образованный. И, купив выпить и холодную закуску, стал рассказывать о произошедшем с ним в эти дни и о том, чем то грозит, но вдруг остановился. Он спохватился, что говорит человеку, вырвавшемуся чуть живым из сущего ада и перенёсшему и не снившееся Дамиру…

– Расскажи, что с тобой случилось? Как это? – Он посмотрел туда, где под столом должны были быть ноги его.

Мрачная тень легла на лицо Виктора. Он хотел уже отказаться от рассказа, но представил, сколько вот таких живёт, будто нет страшной войны, нет гибелей, проливающейся крови, слёз матерей, жён и детей, живёт, беспечно наслаждаясь мирной жизнью и тратя её на легкомысленные и суетные развлечения. И Виктор начал своё тяжёлое повествование.

– Я стал воевать в Курской области вскоре после их внезапного нападения. Потом пришлось возвращать Русское Поречное. Видел всё. Волосы вставали дыбом…

Когда наши вошли в селение, оно имело вид освобождённого от фашистов в годы Великой Отечественной войны. Сразу в глаза бросилось, что здесь происходили массовые казни мирных людей – трупы, кровь. При входе в то, что осталось от домов, мы увидели открытые подвалы, превращённые в настоящие камеры пыток, – голос Виктора задрожал, но, преодолев себя, он продолжил: – Пленный укроп говорил – им был дан прямой приказ уничтожать население, а местные мужики сопротивлялись, как могли, но их просто расстреливали или тащили в подвал, а по тем, кто, убегая, попадал в их поле зрения, вели шквальный огонь. Потому никакой возможности спастись ни у кого не имелось.

Желваки заходили на щеках Виктора. Он помолчал, тяжело дыша.

– Во время нашего осмотра укропы принялись интенсивно обстреливать село, они выпустили десятки мин, кассетные боеприпасы и наслали дроны-бомбардировщики. Видимо, хотели стереть с лица земли бесчисленные следы содеянного. И было что скрывать.

В одном месте мы нашли не просто убитых, а замученных до смерти людей и девушку-подростка, с садизмом изнасилованную и застреленную. В куче тряпья – тела, какие-то даже разорванные. Как говорил судмедэксперт, немало видевший на своём веку и, тем не менее, едва сдерживавший невольные слёзы, людей убивали с чрезвычайной жестокостью, избивая и пытая до последнего дыхания: имелись тупые травмы груди с многочисленными переломами рёбер, отметины от мучений электричеством. Кто всё же оставался живым, тем стреляли в голову или душили их. Многих перед казнью насиловали, не щадили ни малых детей, ни глубоких стариков. Некоторые погреба просто забрасывали гранатами.

– Вот твари… – промолвил Дамир, и после минуты молчания спросил: – А с тобой, что случилось?

– В одном селе, которое мы только стали освобождать – это уже после Поречного, – в большом подвале, наверное, бывшем колхозно-совхозном, обнаружили живых людей. Мы начали их подбадривать, мол, скоро их мучения кончатся…

Но тут за спиной раздался глухой топот и послышались близкие выстрелы. Вероятно, в глубинных частях этого помещения скрывались какие-то укропы, видимо, оказавшиеся в тылу нашего подразделения и думавшие отсидеться, но, узнав по связи, что дело пахнет керосином, решившие прорваться к своим. Мирные жители и наши бойцы стали падать. Боеспособные залегли и, отстреливаясь, бросили последнюю гранату. Но тех было больше, а нас единицы. И они закидали всех гранатами… Очнулся я уже в палате госпиталя и без ног…

Виктор помолчал и продолжил:

– Люди, которым удалось выжить, говорили, что прежде подобную жестокость здесь видели в сороковые годы, когда орудовала наиболее зверская в гитлеровской армии зондеркоманда СС, – сказал Виктор.

– Да, как писал один журналист – теперь не вспомню кто, – «гитлеры приходят и уходят, а лекала остаются»…

Прямо глядя в глаза Дамиру, Виктор твёрдо и громко произнёс:

– Таких показывать надо и публично казнить! А нам необходимо бороться до полного освобождения нашей земли от нацистских уродов!

От душераздирающего рассказа у Дамира пропало всякое желание ещё что-либо заказывать из питья, да и вообще стало не по себе. Они с Виктором обменялись телефонами и расстались.

Он вернулся домой. Жена, видимо, была на работе, дети или гуляли, или занимались в кружках. Два чувства преобладали сейчас в нём, погрузившегося в думы – стыд за произошедшее с ним перед совестью, женой, детьми и коллегами; и, главное, всё более усиливающееся ощущение себя предателем.

«Что же со мной, где я и почему?» – тяжело ворочалось у Дамира в голове. Он вспомнил, как дед, фронтовик, потерявший под Сталинградом руку, воспитывал его в патриотизме, в упорном стремлении быть физически выносливым, закалённым, служить Родине и защищать её. Вспомнил он и отца, в прошлом инженера на оборонном

предприятии, изобретателя, всю жизнь отдавшего родному производству, ныне пенсионера, получающего пенсию, хотя и достаточно большую по сравнению с невысокими пенсиями большинства, но всё же не позволяющую жить в том достатке, в каком жил его отец-фронтовик. Не скажешь, что и личная жизнь отца была счастливой: жена не отличалась верностью, ходила там куда-то, однако семьи не разрушала. Отец любил её, мирился с её привязанностью. Когда Дамир подрос и стал ухаживать за девушками, тот учил – нельзя личное переносить на общее: на семью, на работу, на Родину…

Постоянно включённый телевизор оторвал от далёких воспоминаний и привлёк его внимание новостями. Шёл репортаж с передовой СВО, об атаке ВСУ на Суджу, о зверствах над мирным населением, о пытках в застенках освобождённых наших военнопленных. Ранее Дамир настолько привык к этим сообщениям, что они пролетали уже мимо ушей, как обычная данность…

Ныне же, после сегодняшней встречи с Виктором и его рассказа, чувства и совесть обострились, будто он сам побывал там, будто это всё не где-то, в иных краях, в иной действительности, а всё здесь, всё с ним, в реальной жизни!

Глубокий стыд, несравнимый с тем, бывшим с ним вслед за отрезвлением от загула, глубочайший стыд покрыл Дамира. Растревоженная совесть болела и мучила его.

Наутро Дамир пошёл не в фирму, где ему грозило увольнение, независимо о того, придёт или нет. Он пошёл в военкомат и написал заявление о посылке его добровольцем на фронт как артиллериста в запасе. И через некоторое время переподготовки, Дамир участвовал в операции по освобождению Курской земли.

НОВАЯ ЗВЕЗДА

Новосёлов проснулся, как обычно, по смартфонному будильнику. Перед тем ему приснился недолгий сон, будто он едет куда-то на белой лошади, и вдруг в глаза брызнул яркий солнечный свет… За окном брезжило пасмурное октябрьское утро. Полюбовавшись позолоченным ранней осенью, далеко видимым с девятого этажа пейзажем, он умылся и сел за старенький компьютер посмотреть утренние новости.

Тот сообщил о неугомонном Израиле, совершившем очередные авиа- и ракетные удары по сопредельным мусульманским странам; о наконец уничтоженном грузовом судне со снарядами из Европы, направлявшимися нацистской Украине, до того, как они попадут на фронт; о ещё одном «бессмертном афоризме», выданном одним весьма известным лицом; о следующем повышении ключевой ставки ЦБ; о расстреле ВСУ мирных жителей и новой ракетной бомбардировке гражданских объектов; о продолжающемся проституировании наших соседей ближнего зарубежья и оскорблении России западными странами и организациями; о том, что предсказание святой Матроны сбудется: России и Европе грозят тяжёлые испытания; об использовании изворотливыми мошенниками троян-вируса для беззастенчивых краж банковских данных; о разошедшейся на сцене молнии на платье у попсовой певицы; о подростке в Якутии, застрелившем друга из ружья; об Агнес Баркл, впервые за долгое время пришедшей на официальное мероприятие без принца Арни; о певце, повысившем цену за выступления на полмиллиона рублей, и о продюсере Георгии Пеладзе, продающем свою знамени-

тую виллу за 450 млн. рублей; о показанном россиянам «скромном» деловом завтраке за 72 тысячи рублей в столичном ресторане «Севрюга»…

Новосёлов оторвал брезгливый взгляд от монитора и тоскливо огляделся кругом. «Боже мой, и это тогда, когда идут ожесточённые бои СВО и решается грядущая судьба страны, когда такое творится в мире! А тут моральный, вернее аморальный, императив – здесь немножко воюем, здесь немножко торгуем, а здесь немножко гуляем… Дисгармония какая-то!» – подумал он. День был будний, и Новосёлов, как обычно, окунулся в необходимые дела. Но память, по неким, одной ей ведомым законам, навеяла ему ностальгические воспоминания об очень давних временах…

В подростковые годы он хотел увидеть и узнать в своей жизни как можно больше. И, подобно массе ребят, увлекался радиосвязью и астрономией – сам с друзьями мастерил любительские телескопы и модели аэропланов и космических кораблей. Обожал научную фантастику, запоем читал все очередные номера «Техники молодёжи» и «Науки и жизни». Мечтал стать знаменитым космонавтом или учёным-физиком, а не «эффективным» манагером или долларовым миллионером, как большинство нынешних подростков. Удивительное, романтическое время это было, и с каждым годом становилось всё чудеснее и привлекательнее жить.

Теперь же он трудился менеджером по продаже легковых автомобилей в автосалоне. Месячная зарплата его состояла из постоянной части и сдельной оплаты. Потому, чтобы заработать для семьи из четырёх человек (хотя жена тоже работала, но надлежащее воспитание и школьное образование двух детей, а также естественное стремление быть на достойном уровне требовали известных средств), приходилось тянуть лямку двенадцать часов в день и сверхурочно.

Новосёлов тяжело вздохнул и стал собираться на службу.

* * *

Вечером, по давнишней привычке, Новосёлов вышел на балкон. Картина прекрасно видимого звёздного неба –

ни облака, ни какие-либо строения не загораживали, – как всегда, подействовала благотворно и растворила вредные последствия психологических стрессов и неприятные эмоции рабочего дня. Он спокойно рассматривал знакомые созвездия, переводя, как обычно, взгляд с одной звезды на другую, различая их характерные цвета и даже оттенки.

И вдруг Новосёлов насторожился, увидев новоявленное небесное тело размером с большую звезду. Хотел уже возвратиться за астрономическим атласом, но вспомнив, что наизусть знает местоположение звёзд и ход планет Солнечной системы, огляделся – все звёзды находились там, где им было положено, никакой планеты в данной области быть не могло, да и не похоже сиё новое образование ни на один космический объект. Заинтересовавшись, он долго разглядывал его, и какое-то необычное чувство, объяснение которому пока дать не умел, не покидало его.

Из этого смятённого состояния Новосёлова вывел автомобильный гудок внизу во дворе. Он зашёл в комнату и, взяв любительский телескоп, используемый иногда для наблюдения за Луной и околоземным пространством, направил его на «новичка». Однако, как ни настраивал фокус, тела не было видно. Вместо него шли какие-то изображения. Опустив телескоп, он вновь окинул взглядом вечернее небо – непознанный объект пребывал там же. Новосёлов несколько раз повторил те же действия – происходило снова то же самое. Тогда он решил присмотреться к этим образам.

Прильнув к окуляру, наблюдатель рассмотрел последовательно идущие кадры. Пытаясь занять более удобную позицию, Новосёлов случайно сбил прежнюю настройку, но следовали неизменные чёткие картины. Дело здесь, видимо, заключалось в другом.

А увидел Новосёлов следующее. Голографические изображения шли в форме объёмного фильма, повествующего о некой удивительной стране, красивой и образцового порядка. Он лицезрел счастливых, прекрасных людей, являвшихся равными и свободными; высокая духовность, психическое и физическое здоровье буквально излучались ими. Сконцентрировавшись, Новосёлов стал воспри-

нимать их мысли, говорившие ему о стране, основывающейся на верховенстве Бога и на возвышенной морали; о разумной, гуманной стране истинного народовластия, направленного к пользе людей, на прочной базе полной общинности и коллективизма; о стране гуманитарных технологий, опережающей эволюции качества человека, его личностного роста, свободного творческого труда к общему благу. Новосёлов понял – они существовали в стабильном состоянии любви, гармоничного единения, искреннего добродушия, глубокого сострадания, реального милосердия, светлой радости и гражданской активности. Новосёлов видел картины многочисленных образовательных и культурных заведений, роботизированных предприятий, он считывал информацию о том, что всякий успех был прямым следствием служения общим интересам, а не результатом корыстолюбивых устремлений и жёсткой эксплуатации подневольной деятельности. И такой страной у них стала вся планета, представлявшая собой симфонию разновеликих долей, через всемирное, всеобщее братство «эпохи воссоединённого мира».

Новосёлов находился в безмолвном благоговении понастоящему верующего в храме. Его сердце, то сжималось от ясного осознания большой далёкости всего данного от нынешнего земного, знаемого им и окружающего его, то расширялось от захлёстывавшей любви к сему, шедшему буквально с неба, и от желания верить в реальную возможность подобной цивилизации, хотя бы впереди, хотя бы и в отдалённой перспективе. «Это же моя мечта, мечта всех людей!» – подумал он. И тут услышал голос: «Это твоя страна в будущем, Новая Страна!»

На следующий день Новосёлов с работы позвонил своему другу Фомину и предложил встретиться сегодня по очень важному вопросу. Едва дождавшись окончания служебного дня, он выбежал из здания, и, вскочив в подошедшую маршрутку, помчался к назначенному месту.

– Что случилось? – после приветствия спросил Фомин.

– Чудо, дружище! Не поверил бы, если бы не видел собственными глазами.

И Новосёлов вкратце поведал тому обо всём.

– Ну, ладно, поедем, посмотрим… – недоверчиво промолвил друг.

Они ехали в автобусе и молчали. Мимо проплывали дома с разными магазинами, фирмами и фирмочками на первых этажах, названия которых вновь, как в двадцатилетнем прошлом, всё чаще и чаще обозначались иностранным языком. Новосёлов с неудовольствием отмечал это про себя и думал о естественном сомнении товарища, о том, что и он сам не принял бы за чистую монету рассказ о подобном. А Фомин помалкивал, боясь обидеть, ибо услышанное им казалось форменным сумасшествием…

Войдя в квартиру, Новосёлов, не тратя времени, взял телескоп и повёл друга на балкон. Стояли зыбкие вечерние сумерки, тёмно-синее небо, кроме самых крупных, ещё было без звёзд, но неведомое тело висело на своём месте. Он указал на него приятелю, установил аппарат и, вначале убедившись в реальности сообщённого им, пригласил к окуляру. Тот долго, не отвлекаясь, глядел в него.

– Ну, ты видел? – спросил Новосёлов, когда Фомин оторвался от объектива.

– Да-а-а… – промолвил он. – То же, о чём ты говорил… Интересно!

Они помолчали.

– На этом же можно заработать кучу денег! – вдруг сказал Фомин.

Новосёлов стал возражать, ему неприятен был меркантилизм друга:

– Нельзя наживаться на том, что приобретаем даром! «Дай Бог дать, да не дай взять!» – воскликнул он.

Но Фомин решительно заявил:

– Не желаешь, так я сам!

«Самый глухой тот, который не хочет слышать!» – подумал Новосёлов и смирился…

Друзья зарегистрировали фирму, получили денежный кредит в банке и сняли подходящее помещение с небольшим залом. После чего они, купив телескоп побольше и транслятор изображения в формате 4D, дали объявле-

ние в городские газеты, на радио и местное телевидение. Заголовок рекламы гласил: «Захватывающее путешествие в будущее, не выходя из комнаты». Плату они – по настоянию Фомина – установили приличную, правда, по предложению Новосёлова, со значительными скидками для соответствующих категорий – Героев, ветеранов войн, малоимущих, пенсионеров, инвалидов, беременных женщин и несовершеннолетних.

И люди потянулись. Выстроилась километровая очередь, не исчезающая даже ночью. Наиболее ушлые, как в прошлое время у крупных универмагов: «Лейпциг», «Белград» и «Будапешт», продавали свои места, наваривая на этом большие деньги.

С минуты на минуту ожидалось начало первого сеанса. Новосёлов проверил оборудование – оно прекрасно функционировало – и выглянул в окно: огромная вереница желающих была на месте. И он открыл кассу. После того как количество проданных билетов достигло двухсот и убедившись в отсутствии хотя бы одного пустого стула в просмотровом зале, Фомин выключил верхний свет, нажал пусковую кнопку…

И ничего не произошло!

Он подозвал Новосёлова. Они опять всё проверили…

Ничего!..

Среди зрителей поднялся возрастающий ропот, а потом стали звучать и отдельные выкрики… Не дожидаясь худшего, друзья раздали вырученные деньги и, когда все вышли и дежурный охранник (а они уже успели нанять их) закрыл входную дверь, вновь включили аппаратуру. Обычным образом шла информация, выдавая знакомые им картины Светлой Страны. Видимо, случился аппаратный сбой, подумали приятели и, дав технике поработать ещё и удостоверившись в её правильном действии, открыли кассу.

Количество людей поуменьшилось. Наверное, передние, услышав возмущённый рассказ первых посетителей, разошлись, заключив о происходящем, как о новом разводе. Но задние, внезапно быстро продвинувшись, не разобравшись толком, как это часто бывает в очередях,

решили, что они получили неожиданный подарок свыше, что им повезло, и, чем чёрт не шутит, оплатили вход и вошли в зал.

Однако ситуация повторилась вновь…

Друзья раздали выручку следующим несостоявшимся зрителям и объявили остальным о поломке оборудования и об отмене в связи с этим ожидавшегося показа. Часть желающих ушла, но терпеливое большинство всё же осталось, надеясь на что-то.

Новосёлов дал деньги охраннику, чтобы он как бы купил билет. Тот сделал. И всё сработало… Тогда Фомин пригласил людей и, после оплаты ими, нажал на кнопку включения. Пустота!..

– Те, кто не заплатил за просмотр, могут видеть!.. – проговорил приятель, когда они сели обсудить случившееся.

– Да, платный показ некими неведомыми силами был запрещён, – поддержал друга Новосёлов.

– Что же нам теперь делать? Ведь мы взяли кредит! – возопил Фомин.

– Ничего, выплатим, – успокоил его Новосёлов и предложил пришедшее ему на ум при проведении последнего неудачного сеанса: – Давай в нашей рекламе объявим и у выхода из зала повесим небольшое объявление о бесплатной трансляции и добровольном пожертвовании любой суммы для компенсации коммерческих расходов.

Так они и сделали. Вдобавок друзья открыли предварительную запись на просмотр как по телефону и в Интернете, так и «живую» – очередей и ажиотажа не стало. Люди приходили в назначенное время, смотрели, делились впечатлениями и задавали соответствующие развитию каждого вопросы, среди которых был главный: «Что это? Что за страна?» Вначале приятели пытались объяснить сами, однако их лаконичный комментарий вызывал заметное сомнение у зрителей. Тогда они подводили неуверенных непосредственно к окуляру телескопа, и всякий из интересующихся слышал:

Это твоя страна в будущем, Новая Страна! Она и Новый Мир планеты определены Космической Волей!

Среди посетителей присутствовал и старик-пенсионер, доживавший свой век на нищенскую пенсию, и водитель, трудившийся по четырнадцать часов в день для прокормления своей маленькой семьи, и мать-одиночка, постоянно ломавшая голову, как одеть-обуть и обучить единственного сына, и студент, получавший стипендию, достаточную только для месячного проезда из дому в институт и обратно, и учительница, вынужденная надрываться на двух ставках, вечерами корпеть над тетрадками и ещё приторговывать в компании сетевого маркетинга, и молодой малоимущий инженер, решивший добросовестно отработать по специальности затраченные на него средства бюджетным отделением вуза… Все они радовались, что, если это полная правда и так будет, стоит жить и терпеть, хотя бы ради своих детей и внуков.

Но были и обеспеченные зрители, каковые, как и прочие, приходили полюбопытствовать на неслыханное чудо. Те тоже поражались виденным и уходили обеспокоенными за собственные нынешние и будущие накопления, которые они намеревались многократно умножить, чему и посвящали полностью время и силы, и передать своим потомкам...

Фомин поначалу грустил, однако поток людей не прекращался и добровольных пожертвований хватало на всё, в том числе для погашения кредита и для пропитания друзей. И он успокоился.

А Новосёлов не таил откровенного счастья, замечая нескрываемую радость в глазах бедных посетителей их салона. Вот и сейчас он ходил взад и вперёд, мысленно вознося благодарность небу.

– Чему ты так радуешься? – спрашивал Фомин, наблюдая ликующее лицо друга.

А тот действительно испытывал блаженство как никогда в своей жизни, ощущал, будто тёплая волна накрывает его всего, наполняет изнутри. Это было похоже на то, как если Новосёлов вобрал бы в себя думы и переживания всех живших ранее, в прошлом, в разных частях планеты людей, горячо желавших наступления светлого будущего.

Новосёлов улыбнулся:

– Наши с тобой родители – пенсионеры, – отвечал он далее, – и каждый год с нетерпением ждут небольшого повышения пенсии, катастрофически недостающего на полное покрытие безудержного роста цен и тарифов, и с глубокой ностальгией вспоминая старое советское время, будучи убеждёнными атеистами, всё же посылают неоднократные мольбы в высшие сферы с отчаянными просьбами изменить существующее положение. Так? А сейчас многие посетители увидели заманчивую перспективу, поняли, что они не одни, не оставлены – нас ведут, грядущее всей Земли светло и является Царством Божьим, которое непременно наступит. Верно утверждает древняя индийская философия – человек правильно живёт, когда чувствует себя реальным защитником человечества. Ведь истинный смысл жизни в её прочном основании на делах добра и любви. И я счастлив оттого, что мы не пребываем в безысходной тоске и унынии, а выводя и других из такого состояния, вселяем в них спасительную веру, действуем не для личной выгоды, а для всеобщего блага, то есть исполняем две главные Христовы заповеди: «Возлюби Господа Бога и возлюби ближнего твоего».

Когда Новосёлов говорил это, у него был вид довольного человека, обрётшего внезапно полную реализацию своего многолетнего упования.

Фомин, слушая слова друга, продолжал сомневаться. Но всё же, подобно новому небесному телу, и в его душе появилась искорка светлой веры. И что удивительно, она не угасала, как бывало много раз прежде, а постепенно увеличивалась и крепла.

«Неужели порождения тьмы окончательно отпрянут от нас прочь?» – подумал он.

Николай АЛЕКСАНДРОВ
р. п. Колывань, Новосибирская область

РОМЕО

Есть у меня друг – Виктор Николаевич, возраста предпенсионного, практикующий хирург. Хороший хирург. Как-то я его спросил:

– Вить, скажи, жизнь у тебя удалась?

Вопрос, конечно, дурацкий, но потому мы и друзья, что слышим немного больше, нежели способны сказать.

– Саныч, – он всегда обращается ко мне, сокращая отчество, – я в трёх клиниках оперирую, света белого не вижу – разве это жизнь?

В тот памятный день я появился у него в больнице, уже и не помню по какому поводу, и застал его в ординаторской. Он сидел на диване, откинувшись на спинку, а руки его отдыхали на коленях. Грустно посмотрев на меня, он сказал:

– Саныч, проходи. Не ожидал тебя увидеть.

– Извини, я без звонка. А ты, похоже, прихворнул, доктор. Докторам болеть вредно, – я шутил, а сам пытался понять, отчего мой друг такой хмурый.

– Дежурство у меня было. Устал, – ответил он.

– Давай я тебя домой отвезу.

– Не могу. Тут у меня паренёк, не ровён час, помрёт.

– Кто помрёт?

– Да вчера привезли, вечером. Местный Ромео, из соседних домов. Девчонка его бросила, а он от горя под машину метнулся. Его метров на двадцать откинуло, всего переломало, голова – как холодец в руках. Делать мне

было нечего, ночь впереди, смену коротать надо. Вот и собирал его помаленьку. Глаз на место поставил – каким-то чудом нерв целый оказался, ключицу... Всё равно, думаю, в гробу по-человечески выглядеть нужно. Собрал его и вот жду, когда помрёт.

Я был уже знаком с этой чудной манерой своего друга разыгрывать из себя циника.

– А он, как назло, не помирает, – подыграл я.

– Нет, не помирает, – тяжело вздохнул Виктор Николаевич.

– А если дома подождёшь его смерти?

– Если уеду, сразу же помрёт. Я его всю ночь уговаривал потерпеть, не помирать до утра.

– Да, я знаю, ты мужик нудный, кого угодно уговорить можешь.

Прошло с того памятного дня месяца два-три, и опять пересеклись наши дорожки. Рукопожатия, дежурный разговор: как жизнь, как дети, как здоровье жены. Потом я вдруг вспомнил:

– Вить, а что с пареньком, которого ты по частям собирал? Ну того, что под машину из-за несчастной любви кинулся. Ты его ещё Ромео назвал. Как он?

– А, Ромео. На выписку готовится.

– Да ты что! – обрадовался я. – Ну ты мастер! Человечище!

– Нет, Саныч, я тут ни при чём, тут без Бога не обошлось.

– Ты что, в Бога веришь?

– Всегда верил. В церковь не хожу и не пойду, но что неведомая сила над нашими скальпелями и капельницами стоит, уж кто-кто, а я, поверь мне, знаю.

Наверное, на этом бы и закончилась эта история о Ромео, если бы не день моего рождения. Виктор Николаевич зашёл поздравить меня.

Мы сидели за столом, вели неспешный разговор, пили коньяк, молчали, опять говорили.

– Вить, – спросил я, – а что с Ромео? Случаем, не заходил к тебе, ты же ему жизнь спас?

– Как же, заходил, вот этот коньяк, что мы пьём, он мне подарил. Пришёл с молодой беременной женой, весь из

себя счастливый. Меня теперь дядей Витей зовёт. Если, сказал, сын родится, Виктором в мою честь назовут.

– Чудеса, – я поднял стопку. – За тебя, доктор!

– За нас, Саныч! – Виктор улыбнулся и подмигнул. – Мы всё-таки не последние люди на этом свете.

Совсем недавно я опять заглянул в клинику к своему другу. Он сидел бледный, грузный, понурый, а вокруг него суетились люди в белых халатах.

Приступ – понял я. Я знал, что Виктор страдает от ишемических приступов.

Он посмотрел на меня умными уставшими глазами и произнёс:

– Саныч, сейчас меня спасут, и мы с тобой поговорим.

– Как он? – спросил я знакомого врача, который готовил шприц.

– Всё под контролем, но вам лучше уйти.

Я вышел из ординаторской. На диванчике сидел молодой человек. Когда я проходил мимо он спросил:

– Как там Виктор Николаевич?

– Говорят, что приступ не опасен, но ему нужен покой.

– Да, да, – закивал парень, и я вдруг увидел на его шее, за воротничком, ещё не обесцветившийся фиолетовый шрам.

– А я хотел его обрадовать, – парень засмущался и покраснел. – Но теперь, видимо, потом. У меня сын родился…

Сергей ВАРАКСИН
Петрозаводск

ТЕЧЁТ РЕКА

Колька огляделся вокруг, выбирая подходящее место для лодки. Лёгкий ветер уже сносил вниз туман, прорисовывая силуэты деревьев по берегам. Было прохладно, и Колька поморщился, потянулся и сразу открыл глаза, упёршись ногами в противоположную стенку купе.

– Ч-чёрт… – сказал он.

– Стоим… – доложил ему дядька в апельсиновой майке. – Уже час стоим… – дядька явно скучал на верхней соседней полке. Кроме странного цвета майки у него было наколото Harley-Davidson на левом плече. – Да… День едешь, два, – всё то же самое... Ёлки, какие-то, палки… Не возражаешь? – он покрутил ручку молчавшего радио.

Издалека долго…
Течет река Волга...

– запела для дядьки Зыкина.

– Зыкина, – правильно угадал дядька. – Да… – протянул он. – Я на своём «Урале» всю страну когда-то исколесил – Волга, Кама, Обь, Енисей, Лена… – меланхолически пересчитал все встречавшиеся ему реки. – Сутки едешь, вторые едешь, – неожиданно вернулся он к мысли о бесконечных просторах великой Родины, – Воронеж, жара, бабки «синенькими» торгуют... «Ну, что, бабки, – спросишь, – тепло тут у вас?» «Да не, сынок, – скажут. – Это на юге тепло, а у нас так себе...» – Дядька замолчал,

уткнувшись носом в мутное, грязное, в засохших разводах стекло.

– У-ууууу! – закричал, обгоняя их, скорый поезд. Ударил ветром в окно. – Та-ра-та-там, та-ра-та-там, та-ра-та-там… – отстучали невидимые колёса.

Среди хлебов спелых,
Среди снегов белых
Течет моя Волга,
А мне семнадцать лет…

– аккуратно, не торопясь, как будто у неё действительно все ещё впереди, продолжала выплетать узоры из слов Зыкина…

Колька огляделся вокруг, выбирая подходящее место для лодки. Сонный ветер сносил вниз туман, прорисовывая силуэты деревьев по берегам. Было сыро, и Колька поморщился, втянул голову в старый пропахший соляркой ватник.

Он сбросил два якоря, сначала с носа, потом с кормы. Слегка накренившись под натиском сильной, быстрой реки, лодка встала, как гвоздь, поперёк течения. Не дожидаясь, пока вода очистится от последних клочьев тумана, Колька спустил подкорм на шнуре и собрал удочку.

Плюх! – поплавок подпрыгнул в реке, побежал, поёживаясь в холодной струе. Колька разматывал маленькую пластмассовую, почти игрушечную катушку.

Раз! – леска натянулась струной, и Колька одним броском отправил кругляш назад. Поплавок побежал опять, вихляясь, оглядываясь по сторонам. Колька снова поймал его, поставил на старт к борту лодки.

Справа по берегу стукнуло ботало на шее тощей козы.

– Мэ-э-э… – подразнила Кольку коза, позвякивая бубенчиком, ушла в тишину. Два таинственных мужика появились разом на берегу, посмотрели на Кольку в лодке, синхронно сплюнули, скрылись вслед за козой.

– «Как по речке по Ирану ходят двое рыбаков…» – переврал стихи Колька, достал сигаретку, закурил, положив голову на задравшийся кверху борт. «Маринка… – подумал он вдруг. – Сегодня должна была приехать Маринка».

«Вертихвостка!» – Колька вспомнил недобрые бабкины слова. Ухмыльнулся, в очередной раз подтянул леску поближе к лодке.

Чпок! – тут же ушёл под воду дурак-поплавок. Колька подсёк, и первая, крупная – сантиметров сорок в длину – чехонь заплясала в ногах серебряной саблей.

Сказала мать: «Бывает все, сынок,
Быть может, ты устанешь от дорог…»

– свернула с наезженной тропы Зыкина.

– Извините, нельзя ли сделать потише? – попросил новенький ночной пассажир у дядьки в апельсиновой майке.

– Пожалуйста! – с готовностью согласился дядька, прикрутил громкость приёмника.

– Цыпа-цыпа-цыпа… – бабкин голос доносился из-за высокого собственноручно покрашенного Колькой в неяркий салатовый цвет забора. Колька ногой распахнул ворота, приставил вёсла с удочками к стене и, грохоча болотными сапогами, вбежал по скрипучим ступеням в дом.

– Вау! – это Маринка встала из-за стола, поправляя короткую, слишком короткую для здешних мест юбку. Обошла Кольку вокруг. – Надо же, какой стал… Дядя Стёпа – милицанер… Целоваться-то будем? – спросила, смеясь, и Колька почему-то попятился. – Ты что… со взрослыми тётками… никогда?! – притянула Кольку к себе, заглядывая снизу в глаза. Пахло от неё тревожными, приторными духами, и Колька отвернул лицо в сторону. – Да ладно, правда, что ли? – опять недоверчиво рассмеялась, а Колька вспыхнул, как Гулливер-пионер. – Ой! Правда-правда! – обрадовалась. – Вечером приду, научу! – и выскочила за дверь. – Тра-та-та... – рассыпались её шаги по двору, потом ворота клацнули железным крючком. И всё.

– Вертихвостка! – как всегда недовольная чем-то бабка загремела в сенях подойником. – Сучка мелкая! – выругалась она. Зло хлопнула дверью.

– А ведь я десять лет дома не был, – очнулся дядька в апельсиновой майке. – Десять лет… – повторил он, как

будто бы удивляясь такому необыкновенному происшествию. – Всё бежишь куда-то, бежишь… – сказал он так грустно, что Колька едва не заржал вслух, как лошадь.

– Вот-вот – ехидно съязвил мужской голос снизу. – Бежишь, бежишь, а куда бежишь, от чего бежишь… От себя-то не убежишь! – добавил с нескрываемым превосходством.

Закряхтела, затявкала дверь сарая. Маринка, пугая кур, взлетела по лестнице на сеновал, шмякнулась с высоты на Колькину спину. Поёрзала, устраиваясь верхом. «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый…» – зачастила скороговоркой, вычерчивая крестики на Колькиной влажной коже.

Потом наклонилась, подула в ложбинку на его шее. «На полярных морях и на южных, по изгибам зелёных зыбей, меж базальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей...» – помнишь?

Колька не помнил про паруса. Колька помнил, как в детстве большая добрая парикмахерша крепкими пальцами наклоняла его упрямую голову. Он закрывал глаза, и мелко-мелко вибрирующая электрическая машинка горячо щекотала ему затылок.

Опять застонала дверь.

– Колька, да ты там один, чё ли?! – вставив голову в темноту, крикнула куда-то вверх бабка.

Маринка прилипла губами к Колькиному плечу. Затряслось от смеха её легкое тело.

– Спишь, чё ли? – бабка не думала отставать.

– Да сплю, сплю… – буркнул Колька, неохотно переворачиваясь.

– Маринку ня видя-ял? – бабка напевно растягивала последний слог.

– Нет, не видел, – соврал Колька, накрыл ладонью Маринкин рот.

– Ушла? – Маринка с трудом отодрала огромную Колькину клешню от лица. – Это же не рука, это лопата какая-то, – заигрывая, положила «лопату» себе на грудь. – Не сломай! – хихикнула, царапнула ногтем Колькин живот. Колька вздрогнул.

– Ну, чего ты? Чего? – зашептала, опутала Кольку словами, как паутиной.

Потом лежали, смотрели в провисший под тяжестью времени потолок.

– Ну… я пойду, бабка искать будет… – Маринка опять хихикнула, отряхнулась. Потом бегом спустилась по лестнице.

Тот первый взгляд и первый плеск весла...

– решила вернуться к истокам Зыкина.

Все было, только речка унесла...

– У меня… у соседа вот тоже… – забубнил опять голос снизу. – Дочка к родственничкам на эту Волгу уехала… Страну, говорит, посмотреть… Вернулась через полгода. Страна, говорит, у нас огромная-преогромная, а люди в ней добрые. Люди у нас добрые – а?!

– Удивительная страна… – задумчиво протянул дядька в апельсиновой майке.

– Ага… удивительная… – неожиданно согласился мужик с нижней полки. – Вернулась во-о-от с таким пузом… – он собрал руки в кольцо и помахал перед своим складчатым животом.

– На себе не показывайте, – пошутил дядька сверху.

Звук приближающегося мотоцикла Колька услышал ещё во сне. Мотор заглох прямо около их ворот. Потом заскрипели петли дверей. Какой-то незнакомый мужской голос что-то сказал. И опять забулькал мотоциклетный мотор, постепенно удаляясь от дома.

Колька вылетел из сарая во двор, пробежал до ворот и выскочил на дорогу. Бабка стояла босиком в дорожной пыли и, приставив руку ко лбу, вглядывалась в тревожную даль.

– Б-баб, ты чего? – подошёл Колька. – К-кто это был-то, ч-чего молчишь? – волнуясь, ещё раз переспросил он.

– Маринкин хахаль… – сказала бабка, плюнула на дорогу и перекрестилась. – Прости господи…

– И ч-чего он? – ещё не до конца понимая, приставал Колька.

– Чего-чего, забрал своё да уехал, – буркнула бабка.

– Д-да ч-чего с-своё-то?! – Колька охреневал от бабкиной тупости.

– Вертихвостку забрал, чего ещё у нас забирать-то? – удивлённо посмотрела на Кольку бабка.

Колька сел прямо в пыль.

– А ты чего раззаикалси-то, милай?.. – бабка наклонилась, пытаясь присмотреться к Колькиному лицу, и вдруг всплеснула руками.

– Ах, сучка мелкая! – задохнувшись от внезапно пронзившей её догадки, сказала, в ужасе прикрыв рот рукой. – Ах, сучка мелкая… – качала она головой, повторяла, как будто не могла поверить в случившееся.

– А кажется мне, что вы никакой не сосед, а этот самый её папаша и есть, – ни с того ни с сего ляпнул дядька в апельсиновой майке.

– Креститься надо, когда кажется! – возмутился мужик внизу. Он даже зачем-то привстал с полки.

– Да мне-то что… я так просто… – равнодушно отвернулся к своему окну дядька.

– Вот и не надо тогда! Не надо! – нервно сказал мужик и, почти бегом, выскочил из купе, хлопнув дверью.

Ночь – черная река, длиной на века…

– сменил Зыкину в приёмнике мужской голос.

– Тара-та-там, тара-та-там, тара-та-там… – печально поддакивали колёса.

Они случайно встретились лет через пять. Колька припарковал машину у банка на Васильевском. Она проходила мимо. Держала ребёнка за руку. Бросила мельком взгляд. Узнав его, отвернулась, ускорила резко шаги. Мальчишка почти повис на руке, оглядываясь. Замельтешил ножками, едва поспевал за ней.

Олег ГОНОЗОВ
Ярославль

ТАРАКАНЫ

По вечерам Морозов бил на кухне тараканов.

Бил безжалостно всем, что подвернётся под руку: полотенцем, свёрнутой газетой, шлёпанцем. Давил пальцем, если незваный гость пытался забиться в щель – и ни одно насекомое не уходило живым.

Охота на тараканов у Морозова начиналась с наступлением темноты. За окном, как береговой маяк, просыпался уличный фонарь. Фёдор Борисович откладывал книгу, тяжело поднимался с продавленного дивана и, крадучись, словно привидение, отправлялся на кухню.

Шёл в темноте, стараясь не думать о боли в суставах ног, всякий раз напоминавших о себе после долгого сидения. Тешился надеждой, что всё-таки прорвётся к ревматологу. К врачам узких специальностей народ в поликлинике записывали в лист ожидания и ждать звонка приходилось по нескольку недель, а то и месяцев.

Морозов включал на кухне свет и, по-стариковски щурясь, долго разглядывал серую из искусственного камня мойку, которую облюбовали тараканы. Но разложенные вдоль стены лавровые листья и порошок борной кислоты, кажется, надолго отпугнули паразитов. Тогда он вставал на колени и, светя телефоном, обследовал линолеум, после чего с ощущением победы отправлялся в комнату и погружался в чтение.

Книг у Фёдора Борисовича было, наверное, больше, чем у всех вместе взятых соседей по дому. Полные собрания сочинений русских классиков корешок к корешку

заполнили книжную стенку. Что не вошло на полки – теснилось в тумбочке под телевизором, пряталось в диване и на антресолях.

Морозов знал, что прочитать всё невозможно, даже если господь подарит ему сто лет жизни. Но если соседи, затеяв ремонт, выбрасывали на мусорную площадку книги, он, как Плюшкин, тащил их домой. Чистил, сушил, подклеивал и относил в центр социального обслуживания населения, где их раздавали всем желающим, помнившим, что книга – лучший подарок.

Вчера, выбрасывая мусор, он заметил в углу контейнерной площадки несколько книг в тёмно-синем переплёте. Нагнулся и не поверил глазам: четыре тома из шеститомника Николая Васильевича Гоголя! Эх, куда ж несёшься ты, самая читающая страна в мире? Дай ответ. Не даёт ответа.

В советские времена Морозов по знакомству с переплатой купил полное собрание сочинений Гоголя в четырнадцати томах и до сих пор вспоминает добрым словом щупленького Виктора Марковича из магазина «Букинист», потому как таких изданий уже не найти.

Полистав принесённых с улицы подкидышей, Фёдор Борисович решил облагодетельствовать ими соседку Римму Георгиевну. Книгам семьдесят с лишним лет, все в приличном состоянии, пусть учительница перечитает «Вечера на хуторе близ Диканьки».

– Добрый день, Римма Георгиевна! – приветствовал он выглянувшую из-за металлической двери восьмидесятилетнюю пенсионерку. – Я с подарком!

Сухонькая, с крашеными хной волосами бабушка в цветном халате с любопытством смотрела на пакет в руках Морозова, правда, до тех пор, пока он не объявил о его содержимом.

– Федя, милый, какой Гоголь, какое чтение! – словно курица крыльями, замахала худыми руками соседка. – Я в магазине ценники-то не вижу, к людям обращаюсь, а ты книги несёшь!

Стальная дверь закрылась.

«Ценники она не видит, – усмехнулся Морозов. – А сама каждое утро, как лось, носится по магазинам, ищет, где что дешевле!»

До позднего вечера Морозов ломал голову, куда пристроить Гоголя. Поначалу хотел отнести на благотворительную книжную ярмарку в поддержку приюта «Кошкин дом», но неизвестно, когда она состоится. Кстати, на последней ярмарке он приобрёл «Избранное» Юрия Трифонова с повестями «Предварительные итоги», «Обмен», «Долгое прощание», и всего за сорок рублей!

И вдруг, увидев на столе блистер с таблетками, он воспылал желанием вручить книги провизорше аптеки, где покупал лекарства. Там вышла целая история, достойная Зощенко.

Уролог прописал Морозову курс простанорма, и он отправился в поход по аптекам, у которых только названия разные, а цены одинаковые – не укусишь. Но в тот день Фёдору Борисовичу повезло: в аптечном киоске на рынке упаковка простанорма стоила всего 151 рубль!

Не веря глазам, Морозов попросил молоденькую провизоршу отложить пять упаковок, пока он сбегает домой за деньгами. На всякий случай спросил:

– Девушка, вы до скольких будете работать?

– До шестидесяти! – ответила та. – Пенсионный-то возраст повысили.

И он решил отблагодарить шутницу книгами Гоголя.

Утром позвонил Гена Потапов, друг детства, юности, молодости и старости. Геннадий Ильич всю сознательную жизнь трудился бухгалтером, ничего тяжелее авторучки не поднимал, был большим любителем выпить и закусить и вообще большим человеком под полтора центнера весом.

Потапов позвонил Морозову в тот самый момент, когда Фёдор Борисович читал Некрасова. Не стихи, а комментарии. Именно из-за набранных мелким шрифтом комментариев он и соблазнился купить полное собрание сочинений народного печальника. Именно из них он узнал, как Николая Алексеевича прессовала царская цензура. Например, в стихотворении «В дороге» цензор не пропустил упоминание о том, что крестьянку Грушу «погубили господа». И Некрасов был вынужден поправить на «погубило её баловство».

– Федя, завязывай с чтением! – кричал в трубку Потапов. – В банке опять повысили ставки по депозитам.

Через двадцать минут они стояли на трамвайной остановке и вспоминали, как два года назад тоже бегали оформлять вклады под высокий процент. Два часа они тогда, как огурцы в бочке, томились у стеклянных дверей офиса, но вклады оформили.

В этот раз обошлось без очередей.

– У меня с процентами выходит два лимона! – хвастался Геннадий Ильич. – Говорят, нельзя все яйца класть в одну корзину, если государство страхует только миллион четыреста! Что думаешь, Федя?

– Гена, я за свои триста тысяч не переживаю.

– Отстаёшь, книголюб! Меньше денег на Гоголей и Некрасовых трать! – от улыбки пухлые щёки приятеля заходили ходуном, после чего он кивнул в сторону винного магазина. – Зайдём!

– Как скажешь, господин Рокфеллер!

Потапов сэкономил на закуске, и Морозову пришлось варить пельмени и доставать из холодильника банку огурцов.

– Федя, а где твоя весёлая компания? – по-барски усевшись за столом, друг детства протирал салфеткой рюмку.

– Ты о чём?

– У дедушки за печкою компания сидит и, распевая песенки, усами шевелит, – выдал Потапов, стуча пальцами на клеёнке.

– Если ты про тараканов, так они ушли к соседям...

– Скучаешь?

– Прямо ночами не сплю!

– Поднимем рюмки, старикан, чтоб другом стал твой таракан! – Потапов как ребёнок захлопал в ладоши.

Выпив водки, они взялись за пельмени. Потапов глотал «Медвежье ушко» не жуя и при этом умудрялся говорить:

– Чтобы сбросить вес, я, Федя, решил ничего мучного в рот не брать! Никаких булочек, даже от чёрного хлеба отказался! Только фрукты и овощи! Яблоки, огурцы, помидоры! А ты меня своими пельменями подводишь под монастырь! Давно ищу книгу Поля Брэгга «Чудо голодания», у тебя нет?

– Нет.

– Жаль! – Потапов потянулся к бутылке, наполнил рюмки. – Какой ты тогда, Федя, книголюб, если у тебя нет нужной мне книги?

Тяжело дыша, Геннадий Ильич выбрался из-за стола и, держась рукой о стену, пошлёпал в прихожую, оттуда раздался его повеселевший голос:

– Вчера на «Авито» объявление видел: «Продаю хорошее место на кладбище». Двести тысяч! Может, купить? Как там у Пушкина: «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…» А то носимся, как тараканы, по банкам да магазинам...

– Мы не тараканы, тараканы – немы! – подняв указательный палец, усмехнулся Морозов.

– А я говорю – тараканы! – не унимался Потапов. – «Превращение» Кафки читал?

– Читал.

– Перечитай на досуге! Спасибо за пельмени!

Проводив приятеля, Морозов попробовал вернуться к Некрасову, но не давали покоя слова Потапова, сравнившего пенсионеров с тараканами.

Не понимает человек, что пенсионер пенсионеру – рознь. Один доживает век, как таракан на кухне, а другой пьёт шампанское на собственной трёхпалубной яхте. В конце девяностых Морозов по туристической путёвке отдыхал на Шри-Ланке и видел такие яхты.

«Так, может, закрыть банковский депозит и улететь на райский остров? – оживился Фёдор Борисович. – И какую-нибудь дамочку прихватить?»

Морозов стал припоминать, кого бы позвать, и на память сразу пришла Вера Строева.

Давным-давно, когда Вера училась на последнем курсе педагогического училища, Морозов ночевал у неё дома, пока родители ездили на море. Потом его в армию забрали, Вера замуж вышла за выпускника военного училища...

Год назад Морозов узнал, что муж Веры, майор в отставке, покинул этот мир...

Может, написать Вере на «Одноклассниках» про Шри-Ланку?

Вера ЗВЕРЕВА
Тихвин, Ленинградская область

ЦЫГАН

(Правдивая история с художественным домыслом)

– Куды! Куды вас, чертенята, понесло! Ужо-тко цыган вас! – в сердцах кричала вослед стайке постреленышей тетка Настя, только что справившая коровушку. Молока Зорька дала цельный подойник – будет чем ребятне усы навести да пироги на чем поставить на воскресный день.

Пирогов-то нынче надо с довеском: каждое лето захаживал в деревню цыган и селился на протоке двух озер в заброшенной, почерневшей от времени кузне.

Подоспевшая к тому времени сочная трава вокруг кузни надежно укрывала прибежище от любопытных глаз, да и поглазеть-то туда разве что ребятня отваживалась – слухами-страшилками, как водится, обрастают в деревне давнишние истории, иные из уст да в уста как есть, иные так переиначат, что и начал не сыскать.

Вот и цыганова уздечка тонко позванивала, будто жалилась о правде встречному, искала душу, которая выслушает боль, почти четверть века носимую, да приголубит.

Не боялись пострелята старика, усевшегося на горе, где много лет назад стоял «господский дом» – так деревенские именовали помещичью усадьбу, некогда торжественно увенчавшую в соседство судьбу трех деревень.

Усадьба и усадьба – тысячи их островками по русским угодьям – судьбы сестринские, да у каждой свой порожек.

Так и в Ершовской – текла и текла себе неспешная жизнь, с мамками-няньками, самоварами да кренделями, соленьями да вареньями; но своя была чудинка у хозяина: любил на дворянский манер. Заросли сирени – обычное дело, а Ивану Степанычу розы вынь да положь, да скамьи около них не деревянные – кланяться долженствует им, потому и кованые, кружевные, с голубками да с веточками во клювиках – находили, бывало, ребятишки остатки былой роскоши.

Вот и кузня для этих нужд построилась, да и по лошадному делу, понятно, какая же усадьба без лошадей! Кто как не цыган знает язык лошади, кто как не он справит ей ладную подкову!

Тут-то кузнец и приблудился, да не один: сынок при нем, парнишка лет десяти, кудрявый Сашко. Где судьба носила или остановила путь жены его, никто так и не узнал, но цыгана хозяин уважал и за мастерство его да усердие одарил, сказывали, серебряными часами.

Спать Вовка не любил: проспишь так все самое интересное, а как потом наверстаешь – нет уже его, интересного этого – ушло за облачко да за дремучий лес, потускнело, не поблескивает; и петух поет уже другую побудку: не осторожно, короткое одиночное «кукареку», а занудное и протяжное, на один лад – мол, не проснулись, так нате вам! Да и не спать парень приезжал из далекого северного края – лето летовать весело да с приключениями. Бывало, в горячую пору дед и на сенокос брал – тут уж обстоятельно, по-взрослому, на подмогу.

Подпоясав дедову белую льняную рубаху – в широкой сено-то огребать легче да и не всякому оводу жогнуть, – заправив широкие порты в сапоги, гордый своей нужностью, Вовка лихо махал граблями, сволакивая легкое, податливое сено в волки. Старшие братья подзадоривали:

– Грабишь-то хорошо – копнать тебе рановато, паря!

Копнать и правда непросто: набираешь тройчаткой волок-другой и несешь на вытянутой руке в ближнюю копну. Высятся копны по всему сенокосу островками, ветрятся

день, потом в стога их сметать надо. С устатку-то молочка да кваску холодненького – освежиться да перекусить в тенечке березовой рощицы. Туда все аккурат и направились разом. А Вовка, раззадоренный усмешками братьев, схватил тройчатку да с размаху и воткнул вилы в соседний волок. Отчаянный его крик услышан был, верно, и в деревне – острый рог вилы глубоко вошёл в Вовкину правую ногу, заполошно втиснутую в сено.

Сорвав с головы платок, тетка Настя со знанием дела метнулась за стог...

– Терпи, милок! – ласково приговаривала она, ловко перевязывая уже смоченной тряпицей Вовкину раненую ногу.

– Ну дык, мужик! – угрюмо выдавил из себя побелевший от волнения дед, крепко сжимая в объятиях внука. Слезы горохом покатились по Вовкиным щекам.

– Чай не девка красна – надоть терпеть!

Всю обратную дорогу Вовка ехал на телеге: то сидел, то лежал на пышной свежей копне, слушая в утешение неторопливый рассказ деда про старого цыгана, появившегося вчера в деревне.

Слушать про цыгана Вовке было так же завораживающе интересно, как и разглядывать того самого вчерашнего старика, сидящего на пригорке.

...Порыжевшие от старости и пыли дальних дорог хромовые сапоги, потертая атласная жилетка, выцветшая на палящем солнце рубаха, черная фетровая шляпа и потухший взгляд из-под нее – все было овеяно какой-то недосягаемой для детского ума, но манкой тайной. Так и стояли чуть поодаль от него – цыган все-таки! Цыган, в свою очередь, только молча улыбался, по-доброму, но сдержанно, чуть подёрнутыми распухшими обветренными губами – глаза же по-прежнему оставались грустными.

Рядом, на примятой траве, бережно расстеленный серый платок, очевидно, бывший некогда белым, – на нем красовались настоящие, покрытые благородной патиной, серебряные часы, к которым змейкой вилась коротенькая цепочка с булавкой.

Вечером цыган проходил по деревне – у которой избы остановится, из той и, перекрестившись трижды, вынесет хозяйка еды в узелке. Так же молча поклонится цыган в пояс и в черную кузню опять и заберется – до следующего дня.

Что в этой кузне старик делал, никто не знал, потому как никому за много лет и в голову не пришло туда опуститься, а если приохотит, тут же страх все на место и возвернет, потому как нечистым прослыло место это.

Поскрипывала телега под тяжелой ношей, фыркал в тугую узду черный мерин, то и дело похлопывая бока седоватым хвостом – жуть непомерная эти овода! Солнце уже не припекало, а мягко, будто жалеючи, оглаживало Вовку, задерживая живительные лучи на раненой его ноге.

Дед Матвей неторопливо, словно читал древнюю книгу, выплетал витиеватую, но такую желанную некогда, таинственную историю про старого цыгана.

– Цыган-то охоч до работы был – все в руках горело! Сашко, сына свово, к кузнечному делу приучал, любил, верно, но и строжил шибко: как провинится паря, так и запрет его в коморке своей – не пускал на деревню. Сашко-то старшее меня был, да бегать года где спрашвали! То на озеро усвистим скупнуться, то скурнем за овинами, то во ржи горохом стрельни заладим. Беда тока едина – немушко Сашко-то был, видно, уродился эдаким, а може, страхом... ёвон тебя-то шибануло как – слова не вытянуть! Може, и матка его бросила – тут голоса и лишился – знать не знали мы. А парень – кремень! Коли батька лупит вожжой, молчит рыбой! Нешто немой – звука не вырычит!..

Годы летят птицами – помужали, значит, я да Сашко – девки тут как тут! А у помещика-то дочка... уж и красавишна! Глашенька... Тоже цыганёнка-то и залюбовала!

Забредём за притоку – лилии тама-тко баские росли – насрывам букеты и к девкам женихаться – хохочут окаянные, а к себе целовать не дают. Шутки-шутками, да запала Глашенька в душу цыгану-то – стали тайком вдвоем-от. Об чем толковали? Какой толковать! Немой парень! Красой да лаской, видать, взял сердце барышни. Воля да

кровь цыганская, конь лихой – украл он Глашеньку в единую ночь. В окошко полез... цветов тьма округ избы – изранился весь колюками, кровища по лицу да по рукам, но умыкнул-от желанную... Утром хватились – все кусты-те измяты! Иван Степаныч уж как розы свои люлюкал, а самую-то розалью главную и проглядел...

Нагнали их! Уж как помещик обшёлся с цыганами, не знать – только на другой день никто ни молота в кузне не слыхал, ни батьку с сыном не видал. Сказвали тихонько, будто приказал обоих в горне сжечь... Да не таков был Степаныч, не взял бы грех на душу!

А туто-ка и краснормейцы...

На выселку всю семью его – реквизирвали, значит, имение.

Эх! Как тебя вижу, помню: Глаша на подводе сидела да все на кузню-то и оворачивалась...

То ли боль, то ли дедов рассказ, то ли солнце наоказили – сморило Вовку. Сквозь первый сон доносился еще до него дедов голос и виделась сероглазая Глашенька в тетки Настином платье, с охапкой лилий, и кудрявый Сашко с перевязанной правой ногой, и черный мерин в нарядной попоне с колокольчиками...

– Дедушко, так это он и приходит в деревню кажинное лето? – очнулся от толчка Вовка – лошадь оступилась в ляге, чуть не опрокинув повозку.

– Знамо дело, не он! Да сколько годов-то прошло – я старик, он старик, – хитро, брат, узнать! Да мало ли их кочует по деревням! Все на едино лицо – цыган и цыган. Вот накормить странника – первое человечье дело: так еще мать моя заветовала! Коли в дом заохотит– пусти, усади на дольнюю лавку, окорми чем сам промышляшь. Утрось Настя пирогов-от и настряпала: наш черед пришёл кормить!.. Сколь он тут поживет, как знать! Може, завтрось и пропадет, как в запрошлый год – единый день и отбыл-то.

Дед обстоятельно завертел махорку в кусок газеты, прикурил...

– А я тебе так скажу, паря, неспроста на горе он высиживат: памятно место ему!

Вечером Вовка прилип к окну – за калиткой стоял цыган. Тетка Настя иззаранку собрала узелок с пирогами, картошкой, огурцами да с сальцем, ожидая цыгана.

Вовка, не отрываясь смотрел, как цыган пил из кринки молоко – оно распускалось в чёрной бороде белыми лилиями и редкими лепестками опадало на атласную жилетку...

Вовка поймал его взгляд: он был совсем не похожим на тот, потухший, на горе – будто сверкнули моментом искорки, высветив в глубине черных глаз ожившую память.

Неловко махнув застывшему в окне Вовке рукой, цыган уверенной, словно помолодевшей, походкой направился в сторону околицы.

– Он это! – тепло ёкнуло Вовкино сердце.

Больше цыган в деревне не появлялся.

Алена ЛОНКИНА
Казань

ЛАМПОЧКА

Несмотря на ревущую за окнами бурю, они решили всё-таки выйти покурить в ангар. На базе дышать уже было невозможно, система регенерации воздуха то и дело барахлила, напуская в комнаты вонючий дым вместо кислорода, ее пришлось отключить и дышать дешёвым табаком вперемешку с кислым потом. В ангаре воздух был посвежее, хоть и горько несло топливом от понуро стоявшей в углу под брезентом сломанной «Тушки». Они встали к прозрачному люку, за которым было непроглядно темно, и закурили оба почти одновременно, все так же молча, угрюмо, то и дело вздрагивая от ударов злого ветра. Под ногами у них в мутном синеватом сиянии светодиодных пластин, тревожно моргавших на потолке, лежали оторванные неподъемные крылья «Тушки». Егоров, шмыгая носом и щурясь на свет, почему-то вспомнил о шашлыках. Он потерялся во времени из-за сломанного календаря и этой внезапной канители с ураганом. Сейчас в Москве, наверное, уже зацвела черемуха, а значит, пришли холода и скоро грянут праздники. Вся эта суета на даче, теплый коньяк в стаканчиках, скворчащее жиром мясо раньше так его не будоражили. Дачу он вообще терпеть не мог – купили не знай зачем, да ещё на другом конце города, ездить раз в год, полдня на дорогу, полдня у мангала, да ещё и Машкиных родственников полная хата, всех накорми, всех обслужи, нет, раньше он о таком и думать не хотел. А сейчас, в этом страшном вое, в душной вонючей комнате,

с тоской по-простому, не сублимированному куриному бульону, без солнца, без неба, без единого кустика, на черной мертвой обгорелой земле, где якобы должна вдруг проснуться жизнь, не просыпавшаяся уже много тысяч лет, Егоров бы с удовольствием променял все на дачу. Его вдруг пробило знобящей тоской по всему телу, и чтобы отвлечься, он спросил у взъерошенного рыжего Пестрича, мрачно двигающего сивой щеткой над губой:

– Че думаешь, к майским вернёмся?

– Скорей к Новому году, – хмыкнул тот, не поднимая глаз и снова спрятался под усами.

– Сплюнь, – вздохнул Егоров, – я так долго не могу, я семейный в отличие от тебя.

– А ты думаешь, мне здесь куковать нравится? Мне добавочные не заплатят, – возмутился Пестрич, сплевывая на пол.

– Да никому не доплатят, да это и не главное, главное, что все без толку теперь, – мрачно ответил Егоров, почесывая неприятно колючий подбородок. Станки у него кончились ещё на прошлой неделе, клянчить у товарищей было как-то неправильно, тем более у Серёжки были какие-то навороченные, японские, их розовощекому медику-студенту Раздорину вообще ещё брить было нечего, а у Пестрича была машинка, он все равно не дал бы – прятал ее в отдельный шкафчик, как и все остальные свои пожитки, и если что не находил, тут же становился мрачный и гудел в свои сивые усы, дулся. Жадный он всё-таки был этот Пестрич, странно, что белорус, а они же вроде все там хлебосольные. Нет, этот был, даже неприятный в этой своей зажиточности. Дружить с ним было скучно, работал он ради денег, а не ради науки, да и биолог был посредственный, все копил на баньку да только о ней и мог говорить с упоением, до дрожи в сивых усах и, если б не был он единственным курящим в их скромном коллективе, Егоров бы с ним и не разговаривал.

Вот и сейчас, воровато стрельнув у него вторую, Пестрич пожал плечами и снова заладил о своем:

– Ну, в смысле без толку, командировочные-то выдадут...

Егоров отмахнулся от него:

– Да при чем здесь командировочные...

Он вдруг закашлялся, подавившись дымом. Ветер снова с ревом бросился на люк, так что вздрогнули крылья «Тушки». Егоров, смаргивая слезы, ткнул в них пальцем и сказал:

– Я вот про что. Техника похерена, опыты твои похерены, экспедиция провалилась. Неприятно, знаешь, проигрывать стихии. Да и «Тушку» жалко, влетит нам за нее. А особенно мне, я ж пилот. Не бережно использовал госимущество, получается.

– Никто же не знал, что буря будет, – снова пожал плечами Пестрич, – главное, чтобы аварийку прислали побыстрее да забрали нас отсюда. А то скоро только галеты жрать останется, видел, сколько сублимации на всех осталось?

Егоров махнул свободной рукой:

– Да знаю я. Только толку-то от этой аварийки, не сядет она в такую бурю.

– Автопилотом пустят, – важно заявил Пестрич, шумно всасываясь в сигаретку.

Егоров усмехнулся и покачал головой:

– Да хоть божьей помощью. Не сядет, я тебе говорю. Ты же видел, как «Тушку» разворотило, а это мы ее на пару метров над землей повели. Живы остались, и на том спасибо. В страту на ней не выйти. Тут танк нужен, покрепче любой аварийки. «Буран» было бы хорошо, просто замечательно. Только кто такую глыбу к нам пошлет, их всего три штуки, и все на Юпитере. Нет, тут только ждать, когда уляжется, ждать и экономить.

– Ну, значит, куковать будем. Как эти. Робинзоны Крузы. А врачеватель наш Пятницей будет. Я, слышь, вчера к нему в медблок заглянул за анальгином, так он там какую-то лабораторию развел. Все у него там скворчит, журчит, лмапочки какие-то понатыканы, свет во всю хреначит, а он сидит сам и бормочет, чё он там мутит, хрен поймёшь, дурью мается, электричество тратит.

Егоров только усмехнулся на ворчание Пестрича. Он помнил, как его Матюха увлекся в школе насекомыми. Наловит бабочек, кузнецов и давай потрошить под лупой. Маша все ругалась, мол, жестокий вырастет, а нет же,

вон именитый хирург. Поэтому к их тихому сутулому студентику Егоров испытывал странную, почти отцовскую нежность. Ковыряйся, мол, сынок, ковыряйся, авось наковыряешь на какие-нибудь раковые антитела. На бойкого Матюху он похож не был, а защитить от всяких Пестричей его хотелось, заклюют ведь, загнобят, и не будет нового светила. Поэтому, бросив окурок на землю и растерев его носком ботинка, Егоров прочистил горло и сказал миролюбиво:

– Пусть работает. Не всем же жрать и бухать, как тебе, без передыха. Ты вон мог тоже опыты какие-нибудь поставить. Материал-то мы тебе успели добыть.

Сказал он это просто, в шутку, но Пестрич тут же надулся, как баба, и забурчал в свои усы:

– Слушай, ну я ведь же в твое пилотство не лезу, вот и ты не лезь ко мне в биологию. Мертвое все. Я бы сам был бы рад какую-нибудь клетку отыскать в этом говне. А студент зря только свет жжёт. Образцы не изучает, пользы не приносит, сидел бы дома лучше.

От тебя зато пользы много, подумал про себя Егоров и вздохнул. Стало ему как-то снова тоскливо до тошноты, все этот Пестрич с его унылыми усами. Пора было убираться из гаража на кухню, где Серёжка уже накрывал на стол.

– Надо придумать какое-нибудь дело, пока ждём, а то озвереем тут, – задумчиво сказал Егоров.

– Ну, не переубиваем же друг друга, – хехекнул Пестрич, шумно втягивая носом.

Пластины на потолке вдруг заморгали сильнее, потухли на секунду, погрузив все в пыльный полумрак и снова зарябили, пугливо и устало. Егоров вздрогнул от неожиданности и чертыхнулся шепотом. Не хватало еще, чтобы трансформатор накрылся из-за этого урагана. Вот тогда будет совсем весело. Сидеть в темноте и представлять, что там снаружи майская гроза, а не странный мертвый скрежет разряженного неродного воздуха, ждать, когда их спасут, горе-открывателей, которые планету толком не исследовали, сразу в домик спрятались и сидят. А лезть наружу сейчас, когда станция от ветра по швам трещит, чинить

этот трансформатор себе дороже. Лучше уж без света, как звери в пещере.

– Как бы освещение не накрылось у нас, – сказал вслух Егоров, – ещё не хватало в темноте куковать до аварийки.

– Ты это дохтуру скажи, – огрызнулся Пестрич из полумрака. Сам он почти растворился в дыму, и светились рыжим только его усы, двигались, как живые, возмущались, пыжились. Егоров спорить с усами не стал.

– Он здесь ни при чем. Ладно, пошли ужинать, – сказал он и в последний раз бросил взгляд под брезент, на унылый помятый бок «Тушки». Надо бы ей заняться. Авось тогда не влетит.

* * *

Перед ужином решили разлить остатки водки. Хоть за это Пестричу спасибо, протащил всё-таки на борт. Выжатая до последней капли, оттого похожая на скомканную бумагу, сублимированная говяжья вырезка, вся такая из себя витаминная и питательная, в горло на сухую, если честно, уже не лезла. Все-таки приготовлена она без любви, без души и даже не человеческими руками, и от этого было в ней что-то неживое. Серёжка ловко вскрывал пакеты перочинным ножиком, глухо постукивая босой пяткой по бетонному полу. Содержимое пакетов он выкладывал в тарелки и ошпаривал кипятком из чайника. Говядина тут же набухала, розовела, чавкала, впитывая отобранную когда-то влагу, словно оживала. И по кухне тут же разносился непонятный пряный аромат, обозначенный на говяжьих пакетах как «сказки Востока». И было в нем, в этом аромате, что-то такое странное, химозное, Егоров не знал, как это назвать, что-то моментально пробуждающее аппетит, даже если есть совсем не хотелось. Хорошо эти пакеты использовать, если кто вдруг на станции объявит голодовку. Вскроешь молча перед ним такую говядину или даже пекинскую капусту, и голодовки след простыл. А вот если на станции четыре здоровых мужика, которые голодать не собираются, вот тогда проблема, думал Егоров, доставая из буфета нагретый шкалик водки. То и дело сглатывая набегающую

слюну, он задумчиво открыл бутылку. Задача стояла сложная – разлить поровну и желательно разделить на два раза. А то по одной как-то не серьезно. Пестрич, оседлавший соседний стул, горячо дыша ему на щеку кислым табаком, контролировал, чтобы его кружку не обидели.

– Как там погодка? – спросил вдруг Серёжка, берясь за четвертую тарелку.

– А сам не слышишь? – промычал Егоров, примериваясь к очередной кружке.

– Ну вдруг потише стало, – пожал плечами Серёжка.

– Если бы, – вздохнул Пестрич, – у нас все не слава богу, как знал, что не надо было ввязываться...

– Ничего, сегодня еще раз пошлю сигнал через ретранслятор, авось получат, – перебил Пестрича Егоров.

– Видели, как свет мигает? Если электричества не будет, то сигнал не сможем отправить, а, дядь Петь? – ответил Сережка, нервно сдувая прядь со лба. Пестрич тревожно забухтел в усы. Только истерии здесь не хватало, промелькнуло в голове у Егорова, и он сказал нарочито весело:

– Ну, а ты не забывай про аварийный генератор, стажер!

И дунув на автомате в горлышко пустой бутылки, ничего не загадав, закрутил крышку и сунул бутылку под стол. То ли от собственной напускной веселости, то ли от разыгравшегося аппетита на душе вдруг стало и правда легко, тоска хоть и не исчезла, а осела где-то на самом дне, затаилась. Слукавил он про аварийный генератор, конечно, да и так все знают, что на нем далеко не уедешь, ну и что? Ничего же страшного еще не случилось. Ну застряли они, бывает. Вон сколько полярников в Антарктиде сидят, без связи, без света застрявши, и ничего. Никто не умер, а это главное. Егоров осмотрел кухню. Сипел чайник на плитке, Серёжка, румяный от духоты, насвистывал, прела водка в кружках, и пахло человеческим теплом и даже немного домом. Прилетим, все по-хорошему, возьму отгул и на Волгу, рыбачить, а лучше на родину, в Бузулук, по заповедным местам, Матюху обязательно с его Африки вытащу, Машку с Лелькой и прямо на машине, всей оравой, и собаку заведу наконец, думал Егоров, вертя в руках кружку.

– А я, как приеду домой, женюсь, дядь Петь, – вдруг заявил Серёжка, словно прочитав мысли Егорова.

– Ну и правильно, – отозвался тот, – давно тебе пора, а то Светка другого себе найдет, ты ж не мычишь, не телишься.

– Да ну вас, – задорно воскликнул Серёжка, а сам расплылся, сверкнув щербинкой, от предвкушения простого земного счастья.

– А мне сосновые доски обещали к июню доставить. Хорошая такая сосна, канадская, а купил задешево, у чучмеков, – очнулся из полудремы Пестрич.

Серёжка расставил тарелки и, осмотрев свою работу, торжественно объявил:

– Кушать подано.

– Раздорин у себя? – спросил Егоров.

– Как всегда. Позвать? – дернулся Серёжка.

– Сам. Садись давай, – махнул Егоров.

Он неловко слез со стула и, разминая затекшую ногу, пошел, ковыляя в полумрак коридора. Крошечный медблок находился в дальнем углу базы, аккурат напротив его собственной комнаты. По ночам Егоров иногда слышал в полудрёме, как Раздорин шуршал и гремел там, иногда бормотал, а под утро замолкал. Щелкал замок на двери, Егоров дёргался во сне от стука, всхрапывал и, не успев сообразить, который час, проваливался снова. Но заснуть нормально уже не получалось и, повозившись под горячим колючим одеялом, он вставал аккурат к шести, шел, по-стариковски шоркая тапками, на кухню. Раздорин уже хозяйничал там вовсю. Ссутулившись, как всегда, и опустив узкий мальчишеский подбородок к груди, он, мелко и быстро шевеля длинными пальцами, колдовал над кофемашиной, беззвучно скользя по полу. Егоров здоровался с ним кивком и падал за стол, растирая шершавые щеки. Раздорин всегда делал кофе и на него. Хотя его об этом не просили. Он не подлизывался, не лебезил, просто, видимо, так проявлял к своему капитану уважение. Он тихо картавил под нос:

– Прошу.

И перед Егоровым появлялась дымящаяся кружка.

– Благодарю, – отвечал Егоров и по привычке спрашивал: – Работаешь там?

– Работаю, – снова картавил в ответ Раздорин и снова прятался за высокие узкие плечи. На этом, собственно, их общение и заканчивалось.

Раздорин никогда ничего о своей работе не говорил. Скрытный был он всегда, этот студентик, бывают же такие парни, зубрилки, пилят и пилят что-то там на своем ученом. Сколько Егоров пытался его разговорить хотя б под водочку – ни в какую. Раздорин всякий раз сидел красный, захмелевший, а все такой же угрюмый. Лишь один раз удалось его раскачать, задеть за живое. Серёжка тогда уже ушел спать, Пестрич дал храпака тут же, на кухне, а они с Раздориным вдруг разговорились. Каким-то боком речь зашла об эволюции. Егорова самого занесло, перебрал немного, и как обычно в этой кондиции стал выражать любовь ко всему человечеству и особенно к российской космонавтике.

– Ты только представь, Ростик, человек в космосе, только представь. Эволюция-то! Двести лет назад Гагарина в космос провожали, там никто не знал, вернётся или нет. Надеялись, верили, а не знали. А сейчас – до чего дошел прогресс! Горячие туры на Луну. Нет, в тысяча девятьсот шестьдесят каком-то там году никто бы в это не поверил, Ростик! Вот до чего дошел прогресс, человек! Эволюция! Давай-ка за это, – мурлыкал возбужденно Егоров, почесывая горячую пульсирующую щеку, и разливал по кружкам. Раздорин слушал его, слушал, а потом вдруг встряхнулся и развязно заявил:

– Это хрень, Петр Порфирич. Полная хрень.

– То есть как? – удивился Егоров и уставился на Раздорина. Тот сидел совсем пунцовый, с взбухшей венкой над бровью, которую раньше никогда не было видно, ворочая мутными глазами.

– Хрень, – повторил Раздорин и пьяно втянув носом, продолжил, – эволюция – это уже не актуально. Человек застрял на своей точке развития. Вы думаете, мы вершина этой самой эволюции? Почему? Потому что мы придумали ракеты? А представьте гориллу, которая научилась надевать пиджак. Вы вот посмотрите: горилла надевает пиджак, Вы же не решите, что она стала превращаться

в человека? Пошла дальше в развитии своего вида? Она так и осталась гориллой. А человек все равно человек, даже с ракетами.

– И что же, это все? Зря стараемся? – усмехнулся Егоров, подперев щеку ладонью. Ему даже стало интересно, куда завернет студентик.

– Ну почему же. Просто не то направление. Не за то мы взялись, чтобы развиваться дальше. Эволюция предполагает изменение формы жизни. Значит, нам надо обратиться к нашей собственно форме. К возможностям нашего тела. Ведь зачем-то нам остались рудиментарные органы? А свойства организма? Мы можем сколько угодно строить ракеты, а лучшие космонавты будут так же умирать от сердечной недостаточности. Скажете, нет?

Егоров не ответил. Он вспомнил вдруг своего однокурсника Костика Ковальчука, который стал капитаном в двадцать пять, а потом генералом в тридцать, а затем сорвался на двенадцать лет в открытый космос, совершил пять квантовых прыжков, добрался до края Солнечной системы, смог вернуться обратно, а потом через неделю вдруг умер от инфаркта в бане, не дожив до юбилея две недели.

– Да уж, – крякнул Егоров и облизал потресканые губы.

– Нужно обратиться к исходной форме. Разобрать на атомы, если потребуется. Вычленить энергию. И тогда от человека будет гораздо больше пользы. Буквально, – Раздорин поднял указательный палец с обгрызенным до мяса ногтем вверх, – буквально от каждого человека. От самого никчемного. От самого последнего. Мы же с вами, Петр Порфирич, источники уникальной энергии. То, что люди зовут душой, – вовсе не душа, вы знали, Петр Порфирич?

И затем пьяненький Раздорин пустился в страшные учёные дебри, куда никогда не ступала нога Егорова, и скоро тот, потеряв нить, стал думать о своем. О том, какой все же умница этот Раздорин, совсем как его Матюха, горит своим делом, потом вдруг о Машке, и почему-то о матери с ее больной спиной, и снова о Раздорине с его красным детским лицом, который сидел и плевался, возбуждённо картавя, такой непонятный и чужой, и откуда

он такой взялся, интересный малый. Раньше к их компании медиком прикрепляли старика Овербаха, но тот скоро отпраздновал семидесятый юбилей и с удовольствием ушел на пенсию, а вместо себя представил Егорову этого самого Раздорина. Как понял Егоров, Овербах заприметил его ещё в интернатуре, когда тот занимался слиянием энергетики и биологии. Или физики и биологии. Один хрен, Егоров в этом ничего не смыслил, но заметил, как у Овербаха гордо блестели под пушистыми белыми бровями глаза, когда тот говорил о своем ненаглядном Ростике.

– Такую статью написал, ты бы знал, Петя. Я в его годы за девками бегал да пиво пил. А он выдал. Всей кафедрой читали. Такой подход, такой подход...

Какой точно подход, Егоров так и не понял. Что-то связанное с переходами клеточного уровня в другие формы. Термодинамическая переработка. Фазовый переход на молекулярном уровне. И так далее. Понял он одно – мальчика Овербах посылает с ним, чтобы тот раскрылся в независимых условиях, чтобы мальчику никто не мешал и мальчик наконец выдал готовый материал на Нобелевскую.

– Там у вас все равно другая обстановка на этих астероидах. Тишина, мало людей. Он мальчик непубличный, необщительный, с людьми работать не умеет, затыкали его всякие, вот он и скуксился. А у вас там развеется, – мурлыкал Овербах, взяв Егорова под локоток и ведя его по мраморному коридору Роскосмоса.

– А лечить-то он хоть сможет? Мы туристов не берём, – ворчал в ответ Егоров.

– Сможет, сможет, он у меня всю практику прошел, все знает, бери, Петя, не прогадаешь, – кивал в ответ Овербах, стиснув ногтями его рукав.

И Егоров взял. Махнул рукой и взял. Вернее, послал Елисенко рекомендации Овербаха, собственные прошения, потом ещё попрыгал на ковре у Елисенко, расписывая расчудесного мальчика, и вот мальчик заперся в медблоке на его станции. А Егоров теперь стоял перед прикрытой дверью, прислушиваясь к скрипам и шорохам внутри. Никак не решался войти, не хотелось мешать процессу. Шорох вдруг сменился звяканьем, что-то грузно ухнуло об

пол, Раздорин тихо и радостно вскрикнул, и Егоров аккуратно постучал.

– Да! – раздалось тут же из-за двери.

Егоров осторожно просунул нос в щелку. В рябящем голубом свете медблока все казалось каким-то печальным. Все эти пластиковые бутылки, пакетики, таблетницы, голая койка, ещё ни разу, слава богу, ни для кого не застеленная, и длинный стол во всю стену, над которым копошился Раздорин. Там стояло пыхтящее нечто, механический организм непонятной кубообразной формы с множеством трубок, доводчиков, маленьких рычагов, мутных циферблатов, сплавленных воедино, кривовато, кустарно, но все же добротно, с любовью, с усердием, Егоров сразу приметил аккуратные стежки, он сам так паял в молодости ржавые скелеты списанных «Меркуриев», пытаясь вдохнуть в них новую жизнь. Но то были огромные истуканы чуть ли не советской сборки, и ничего бы им не было, полосни он сверлом не в том месте, а эта странная машинка тебе не ракета, не какая-нибудь «Тушка» или «Бойка», эта красавица была посложнее, покапризнее, там винтик заденешь, лапку царапнешь, и ни о какой точности в опытах говорить нельзя.

Егоров вдруг поймал на себе взгляд Раздорина, шмыгнул носом, зашёл в медблок и уважительно протянул, кивнув на стол за его спиной:

– Какая дура! Сам собирал?

– Вы про Гольджи? – тихо спросил Раздорин и, повернувшись к машине, нажал один из рычажков. Томно вздохнув, та перестала дрожать и затихла. – Не сам, помогли. Схему я разработал. На основе аппарата Гольджи. Только с дополнительными функциями.

– Хороша, – просто крякнул Егоров, кивая, – значит, с ней ты по ночам все возишься?

– Откалиброван не точно. Приходится вручную, – туманно ответил Раздорин, поглаживая пальцем сверкающий панцирь машинки.

– А что она делает-то? – спросил Егоров. – Что это за Гольджи такой?

– Сбор и отправка белковых продуктов из ЭПР. По изначальным функциям, у физиков. Но мы, медики, пошли

дальше, разработали дополнительное: сбор всех сложных веществ организма, их отправку и последующую переработку на нужные энергетические уровни, – вежливо отчеканил Раздорин. Его узкое голощекое лицо в голубом свете казалось совсем изможденным и печальным.

– Понятно, – вздохнул Егоров, опустив глаза на кафельный пол.

Ему стало стыдно вдруг от своего невежества. Старость это, что ли, подкралась незаметно? Раньше все на лету схватывал, а теперь слова слышит, а смысла нет. Ну ничего, это ещё поправимо, вернутся они домой, позовет он к себе Овербаха, поедут они на рыбалку, накатят как следует, и тот разжует ему про все эти Гольджи да ЭПР, на простом человеческом.

– Ты это, сворачивайся, ужинать садимся, – сказал он Раздорину и повернулся уходить, как вдруг заметил на краю раздоринского стола, аккурат за отполированным бочком машины, странную конструкцию. Это была самая простая деревянная дощечка, в боку дощечки была розетка, а в середину была вкручена лампочка. Егоров даже поморгал на всякий случай, не показалось ли. Нет. Крошечная такая, нить накала, цоколь. Та самая лампочка Ильича. Егоров их лет двадцать нигде не видел. Их если только в гаражах и в старых лабораториях еще держат или, может, в библиотеках, но никак не на экспедиционной станции исследования космических объектов дальнего рубежа Солнечной системы. Они же жрут как не в себя, да и хрупкие. Значит, Раздорин притащил ее с собой да еще и к дощечке прилепил. Странные все-таки эти вундеркинды, усмехнулся про себя Егоров и, еще раз кинув взгляд на лампочку, вышел.

* * *

Ели они молча, под визги и стоны бури, бьющейся по маленькому кухонному окну. От этих звуков особо не говорилось и не шутилось. И Егоров всем телом чувствовал, как гложет их всех, а не только его, зудящая тревога. Как червяк точит и точит в затылке – вернутся или нет. Забыли про них или нет. Доберется аварийка или нет.

А если нет, то что тогда? И все думали, разумеется, только об этом. Даже Сережка его, легкий всегда на подъем парень, как-то сник, даже вихры его улеглись, примялись, жалеет себя. А дай ему волю, и вслух скулить начнет, тогда и Пестрич подключится со своим бурчанием, а этого никак допустить нельзя. Поэтому Егоров, крякнув, привстал со стула и, подняв кружку, постарался улыбнуться как можно натуральнее:

– Ну, за возвращение домой.

Чокнулись глухо, без задора, не поднимая друг на друга глаз. Пестрич громко вздохнул, обмакнул в водке усы и оставил нетронутой. Ночью дососет, подумал Егоров и быстро опрокинул свои полпальца в рот. Водка на деле была дешёвой, может, даже разбавленной, но пошла хорошо, как по накатанной, прожгла все от горла до кишок. Серёжка, ахнув свою порцию, тут же закашлялся. Раздорин, повертев кружку, отставил в сторону. Видимо, остерегается теперь пить, подумал Егоров, наблюдая исподлобья. Но, зная Пестрича, подумал, раздоринская кружка не пропадет, насухо будет вылизана к утру. Егоров, сплюнув в тарелку какую-то жилку, отложил вилку и посмотрел на настенную полку, где на дне контейнера стопкой лежали последние их питательные завтраки, обеды и ужины. Шестнадцать пакетов. Если убрать, например, обеды, то хватит на две недели. Все равно, конечно, не весело, но паниковать еще было рано. Все-таки сухпаек, которого так Пестрич боится, очень неплох. На Галее в шестьдесят пятом году, куда Егорова послали грузчиком к археологам на раскопки, и галет этих несчастных не было, в системе произошел сбой из-за 50-градусной жары и доставка суточных накрылась на целую неделю. Главный археолог, Сухроб, молодчик из Таджикистана, выщипывал местную траву, похожую на земной сибирский мох, разводил в воде с песком и жарил на всю группу лепешки. И ничего, ели, не жаловались. Сухроб ещё садился в центре и рассказывал, как его мама в Душанбе готовила на всю улицу огромный казан плова. Во всех подробностях рассказывал. Считал, что так проснется аппетит. А здесь всего-то три дня потерпеть. А потом на дачу, на шашлыки, потом

по гостям, на рыбалку с Овербахом, а ещё Машка пельменей налепит. С этими мыслями Егоров снова взялся за вилку, но не успел никуда ее воткнуть – стало темно. Разом, с тихим механическим вздохом потух весь свет. Кто-то испуганно звякнул вилкой, и на пол ухнула кружка, видимо, та, что стояла под локтем Раздорина.

– Твою мать, генератор! – услышал Егоров перепуганный голос Серёжки.

Они подскочили вдвоем к окну. Стекло было мутным, да ещё и песок хлестал не переставая, но все же было видно, как в нескольких метрах от базы, искрит и дымится пузатая ДЭС. Егоров заметил, как что-то торчит, всаженное, словно копье, в ее бок, отчего она стала похожа на подстреленную ловким охотником тушу. А что это торчало, он никак разглядеть не мог.

– Смотрите, дядь Петь, как ее этой березкой, – пробормотал, щурясь Серёжка.

Егоров прищурился и тоже узнал полосатый столбик непонятного происхождения, один из тех сотен, что они видели с Пестричем, когда совершали свой первый и последний рейд на этой планете. Столбики толпились неровными хаотичными рядами на много километров вперед, совершенно одинаковые, гладкие, как лакированные, и напомнили Егорову странное братское кладбище. А Сережка, увидев снимки, когда они, побитые внезапной бурей, вернулись обратно, окрестил их березками. Вообще Егоров знал, что ученые из центра, кому они передают все собранные образцы с новых объектов, зовут подобную дрянь гуманоидными артефактами. То есть явно с этими березками работал кто-то, похожий скорее на человека, нежели на природу. Не может природа наклепать такую лакированную безвкусицу, только гуманоид. А зачем, это уже другой вопрос. Вопрос, который Егорову задавать не положено по профпригодности. То, что он принял за страшное кладбище, на самом деле может вообще оказаться дачным поселком вымерших аборигенов. Так что ему остается только созерцать, не контактировать без специалистов и вообще пролетать мимо, как фанера над Парижем. И вообще думать, как бы эти березки еще куда

не прилетели. Буря-то разошлась и, может, теперь раскидывается этими поленьями во все стороны. А значит, и в окно может прилететь, разбить, разумеется, не разобьет, титановое-то покрытие на стекле, но шуму наделает много. Но это было сейчас неважно. Важнее и страшнее было то, что электричество все-таки накрылось. Угрюмо загудел где-то в утробе станции под их ногами, просыпаясь, аварийный генератор. Потом тяжело, натужно зарычала одна из десяти пластин на потолке, словно выжимая из себя мутный голубой свет. Егоров, озлобленно скривившись, посмотрел на потолок.

– Вот сука, – прошептал он.

Он вернулся за стол и придвинув к себе тарелку, упёрся головой в ладони. От остывшей еды все еще тянуло пряностями, но теперь у него в горле стоял плотный вязкий комок. Серёжка все ещё стоял у окна. Раздорин и Пестрич не отрываясь смотрели на Егорова.

– Ну так что? Пипец котёночку? – осторожно спросил Пестрич. Усы у него обвисли и больше не щетинились во все стороны. Раздорин молча поднял свою кружку с пола и тихо стукнул, ставя обратно на стол.

– Не знаю. Откуда я могу знать. Надо сходить и посмотреть, – зло отрезал Егоров.

Он думал. Мысли хаотично роились в голове, то и дело больно ударяя по вискам. Давно у него не было мигрени. Давно его не загоняли в угол. Давно он не становился главным. Привык он всё-таки к армейским порядкам в штатном режиме. Всегда над ним стоял кто-то, хоть умный, хоть дурак, но отдающий приказы, четкие и ясные, от которых в голове пустота и спокойствие. На Галею полетите, Егоров. Будете камни таскать на прицепе. А теперь на Луну, Егоров, заберите учёных из кратеров. Завтра на «Тушке» будете, Егоров. А послезавтра на «бойке». А в субботу становитесь на ремонт. И никаких авралов. Никаких ураганов и сломанных трансформаторов.

– Ну так пошли, сходим, посмотрим, – вдруг сказал Пестрич, – тут сколько, двадцать метров?

Егоров поднял на него глаза.

– Двадцать или тридцать, – ответил он.

– Ну так айда, – пожал плечами Пестрич, – я с тобой пойду. Не прикалывает меня тут в этой темени шарахаться.

– Раз слетел основной источник света и включился аварийный, то отключилась и панель на мостике, а это должны заметить, а если заметят, то сразу и аварийку пришлют, по инструкции, ведь аварийный генератор – это, можно сказать, все, чрезвычайное положение, долго мы на нем не прогорим, – рассеянно рассуждал Серёжка, грызя заусенец, уперевшись спиной в подоконник. В мутном слабом свете на круглом мальчишеском лице вдруг ясно прочертились взрослые озабоченные морщины.

– Может, пришлют, а может, нет. Как ты узнаешь? А тут, может, и починить сможем, вон крестный твой, пусть на месте посмотрит и скажет, – поучительно сказал Пестрич, разглаживая усы. Потом встал из-за стола и повернулся к Егорову. – Что сидишь, батько? Подымайся.

Дизельный генератор так просто не починить, да как и любую электростанцию, и Егоров это прекрасно знал. Тут нужны инструменты, машины, да хотя бы нормальные погодные условия, чтобы видеть, где копаться, но он был рад, что вдруг подключился обычно равнодушный ко всему, кроме своей персоны, Пестрич, подхватил инициативу, поэтому он послушно встал и направился в коридор.

– Жди на капитанском мостике, – сказал он Серёжке и обернулся, чтобы отдать какой-нибудь приказ и Раздорину. Но того уже в кухне не было.

* * *

С экипировкой они возились почти час. В крохотном тамбуре и так было не развернуться, так еще и экипироваться приходилось практически вслепую. Подсвечивая друг другу налобными фонариками, то и дело путаясь то в рукавах, то в штанинах, тихо матерясь и стукаясь друг об друга шлемами, они, наконец, застегнулись. Натягивая тяжелые, еще не разношенные бутсы, Егоров все думал: ну а что дальше? Ну дойдут они до ДЭС, ну посмотрят на торчащее это полосатое полено, ну даже если пострадал только контейнер, а там внутри от встряски что-то просто

перемкнуло, все равно лезть и ковыряться там опасно, сам он разбирался в дизельных генераторах очень смутно, на уровне остаточных знаний из учебника по термодинамике пилотного училища, а про Пестрича и говорить нечего, только усы свои спалит. Бессмысленно все это. Остается только верить и ждать, как и сказал Сережка, что заметят их переключение на аварийный генератор, забьют тревогу…Хотя, может, сидит сейчас на пульте в центре не опытный диспетчер, а какой-нибудь вшивый практикант, а может, и не сидит, а чаи гоняет, они это дело любят, пропустит все, потом не проверит, и они останутся тут ещё на недельку или две, потом уже умные люди спохватятся, где это наша экспедиция на Питон-95? А они уже тут будут башмаки доедать. Паршиво все это было, просто паршиво. Егоров, сунув голову в прохладный алюминиевый шлем, сразу же включил внутри вентиляцию. Пахнуло озоном, включился светофильтр и зашуршал микрофон – у самого уха кряхтел, путаясь в крепежах Пестрич.

– Ты чего это вдруг вызвался? – спросил Егоров, наблюдая его потуги.

– А? – прогудел Пестрич из-под шлема.

– Говорю, чего наружу вызвался?

– А нельзя, что ли? Хочу сам знать, что там. Своими глазами увидеть. Да, может, и подсобить тебе, если чинить будем. Или тебе с пацанами подручнее? С дохтуром нашим? – пробурчал Пестрич в ответ и со скрипом выпрямляясь.

Нечего там тебе будет чинить, чинильщик, подумал Егоров.

– Ладно, пошли, – сказал он вслух и, включив передатчик, открыл люк. Тот чмокнул, отходя в сторону. Буря, скулившая под дверью, тут же, рванулась в тамбур, люк отлетел и жахнул по стене так, что если бы не частичная звукоизоляция в шлемах, они бы оглохли. Егоров, щурясь от бьющего по стеклу шлема песка, шагнул наружу. Пестрич, чуть толкая его плечом, шел следом.

– Раз, раз, прием, – зашуршал тут же у Егорова в наушнике Серёжка.

– Мы пошли, через каждые пять минут сверка, прием, – ответил ему Егоров, зачем-то перекрикивая ветер.

– Услышал, прием, – ответил Сережка и затих, зашуршал чем-то на мостике.

Егоров никогда в жизни не видел такого урагана. И уж тем более никогда не бывал в его эпицентре. Казалось, будто его всего спеленали как грудничка, туго-туго, а он стоит на месте и беспомощно дёргается. А потом огромная невидимая рука толкала его то влево, то вправо и он послушно летел тряпичным мешком. И хотя кислорода в костюме было хоть отбавляй, хватит на пять часов работы на безвоздушной площади, он все равно задыхался. Это ветер бил ему в грудную пластину скафандра так, что та давила на ребра. Он то шумел возле головы, то стелился по земле живой тенью и выл, точно как собака, в самую глубь. Пестрич то и дело хватался рукой за плечо Егорова, утягивая его назад.

– Не помереть бы, – прокряхтел он в наушник.

Егоров только крепче сжал зубы. Эти двадцать метров до генератора они плелились почти час, то и дело останавливаясь перевести дух.

Старые мы, вертелось все в голове Егорова. Да что все, ты старый. Болтаешься, как говно в проруби, аж стыдно. Ты уже не «бравый космолетчик», пора тебе, батенька, на покой. Вон, пусть молодые костями трещат. Хоть бы один подскочил: сидите, Петр Порфирич, мы сами сходим. Никакой инициативы.

– Во дымит, – вдруг прошуршал в ухе Пестрич.

Егоров вздрогнул и посмотрел вперед. Они стояли в одном метре от помятого, когда-то белого, а теперь обугленного короба, от которого валил во все стороны черный дым. Он метался вокруг контейнера электростанции бешеной воронкой, терзаемый ураганом, а в передней стене почти отвесно торчал этот злосчастный полосатый чурбан. Вблизи он походил на обычную железную разрисованную под березу трубу. Егоров сделал еще пару шагов вперед и, постояв с минуту, раздумывая, дернул за смятую дверь контейнера. Та открылась на удивление легко. Егоров заглянул внутрь. Не повезло. Бревно оказалось длиннее, чем он думал, и пробило не только контейнер, но и стоявший в дальнем углу генератор. Вошло оно

косо, по самому краю, заехав в шкаф управления и слегка задев топливный бак. Дым шпарил в наружную решетку аккурат из шкафа. Сам дизельный двигатель был еще жив, гудел с пугливым придыханием, словно раненый зверь.

– Ну что? – спросил Пестрич.

– Работает вроде, не пойму, – ответил Егоров, направляя фонарь в сердцевину генератора. Помятый шкаф вдруг выплюнул искру, и Егоров отшатнулся.

– Так это же хорошо? – подключился Серёжка. Было слышно, как он барабанит ногой под столом.

– Ничего хорошего, – отрезал Егоров и высунулся обратно. Его охватила усталая злость. Надо было ему слушать этого Пестрича, тратить силы и время, чтобы просто прийти потоптаться у непонятной конструкции с совершенно другой механикой, чем у корабля, и теперь возвращаться ни с чем.

– Дай я гляну, – сказал вдруг Пестрич и полез внутрь контейнера, держась за плечо Егорова.

– Ну, глянь, – отмахнулся от него Егоров и поднял глаза на черное небо. Оно было таким далеким и безразличным ко всей их суете, и хотелось броситься уже в него, ворваться на всех парах хоть на самом простеньком глайдере, лишь бы повыше, подальше от этой пыли. Егоров вздохнул. Пестрич ворочался в контейнере несколько минут, что-то бурчал, шурша усами в динамик и наконец, выбравшись обратно, заявил:

– Ну, у меня что-то похожее на даче стоит. Контакторы разошлись от удара, вот и глючит, а то что дым, так это коратнуло там один…

– Ладно, пошли, – перебил его Егоров

За запорошенным стеклом скафандра возмущенно задергались усы.

– Как это пошли? Там можно покопаться, – прошуршал Пестрич и неуклюже шагнул глубже в контейнер. Егоров ухватил его за локоть.

– Нигде копаться мы не будем, а то и нас коротнет. Перекантуемся и на аварийном генераторе, посидим без связи… Я в эту хрень не полезу, я не самоубийца, – ответил

он и дернул Пестрича за рукав. Но Пестрич сделал еще шаг назад.

– Я полезу, – хрипло сказал он.

Егоров неловко переступил тяжелыми ногами и, чтобы не потерять равновесие, выпустил Пестрича.

– Сдурел?

– Тут же все понятно. Я же тебе говорю, у меня почти такое же на даче, та же схема работы. Я уже лазил в такой, и ничего. Ты только там стабилизатор подержишь, а я все остальное сам.

Егоров начал терять терпение. Вот ведь баран рыжий, не переспоришь. Он снова переступил затекшими в бутсах ногами. Буря немилосердно хлестала по спине, вдавливая каркас скафандра в позвоночник, а ведь еще обратно переть. И чем дольше они тут спорят, тем дольше.

– Не дури ты. Это тебе не пробки в чулане поменять. Тут даже света нормального нет, инструментов нет, – повторил терпеливо Егоров, – пошли обратно.

– Давай попробуем хоть, – визгливо воскликнул Пестрич, прячась в контейнер еще глубже.

– Я пробовать не буду, – отрезал Егоров.

– Я буду.

– Ну и зачем? – рявкнул Егоров, начиная терять терпение. От давления на скафандр у него уже начало закладывать уши, голова стала совсем тяжелая.

– А я домой хочу! Хрен они пришлют аварийку без сигнала! Так и будем торчать, как тополя на Плющихе, лапки сложивши! Тут шанс есть, не все поломано, я же вижу, я же тебя не прошу пальцы в розетку совать, тут аккуратненько, раз, раз и хоть еще недельку пофурычит. Ты же знаешь, что не метнутся они к нам, хрен знает, когда все закончится! Слушай, а вот что. Боишься – иди, а я полезу! – ревел Пестрич, захлебываясь слюной, прямо по перепонкам Егорова и вдруг, сделав выпад, захлопнул дверь контейнера прямо перед его носом. Тот пошатнулся от неожиданности и сделал шаг назад.

– Господи, да на! Лезь! – крикнул он в решетку контейнера, которая еще кашляла дымом. – Угоришь там, сам будешь виноват.

– Не угорю! – глухо рявкнул в ответ Пестрич.

Дверь приоткрылась снова, и Егоров увидел, как Пестрич корячится у открытого шкафчика, где тревожно мигают кнопки у торчащих в разные стороны проводков.

– Вот контакторы, вот датчики, тут все просто. Тут все на автомате, все защитой перекрыто, чего тут бояться, – бормотал в усы Пестрич, прыгая на корточках перед генератором.

– Ну, как хочешь, а я пошел, – бросил Егоров и, подождав с минуту – вдруг Пестрич передумает, – пошел прочь.

– Ага, – глухо донеслось в динамике.

Егоров даже не обернулся. Кусая губы, он вновь разрезал телом свистящий ветер, уходя от ДЭС все дальше и дальше. В конце концов, он не обязан следить за тем, что творит бригадный биолог. Пусть хоть на голове ходит, ему-то что. Он ему сказал, даже приказал, тот приказу не подчинился. Все взрослые люди. И все же он старался шагать быстрее, раздирая перед собой воздух руками, оглушенный стуком крови в висках и далёким шуршанием Пестрича в наушниках, чтобы скорее добраться до базы, до Серёжки и больше не думать об этом усатом дураке.

Егоров уже был почти у люка, как вдруг снова щелкнул и зашипел наушник. Одумался, с облегчением вздохнул Егоров. Придется возвращаться, тащить его назад, дурака старого.

– Дядь Петь, – раздался тихий голос. Это был не Пестрич, а Серёжка.

– Что такое? – раздражённо спросил Егоров.

– Кажется, Антона Сергеевича… Я вижу, он упал.

* * *

Следующие три часа Егорову казалось, что он кожей чувствует, как они теряют время. Как оно тает, обжигая до мурашей, и нет у них силы его притормозить или самим ускориться. Сначала Серёжка копался с костюмом. Оказывается, инструкцию по полевой экипировке он не читал, думал, что будут они с Егоровым безвылазно сидеть на базе, а в поле выходить должны только биологи. И Егоров,

то и дело покрывая его трехэтажным, помогал натягивать на худые длинные ноги бутсы. Так они потеряли где-то час. Второй час ушел на то, чтобы добраться до генератора. Казалось, буря только усилилась, Серёжка то и дело валился с ног, и Егоров, стеная, выуживал его из песка, сам еле держась на ногах. Третий час, а то и полтора ушло на погрузку Пестрича и транспортировку его до люка. Егоров, толкая носилки сзади, то и дело всматривался в запорошенный шлем, чтобы понять, дышит Пестрич вообще или нет.

– Он прямо оттуда... вывалился... и... потом.... смотрю, дым опять... жесть, – сбивчиво хрипел Серёжка, таща носилки.

Раздорин ждал их в медпункте. Полка уже была застелена голубой простыней. Они уложили на нее Пестрича, и Егоров стал стягивать с него костюм. Первым делом он стащил шлем, и мертвый голубоватый свет озарил заляпанное черной кровью лицо Пестрича. Носом кровь пошла, мелькнуло у Егорова, и его пробило неприятной дрожью. Даже усы Пестрича были в ней перепачканы и от этого потеряли свой бравый гусарский вид. Да и сам он весь вдруг как-то похудел, сдулся, потемнел.

– Капец, – прошептал ошалело за спиной Егорова Серёжка. Раздорин ничего не сказал. Он даже не подошёл к полке. Шуршал все на столе своими инструментами, скрипел перчатками. Егоров начал снимать скафандр с Пестрича. Перчатки с рукавами обуглились и приклеились к телу. Егоров чувствовал, как сдирает с Пестрича кожу каждым неловким движением, и сам тихо стонал от подступающей к горлу тошноты. И только он отлепил последний бурый опухший палец – тихо, словно устав, снова погас свет.

– Да твою ж мать! – воскликнул в сердцах Егоров, швыряя обугленный костюм на пол.

– Что-то с генератором, – спокойно заявил Раздорин, не оборачиваясь.

– Да ты что! Небось, и на аварийном свою дуру включал, она и выжрала! – рявкнул на него Егоров и, повернувшись к двери, нащупал глазами в темноте Сережкин силуэт. – Иди, перезапусти, что стоишь!

Тот тут же послушно ускакал в темноту. Ну и люди, думал Егоров, всматриваясь в сутулую спину Раздорина, которая шевелилась в полумраке. Тут человек умирает, а они стоят как истуканы. С такими только помирать...

– Умрет? – глухо спросил он у Раздорина. Тот не ответил. Наверное, не услышал, возился возле своей машинки. Ее зеленоватые циферблаты мутно блестели, как большие рыбьи глаза, и словно пялились на Егорова. Зло и неподвижно. Наконец снова загудел устало генератор, и в потолке ожили пластины. Сережка обратно не прибежал, струсил.

– Не знаю, – вдруг тихо сказал Раздорин и наконец повернулся лицом к Егорову, – не знаю, надо смотреть. – На лице у него были большие очки, похожие на столярские, которые Егоров раньше никогда не видел. – Дальше я сам, – коротко сказал Раздорин и стал открывать бутылку с хлоргексидином. Пальцы у него дрожали и то и дело соскальзывали. «Дохтур» – так его насмешливо называл Пестрич. Егоров молча вышел, растирая руки, все перепачканные в саже.

Дойдя до кухни, он резко повернул направо и направился в ангар. Сидеть и покорно ждать, когда Раздорин закончит врачевать, было совсем невмоготу. Надо было чем-то занять руки.

– Вы куда, дядь Петь? – выглянул из кухни Сережка. Глаза у него были красные, плакал, что ли?

– Пойду поковыряюсь, – бросил Егоров и поскорее спустился по лестнице в ангар, к верной «Тушке». Егоров начал было отвинчивать сцепки, чтобы получше закрепить крылья, но почти тут же бросил. У него дрожали руки. Дрожали так неприятно, по-стариковски, от слабости и немного от страха, и он тут же положил ключ обратно на полку, сел, облокотившись на пыльный бок корабля, и закурил. Курил жадно, присасываясь к сигарете, в глубокий горький затяг до боли в груди, лишь бы не думать о Пестриче. И о своей глупости. Это ведь он виноват. Только он. Бросил человека, получается, на верную гибель. Раньше с ним такого не бывало. Когда Сухроба завалило с ребятами в котловане, он сутки сидел, разговаривал с ними до хрипоты, песни

им пел, анекдоты рассказывал, перекличку устраивал, а потом, как пригнали технику, сам ковырял песок ковшом, хотя не спал сутки… А сейчас? С какой стати он психанул и ушел? Девочка он, что ли? Дал бы по лбу этому усатому биологу и погнал взашей на базу. А теперь расплачивайся за слабину, капитан экспедиционного корабля ТУ-115! Да какой ты капитан после этого...

После пяти сигарет Егоров не выдержал и пошел обратно в медблок. За дверью было тихо как никогда. Раздорин не шуршал, Пестрича тоже не было слышно. Только щель под дверью горела ярким белым светом, словно в окно медблока заглянуло солнце. Опять дрянь какая-то, промелькнуло в гудящей голове, и Егоров осторожно потянул дверь на себя. Пестрич лежал все так же неподвижно, голый до трусов, только руки у него были забинтованы до шеи. Раздорин сидел за столом, озаренный тем самым белым светом. Егоров невольно зажмурился. Это был такой чистый белый свет, какой он видел, наверное, только раз в жизни, когда однажды, совершая маневр в метеоритном дожде, слишком близко подлетел к маленькой безымянной звезде. А теперь так горел раздоринский стол и его курлыкающая машина. Так ничего и не поняв, Егоров отвел взгляд снова на окутанного тем же сиянием Пестрича.

– Что это такое? – громко спросил он.

Раздорин вздрогнул и повернулся. На лице у него красовались все те же огромные странные очки. Он отошел от стола в тень, и Егоров наконец увидел источник света – это была та лампочка, вкрученная в дощечку. Та лампочка, у которой мощность всего-то в 28 ватт, теперь горела как стоваттный прожектор и могла осветить минимум две таких базы полностью.

– Дать вам очки? – раздался спокойный голос Раздорина.

Егоров протер глаза.

– Что это такое? – повторил он теперь шепотом.

Раздорин, не ответив, уже протягивал ему очки. Егоров послушно нацепил их на нос и сморгнул слезы.

– Я провел эксперимент. Только не пугайтесь, – начал Раздорин, потирая руки со скрипом. Они все еще были в окровавленных перчатках. Все это было неприятно

странно: и свет, и эти руки, но важнее всего были сейчас не Раздорин с этой лампочкой, а Пестрич. С лампочкой всегда успеется, мало ли что он там нахимичил, главное, чтобы Пестрича выходил. Поэтому поднял руку на Раздорина и сказал:

– Потом. Что с Антоном Сергеевичем?

– В коме, – глухо, как из бочки, ответил Раздорин, сникнув и спрятав глаза.

Егоров вздрогнул и подошел ближе к койке. Пестрич в этом белом свете казался очень маленьким и почему-то серым. Усы, все ещё испачканные кровью, были похожи на огромного пушистого таракана, тоже серого. Усы не двигались, как и Пестрич. Егоров громко выдохнул со стоном. Ему стало снова невыносимо тошно от всего этого. Захотелось кричать, биться прямо об стену, прямо лбом или, может, махнуть залпом полшкалика пестриченской водки, лишь бы стряхнуть эту занозу с груди. Надо было ему лезть, этому дураку! Надо же было спутник прикрутить, домой попасть, баню свою сраную строить из канадской березы…

– И что мы можем сделать? – спросил он тихо, до боли прокусывая губу.

– Ничего.

Егоров посмотрел на Раздорина. Издевается? Нет, вроде серьезный.

– Ну, значит, будем поддерживать до аварийки. Запасов у тебя куча, пичкай его чем хочешь, лишь бы дожил...– ответил Егоров, размазывая языком кровь по губе.

Раздорин покачал головой и посмотрел на Егорова в упор. Взгляд у него был странный, горящий каким-то злым неожиданным огоньком, этим взглядом он сверлил то лоб Егорова, то свои руки, обтянутые в перчатки. А на перчатках все так же чернела кровь.

– Не выйдет. Он не выдержит перегрузок, – сказал Раздорин.

– Ну, знаешь, он побольше тебя летал и не в такое, – раздраженно ответил Егоров, вытирая губы пальцем.

– Ожоги третьей степени. Кровоизлияние в мозг. Плюс внутренние ожоги, от прохождения тока практически

по всем мягким тканям. От перегрузок точно начнется тромбоз венозных синусов, за которыми следует инфаркт мозга, – загудел механически Раздорин, опустив глаза, – также нужно учитывать возраст, быстрого восстановления не…

– Сука! – рявкнул Егоров и беспомощно взмахнув руками, сел на корточки, спрятав лицо в ладони. Снова его загнали в угол. Снова пришибли так пришибли. И уже не выкрутиться, не увернуться. Вот там, на кровати, под простыней, лежит твоя совесть, твоя вина, твоя халатность, Петр Порфирич, дурак ты конченый, заработал ты себе грех на старости лет!

– Зато мы теперь можем улететь, – тихо сказал Раздорин, стягивая с рук перчатки и аккуратно складывая их на край стола. Егоров со всей силы грохнул кулаком об стену, так что Раздорин подпрыгнул.

– Как?! Как ты себе это представляешь? Что ж мы телепатически им сигнал пошлем – прилетайте, у нас тут больной нарисовался? – закричал он, захлебываясь слюной. Больше всего выводило его спокойствие Раздорина. Стоит тут ручками сучит, в очках огромных своих. Учат их, что ли, теперь такими истуканами быть? Или вообще он отмороженный, этот нобелевский лауреат?

Раздорин молча отвернулся к столу, выключил свою машину и та, кашлянув, затихла. Лампочка тут же погасла, медблок погрузился в прежний вязкий сумрак.

– Вы спрашивали, что это за свет…

Свет, свет... Будешь думать тут про этот свет, когда у тебя человек помирает. Егоров еще раз взглянул на остывающую лампочку.

– И откуда ты взял столько киловатт, из-за тебя, что ли, вся база на последнем издыхании? – пробормотал он.

– Это не электричество, – заявил Раздорин и открутил лампочку, – это венозная кровь.

– Чего? – прохрипел Егоров, растирая виски. На него вдруг навалилась страшная тупая усталость. Не до загадок ему сейчас было. Не до них. Он вытянул ноги, прислонился к стене и, закрыв глаза, промычал: – Давай, ты сейчас шутить не будешь, товарищ Раздорин…

– Я не шучу. Помните, вы смотрели, как работает аппарат Гольджи. Как перерабатывается энергия физического тела из материального содержимого в энергию электромагнитную…

– Покороче, – скомандовал Егоров

Раздорин кивнул, снова повернулся к столу, взял одну из колбочек, стоящих в длинном черном ящике, и протянул Егорову. На дне колбочки дрожала темная густая жидкость. Егоров смотрел на нее прищурившись, чувствуя, как начинает ныть затылок от непонимания.

– Если короче, то вот. Раньше я не мог быть уверенным, что моя версия Гольджи работает, не было материала для проверки. Я рискнул взять кровь у Антона Сергеевича, и, как видите, пяти грамм хватило, чтобы зарядить лампочку больше чем на час. Вы только представьте, сколько получится энергии, если задействовать весь биоматериал!

Егоров не ответил. Он вертел в руках колбочку и все пытался понять, о чем трещит Раздорин у него над ухом и что он называет биоматериалом. Кровь он хочет куда-то переливать? Ну не всю же кровь, так он убьет… До него стало вдруг доходить. Спину окатило холодом, и по ней заскакали мураши. Он поднял глаза на Раздорина. За широкими толстыми стеклами очков совсем не было видно в полумраке глаз.

– Что же ты сделать хочешь?.. – пробормотал растерянно Егоров, пытаясь уцепиться за взгляд Раздорина.

– Я же говорю, мы теперь можем улететь, понимаете? Прямо сейчас. Ну или как вы корабль почините, это ведь несложно? Не надо ждать аварийного шаттла, вы же сами говорили, он может прийти и через неделю. Мы можем улететь прямо сейчас, задействуя энергию тела…Или можем отправить сигнал такой мощности, что его точно получат в Центре, да с такой мощностью можно несколько часов разговаривать с Землей и ничего не будет… Но мне кажется, звонить…

– Погоди, погоди, а что же с Антоном Сергеевичем будет… – перебил его Егоров, слизывая выступивший над верхней губой пот.

Раздорин оглянулся на забинтованного Пестрича.

– Он уже не жилец, Петр Порфирич, как не крутите. Можете дать ему умереть просто, поддерживающие препараты рано или поздно кончатся, а можете использовать тело…

– То есть убить? – сказал громко Егоров, сверля не моргая прыщавый лоб Раздорина.

– Я бы не назвал это убийством. Скорее рациональное использование готового материала. Вы даже представить не можете, сколько энергии в одном таком, даже попорченном теле. Хоть сегодня будем дома. Вас ведь жена ждет, дети. Они же переживают, что вас так долго нет. Вы подумайте! Даже если завтра за нами приедут, Антон Сергеевич полета не перенесет. А если они про нас только через месяц вспомнят?

Егоров молча встал с пола и закатал рукава кофты. Потом подошел к Раздорину вплотную и взяв двумя пальцами за воротничок халата, чуть притянул к себе так, что Раздорин пошатнулся и встал на цыпочки. Егоров приблизился лицом к розовому торчащему уху и тихо сказал:

– Я лучше здесь месяц просижу. А если нужно, то и два. И ты, сука очкастая, тоже будешь сидеть и ждать. Ты меня понял? Будем все сидеть и ждать, галоши жрать будем и мочу пить, а с места не двинемся, как и положено экспедиторам. И лечить ты будешь как миленький нашего Антона Сергеевича, да так, чтобы он помолодел, как с курорта вернулся, ты меня понял? А если еще раз хоть ты, тварь, заикнешься об убийстве человека при мне, мы тебя в твой аппарат пустим. Ты меня понял?

Раздорин коротко кивнул. Было видно, что он нисколько не испугался. Дышал так же ровно и глубоко. Но Егорову в общем-то было плевать. Он предупредил. И отпустив халат, еще раз взглянув на неподвижного Пестрича, вышел прочь.

* * *

Егоров так и не вспомнил, сколько прошло дней. Может, неделя, может, чуть больше. Помнится, в тот день им пришлось перейти на фильтрацию жидкостей, вода кончилась,

и из сухпайка, несмотря на страшную экономию, остались только просроченные галеты. Егоров тогда уже переселился на капитанский мостик и иногда заходил на кухню за кофе с галетой, Серёжку он почти не видел, тот закрылся у себя и страдал, иногда бренчал на гитаре что-то фальшивое и злое. Жалко его было, конечно, молодого, здорового, его бы на заселенные всякой живностью планеты в большие группы весёлых загорелых практикантов, поющих песни у электронных каминов в расфуфыренных уютных шаттлах. Но он сам захотел под крыло Егорова, чтобы бездельничать на правах крестника, кто же знал, что все так обернется. Надо бы с ним поговорить, успокоить, объяснить, но Егорову было не до этого. Волновало его сейчас только починка «Тушки» и состояние Пестрича. «Тушку» он поставил на ноги за каких-то три дня, можно было и раньше, но он нарочно медлил, ждал, когда Пестрич встанет на ноги. Но Пестрич на ноги не вставал. На нем всегда были свежие повязки, у головы колыхалась полная капельница с чем-то розовато-витаминным. Но сам Пестрич розовее и здоровее от нее не становился. Егоров проверял медблок каждое утро и если встречал там Раздорина, то молча кивал ему и тут же уходил прочь. Говорить им все равно было не о чем. Разрешения он ему все равно не даст. Егоров лишь смотрел украдкой на усатое серое лицо, окутанное мутным светом, и думал, что на самом деле он ничего о Пестриче не знает. Только что тот разведен, бездетен и когда-то выгнан из частной клиники за халатность. Что жаден до противного, ленив и что нет у него ни друзей, ни знакомых, всех он от себя отвернул, кочует от одной экспедиции к другой и нигде не приживается. А может, и есть на то причина. Мало ли что в жизни бывает. Может, предали его все, бросили, свинью подложили, кто знает.

Надо было бы с ним сесть хоть раз по-человечески как-нибудь вечерком поговорить, выпить, узнать получше. Сколько таких вечеров у них было? Сколько Егоров упустил? Трещал зато с Раздориным о науке этой вшивой или Серёжку песенкам обучал. А про Пестрича и думать забывал. Напрочь забывал, нарочно забывал, что сидит на его базе ещё один человек, со своими мыслями, обидами,

что, может, хочет этот человек, чтобы кто-то сел рядом и послушал про его баню да про его доски из сосны, долго, долго слушал, кивал, и тогда бы человек открылся, совершенно по-другому бы открылся, ведь он полез вдруг сам, как упрямый баран, в этот генератор от страха. А теперь... Егорову становилось совсем тошно, и он уходил снова на мостик, к молчаливой панели, караулить сигнал. Остервенело, нервно, до боли в глазах. Приносил на мостик механику «Тушки», ковырялся в ней снова, подкручивал и без того намертво сидевшие гайки, а сам все смотрел на безмолвный пульт управления. Ждал, когда наконец замигает оповещение о прилете аварийки. О том, что где-то очень-очень далеко садилось и вставало солнце, сменялись дни, подсказывала только система контроля суток, включавшая, щелкая, пластины на потолке ровно в шесть утра и выключавшая их с тем же мерным щелчком в девять вечера. Если бы не она, Егоров бы совсем потерялся в этих полусонных муторных днях…

Потом он только узнал, что все случилось на Лелькин день рождения. Как почувствовал. Он проснулся раньше обычного от уже привычной голодной тошноты и странного, неприятного сна, где шел долго по берегу дачной реки, то и дело спотыкался и проваливался в зыбучую гальку, да так и не дошел до дачи, где за забором заливисто хохотала над чем-то Машка, увяз. Он вскочил с пульта, растер липкую затекшую шею, минут пять смотрел на мертвую панель без единого огонька, а потом что-то внутри него ёкнуло, как порвалось, стало вдруг тихо и пусто, как после долгой непроходящей тошноты. Он выплеснул в горло остатки кофе и спустился в медблок. Вошёл молча, без стука и стараясь не зацепить взглядом голубые ступни Пестрича, встал перед Раздориным, сидевшим за столом. Он не знал, что нужно говорить. Что обычно говорят перед казнью? Но Раздорин, слава богу, был не дурак. Он все понял. Он ждал. Или даже знал. Знал, конечно, что Егоров сдастся. Знал, как ему надо домой, сколько человек там под Москвой, в Коврове, сидит и ждёт, когда он нажмёт на дверной звонок. Не дурак он был, этот Раздорин. У него даже хватило ума ничего не говорить. Просто встать

с табуретки и начать заряжать свою железную лупоглазую скотину. Егорову показалось тогда, что скотина ему ухмыляется своими щелями для выхлопа. Что, Петр Порфирич, сдался, да? Испугался застрять?

– Корабль готов? – спросил вдруг глухо Раздорин, раскручивая толстый черный провод. Егоров, сглотнув, кивнул.

– Надо бы все к кораблю, – задумчиво проговорил Раздорин, принимаясь наматывать другие толстые блестящие кишки, выходящие из бока машины.

– И... кровать? – тихо спросил Егоров, искоса поглядев на ноги Пестрича.

– И кровать. Надо Сергея...

– Нет, – резко сказал Егоров, – я сам.

Сам грех возьму. Сам. Нечего мальчишку впутывать, думал он, толкая перед собой тяжёлую каталку с Пестричем. У того от каждого толчка подрагивали щеки над испачканными усами.

Помыть бы их, что же он такой грязный, промелькнуло у Егорова, но он тут спохватился: «Зачем мыть... как покойника».

Он почему-то надеялся или даже верил, что Пестрич всё-таки будет живой и невредимый. Раздорин возьмёт совсем немного, зачем же все, им же только пробиться сквозь бурю, а потом «Тушка» сама справится, она у него боевая, ей много и не надо...

В ангаре они поставили каталку с Пестричем под самым крылом «Тушки» у топливного клапана. Раздорин тут же принялся вкручивать шланги своей дуры в блок питания «Тушки». Егоров все же вызвал Серёжку и усадил его за штурвал. Велел включить панель и смотреть на топливные настройки. А сам спустился обратно к Раздорину, который принялся накручивать какие-то трубки на груди Пестрича.

Сережка, сонно моргая, рассеянно наблюдал за ними.

– Дядь Петь, вы чего там? – проблеял он в микрофон.

Егоров вздрогнул и поднял голову на нос корабля, где за мутным лобовым стеклом белели Сережкины вихры.

– Сиди и выполняй приказ, – рявкнул он, и вихры тут же исчезли.

– Готово, – сказал Раздорин.

Егоров опустил взгляд. Железная дура пыхтела все громче и громче, дрожа всеми своими кишками, которые тянулись к Пестричу, обвивая его всего чуть ли не до шеи, и заканчивались где-то там, глубоко в нутре молчаливой «Тушки». Гул из раздоринской машины все нарастал, а сам он беспокойно прыгал вокруг нее, что-то поправлял, подкручивал, причитал, кусая то губы, то ногти на правой руке. «А если не получится, – подумал Егоров, встревоженно наблюдая за прыжками Раздорина, – что же тогда с нами со всеми будет...»

Все случилось так быстро, что Егоров даже не успел это понять. Машина вдруг пискнула, вслед за ней радостно пискнул Раздорин, замигали новые огоньки, зелёные, яркие, закрутились счетчики, и гул из железного брюха стал совсем другим – злым, уверенным. Надо было бы ещё раз проверить у Пестрича пульс, может, температуру, реакцию зрачков, что ещё там проверяют, да хоть потормошить его как следует, вдруг бы он очнулся или хотя бы поправить, может, руки на груди сложить, а то и перекрестить, чтобы хоть чуть-чуть это было по-человечески. Но Егоров не успел. Он дернулся было, но было поздно. Он совершенно ясно увидел, как по мясистой прозрачной трубке, обвитой вокруг шеи Пестрича, скворча, искрясь и дрожа, ползет что-то яркое и живое.

– ВЭТ пошел. Вакуумная энергия тела, – пояснил Раздорин и снова стал щёлкать рычагами на машине.

Егоров завороженно смотрел на этот странный живой поток, не похожий ни на что, ни на электричество, ни солнечные лучи, и вдруг понял, что никакая это была не вакуумная энергия. Это горела душа Пестрича. И от этой души стало вдруг так вокруг тепло, что Егорова тут же бросило в пот. Снова белый горячий свет резал глаза, но Егоров никак не мог оторвать взгляд. Страшно это было, страшно и красиво, как если бы он стоял под северным сиянием на расстоянии вытянутой руки.

– Чистая энергия, – прошептал Раздорин, – чище Солнца.

На половине своего пути в трубке, ещё не дойдя до черной пасти железной дуры, душа вдруг зарябила и стала темнеть.

– Что это? – испугался Егоров и схватил Раздорина за руку. Рука дрожала и была такой же горячей, как и у него самого.

– Началась переработка, – восхищённо прошептал Раздорин.

Егоров взглянул на него исподлобья, и его вдруг передёрнуло, как от скрежета камня по стеклу. Раздорин улыбался. Не во весь рот, а так слегка, одним уголком, но было в этой ухмылке что-то хищное, нечеловеческое и похожее на чёрную щель между циферблатами железной дуры.

– Запускаю переход в корабль, – торжественно объявил Раздорин и махнул рукой Серёжке в кабине. Тот послушно включил топливный насос. Вторая трубка, черная и толстая, тянувшаяся к «Тушке», задрожала. Железная дура стала чавкать, присасываясь к кораблю. И в этот момент Егоров заметил краем глаза, как дернулась нога Пестрича. Показаться ему не могло: левая ступня теперь лежал боком, и ее пальцы подмяли под себя гладкую простыню.

– Стой! – рявкнул он так, что Серёжка подскочил в кабине и испуганно прилип к стеклу. Егоров дёрнул Раздорина за руку. Но та крепко держала трубку. Егоров буквально повис на этой руке. Ему стало вдруг страшно, страшно до озноба, до зубной боли, страшно, как никогда в жизни, от внезапного осознания, от этой дернувшейся ноги, от этой жуткой чавкающей раздоринской машины, которая просто не должна была существовать в этом мире, и все, что они творят, что творит Раздорин с этой гадкой улыбочкой, с его, Егорова, молчаливого согласия, – все это сплошное гадство, настоящее преступление, после которого они не отмоются никогда...

– Шевелился! Он ногой пошевелился, останови! – шептал он в загривок Раздорину, пытаясь отклеить длинные скользкие пальцы в перчатках от трубки.

– Вам показалось, – холодно ответил Раздорин, сбрасывая плечом егоровские руки.

– Хер там мне показалось, останавливай этот цирк! Я приказываю, – прорычал Егоров,

– Ты здесь не приказываешь! – вдруг рявкнул Раздорин, и Егоров, оторопев, сделал шаг назад. Он поднял глаза

и встретился с испуганным взглядом ничего не понимающего Сережки. Потом опустил взгляд на неподвижные ноги Пестрича. Дернись он ещё раз, Егоров бы больше не колебался. Он бы вцепился этому студентику за шиворот, он бы его самого прибил...

Но Пестрич больше не двигался.

– Поверьте, вам показалось. Мертвое тело может дёргаться, оно сейчас под напряжением, непроизвольное сокращение ещё не окоченевших мышц, – ласково как маленького уговаривал его Раздорин, орудуя трубкой. Егоров устало опустился на корточки. Сил бороться больше не было. Победил Раздорин. Уделал.

Дальше все происходило с ним в каком-то странном текучем полусне. Может, от всех этих переживаний у него скакнуло давление, а может, мозг отказывался воспринимать происходящее. Ноги были ватными и дрожали, в глазах было мутно. Егоров плохо помнил, как Раздорин закончил перекачку, как они погрузили Пестрича в багажный отсек, как он стал готовить «Тушку». Помнил только, что всем командовал Раздорин.

– Проверьте топливный бак, наполнен? – говорил он, и Егоров послушно лез под днище проверять бак.

– А лопасти вы хорошо прикрутили? – и Егоров карабкался подкручивать крылья.

Ясность пришла, только когда он сел за штурвал. Включилась выработанная за годы пилотская чуйка, взгляд прояснился, сердце утихло и мерно забилось глубоко внизу. Руки перестали потеть и крепко сидели на руле.

Но, видно, выглядел он так себе, раз Серёжка, жалобно заглянув ему в глаза, предложил:

– Может, давайте я, дядь Петь?

Но Егоров покачал головой.

– Она ко мне привыкла, у тебя будет брыкаться, – неловко пошутил он и, не увидев в ответ улыбки, откашлялся, сжал губы и запустил двигатель. «Тушка» прежде тихая и ленивая, как старая буренка, вдруг взревела не своим голосом. Егоров вздрогнул от неожиданности. Что-то изменилось. Сколько лет он сидел за этим штурвалом, сколько он водил эту ворчливую дуру, но такого ещё не

было. В этом маленьком корабле, не первой свежести, не способном даже на сверхскорость или хотя бы один маленький квантовый прыжок, закипела ещё не ведомая ни одному конструктору сила. Егоров чувствовал эту силу через штурвал. Он осторожно стал включать систему. Панель реагировала на его действия быстрее обычного раза в три. Прожектора горели намного ярче, тем самым белым светом. Что-то живое ворочалось в желудке «Тушки», питало ее и подгоняло. Она будто уже сама была на низком старте, рвалась вверх, сквозь бурю, сквозь черный ледяной космос, и будь у нее квантовый карбюратор, то она бы смогла добраться и до галактики в Жирафе.

Прежде чем оторваться от земли, Егоров обернулся на Раздорина. Тот сидел на пассажирском у иллюминатора, закрыв глаза. Рядом с ним пустовало второе пассажирское. Егоров смотрел, пока Раздорин не взглянул на него в ответ, и тихо сказал:

– Не дай бог об этом кто-то узнает, ты слышал?

Раздорин не ответил. Он сидел, отвернувшись к иллюминатору, за которым так и неистовствовала буря.

Егоров нажал на штурвал и «Тушка», рявкнув, выбралась из гаража и рванулась вверх. Буря тут же накинулась на лопасти, застучала по стенкам, а Егоров жал все сильнее, до скрипа, до писков обалдевшей от перегрузок панели, и шел, пробивая носом тяжёлые тучи ревущего песка. «Тушка» шла вертикально, то и дело проваливаясь брюхом в воздушные трясины, кренясь и задирая нос все выше, треща своим раскуроченным сердцем, но все же шла, шла, родимая, шла лучше любой сверхскоростной, лучше любой квантовой, шла, озаряя черное ледяное небо белым светом.

– Господи, – то и дело шептал Серёжка, вцепившись в свой штурвал, – невозможно, Господи...

Егорову чудилось, что белый свет проник и в него. И сопротивляться ему не хотелось. Все горело внутри, будто кто-то лил и лил ему в горло водку. Горело лицо, горела шея и мозоли на стиснутых ладонях. «Тушка» слилась с ним в одном ревущем порыве и, перестав бояться падения, он наконец ослабил хватку. Стало ещё легче

и, глубоко вздохнув, Егоров вошёл в стратосферу. Как по маслу вошёл. «Тушка» тоже дышала теперь спокойно, полной грудью, медленно остывая в окружающей темноте. Стряхнув последние песчинки, Егоров откинулся в кресле и прикрыл глаза, привыкая к новому странному чувству внутри. Глубокой сосущей пустоте где-то под ребрами, которую, он уже понял, ничем и никогда не зальешь, не закроешь, не вытравишь. Сила тоже никуда не делась, ее ещё было много, очень много, но она успокоилась и мерно пульсировала, подогревая изнутри, но сосущая пустота была всё-таки сильнее.

– Кому расскажешь – не поверят... Чтобы на ТУ, и с такой скоростью, такой поток... Не поверят... Вот это жесть, Петр Порфирич, да вы герой! – бормотал под ухом Серёжка.

Егоров ему не ответил. Никакой я не герой, подумал он, тварь я. Тварь и больше никто.

* * *

Елисенко всё-таки настоял на награждении. Даже согнал весь первый комсостав к себе в кабинет и пару отставных пригласил, поставил Егорова посередине и торжественно вручил конверт. Егоров, не глядя, сунул его под жидкие аплодисменты в задний карман да так и не доставал до дому. Потом Елисенко долго говорил и шутил о космических пространствах, которые бороздят все кому не лень, и особенно Егоров, который смог вытащить с объекта в аварийном состоянии всю команду, включая одного раненого, который, увы, скончался от перегрузок, на малогабаритном космическом судне с разгоном меньше трёх тысяч в час.

– Не знаю, как вы, друзья, а я бы Егорову доверил свою жизнь! – заключил Елисенко, щерясь во весь свой золотой рот.

Друзья поаплодировали в ответ, тоже готовые доверить свои жизни Егорову, и, не дождавшись поляны, по-тихому растеклись обратно по кабинетам. Елисенко же усадил Егорова пить коньяк.

– Да, брат, напугали вы нас. Ждём сигнала, ждём, а его все нет. Потом мне доложили – пропал с радара! Думали, это из-за погодных условий фонит, решили ещё ждать. Да и авариек свободных не было, сам понимаешь – на Пандоре накрыло лавиной бригаду в 50 человек, всех туда отправили, – болтал Елисенко, разливая коньяк по кофейным чашкам.

– Вышку надо было прочнее ставить, – ответил мрачно Егоров, ворочаясь на стуле. Конверт колол в задницу.

– Ну, ты же знаешь, как у нас. Стандарты меняются каждую неделю. Учимся на ошибках, – миролюбиво сказал Елисенко, усаживаясь за стол. – Ты, если повышение отмечать будешь, Варе скажи, она организует – стол, караоке, все дела.

Егоров задумчиво крутил чашку на блюде. Коньяк золотисто переливался под светом хрустальной люстры. Егорову вдруг вспомнилась разлитая по кружкам мутная теплая водка, и в груди снова неприятно засосало. Он поскорее опрокинул в рот чашку, чтобы прожгло насквозь и затопило, поперхнулся и, вытирая выступившие слезы, прохрипел:

– Я бы хотел о поминках...

Елисенко перестал качаться на кресле.

– Ты это о чём? Уходить, что ли, решил? Рано тебе, ещё миссий пять, не меньше...

– Я про Пестрича.

– Про кого?

Егоров сглотнул вязкую горечь во рту.

– Алексей Петрович Пестрич, старший биолог команды, который погиб...

– А, ты про биолога... Жаль его, да, царствие небесное, или так уже не говорят? Ну ладно. Поминки... Поминки, так он же не из нашего состава. Институт космической биологии, да? Ну так они и организуют.

– Я же просто прошу. Он всё-таки с нами был. Это както не по-человечески...

– Ну, слушай, ребята не поймут. Ты лучше проставься...

Стало совсем тошно, и Егоров, согласившись на караоке с баней, поскорее вышел из кабинета. Он медленно направился по пустому коридору, то и дело заваливаясь вбок

и ширкая плечом по стене. Тошнота не проходила. Проглоченный наспех коньяк возмущённо бултыхался в пустом желудке, и перед глазами то и дело вспыхивали окровавленные рыжие усы.

– Да что же такое, – прошептал Егоров и, увидев кулер в конце коридора, поспешил к нему. Он набрал ледяной воды, уселся прямо на пол, напротив прикрытых дверей конференц-зала, где монотонно кто-то гудел под всплески аплодисментов, и стал пить, гылкая горлом и глубоко дыша. Постепенно стало легче, голова посвежела. Егоров протер ладонью холодный пот с шеи и закрыл глаза. Он пытался думать о чем-то хорошем. О том, что Ташу этим летом собирать в первый класс, а в субботу приедет Овербах со своим спинингом, как они хорошо посидят на реке, а потом, может, в баню... Его снова прошибло.

– Сука, – прорычал сквозь зубы Егоров, скривившись, и стукнул кулаком по кафелю. Тот глухо цокнул в ответ. В конференц-зале вдруг глухо зашуршали аплодисменты. Егоров закрыл глаза. И почему он решил, что за две недели все пройдёт? Что больше не накроет? И что ночью, завернувшись в простыни, он будет в тишине и покое и не станет снова и снова забираться в сердце генератора вслед за широкой спиной Пестрича, а потом смотреть откуда-то сверху, как того подхватывает искра, бежит тонкой змейкой по всему его телу и ноги Пестрича начинают трястись быстро и испуганно в такт сердцу Егорова…

– О, Порфирич, отдыхаешь? – услышал он сквозь пульсирующую темноту. Тут же на него пахнуло знакомым мускусным одеколоном.

Егоров открыл глаза и увидел перед носом длинную щипанную бородку Овербаха.

– Готовлюсь проставляться, – ответил Егоров и медленно, кряхтя, поднялся с пола, и сжал крохотную уже по-старчески пятнистую ладонь. Овербах был при полном параде, аж весь лоснился. Хоть и раздобрел на пенсии, а все-таки влез в свою тройку с отложным воротничком и протертыми локтями.

– И меня зови. Я ж на Байкале был, сувениров привез, ты омуля ешь? – урчал тот, как всегда, беря Егорова под локоток.

– Не знаю, – пожал плечами Егоров, рассеянно прислушиваясь к гулу из конференц-зала.

– Значит, ешь. Его все едят, – закивал Овербах, утягивая Егорова ближе к открытым дверям.

– А ты сам-то чего такой нарядный? – спросил Егоров, кивая на платок. – Женишься?

Овербах засиял вставной челюстью и сжал плечо Егорова.

– Можно и так сказать. Ох, Петь, ты бы знал, ты бы знал... Чтобы я, чтобы мой ученик…Да ты сам посмотри.!

Овербах подтянул его к щели в дверях. Егоров послушно заглянул внутрь. Зал был набит до отказа. Воняло потом. Оглядевшись, Егоров понял, что собрался практически весь Роскосмос. Первые и вторые комсоставы ютились по бокам зала, середину заняли медики, биологи, физики и инженеры. У самого входа, сгрудившись, скрипели синей вонючей от бензина спецовкой техники и уборщики. Все, не отрываясь, смотрели на сцену. Кое-где шептались и шуршали, но привычного шума, какой бывает на унылых планерках, не было. Стояла непривычная возбуждённая тишина, какая бывает перед совершением чуда. Так шуршат дети в цирке, когда в полной темноте трещит тревожно барабан и распиленный фокусник должен выскочить из ящика невредимым.

– Мы сейчас с тобой, Петр Порфирич, в историческом моменте. Дальше все по-другому будет, я те говорю. Клянусь даже. Жизнь по-другому сложится. Мы начинаем жизнью управлять, а не она нами. А мы с тобой свидетели. Свидетели из старого мира, понимаешь?

– Ага, – рассеянно поддакнул Егоров, прислушиваясь к вещавшему оратору.

Голос ему показался знакомым. Егоров привстал на цыпочки, держась за плечико Овербаха, чтобы наконец увидеть, что происходит на сцене. Сердце его как-то странно глухо ёкнуло в глубине. Там на черном квадрате, ослеплённом прожекторами, бегал Раздорин. Бегал, весь такой беленький, скрипучий, перед большим таким же белым столом.

– И сейчас я предлагаю вам самим наблюдать... как теория... в практику, – отрывисто выкрикивал он, то и дело

одергивая полу халатика и щёлкая чем-то на столе. Приглядевшись, Егоров узнал железную дуру. Она пыхтела вовсю, дрожа шлангами и клапанами. Левый шланг на середине превращался в крохотную трубочку, и та тянулась к чему-то серому и живому, мелко дрожащему в маленьком прозрачном кубе. Присмотревшись, Егоров понял, что это крыса. Правый шланг тянулся в другую сторону и кончался черным толстым проводом, который служил хвостом небольшой дощечки. А в дощечке, посередине, была вкручена лампочка. Та самая лампочка.

– А ещё у него спрашиваю, на ком же ты там опыты ставил? На Егорове моем, что ли? А он говорит, на тараканах. А я ему: где же ты там, Ростя, тараканов-то нашёл? С собой, что ли, притащил? А он говорит, сами завелись, от сырости. В сухпайке завелись. Ну у вас там и кормят, Порфирич, что аж тараканы плодятся, – мурлыкал взволнованно Овербах, горячо дыша Егорову в плечо.

Егоров, не отрываясь смотрел на дрожащую крысу. Смотрел и не верил, что все это взаправду. Что Раздорин действительно сейчас прыгает перед ним на сцене, да перед всеми, и все смотрят на него открыв рот, на его страшную дурацкую машину, которая уже сосет вовсю своими кишками, сосет и чавкает...

Крыса вдруг перестала дёргаться, и тут же лампочка, мягко щёлкнув, неуверенно загорелась белым неярким светом. Он то и дело рябил, метался в стекле, а потом вспыхнул совсем ярко, и кто-то хлопнул в ладоши, и тут же за ним бурей загудел аплодисментами весь зал. Овербах что-то завизжал, подпрыгнул и ринулся к сцене, все повскакивали со своих мест, и Егоров больше ничего не видел за этой толпой, да и он не хотел – его снова затошнило.

Александр ФИЛИЧКИН
Самара

СТАЛЬНАЯ БУЛАВКА

Не очень давно я беседовал с моей старой знакомой по имени Грета и услышал такую историю. Когда она была маленькой девочкой, её любимая мама рассказала ей случай из своей давней жизни.

Маме Греты было всего лет шестнадцать-семнадцать. Она вместе с родными жила в русском селе Новоголовка, расположенном на самом юге Азербайджанской республики. Дом был очень маленьким – одна спальня и кухня. Это потом бабушка с дедушкой соорудили ещё пару тесных каморок.

Однажды зимой, перед самыми святками, родители и старшие сёстры ушли на работу в колхоз. Девчушка тогда сильно болела и почти не выходила на улицу, лишь в туалет и обратно. В тот памятный день она оставалась одна, сидела у печки возле стола и резала овощи для приготовления ужина.

На улице было удивительно холодно. Наружная дверь была заперта на засов изнутри. Вдруг створка бесшумно открылась, и в кухню вошёл высокий и стройный, прекрасно одетый мужчина. На нём ладно сидели чёрный пиджак и новые брюки с отутюженной стрелкой. Начищенные ваксой ботинки так ярко блестели, словно он никогда не шагал по пыльной дороге.

Лицо странного гостя постоянно менялось, и его было трудно хорошо рассмотреть. Он тихо приблизился к девушке и стал ласковым голосом разговаривать с ней.

Гость заявил, что может исполнить любые желания. Он сделает девушку совершенно здоровой, очень красивой и чрезвычайно богатой. Она обретёт замечательный дом, прекрасного мужа и много чудесных послушных детей. Во дворе и в хлеву не изведутся домашние птицы с животными. Все кладовые постоянно будут полными, сколько чего из них не бери. В её шифоньере появится много модной одежды и дорогих украшений из золота и драгоценных камней.

– Тебе очень нравится парень, который живёт по соседству. Хочешь, он придёт свататься и возьмёт тебя в жены. Ты получишь такое большое приданое, что вы перебёретесь в Баку и будете жить, как хотите. Я сделаю всё, что ты пожелаешь.

Слушая сладкие речи, девушка погрузилась в мечтания и вдруг поняла невероятную вещь. Наружная дверь заперта на засов, а удивительный гость прошёл сквозь неё. Значит, с ней разговаривает чёрт-искуситель в человеческом облике.

Она вспомнила сказки, которые слышала в детстве от бабушки и осторожно спросила:

– А что ты попросишь взамен?

– Ты просто уколешь палец иголкой и уронишь капельку крови на эту бумагу. – сказал странный пришелец и достал из кармана листок.

– То есть когда я умру, ты заберёшь мою бессмертную душу?

– Тебе же всё объяснила учительница на школьных уроках. Всё это поповские бредни, чтобы обманывать бедных людей, – ответил девушке гость.

– Зачем же тогда мне подписывать твой договор? Раз уж пришёл, делай, что обещал, без всяких бумаг.

– Я не могу просто так исполнить твои пожелания. Мне нужна твоя кровь для отчетности перед начальством. У нас с этим строго. – Он широко ухмыльнулся тут же добавил: – Ты всё же подумай над моим предложением. Долгие годы ты будешь жить как сыр в масле, а что будет потом, никому неизвестно. А как утверждает наука, у людей нет ничего, кроме обычного тела.

Девушка знала, что нечистую силу можно прогнать святою молитвой, но вспомнила фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки». Она немного подумала, внезапно решила поглумиться над чёртом и сняла с ветхой кофты стальную булавку, которая раньше называлась английской.

Ещё в раннем детстве, она получила от бабушки этот подарок и постоянно носила на домашней одежде. Старушка всегда говорила, что эта вещица сможет спасти от разных напастей.

Уколоться девчушка не боялась. Для защиты от случайных раскрытий и травм остриё у иглы было слегка подпружинено и накрывалось маленькой крышечкой.

Девчушка взяла стальную булавку в правую руку, поднесла остриё к пальцу левой ладони и замерла на половине пути.

– Ну, что же ты медлишь? – спросил странный гость.

– Клади договор на кухонный стол и покажи, где нужно оставить мой отпечаток.

Гость вплотную приблизился к девушке, положил перед ней лист плотной бумаги и ткнул острым ногтём в свободное место под убористым текстом. Буквы были совсем незнакомыми, чернила отливали багровым оттенком. Внизу стояла печать, от которой несло запахом серы.

Девушка действовала быстро. Она схватила край пиджака странного гостя, проколола ткань остриём внутрь и обратно и застегнула булавку маленькой крышечкой.

Мужчина запрыгал по кухне и закричал диким голосом, словно от боли. Он схватился рукой за стальную булавку, попытался её оторвать от костюма, но не сумел это сделать. Кожа на пальцах вдруг задымилась, словно он прикоснулся к пылающим углям.

В ту же секунду дорогая одежда и обувь бесследно исчезли. Стальная булавка оказалась пришпилена прямо к коже пришельца. В небольшом помещении скакал и вопил худой жилистый чёрт.

Он выглядел точно таким, каким его часто рисуют художники. Нос длинным крючком. На голове острые

звериные уши и козьи рога. Короткая шерсть чёрного цвета покрывала всё тело. На ногах коровьи копыта. Сзади хвост ослика с коротенькой кисточкой.

– Сними с меня эту дрянь! – орал чёрт на девушку.

– Выполни то, что ты обещал. Тогда и сниму, – усмехнулась она.

– Я не могу что-то сделать, если меня касается сталь.

– Все говорят, что Степан Разин зарыл большой клад в соседних горах. Принеси мне мешок с золотыми монетами, и я отпущу тебя на свободу.

– С этой проклятой штуковиной я не могу даже выйти из кухни, не то что искать чужие сокровища. Освободи меня от булавки, и я принесу для тебя десять мешков драгоценностей.

– Так я и поверила такому обманщику вроде тебя. Стоит мне её снять, как ты удерёшь в свою преисподнюю.

Девушка немного подумала и твёрдо сказала:

– Раз ты не можешь выйти отсюда, тогда будешь здесь мне во всём помогать. Сначала вымой посуду.

Чёрт замолчал, но даже не двинулся с места. Девушка вспомнила, что нечистая сила всё делает наперекор простым людям и заявила непререкаемым тоном:

– Не вздумай вымыть посуду!

Заскрипев зубами от злости, чёрт поплёлся к корыту с водой и принялся за работу. После этого, он услышал десяток команд:

– НЕ чисти картошку и лук! НЕ подметай полы в кухне! НЕ выбирай из пшена мелкие камешки с мусором.

Ну и всё в том же роде.

Перед тем как вернулись родные с работы, девушка вдруг всполошилась:

– Ещё чего доброго, все напугаются этого чёрта. – Она быстро прикинула и распорядилась: – А сейчас сделай так, чтобы тебя отчётливо видели и слышали все люди вокруг, кроме меня.

Как и положено, потустороннему жителю, он всё проделал наоборот. Теперь его никто не мог обнаружить ни при каких обстоятельствах. Одна только девушка давала ему поручения и зорко следила за их выполнением.

Пленник усердно работал, и так продолжалось несколько дней. Да только пришелец из ада постоянно орал и слёзно просил его отпустить. Его жуткие стоны не давали уснуть. Прекратить его вопли не удавалось никакими приказами, ни прямыми, ни даже обратными. При чтении молитв он кричал значительно больше.

Это так надоело девчушке, что она расстегнула и вытащила стальную булавку, которой проткнула чёрную шкуру. Едва она это сделала, как раздался хлопок, и чёрт мгновенно исчез.

Повеяло отвратительной вонью тухлых яиц. Чтобы проветрить тесную кухню, пришлось срочно открыть дверь и окно. Воздух быстро очистился, и на этом всё кончилось.

Когда Грета чуть подросла, она вспомнила эту историю и благоразумно решила, это была просто старая сказка, которую ей рассказала родительница.

Прошло много лет. Мама Греты состарилась и долго болела. Ну а потом она задремала и уже не проснулась. Нужно было её хоронить, но денег в семье еле-еле хватало на полуголодную жизнь. Где взять крупную сумму на погребение усопшей, взрослые дети не знали. Грета проплакала весь вечер и ночь, и только под утро сомкнула глаза. Вдруг дверь её спальни беззвучно открылась. В проёме возникла её совершенно здоровая мама.

Она приблизилась к дочке и тихо сказала:

– Я точно знала, когда мне умирать. За несколько лет до данной черты я начала понемногу откладывать с моей пенсии. Вам я не сказала про эту заначку. Ведь вы бы сразу пошли в магазин и истратили всё до копейки на еду и одежду. Сбережённые деньги я зашила в полу своей старой куртки.

Грета вскочила с кровати и стрелою помчалась в прихожую. Она схватила одежду своей старой родительницы, которая висела на вешалке и нащупала уплотненье в подкладке.

Разрезав потёртую ткань, она натолкнулась на тонкую пачку купюр. Они оказались завернуты в белую тряпочку. Концы носового платка соединялись старинной

английской булавкой. Судя по виду, то был подарок от бабушки.

Найденных денег хватило на погребение мамы и на небольшие поминки для родных и ближайших соседей.

Грета так тосковала, что часто не могла удержаться от слёз. В сороковой день она уснула после полуночи и вдруг увидела маму. Та выглядела молодой и очень красивой.

– Ну что ты всё плачешь? – спросила она у измученной дочери и тут же добавила: – Ты не волнуйся, всё у меня в полном порядке. Нам запрещают общаться с людьми и рассказывать им, как здесь хорошо. Иначе все вы захотите поскорей перебраться сюда. А этого нельзя допустить. Каждый из вас должен прожить весь отпущенный срок.

Облик любящей мамы тут же рассеялся в воздухе. Грета вытерла горячие слёзы и, наконец-то, спокойно уснула.

Лирический портрет

Эльвира КУКЛИНА

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ РАССКАЖЕТ НА УШКО...

Ожидание. Романс

Тихонечко дождик весенний стучит,
Смывая следы от обид.
Лежат на ладони от счастья ключи –
Замóк еще, правда, закрыт.

Но ты понимаешь: ключи подойдут,
Одно лишь движенье руки –
И сразу окажешься в майском саду,
Где нет ни обид, ни тоски.

От щебета-свиста взрывается сад,
Как звёздно-зелёный салют.
На землю сквозь слёзы глядят небеса,
Но слёзы – счастливые льют.

...А дождик негромко в окошко стучит,
Как путник – озябший, сырой.
Ты видишь – лежат в ожиданье ключи?
Не бойся.
Возьми и открой.

Другу

Спрячься, как будто улитка, в ракушку –
Там не достанет назойливый взгляд.
Ангел-хранитель расскажет на ушко
Сказку, что слышал три жизни назад.
Спрячься в ракушку ушедшего детства –
Тающих призраков, лёгких теней...
В жизни не самое ль верное средство –
Так, от всего – просто помнить о ней?
...И доставай из заветной шкатулки
Милые мелочи.
Перебирай...
В памяти, в дальнем её закоулке,
Так и отыщешь потерянный рай:
Утро, прозрачней воды из колодца,
Утро, где всё словно в песне слилось,
В сто колокольчиков звонко смеется –
Так, без причины особой, – до слез...

Застолье

...За обеденным этим столом
Соберется большая семья –
И наполнится дремлющий дом
Незаемным теплом бытия.

Будут рюмки-бокалы звенеть,
Будут вилки-тарелки стучать...
Будет разная вкусная снедь
Ублажать домочадцев и чад.

Будет тихий простой разговор.
По сезону – про холод ли, зной.
Голосов с подголосками хор...
Нет, не ангельский. Самый земной.

Запах тех, на укус, пирожков –
Не казенных, а маминых, тех...

...День твой долог.
Уютен твой кров.
Чист и звóнок
Ребяческий смех.

Ощущенье: как долго живу...
Детство кончилось.
Дом твой снесен.
Ты один за столом наяву.
Остальное – рождественский сон...

О ключах

Говорят, у тебя очень мало стихов о любви.
О волшебных закатах, о нежном мерцанье свечей.
Говорят о тебе, а ты просто – живи да живи.
Не в басовом ключе,
не в скрипичном ключе.
А порой и совсем без ключей.

Ведь ключи притаились в заветном своём уголке
и ни звоном, ни шорохом знать о себе не дают.
Они спят, не желая, чтоб ты их зажала в руке,
повернула в замке –
и ушла налегке –
без вещей – от себя – в неуют.

Да какой там уют? Никакого уюта там нет.
Есть собака и кошки – и призрачный мир мелочей.
И на каждом окошке – лучей несмываемый след.
Потому что на юг
и отмыть недосуг.
Да и дом-то, по сути, ничей...

Ты ещё поищи. Там, на полке – возможно, найдёшь.
Разверни эту тумбочку – может, упали туда?
И зверей накорми, ведь любовь без кормления – ложь.
А закат и свеча –
это всё сгоряча:
погорят и сгорят без следа.

Памяти дома

Мой старый дом семиквартирный,
где помню всех наперечет,
перенесён в эфир надмирный –
там время больше не течёт...

Ни воздыханья, ни печали,
ни по ушедшему тоски.
Любили в нем, детей качали,
на лампе штопали носки.

Ещё – возделывали грядку.
Всего по грядке на семью...
На старом кладбище оградку
подкрашивали. Всяк – свою...

А посиделки на скамейке,
где похохмить любой мастак?
И хлеб – за сущие копейки.
Пятнадцать-двадцать. Где-то так.
Всё просто: сыт-напоен каждый –
и разгильдяй, и скопидом.
И в самый дальний путь однажды
его проводит добрый дом...

Но нет. Теперь уж не проводит.
Он стёрт с земли, мой дом-мирок...
А память бесконечно бродит:
калитка – лестница – порог...

Надежда КОНДАКОВА
Москва

Из книги «ЧАСТНЫЙ СЕКТОР»

* * *

Я никогда не хотела в ряду
быть единицей, колесною спицей,
в стаю сбиваться, лететь вереницей…
Лучше уж петь одинокою птицей
в секторе частном, в заросшем саду.

Так и сбылось. И когда я уйду,
вы не снимайте стихи мои с полок
и не пишите в сети ерунду.

Путь мой был тяжек, и горек, и долог,
и ни один не отыщет геолог
той, переплавленной жизни руду…

Только узнают простые синички
сумрачных дней вереницу мою,
дней золотых обгорелые спички –
только синички у Бога в Раю…

В огне

Роскошные пиры начала девяностых!
…И скорбной электрички невымышленный вой…
Как веселит «Клико»!
Как отрезвляет роздых
на клетчатых тюках поникшей головой.

И слова «либерал» еще не знали люди,
и швейное «челнок» вползало в новояз.
И родина – Юдифь, без головы на блюде,
глазами пустырей смотрела мимо нас.

О Родина, молюсь за все, что совершила,
За то, что я – в тебе, за то, что ты – в огне.
За то, что саван я тебе не сшила,
За то, что ты его не сшила мне.

* * *

Отец ее был генерал большого полета,
знал Сталина, к Хрущову был вхожим в дом.
То ли броню он изобрел,
то ли фюзеляж самолета –
теперь уже вспомню с трудом.

А еще у них была маленькая квартира –
всего 120 метров – на четверых:
четыре комнаты и два сортира,
Евангелие, три золотых потира
и много-много церковных книг.

Когда отец умер, она так рыдала,
на Новодевичьем… А потом
отвезла свою бабушку, мать генерала,
то ли в дом престарелых,
то ли просто в дурдом.

С тех пор я у них никогда не бывала.
Она писала об отце книги, снимала кино,
перед пионерами выступала.
А в комнате, где бабушка проживала,
Музей генерала живет давно.

Но при чем тут музей и благое дело,
и великий отец, если из психушки во тьму
погрузили давно слюдяное тело,
и бабушкина душа за ним улетела
и нашла там сына, и прижалась к нему.

Соседка

Два дома и три квартиры у моего соседа, а у соседки –
избушка на курьих ножках.
И течет меж них не беседа, а так себе, беседка –
о сорокоручках и сороконожках.
И рассуждает сосед: ну разве можно
быть век в литературе и не нажить добра?!
И кивает соседка: конечно, сложно,
но ко мне история была добра.

Не попала в переплет с баблом и водкой,
три шкуры с бедных не содрала,
у власти длинной не бывала кроткой,
и у короткой – поводок не брала,
не кичилась особенною походкой,
не умирала от зависти, от счастья – не умерла.

И молчит сосед, слюну глотая,
Сказать и не зная что – в ответ.
Молодость потрачена золотая,
зрелости уже простыл и след,
вышло книжек штук сто,
и хата совсем не с краю,
и с открытой датой везде билет.

И только избушка её лубяная
жить мешает и не дает ответ
на самые жизненные вопросы,
чем отличны поэзы от повседневной прозы.

Вот не было у нее комсомольской прыти,
партийной жилки, постпартийных сфер,
и разных прочих светских событий,
и разных мелких ответных мер,
а, поди ж ты, – без зависти к трем квартирам
к двум домам напротив и за бугром,
к десяти заполненным всклень сортирам,
ко всем на свете премиям, разрази их гром…

И молчит соседка, и течет беседка
уже без слов, разящих влёт,
и только трепещет грудная клетка,
но придет молитва – и её уймет.

У нее здесь заботы совсем другого замеса,
вагон и маленькая тележка больших забот.
Поднять бы деток, без отца, без собеса,
деньжат собрать да справить новый забор.
А поэт там ты или поэтесса –
это не земной разговор.

И за это Господь нашепчет ей такое,
что умрут все премии, все завистники, все лгуны,
все машины, все дачи, все немыслимые покои
помраченной и окаянной страны.

И станет ясно, кому – какое
место, и с какого рожна.

А сосед – не Пушкин, не догадается, отчего легко ей.
Царь она. И живет – одна.

* * *

Как в замедленном кино,
в нашей медленной стране
все свершится, что должно,
но свершится не вполне.

Едем, едем поперёк,
а дорога вдоль и вдоль.
Все свершится в нужный срок,
но не завтра, уж уволь!

Кто романтик, тот не слеп,
кто реален – слеп и глух.
И не надо ваших скреп,
Есть лишь медленность и дух.

Одуванчик – это дух.
И диванчик – тоже дух…
А еще есть взгляд прощальный
наших медленных старух.

Этот синий-синий взгляд, –
так глядят из-под руки,
что за огоньки горят
нескончаемой реки…

* * *

Есть в еловом лесу осторожные чащи,
где уже ни души, ни живого огня.
Только воздух и цвет. Только сверху звучащий
еле слышимый голос пугает меня.

Осторожная ветка лица не заденет,
Осторожную белку и ты не спугни.
И не надо ни славы, ни счастья, ни денег,
И не важно, что есть в этом мире они.

И уже не страшны ни веселье, ни скука,
ни в холодной ночи, ни средь белого дня.
Одиночество – это всего лишь наука
вечно юного леса, трухлявого пня.

Епископ Геннадий (ГОГОЛЕВ)
Алма-Ата

ИСКУШЕНИЕ ИНОКА

Усть-Каменогорск

Где Иртыш свои волны погонит,
Вырываясь из каменных гор,
Я припомню и скит на Афоне,
И далекий Кронштадтский собор.

Здесь углем расписались заводы
На снегу, как на чистом листе,
И пронзает небесные своды
Вознесенный Андрей на кресте.

Словно серая пленка на лицах
И печать от страданий и бед.
А из ясного сердца струится
Согревающий ласковый свет.

Ржев

Землей засыпаны траншеи,
Напитан кровью прах камней.
Кусты сожженные чернеют
В пустых провалах блиндажей.
Здесь два зарыты поколенья
Под грубый мертвенный гранит,
Здесь тяжкий молот истребленья
В холодном воздухе висит.

И головы не подымая,
Шепча молитву нараспев,
Покажет женщина седая,
Где поворачивать на Ржев.

Последний ветеран

Я только раз видала рукопашный…
Ю. Друнина

Я никогда не видел рукопашной:
Ни наяву, ни в беспокойном сне.
Но за меня, живого, смертью страшной
Мои деды погибли на войне.

И в тридцать лет уже совсем седые
От непосильной горести своей,
В ту пору наши бабушки родные
В тылу растили наших матерей.

Я помню: было тридцать лет Победы,
Людское море топит Ленинград,
Как будто волны ходят по проспектам,
Колышутся, волнуются, шумят.

В последний раз Берггольц стихи читает –
Она навечно смолкнет в ноябре.
Поет гармонь, и дядя разливает
С дружком чекушку на родном дворе.

Прошла эпоха. С ней и мы ослабли,
И обмелел безбрежный океан.
И только две в нем сохранились капли:
Твои глаза, последний ветеран.

И я смотрю с печальным восхищеньем
На их огонь, лишенный суеты,
И вижу в них веков соединенье,
Тысячелетней мудрости черты.

У старой койки в жаркий полдень мая
Ты на своем посту теперь один.
Но всю планету зорко охраняешь,
Орлиным взором глядя из морщин.

Искушение инока

Что ты ищешь во мне, мой доверчивый друг молодой?
Я не в силах тебе ничего от себя передать.
Телом болен давно я и тяжко страдаю душой.
Разве что научу я тебя еще больше страдать?

От меня не услышишь святых утешительных слов,
И молитва моя никогда не достигнет небес.
Я влачусь по дороге со звоном тяжелых оков,
Впереди различая дремучий погибельный лес.

Там погибель моя – не избегну отравленных стрел.
Настигает меня злая буря, сбивает с дороги буран.
Кто-то там впереди: он добраться до леса успел
И теперь умирает в кустах от полученных ран.

Отойди от меня – не касайся одежды моей,
Берегись остудиться иль в пламени жарком сгореть.
Поищи в стороне для себя вожделенных друзей,
Не мешай одному на дороге моей умереть.

Аул

Заброшенный храм в неприметном ауле,
Где, выйдя, рискуешь нарваться на пули,
А коль никуда не выходишь из сада –
Придут и зарежут и скажут: так надо.
Здесь бродят корейцы, и турки, и греки,
Оружие точат седые абреки.
Здесь в каждом дворе свой закон и поверье,
И ночью туманом покрыто ущелье.
В апреле цветут, просыпаются груши,
И сонный порядок внезапно нарушив,

Смывая по склонам плотины, заставы,
Стремятся потоком ручьи с Алатау.
Без купола храм и сторожка без крыши,
В церковном дворе год от года все тише.
Под грузной березой беседка ветшает,
И в ней одинокий игумен страдает.

Памяти протоиерея Андрея Казарина

Милый друг, зачем такой далекий
И глухой избрал себе погост?
В небе ходит месяц светлоокий,
На кресты роняет капли слез.

Комьями канавку завалило.
Спотыкаюсь и бреду по ней.
Самая печальная могила,
На краю – окажется твоей.

Здесь до храма четверть часа ходу.
Тридцать лет – у твоего пути.
По камням, в неясную погоду
Нам с тобою довелось идти.

Ты упал, подкошенный до срока,
Оборвав неловко жизни нить.
Ты прости: из моего далёка
Я тебя не прибыл схоронить.

На краю далекого погоста
Светлый месяц бьется с темнотой.
Молодая слабая березка
Одиноко гнется над тобой.

Тяжелы туманы на Ветлуге.
Надышаться ими – умереть.
Я останусь – о покойном друге
Панихиду грустную пропеть.

Мой скит

Где ты, мой скит под березами?
В тихом мерцанье свечей
Стены, омытые грозами,
Плачут о жизни моей.

Речка в траве безымянная,
Нудная песнь комарья…
Келья моя деревянная,
Ждешь ли с тревогой меня?

Что вечерами промозглыми
Прячешь в своей глубине?
И под осенними звездами
Думы таишь обо мне.

Свалится месяц застуженный
И упадет за дрова.
Выйдет игумен разбуженный
Мне отпереть ворота.

Ночью холодною, звездною
Громко ударит засов,
В сумрачный скит под березами
Медленно вносят покров.

Скрипнут ступени дощатые,
Вспыхнут огни у лампад,
Иноки – тени крылатые –
В мантиях в храм поспешат.

И перед ранней обеднею
Горестным гласом осьмым
Песню затянут последнюю,
Встретившись с гробом моим.

Юрий ГЕРАСИМОВ
Кулебаки, Нижегородская область

ПРОСНЕШЬСЯ В ПОЛНОЧЬ – И ДУША ТРЕПЕЩЕТ...

* * *

На скрипучее выйду крыльцо,
Воду в кадке от льдинок очищу.
Утонченное глянет лицо,
Словно символ духовной пищи.

А двойник его – мал да удал –
Не поежившись от водицы,
Его в пригоршню взял да собрал
С прозаической целью умыться.

И плеснул им – со сна, сгоряча –
Прямо в карие грешные очи…
И растер – от плеча до плеча,
Чтоб оно задавалось не очень.

* * *

Заволжские дремучие леса…
Кругом валежник – высохший и хрусткий.
И светится под пологом роса –
Тяжелая для заячьей капустки.

И где-то здесь Батыева тропа…
Там шли монголы, гати настилая…

И если ухом там к земле припал –
Услышишь стон и речь слышна чужая.

Но в глубь лесов монголы не прошли:
Степной божок не одолел лесного,
И многие батыры здесь легли –
Не зная заговоренного слова.

И где-то здесь раскольничьи скиты.
Точнее то, что от скитов осталось:
Два-три бугра, крапива и цветы,
А тропки нет, тропа подзатерялась.

А тут стоял разбойничий лабаз.
Здесь атаман и сын его всадили
Ножи друг в друга. Вот и весь рассказ.
Красавицу они не поделили…
И здесь, под дубом, спят в одной могиле…

Глухие первозданные места.
А ночью сны, и что ни сон, то вещий…
А ты тут без молитвы и креста;
Проснешься в полночь – и душа трепещет.

А на полянах редких – бочаги,
И в них вода: багровая, густая…
И не моги подумать, не моги,
Что знаешь жизнь и что она простая…

* * *

Памяти геологов-первопроходцев

Он был романтиком при жизни.
И рухнул – на ходу – вперед.
Живой водой скорее брызни,
Но чуда не произойдет.
О, нет же, то не сердце бьется,
Оно молчит в его груди.

То капли падают в колодце
С дубовой кованой бадьи.
А это ветер – не дыханье,
Он прилетел издалека.
Он пахнет степью, не духами,
И пахнет шубой ямщика –
Прапрадеда, что больше жизни
Любил коней ретивых бег.
Опять живой водою брызни,
Не шевельнется человек.
Лежит он, руки разметавши,
Под головой – земная твердь.
Всё испытавший, все познавший,
И вот теперь познавший смерть.
А в небесах, что нету краше,
Плывут, как птицы, облака…
Но на прощанье им не машет
Уже безвольная рука.
И теплое, живое слово
Уж не слетит с бескровных губ…
И за водой не бегай снова:
Все кончено, он мертв, он труп.
И лишь в глазах, что тихо гаснут,
В глазах, как в зеркале души,
Еще мерцает мир прекрасный,
И закрывать их не спеши.

* * *

Есть две графы: одна – военных лет,
Другая – мирных. Все предельно просто.
Петух Додона на игле погоста
Разинул клюв на будущий рассвет.

А на плетне – соседний петушок
Спокойно спит:
Он подчинен природе,
Он тянет сон за скользкие поводья,
Вонзая шпору в золоченый бок…

Рассвет придет. Но только как придет?
В какой графе поднимется и ляжет?.
А перед сном мне мать носки довяжет,
И про землянку тихо запоет.

Не надо, мама, не грусти, не надо.
Но в этой песне молодость ее…
И про войну и про любовь поет,
И голос рвется и сама не рада…

* * *

Все идет своим чередом.
Чередуются поколенья.
На глазах округлились колени
У соседки моей – через дом.

Я без шапки стою у ворот,
Заходящему солнцу внимаю…
Я уже хорошо понимаю,
Что и то и другое – пройдет.

Я спокоен. Услышу гармонь.
Занесу в дом охапку поленьев.
И, как каждый в любом поколенье,
Буду молча смотреть на огонь.

Театр

Маргарита КАМИНСКАЯ

ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ

Пьеса в двух действиях[*]

Действующие лица

Анюта, молодая девушка, выпускница медицинского колледжа города Мурома.

Марина, Катя, Вика, ее подруги по колледжу.

Андрей, поклонник Анюты, курсант Муромского военного училища связи.

Дмитрий, он же Димон, блогер, байкер.

Влад, Коля, блогеры, фанаты Димона.

Отец Михаил, служитель Свято-Троицкого монастыря в городе Муроме.

Действие первое

Город Муром, гостиная в квартире Анюты.
Тихо играет лирическая музыка.

Картина первая

Катя и Марина весело суетятся, накрывая праздничный стол.

Марина. Ну где же Анюта? Ведь обещала успеть к приходу ребят!

Катя. Успеет. Ты же знаешь, 8 июля для нее святая дата – каждый год в этот день она приносит цветы на могилы

[*] Автор идеи заслуженный работник культуры России, Почетный гражданин города Нижний Новгород Анна Ермакова при благословлении митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

своих любимых дедушки и бабушки. Они воспитали ее, заменив родителей, когда те трагически погибли, а ей только-только исполнился годик…

Марина. Да… И вырастили прекрасную, умную и не по годам мудрую. Правда, правда! Если бы не Анюта я не окончила бы колледж и не стала медсестрой. Да и Вика тоже. Помнишь, как нас штормило из стороны в сторону – то мы байкерши, то мы танцовщицы. Я представить боюсь, куда меня занесло бы, если бы не терпеливая и мудрая наша Анюта. Даже не верится: мы наконец-то окончили колледж и получили дипломы! *(Произносит нарочито торжественно.)* Марина Викторовна, медсестра терапевтического отделения городской больницы! *(Смеется.)* Как? Звучит! Вот то-то же! Сбылась моя мечта! Теперь я сама решаю с кем и когда мне гулять и во сколько приходить домой. Но можете не волноваться, теперь все свои желания я буду фильтровать! И кавалера, наконец-то, найду приличного. Викуля обещала, что ее Влад приведет друзей. Может, и мне повезет, как Анютке. Такого красавчика себе отхватила. С самого детства за ней бегает. И дедушка с бабушкой были не против. Он мне всегда нравился, и если б не любимая подруга, то бухнулась бы ему в ножки: «возьми, возьми, меня в жены!» *(Смеется.)* Я думаю, они скоро поженятся. Счастливые! Анютка уже с профессией, а Андрей не успеешь оглянуться – лейтенант! Люблю военных, особенно милиционеров, как говорит моя тетка. *(Смеется.)*

Вбегает Вика с темным макияжем, в косухе и кожаных штанах.

Вика. Анюты еще нет? Влад звонил, они уже едут. И даже знаменитый Димон будет! Парни от него просто фанатеют! Он для них как гуру. Только и слышу: «Димон сказал то, Димон сказал это»! Так что, девчонки, будет вам из кого выбирать кавалеров!

Марина *(разглядывая наряд Вики.)* Ой, Вика! Ты, что с собой сделала?!

Вика. Нормально, это прикид всех рокеров. Теперь я в их команде и всегда буду так выглядеть! И к черту условности! В конце концов, я свободный человек и никто мне не указ! *(Кружит Марину под музыку.)*

Марина. А на работу тоже будешь так ходить?

Вика. Нет, конечно, я дорожу своей профессиональной репутацией! *(Смеется.)*

Входят Анюта и Андрей. У Анюты в руках букет ромашек.

Вика. Ну наконец-то! *(Обнимает подругу.)*

Анюта. Девочки, спасибо вам! Сейчас я присоединюсь.

Уходит на кухню налить воды в вазу и ставит цветы на стол. Андрей, поздоровавшись с девушками, садится в кресло и начинает листать журнал.

Андрей. Анюта, ты помнишь, что я ненадолго? Должен вовремя вернуться в училище. И еще успеть заскочить домой, попрощаться с мамой до следующего увольнения.

Марина. Ребята! Вы такая красивая пара. Просто завидно! Вот бы мне так же – встретить человека раз и навсегда! Чтоб не сомневаться – это судьба! А то я каждый месяц влюбляюсь в кого-нибудь *(смеется)*. А как увижу на кавалере грязные ботинки или мятую рубашку – сразу разлюбляю. Вот такая я непостоянная!

Андрей. Мы с Анютой, как говорится, выросли в одной песочнице. Я в ней не сомневаюсь. Она из хорошей семьи. Мама Анюту любит, говорит, из нее выйдет настоящая офицерская жена.

Катя. Ты так рационально об этом говоришь, как будто выбираешь не спутницу на всю жизнь, а кресло, в котором будет удобно читать газету.

Андрей. В жизни все проще, чем в любовных романах, где на каждой странице кипят шекспировские страсти. Жену надо выбирать с трезвой головой, чтоб потом не сомневаться. Вот Марина рассказывает, что влюбляется каждый месяц. А мне это не подходит, я должен быть уверен в своей спутнице!

В комнату входит группа молодых людей, одетых как Вика – в косухах и кожаных брюках. Это Дмитрий, Влад и Коля.

Дмитрий. Извиняюсь за вторжение, но дверь была открыта.

Вика. Да, специально оставили открытой – ждали вас! *(Она подбегает к Владу и целует его в щеку.)* Молодцы

ребята, вовремя! Девочки, Андрей знакомьтесь – это Дима, Влад, и Коля. Мои друзья…*(Все весело знакомятся.)*

Дмитрий. Зовите меня просто Димон. Это мой блогерский ник. *(Немного свысока смотрит на всех, наблюдая за реакцией ребят.)*

Влад, Коля *(хором).* А мы его подписчики. (*Дмитрий довольно улыбается.)*

Андрей. И много у вас подписчиков?

Влад. У нас пока мало! А вот у Димона миллион! Между прочим, он умнейший человек, может ответить на любой вопрос. Я восхищаюсь им. А особенно мне нравится читать, как он в пух и прах разбивает придуманные попами мифы и сказки. Я еще в школе подписался на его блог и много чего непонятного понял…

Анюта. Девочки, ребята прошу за стол. *(Все шумно рассаживаются.)*

Андрей. Да, да, а то мне скоро возвращаться в училище. Дисциплина – для меня закон! Я из потомственных военных. Мой дед окончил войну капитаном, отец стал кадровым офицером – дослужился до полковника, а я, надеюсь, стану генералом. *(Все девушки, кроме Анюты, хлопают в ладоши.)*

Дмитрий *(с иронией)*. Ну что ж, это речь не мальчика, но мужа! Давайте поднимем бокалы за будущего генерала и защитника Отечества! Теперь за рубежи нашей Родины я спокоен!

Андрей. Почему с иронией?

Дмитрий. А я в армии служил, но там мне не понравилось.

Андрей. Почему?

Дмитрий. А я дисциплину не люблю. *(С вызовом смотрит на Андрея.)*

Марина. Несправедливо! Сегодня наш день! Это мы окончили колледж, и это наш праздник! *(Все соглашаются и поднимают бокалы.)*

Анюта. Я хочу поднять бокалы еще за один праздник – покровителей семьи, любви и верности святых Петра и Февронию! Сегодня и их день!

Дмитрий *(иронически восклицает)*. О-п-па! А я-то думаю, что́ это февроньки, то бишь ромашки на столе! И за-

был, что сегодня прославляют парочку, которая заключила брак не по любви, а при помощи шантажа и расчета, оставалась до конца своих дней бездетной по причине венерической болезни князя, затем разведенной и теперь является в России символом семьи, любви и верности! Согласитесь, это чрезвычайно странно! Ваш покорный слуга хорошо изучил небылицу и поражен, что именно эту парочку наши чиновники избрали в качестве символа любви и верности!

Коля. Димон молодец! Он так доходчиво, а главное, убедительно, со знанием дела, разложил по полочкам эту сказку.

Влад. Действительно, кому нужен этот фейковый праздник любви и верности? В школе нас заставляли изучать святых Петра и Февронию, а на самом деле все это вранье! Запудривают мозги малолеткам! Этих «святых» никогда не было, их придумали попы!

Марина. Ну и что? Дед Мороз тоже не существует. Теперь Новый год не праздновать?

Катя. Мышление подростка-двоечника, почему-то решившего, что он ученый, и что? А ты сам хоть раз читал исторические источники? Или Википедия и сайт блогера для тебя главный авторитет? Всю грязь собрал, а светлого не увидел!

Влад *(обижено)*. Не только Википедию, я много чего читал!

Марина. Читать и понимать – это, по сути, разные вещи!

Вика *(пытаясь защитить Влада)*. Девочки, успокойтесь. Он не хотел вас обидеть.

Катя. Ты права, что с неучами спорить? Верность в том, что Феврония не бросила Петра несмотря ни на что, и они не разведены были, если что!

Марина. Лишь бы просто отрицать все. Если вам не нравится история про Петра и Февронию, то хотя бы согласитесь – задумка интересная: семья, любовь и верность! А не развод, разврат и секс!

Анюта. Девочки, ребята, подождите, не ссорьтесь. Вообще, что Дед Мороз, он же Санта-Клаус, как Петр и Феврония и другие герои сказаний – все из язычества. Так было, есть и будет! С этим никто не спорит. Если про историю Петра и Февронии, то только, как бы мягко выразиться,

недалекие понимают сказание буквально. На самом деле речь идет не о реальной болезни Петра, а о грехах! Князя замучили грехи – они как болезнь. Он решил от них избавиться, но остался один самый главный – гордыня! Ведь он князь, а князь не может, по своему статусу, жениться на простолюдинке. Поэтому Феврония и не «убрала» у него гордыню. Хотела, чтобы он сам победил ее своей любовью к ней. *(Обращается к Дмитрию.)* Извините девочек за нападки! *(Дмитрий с интересом и удивлением смотрит на Анюту.)*

Андрей. Дискуссия у вас очень интересная. Но, увы, мне пора. Анюта проводи меня.

Марина *(Андрею)*. Вот из-за этого спора и не потанцевала с тобой!

Андрей. Мариша, еще успеем. Какие наши годы!

Анюта и Андрей уходят.

Дмитрий *(обращаясь к Вике)*. Он ее парень?

Вика. Бери выше. Он ее жених!

Дмитрий *(задумчиво)*. Это еще бабушка надвое сказала.

Влад берет за талию Вику, они начинают танцевать.

Вика *(смеется)*. Аккуратней, медведь, уронишь!

Возвращается Анюта. Она садится на диван,
рядом присаживается Дмитрий.

Дмитрий. Вы знаете, мне понравилась ваша реплика. Пространная, но достаточно убедительная. С вами я бы с удовольствием вступил в дискуссию. Мне нравятся умные оппоненты.

Анюта. А мне ваше выступление не очень. Вы сеете в открытые, неокрепшие души не просто сомнение, но отторжение.

Дмитрий. Как вы относитесь ко дню Петра и Февронии, я понял. А как вам день святого Валентина?

Анюта. Ну, что касается дня святого Валентина, то он еще более искусственный праздник, придуманный продавцами сувениров и открыток.

Дмитрий. Очень возможно. Однако именно день святого Валентина прижился. Здесь неважно мое отношение, мне как-то все равно. Но к Валентину готовятся, закупают подарки, поздравляют друг друга. Он живой, веселый! Про Петра и Февронию я такого не знаю. Может, и этот приживется. Но больно он официальный, навязанный и скучный. Молодым он не интересен, не приживается…

Анюта. А знаете, почему христианские праздники тяжело приживаются? Потому что они призывают к посту, молитве, посещению храма, короче, работать над собой! Наша молодежь, воспитанная в основном на атеизме, не любит этого. Поэтому те праздники, которые отделены от Бога, принимают легко, не задумываясь над смыслом их происхождения. Это как у Высоцкого в песне: «Уколоться и забыться!» Им легче принять заграничного Валентина, чем изучать свои христианские праздники. Ведь о святом Валентине тоже много противоречивых историй, и не очень красивых.

Дмитрий. Да! Версий о его жизни много. По одной, он тайно венчал девушек с молодыми солдатами – в III веке военным запрещено было жениться. По другой – исцелил слепую дочь тюремщика и влюбился в нее…

Катя *(с иронией)*. То есть история про Валентина прямо реально, реально существующая и очень всем интересная?! Вот священнику делать нечего в тюрьме перед смертью, как влюбиться и соблазнить слепую. Стремная история. Блажен, кто верует!

Марина. Господи! Нагородили из красивых слов забор, а за ним пустота! Да этот ваш святой Валентин нам вообще чужд. По мне это праздник торгашей и спекулянтов.

Анюта. Отец Михаил, который проводит службу в больничной часовне, рассказывал, что священник венчал всех подряд, даже геев, за что его и казнили. И то, что Папа Римский исключил святого Валентина из литургического календаря католической церкви, только подтверждает, что история данного праздника очень мутная!

Коля. Уж получше вашей Февронии, которая сначала отравила мужика, а потом шантажом заставила жениться на себе!

Влад. Да, вот тот же Хэллоуин никем не навязанный, а, тем не менее прижился у нас, его ждут... Мы, молодые, любим праздник, тусовки, карнавалы, а не нравоучения и лекции о морали…

Марина. Хэллоуинн – День всех святых, между прочим, чтобы ты, неуч, знал, а наряжаются в этот день почему-то не в святых, а во всякую нечисть! Вот такая получается извращенная форма подачи Дня святых. Праздновать хочется, а думать нет!

Катя. Еще Марк Твен сказал: «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом!»

Анюта. Ребята, осторожно! Не превращайте дискуссию в балаган. Причем обе стороны неправы! Эти праздники могут существовать, не мешая друг другу! Святой Валентин – покровитель всех влюбленных – это день радостного ожидания чуда, присущего юности. Петр и Феврония – покровители супружеской любви, семьи и брака. То есть это люди, уже осознано сделавшие свой выбор. Ведь они всю жизнь прожили вместе в согласии и верности, умерли в один день и завещали похоронить их рядом. Праздник настоящей любви – это День святых Петра и Февронии, который отмечается 8 июля…

Марина. Молодец! *(Целует Анюту.)* Вот наш русский ответ Чемберлену! И не нужно ничего выдумывать! Все давно придумано до нас.

Дмитрий. Не спорю, цветочно-букетный Валентин в первую очередь – не любовь, а влюбленность, флирт и романтика, а День Петра и Февронии – более зрелый праздник. Но согласитесь – любой романтический праздник оживляет и украшает нашу нудную и бесцветную действительность ярче, чем нравственно-поучительная, но скучная жизнь праведников.

Влад *(с иронией)*. Да и есть ли в жизни такие примеры любви и верности супругов? Вот в вашем окружении есть семьи, с которых можно брать пример?

Вика *(с досадой хлопает его по плечу)*. Конечно есть! И они не какие-то сказочные. Я знаю замечательные семьи, которые были на грани развода, но все преодолели.

И моим родителям тоже пришлось пережить много трудностей: от безбожного состояния они оба пришли в церковь.

Марина. Анюта! А ты что молчишь? Расскажи всем и этому Фоме неверующему *(обращается к Владу)* про своих дедушку и бабушку.

Анюта. Хорошо расскажу. *(Замолкает, ждет, пока спор затихнет.)* Мой дедушка Дмитрий Тимофеевич прошел всю войну, и Финскую, и Отечественную. Был несколько раз ранен. Контуженным попал в плен. Бежал. Сражался в партизанском отряде в Дании. Награжден орденом, который ему вручила сама датская принцесса. Вернувшись с фронта домой, продолжил свою мирную профессию – преподавать в школе историю. Он был красив и статен, за него готова была выйти замуж любая красавица, а он полюбил юную Анечку с первого взгляда, и она его тоже. Ему тридцать два, ей – шестнадцать, но выглядела еще моложе – голодные годы война задержали ее женское развитие. Он ждал еще два года, пока Анюта не расцвела. Несмотря на разницу в возрасте они прожили более шестидесяти лет в любви, согласии и верности. Родили и воспитали детей. Пережили гибель моих родителей. А когда его Анюта ушла в мир иной, то дедушка не захотел жить без нее. Верующий, он не мог наложить на себя руки. Просто молился день и ночь, чтобы Бог соединил их. И через девять месяцев в день святых Петра и Февронии ушел к своей Анюте с улыбкой на лице. Мы похоронили его рядом с ней. В их жизни было все: и испытания горем, и проверка на верность, но самое главное – у них была любовь! Поэтому я и приношу букет ромашек в этот день и в храм святым Петру и Февронии, и на их могилы.

Катя и Марина стоят, трогательно обнявшись.

Катя. Каждый раз, когда слышу этот рассказ – не могу удержаться от слез.

Марина. Я тоже!

Вика *(Владу)*. А ты, бессердечный, еще сомневаешься в любви и верности?

Анюта. Ну, хватит! Давайте пить чай!

В и к а. Нет, ты, хозяюшка, сиди. Гости сейчас сами все накроют! Ребята все за мной на кухню. Мальчики убирают со стола посуду!

Анюта пытается пойти за ребятами, но Дмитрий берет ее руку и целует.

А н ю т а *(от неожиданности вздрогнула)*. Что вы! Не надо! Это совсем не к чему! Это не я верная жена, прожила в любви и верности рядом с мужем всю жизнь. Я этого порыва не заслуживаю!

Д м и т р и й. А я уверен, заслуживаете! И жених у вас хоть куда, красавец! Будущий защитник Родины! Ведь я правильно понял – вы жених и невеста? Скоро поженитесь?

А н ю т а. Кто вам это сказал?

Д м и т р и й. Да у Андрея все было на лице написано. Он смотрел на вас как на свою собственность.

А н ю т а. Неправда! Я никогда не давала ему надежду. Неважно, что он думает и представляет о нас, – я всегда говорю, что выйду замуж только по большой любви, а к нему отношусь как к другу.

Д м и т р и й. Ваши слова вселяют в меня надежду. А как вы поймете, что это тот человек, которого вы ждали всю жизнь.

А н ю т а. Знаете, кого сложно забыть? Того к кому ты прикасался не руками, а душой! *(Уходит на кухню.)*

Входит Коля.

К о л я. Ну ты, Димон, даешь! Руку целовал! Я в шоке… Сам видел! Ты че, в натуре влюбился?

Д м и т р и й. Спокойно, пацан! Показываю мастер класс по обольщению. Я эту святошу поставлю на место! Развенчаю вечную любовь! Вздумала меня, Димона, убедить в святости Февроньки. Теперь я даже не Димон – я Демон! Так меня разозлили ее слезливо-сопливые размышления о любви и верности. Ты, Колян, только Владу не проговорись – он с Викой тусуется, а они подруги.

К о л я. Заметано! Самому интересно, как у тебя это получится, Хотя мне показалось, она действительно классная и умная девчонка.

Дмитрий. Внимание! Операция начинается! *(Он заходит в ванную и вскоре возвращается.)* Помыл руки и… «случайно» оставил перстень с черепом.

Шумной ватагой входят ребята с самоваром, чашками и сладостями.

Анюта. А теперь давайте пить чай!

Дмитрий. Приятного чаепития, но нам уже пора. У нас сегодня еще заезд на мотоциклах. *(Обращаясь к Вике.)* Ты с нами?

Вика *(растеряно смотря на девушек)*. Да, конечно… Девочки?!

Катя. Да иди уж! Не обидимся *(целует Вику и слегка подталкивает)*.

Коля и Влад немного обескуражены таким поворотом, но не противоречат. Дмитрий довольно холодно обводит девушек взглядом и выходит.

Вика. Девчонки! Всех целую, пока!

Анюта *(приглашает девушек за стол)*. Давайте уже пить чай!

Марина. Не пойму я этого Димона: то бисером рассыпается, то зажимается.

Катя. А что тут понимать. Напялил на себя маску праведника, а сам не знает, как с ней обращаться.

Анюта. Девочки, не делайте поспешных выводов и не торопитесь приклеивать ярлыки. Мы же о нем ничего не знаем. Что или какие обстоятельства заставили его отвергать все чистое и светлое. И во всем искать, а главное, находить плохое. Я видела его глаза, когда рассказывала про деда и бабушку – мне показалось, в них была боль!

Марина. Смотри, Катюнь, какая защитница! Не иначе он тебе приглянулся. А как же Андрюша? Его в отставку?

Анюта. Во-первых, не приглянулся, а во-вторых – при чем тут Андрей. Это вы мне его прочите в женихи. А я не хочу просто выйти замуж – я хочу выйти за любимого! Я Андрею все время это говорю, а он меня не слышит. Только твердит: «Ничего, до конца учебы еще есть время – передумаешь. Раньше выпуска жениться все равно нет

смысла!» А меня бесит такое отношение к браку. Ведь я хочу как у бабушки и деда – раз и на всю жизнь!

К а т я. Маришка, что ты пристала к Анюте. Ведь прекрасно знаешь – она не любит Андрея. Он такой зануда…

М а р и н а. А я бы за ним пошла на край света босиком. Он мне и такой нравится. Анютка, ты не против, не обидишься?!

А н ю т а. Нет, подруга. Ладно, девчонки! Пора закругляться. Завтра первое дежурство у каждой. Надо еще подготовиться. Посуду вымою сама. *(Девушки, прощаясь, уходят.)*

Анюта убирает посуду со стола. Раздается звонок в дверь.

А н ю т а *(открывая)*. Вы?! Что-нибудь случилось? С Викой?!

Д м и т р и й. Ничего не случилось. Вика прекрасно проводит время с Владом. Просто я мыл руки у вас в ванной и, кажется, оставил перстень. Только сейчас заметил.

А н ю т а *(выносит из ванной и протягивает Дмитрию перстень)*. Вот он.

Д м и т р и й *(подходит к столу и трогает самовар)*. А самовар еще горячий! Очень, знаете ли, хочется чаю. Можно?!

А н ю т а *(нерешительно)*. Конечно!

Садятся за стол, Анюта разливает чай.

Д м и т р и й. Знаете, меня очень тронули ваши слова: «Сложно забыть того, к кому прикоснулся не руками, а сердцем!»

А н ю т а. Нет… я сказала – «душой!»

Д м и т р и й. Да, да – «душой!» Это так меня впечатлило – не могу до сих пор забыть! Вначале, когда шла эта дурацкая дискуссия о Петре и Февронии, я злился. Простите, даже на вас. Считал все сказанное бредом: «любовь, верность, преданность» и прочая белиберда. Я-то знаю цену этим словам! Когда мать говорит своему сыну: «Сыночек, я тебя очень люблю, но ты должен пожить в детском доме несколько дней, потом я тебя заберу». И ты не спишь, не ешь и только смотришь в окно и ждешь, ждешь, ждешь… *(Стукнул по столу кулаком.)* Простите… А потом узнаешь,

что она уже давно вышла замуж, родила еще сына и дочку, а новому папе ты не нужен. И ей не нужен! Вот это можно назвать «верностью и любовью»?

А н ю т а *(порывисто встает и инстинктивно обнимает его сзади за плечи).* Господи, я чувствую, как вам было больно и одиноко!

Д м и т р и й *(прижав ее руку к плечу)*. Вы опять прикоснулись ко мне душой!

А н ю т а *(отдергивая руку)*. Простите…

Д м и т р и й. Нет, нет! Мне тепло и покойно от вашего прикосновения. Мы только-только познакомились, а у меня такое ощущение, что знаю вас всю жизнь! Но мне уже пора. Я и так злоупотребил вашим доверием. Можно я вам позвоню? Мне нравится слушать вас, видеть вас, знать, что вы где-то рядом…

А н ю т а *(немного растеряно)*. Конечно… пожалуйста…

Картина вторая

Нарядно украшенная комната Анюты. В центре возвышается елка. Катя и Мариша хлопочут за столом. Играет музыка.

К а т я. Прошло всего полгода, а какие перемены. Анюту не узнать. Не ходит – летает! Влюбилась в Димона и ничего не замечает. А главное, никого не слушает!

М а р и н а. Променяла такого красавца Андрея на хулигана. Гоняет на мотоцикле по городу, как мальчишка. А ведь взрослый человек.

Входит Анюта с покупками.

А н ю т а. Опять мне косточки промываете? Не надоело? Девочки, милые *(обнимает Катюшу)*, я вас тоже очень, очень люблю, но, пожалуйста, не учите меня жить. И почему вы так невзлюбили Дмитрия? Чем больше я его узнаю, тем меньше он похож на тот образ, который создал в своем блоге. Вы знаете, какой он начитанный? С ним интересно говорить на любую тему. Теперь я понимаю, почему у него так много подписчиков. *(Мечтательно.)* И да! Я счастлива! Он мне нравится, очень нравится…

М а р и н а. Ну наконец-то высказалась! Кто же против! Люби, но осторожность никому не помешает. Мы твои близкие подруги. Кому, как не нам, о тебе позаботиться. *(Вздохнула.)* Андрюху жалко!

К а т я. Себя пожалей. Бегаешь за ним хвостиком, в кино приглашаешь… Он в кино с тобой ходит, мороженное твое лопает, а потом звонит Анюте и ноет. Вчера его мать приходила. Истерику устроила – кто посмел ее мальчика обидеть! Хорошо я была, а то страшно представить, чем бы дело закончилось!

Входит Андрей.

А н д р е й. Здравствуйте! *(Девушки приветствуют его.)* Как всегда дверь не заперта. С наступающим Новым годом! *(Осторожно Анюте.)* Анюта, можно с тобой поговорить?!

Девушки деликатно уходят в кухню.

А н ю т а. Если ты про визит твоей мамы, то не будем об этом говорить. Я не в обиде. Она мать и имеет право защищать своего сына.

А н д р е й. Ты не права! Я не ребенок, почти офицер. Сам скоро буду командовать солдатами, а она со мной как с малым ребенком. Я был в шоке, когда узнал. И пришел просить прощение за нее. Ты прощаешь?

А н ю т а. Нет, не прощаю, потому что даже не была обижена. Это ты меня прости, что не смогла полюбить тебя. Поверь мне, ты достоин большой любви. Она придет к тебе, обязательно. Просто с детства зациклился на мне и никого вокруг не замечал. А я знаю, ты многим девушкам нравишься, и даже очень! Вон Маришка как тебя обожает!

А н д р е й. Я ее тоже обожаю… как друга.

А н ю т а. Дружба может закончиться любовью…

А н д р е й *(в сердцах)*. А любовь дружбой – никогда! Пока…

А н ю т а. Ты не останешься с нами встречать Новый год? Скоро ребята придут.

А н д р е й. Вот поэтому и не останусь. Не хочу видеть тебя с Дмитрием. Видел вас вместе на улице. Прямо

светишься рядом с ним! Желаю тебе счастья! А у меня внутри пустота… Поставил точку в наших отношениях, а что дальше?..

Анюта. Никогда не поздно начать все сначала. Ведь там, где мы ставим точку, жизнь начинается с большой буквы!

Андрей *(громко)*. Девушки я ухожу.

Из кухни выбегают Марина и Катя.

Марина. Как уходишь? А Новый год?

Андрей. Я со своими, обещал им.

Марина. Можно я тебя провожу?

Андрей. До следующего подъезда?!

Марина. А мне все равно, хоть немного с тобой пройдусь! *(Берет его под руку.)*

Катя и Анюта.

Катя. Жалко Маришку. Видно, она всерьез запала на Андрея, а он не замечает…

Анюта. А мне не жалко. Она любит, значит счастлива. Ведь чтобы любить человека, не нужно разрешения, и расстояние тоже не имеет значения. Нужна только душа, чтобы дарить тепло, заботу и нежность. Только глаза, чтобы смотреть с верой в будущее. И сердце, чтобы обнимать на любом расстоянии… Вспомни Петра и Февронию: последние годы они жили врозь, но каждый чувствовал другого на расстоянии. Это и есть любовь!

Входят Марина, Вика и Влад, они о чем-то возбужденно говорят. Увидев Анюту замолкают.

Марина. Захожу в подъезд, а они спорят до хрипоты. Только и разобрала: Вика – «Расскажи Анюте!», Влад – «Я обещал Коляну молчать!» *(Сурово Владу.)* Ну рассказывай теперь! Я от тебя не отстану!

Влад. Что рассказывать, что рассказывать?! Я сам ничего не знаю. Я просто сказал Коляну, что Димон очень изменился, как только с Анюткой стал встречаться. А тот и проговорился: мол, ничего он не изменился, просто хотел отомстить Анюте за ее отношение к вере. Я, говорит,

поставлю эту святошу на место! На ее же примере докажу, что любви и верности нет! Все это сказки для наивных дурочек! Специально свой перстень оставил, чтобы вернуться, когда все уйдут. А потом навешал лапшу о своем одиночестве. А вы, девчонки, на это здорово ведетесь…

Входят Коля и Дмитрий. Они слышат последние слова Влада. Анюта закрывает лицо руками и опускается на диван.

Дмитрий. Что происходит?.. *(Поняв ситуацию, бросается к Анюте.)* Анюта! Послушай…

Анюта *(вскочив)*. Ничего не говори. Ничего… это лишнее…

Дмитрий. Не говори так. Дай мне хотя бы…

Анюта. Ребята, извините меня… но Новый год отменяется! *(Она бессильно опускается на диван.)*

Все выходят, остается только Дмитрий.

Дмитрий *(опускается на колени перед Анютой и берет ее за руки)*. Выслушай меня, наконец! Да, я это сказал, но когда мы только-только познакомились. Я не знал, какая ты! Меня раздражало, что во всех поступках ты ищешь доброе, светлое. Эта сказка о святых Петре и Февронии, фанатичная вера в любовь и верность. А у человека нет возможности всегда всех любить и всем делать добро!

Анюта. Но у него есть возможность не причинять никому зла! Спасибо за те моменты, которые сейчас рвут мне душу! Теперь я знаю, все твои слова – ложь! Я полюбила тебя, ты стал мне очень дорог, но между нами огромная пропасть лжи, которую нам никогда не преодолеть…

Дмитрий. Да, судьба подарила мне встречу с тобой, но моя глупая выходка сыграла злую шутку – отняла друг у друга. Страшно осознавать, что из-за нее у меня нет будущего с человеком, которого люблю… Пожалуйста, дай мне шанс! Давай начнем все сначала. Верь мне! Все, что я говорил тебе потом, – правда!

Анюта. Теперь неважно, кто и что говорил. Слова потеряли всякий смысл… Уходи, мне больно видеть тебя. Пока я не готова к диалогу… Прощай…

Дмитрий. Я не прощаюсь, я беру паузу. Нам обоим надо выдохнуть и успокоиться… С наступающим, любимая… *(Целует ей руки и выходит.)*

Сразу вбегают подруги. Марина и Катя обнимают Анюту за плечи. Вика садится в ноги и кладет голову ей на колени. Играет печальная музыка.

Действие второе

Картина третья

Март 2022 года. Сквер перед городской больницей. Стоят скамейки для больных и посетителей. На одной из них сидит Андрей. Появляются Анюта и Марина.

Марина. Андрюша, привет! *(Она пытается обнять Андрея.)*

Андрей *(легонько отстраняет ее от себя)*. Погоди! Мне надо поговорить с Анютой. *(Марина покорно отходит в сторону, а Анюта присаживается рядом с Андреем.)* Ты что надумала? Записалась на специальную военную операцию?!

Анюта. Да, сегодня вместе с Катей и группой волонтеров едем в Донецк, поближе к передовой. Там развернут госпиталь, который курирует наша больница.

Андрей. Но это же опасно для девушек.

Анюта. Это опасно для всех! А мы медики, наш долг быть рядом с ранеными.

Андрей. А не из-за Дмитрия ты бежишь из города?

Анюта. От него не убежишь…

Андрей. Что, до сих пор не простила?

Анюта. Пока не могу даже видеть. Понимаю разумом, что надо простить. Вспоминаю поступок святой Февронии, как она не единожды прощала Петра, – сама всем ее в пример ставлю, но еще очень больно. Слабые люди мстят за обиду, сильные – прощают, умные – игнорируют, а у меня нет сил ни на первое, ни на второе, ни третье. Пустота…

Андрей. Я тебя хорошо понимаю. Со мной тоже так было. Удивительно, но с Маринкой я стал оттаивать. Знаешь,

я тоже написал заявление в ряды СВО, но мне отказали. Сказали, что армии нужны кадровые офицеры: «Сначала отучись, потом направим тебя куда надо!»

А н ю т а. Ну, мне пора. Надо собираться. Если суждено, то еще встретимся… если нет, прости за все… *(Они обнялись.)* Прощай!

Анюта уходит в больницу. К Андрею подходит Марина.

М а р и н а. Попрощались?

А н д р е й. Да, надеюсь ненадолго.

М а р и н а *(прижимаясь к нему)*. Прости, что я не идеальная, как Анюта. Для кого-то хорошая, для кого-то плохая. Но я никогда не строила из себя правильную. Всегда была собой и буду, без фальши и лжи. Ты только полюби меня такой, какая я есть… Знаешь, так хочется, чтобы ты просто обнял меня крепко-крепко и сказал, что я нужна тебе очень, очень и все у нас получится.

А н д р е й *(обнимает ее)*. Спасибо тебе! С тобой я опять хочу жить и любить! И все у нас получится, наперекор всему. Верь мне!

М а р и н а. Верю… Ты меня сейчас не любишь…Знаю – иногда бешу тебя и раздражаю. Это потому что я жуткая собственница. Мое – значит, мое. Но поверь мне – никто и никогда не сможет любить тебя больше, чем я!

Прощаются, Марина возвращается в больницу.
Появляются отец Михаил и Анюта. Они садятся на скамью.

О т е ц М и х а и л. Ты правильно сделала, сестра, что поделились своей печалью перед отъездом.

А н ю т а. Благословите батюшка, уезжаю. Но сердце остается здесь.

О т е ц М и х а и л. Вижу, как сердце твое плачет. Ты замкнулась – не хочешь показать слабость. Есть такие слезы, которые надо выплакать обязательно… Выплакать, чтобы все внутри перегорело…Забыть гордыню, дать шанс оступившемуся. Никто не застрахован от ошибок. Каждый может сказать сгоряча глупость, сделать не подумав, обидеть не поняв. И пусть далеко не все можно простить, но человеку

порой просто необходимо дать шанс, ведь иногда именно маленький шанс способен изменить целую жизнь. Милосердие и прощение присуще сильным людям.

Анюта. Умом понимаю, а сердце окаменело, молчит. Самое обидное, что Дмитрий никогда не верил ни в любовь, ни в верность. Мне казалось, я своей верой его переубедила, а он притворялся! Это был его план меня наказать за мою веру. Ужасно, когда человек врет тебе прямо в глаза, прекрасно понимая, что ты узнаешь правду и будешь мучиться, а ему наплевать…

Отец Михаил. Ни один человек не приходит в жизнь другого случайно. Если он появился в твоей жизни, значит, зачем-то это было нужно.

Проститься с Анютой пришли Коля, Вика, Влад.

Коля, Вика, Влад. Здравствуйте, отец Михаил, благословите!

Отец Михаил *(делает крестное знамение)*. Приятно, что знаете, как обращаться к священнику. Похвально!

Вика. Это нас Анюта научила!

Отец Михаил. Молодец. Она достойная прихожанка *(обращаясь к Анюте)*, а сама в беду попала и помощь принять не хочет. Совсем запуталась.

Влад. А все из-за спора о празднике Дня святых Петра и Февронии. Отец Михаил, рассудите, так уж важен этот праздник в жизни человека?

Отец Михаил. Конечно, каждый решает сам, отмечать его или нет. Хотя, имея религиозный оттенок, он по сути своей вполне светский. В конце концов, всему свое время – и влюбляться, и жениться, и жить в счастливом браке четверть века и даже дольше. Правда, я на месте создателей Дня семьи, любви и верности сделал бы упор еще и на терпении. Если прочитать «Повесть о Петре и Февронии» до конца, видно, что эти двое смогли пройти путь от юношеских обид и желания властвовать друг над другом до счастливой семейной жизни и спокойной светлой старости. Пожалуй, у них есть чему поучиться.

Коля. Убедительно сказали, даже стыдно стало за свои мысли…

Отец Михаил. Судя по обстановке в мире, можно сказать, что семья становится редкостью, тем более хорошая семья. Нам навязывается свободная любовь, однополые браки, которые являются содомским грехом. А когда грех узаконен, ничего страшнее для государства не бывает. В библейские времена два города, которые славились этими извращениями, были сожжены небесным огнем.

Влад. Я читал о них. Это Содом и Гоморра!

Отец Михаил. Сейчас целый континент принимает на себя тяжелую участь провозглашать ложь однополых отношений. Сегодня как никогда надо объяснять это молодежи. Убежден – она в итоге прозреет. В Священном Писании сказано: «Молитва родителей укрепляет дома детей».

Вика. Батюшка, а что для семьи на первом месте – любовь или верность?

Отец Михаил. Я думаю, это неразделимые понятия. Человек верен из-за любви. Вера подразумевает верность и доверие по отношению к Богу и друг другу. О любви очень точно сказал Иоанн Богослов: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». А настоящие семьи – те, которые через все неурядицы приходят к пониманию необходимости жалеть, беречь друг друга, молиться друг за друга и за детей, чтобы молитва была основой жизни детей.

Вика и Марина уводят Анюту в сторону.

Вика. Слышала, что отец Михаил говорит? «Милосердие и прощение»!

Марина. А ты уперлась рогом в землю, и все. Дмитрий мучается. Ты мучаешься. Мы, твои подруги, переживаем. Ну как ты с таким настроением поедешь? Соображаешь?!

Анюта. Как же я устала всех понимать, всем уступать, всех слушать… А я? Кто меня поймет? Кто мне уступит? Кто меня выслушает? Хуже всего изображать спокойствие, когда в душе сходишь с ума, когда сердце рвется от боли… Когда спрашивают: как ты? Ты, глотая слезы, говоришь: хорошо. Вот вы его защищаете, а он уже неделю не появляется у больницы. Не ищет встречи… Даже попрощаться не пришел.

В и к а. Влад сказал – его в городе нет! Он в командировке и не знает, что вы уезжаете.

Анюта, наконец, заплакала, девочки растерянно обнимают ее и тоже плачут.
На крыльцо выходит Катя. Она уже в военной форме.

К а т я. Ну вот! Так я и думала, без слез не обойдемся. Ребята, идите за мной. Надо помочь в погрузке коробок с медикаментами. *(Все уходят.)*

Прошла неделя. По скверу бродит Дмитрий.
Из больницы выходит отец Михаил и присаживается на скамью.

О т е ц М и х а и л. Вижу, ты давно бродишь. А подойти не решаешься.

Д м и т р и й. Правда. Я много раз видел, как вы беседовали с Анютой, она здесь работает медсестрой. Вы знаете ее?

О т е ц М и х а и л. Знаю, чудесная девушка.

Д м и т р и й. Очень чудесная! Скажу больше – я люблю ее, очень люблю. Даже жить без нее не могу. Верите мне?

Отец Михал. Верю, почему ж не поверить. Вот только говоришь ты об этом очень горестно, как будто не рад этому.

Д и м о н. Да. Я сделал подлость. Все началось с ерунды. Анюта победила меня в споре, а я не простил и решил отомстить. Подло так, исподтишка. Но тогда я еще не понял, что полюбил ее с первого взгляда. Во мне гордыня взяла верх! Самое страшное, она поверила мне, когда я врал. А теперь не верит мне даже тогда, когда я говорю правду!

О т е ц М и х а и л. Если двум людям суждено быть вместе – неважно, сколько преград и разлук будет на их пути, – судьба их вновь соединит… Если встречаешь такого человека, то тебе очень-очень повезло. Это надо ценить! Знаешь, сын мой, любовь – это совсем не романтика. Любовь – это умение чего-то не заметить. Где-то промолчать… Где-то своему эго наступить на горло. Где-то своей гордыне сказать «цыть». Просто «цыть»!

Д м и т р и й. Знаете, батюшка, какой самый страшный суд? Вот здесь, в душе… Когда ночью не спишь, сам себя

судишь, сам себя приговариваешь. Сам приводишь приговор в исполнение…

Отец Михаил. Если Бог хочет сделать тебя счастливым, он ведет тебя самой трудной дорогой. Потому что не бывает легких путей к счастью…

Дмитрий. Я видел много раз, как вы с ней говорили здесь, на скамье. Она к вам больше не приходит?

Отец Михаил. Нет, больше нет! Она уехала на СВО. Ищи ее там.

Дмитрий. И найду, обязательно найду! Благословите, батюшка!

Отец Михаил. Храни вас Бог! *(Дмитрий убегает.)*

Картина четвертая

8 августа. На площади перед Свято-Троицким женским монастырем народ. Внутри проходит венчальная служба. В толпе выделяются Коля и Дмитрий, который опирается на трость. На груди у него орден Мужества, в руке букетик ромашек.

Коля. Кто бы поверил, что Андрей и Марина будут вместе. И венчаться! А ведь как любил Анюту…

Дмитрий. Значит, не любил – влюбленность принимал за любовь. Анюта была права, убеждая его в этом. Мы немного опоздали. Ну ничего, встретим и поздравим их здесь.

Коля. Дима, давай присядем. Служба еще долго будет идти. А у тебя нога болит.

Дмитрий. Пожалуй. *(Садятся с краю на лавку.)* Вернулся и не могу насладиться городом. Несмотря на больную ногу, брожу по улицам, узнаю его заново. Хожу по нашим с Анютой местам…

Коля. Так и не узнал, куда она уехала?

Дмитрий. Нет, пока нет! Делал запрос через военкомат. Сказали, что после приезда снялась с воинского учета и уехала. Делаю дальше запросы. Ведь человек не иголка в стогу сена! Не отступлюсь, все равно найду. В госпитале, раненый, в бреду чувствовал ее рядом, слышал ее голос. Когда пришел в себя, сосед по палате рассказал, что за мной ухаживала сестра по имени Анюта. Все ночи дежурила у кровати, пока я был между жизнью и смертью, а как

опасность миновала – исчезла. Это точно она, моя Анюта! Теперь у меня появилась надежда – она простила!

К ним подходит отец Михаил. Они встают и приветствуют его.

Отец Михаил. И вы сподобились прийти на венчание!

Дмитрий. Отец Михаил, от Анюты не было вестей?

Отец Михаил. Нет, но ты не сдавайся. Невозможно победить того, кто не сдается! В одной притче мудреца спросили: «Если человек любит, он вернется?» Мудрец ответил: «Если человек любит, он не уйдет!» Анюта любит тебя, я знаю. Она просто ищет повод вернуться… Жди!

Дмитрий. Чего только я не передумал. Лежу ночью в кровати, вроде бы спать хочу, а заснуть не могу. Мысли изнутри разрывают. Одна другой острее. Одна другой больнее. Где она, что с ней…

Раздается праздничный колокольный перезвон, возвещающий о конце службы. Слышен хор. Народ заволновался. Двери храма открываются, и выходят молодые. За ними идут гости и прихожане. Все улыбаются и осыпают молодых цветами. Вдруг Дмитрий замечает родное лицо!

Дмитрий. Анюта, Анюточка!

Анюта *(заметив его, бросается к нему в объятья)*. Дима, родной, жив!

Дмитрий *(целуя ее)*. Ну что ты плачешь, я живой, живой!

Их окружают друзья. Все поздравляют и Анюту с Дмитрием и Андрея с Мариной. Дмитрий вырывает из толпы Анюту.

Дмитрий. Как же долго я тебя искал…

Анюта. А я боролась со своей гордыней, она никак не хотела сдаваться. Пыталась уехать далеко-далеко, забыть тебя, но не смогла, а ты скучал?

Дмитрий *(протягивает ей букетик ромашек и целует ее)*. Безумно!!! Я больше никогда никуда не отпущу тебя…

Звучат торжественный звон колоколов.

Занавес

Стихи по кругу

БОЛДИНСКИЙ ВЕНОК СОНЕТОВ

Этот венок был начат в год 190-летия первой Болдинской осени* и закончен в год 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Магистрал, написанный в Большом Болдине на Слёте молодых литераторов, объединил вокруг себя авторов Dark Romantic Club и других поэтов.

1. *Елена РИД*

Из незнакомцев делая своих,
Открыв стези страданию и славе,
Поэзии удачливый жених
Томится на духовной переправе.

Изъят язык и кровоточит грудь,
А новым жалом смею ли молиться:
О шестикрылый! Выведи на путь,
Где легче паче снега убелиться?

Я горький плод вкусил в Твоём саду...
Я памятник воздвиг! Пускай паду,
Кинжалом или пулей уязвлённый.

Пустыни, где почил поэтов сонм,
Некрополь погружает в вечный сон,
Склоняя к ним белёные колонны.

---

* Первый период Болдинской осени в жизни Александра Сергеевича Пушкина произошел в 1830 году.

2. *Елизавета ДОЛКОВА*

Склоняя к ним белёные колонны,
Берёзы на заброшенных полях
Блестят в потёмках диким Парфеноном,
Не заражённым тлением. Петля

Песчаной истончившейся тропинки
Обводит лес – и следует пунктир
До дома, где бессмысленны поминки,
Чума не прерывает вечный пир.

Среди гостей, застывших для потомков,
Один из приглашенных голос громкий
До срока на страницах затаил –

Что нам готовит бог-изобретатель?
Года ютятся в хрупком циферблате,
Усадьба прячет времени слои.

3. *Михаил БЕАГОН*

Усадьба прячет времени слои,
Подернутая солнечным румянцем.
Зашлись лучи меж будущих руин
В неистовом самозабвенном танце.

И о́тсветы от облачной листвы
Погаснут к ночи серым перламутром.
Подобные небесным часовым
Покинут пост, чтоб возвратиться утром.

На много лет расписан Божий план.
Когда шторма волнуют океан,
Плыву по дуновению муссона

За горизонт. Где давешние сны
Ныряют в сонме отблесков луны
В прудах, беседках и небесных кронах.

4. *Анастасия ИЛЬИНА*

В прудах, беседках и небесных кронах,
Где время – скрип пера и счётов треск,
Миг озаренья вдруг запалит порох –
Неумолимой мысли грянет всплеск.

А дальше тишь сойдёт прохладой в окна,
Цыганской пляской вспыхнет старый сад,
И слов пути сойдутся, как волокна
В живых полотнах текстовых громад.

Бросай в этюд всю жизнь без компромиссов.
В дорогу! На свободу! За кулисы!
На стыке вёрст меняются посты,

Души стремленья облекая в вечность,
Играя то в серьезность, то в беспечность,
Снимай их палимпсестные листы.

5. *Павел БОРН*

Снимай их палимпсестные листы,
Сотри, развей и запиши по новой,
Воздай же честь сиянью простоты,
Не попирая времени основы,

И вдруг услышишь – ярки и чисты,
Там зазвучат аккорды босса-новы,
Взойдут мосты, возляжет на холсты
С пейзажем ясным искреннее Слово.

Вот так все лето в праведных трудах
За кругом круг исследовать года
Окажется ни капельки не страшно.

А следом ждет осенняя пора.
Останется лишь урожай собрать:
Фату – с невесты, хлеб созревший – с пашни.

6. *Надежда КНЯЗЕВА*

Фату – с невесты, хлеб созревший – с пашни,
Придет пора, я с жадностью сорву,
Но нынче солнце с колокольной башни,
Как яблоко, упало на траву,

И золото, скользившее в вершинах,
Прозрачным мёдом разлилось у ног.
Как дева у разбитого кувшина,
Я замираю от теченья строк.

И мог бы я, проснувшись спозаранку,
Как барышня, одетая в крестьянку,
Назло запретам мчать туда, где ты…

Но медлит свет, застывший в этом миге.
Лежит кленовый лист закладкой в книге.
Трепещут занавески-лоскуты.

7. *Наталия ЗАБЕГАЛОВА*

Трепещут занавески-лоскуты,
Запутанные временем и ветром.
Холодные беленые холсты
Открыты краскам и сознанья недрам,

Где сказочное льётся молоко
И дом-корабль идёт под парусами.
Припоминаю остров, где легко
Царевна закрывала волосами

Слоёный месяц. Речь текла рекой,
Небесный купол в ней искал покой,
В чём был – наряд свободный и домашний.

Его качали волны за бока,
И рядом проплывали облака
Меж днём грядущим и позавчерашним.

8. *Мария ЖДАНОВА*

Меж днём грядущим и позавчерашним
Бежит, петляет ниточка строки.
Молчать, мечтать, писать о самом важном,
О чём знать не положено другим.

Клубочек размотается к началу,
Затянет песнь сверчок за стояком,
Тебе поправит осень одеяло,
Добавит в чай тумана молоко,

И станет былью тот чудной рассказ,
Во снах, во тьме твоих закрытых глаз,
Где ты – герой придуманной вселенной.

Но утро выльет в небо серебро –
И вновь дрожит под пальцами перо,
Страница – площадь, ринг, мишень, арена.

9. *Арсений ГЛАЗКОВ (КИММЕРИЕЦ)*

Страница – площадь, ринг, мишень, арена –
Где бой дадут банальности и лжи.
Я спрячу чистый лист в лесу осеннем –
Что нужно, за меня споют дожди.

Строкой горящей пролетает мимо
Кленовый лист, отточен и зубчат.
Из пламени гудящего камина
Печально рифмы чёрные торчат.

Застыл над краем осени пловец –
Прозрачно-жёлт билет в один конец,
Год подо мной вращается, как сцена.

Тоску по капле переплавив в смех –
Лечу с водоворотом листьев вверх –
Навстречу невозвратным и бесценным.

10. *Анна МАЛИНИНА*

Навстречу невозвратным и бесценным
Билетам-дням, навстречу чудесам
Проснемся мы – и новый день блаженный:
Где роли, и стихи, и каждый – сам

Творец идей и строк. Мы их питаем
Рассветом, что звенящим солнцем полн.
Над нами – остров муз (он обитаем!),
И не сдержать нам вдохновлённых волн

В теченье времени. В ночи звезда восходит,
И жив пиит. Как луч на небосводе,
Перо, что сотворит ему сполна

Хвалу. Идём, спешим, услышав,
Поэму, что ниспослана нам свыше, –
Корабль, птицу, песню – из окна!

11. *Никита ДОРОФЕЕВ*

Корабль, песню, птицу из окна,
Часы, закат, шуршание пелёнок –
Поэзия копирует. Она
Ещё наивный маленький ребенок.

Смеётся, плачет, требует ням-ням,
Рисует на стене, шумит в ракушке,
Но вот, глядишь, взрослеет не по дням,
И время восклицает: «Ай да Пушкин!»

Что – время – песне, птице, кораблю –
Движение к забвению, к нулю.
За что – никто не будет разбираться. –

За штиль, за горький крик, за лишний такт.
Аплодисменты сорваны. Антракт.
Господь силен в искусстве конферанса.

12. *Анастасия РОСТОВА*

Господь силён в искусстве конферанса:
Все имена Он выкликает в срок –
На смерть, на взлёт, на счастье выдаст шансы,
И ты выходишь отвечать урок.

К барьеру, на свидание, на сцену –
По бархату, по лезвиям, шипам...
Прожектором ты высвечен мгновенно,
Иди – один, живой, по черепам.

Встряхни весь зал, галёрки не забыв!
Семь бед? Есть тройки, бубенцы, столбы:
Ты – туз среди роскошного убранства!

Пусть от успехов вздрогнет дама пик,
Не верь, что прибыл. Оседлай свой миг –
В попытках заблудиться всё же странствуй.

13. *Яна ЯЖМИНА*

В попытках заблудиться всё же странствуй –
Дороги пыль испробовать на вкус
Полезней, чем питаясь постоянством,
Годами караулить жизни груз.

Учи латынь, английский и кошачий.
Носи зубную щетку в рюкзаке.
И отдавай себя с самоотдачей
В любой тобой написанной строке.

Читай и чти. Будь окружен друзьями,
Ходи под голубыми небесами.
Испей всё отведенное до дна.

А после, разве важно, что там будет?
Возможно, время правильно рассудит:
Взойдут и письмена, и имена.

14. *Екатерина МАРКУС (СОЛЬ)*

Взойдут и письмена, и имена,
Положенные в бурую прохладу
Земли под осень; аромат вина
С дымком костра закружатся по саду.

Всё, что ношу я в сумке головы,
Рассеется по городам и весям,
Взлетит на гребень пенистой молвы,
Останется в мотивах снов и песен.

Придёт, сильнее зла, опалы трона,
Презренья сильных, от чумы кордона
Сквозь время в камне высеченный стих.

Ещё не верю, но вперёд смотрю я:
Слова ласкают слух, как поцелуи,
Из незнакомцев делая своих.

МАГИСТРАЛ. *Анастасия РОСТОВА*

Из незнакомцев делая своих,
Склоняя к ним белёные колонны,
Усадьба прячет времени слои
В прудах, беседках и небесных кронах.
Снимай их палимпсестные листы:
Фату – с невесты, хлеб созревший – с пашни,
Трепещут занавески-лоскуты
Меж днём грядущим и позавчерашним.
Страница – площадь, ринг, мишень, арена,
Навстречу невозвратным и бесценным –
Корабль, птицу, песню – из окна!
Господь силён в искусстве конферанса:
В попытках заблудиться всё же странствуй –
Взойдут и письмена, и имена.

27 августа 2020, Б. Болдино

Марина СВЕРДЛОВА

* * *

Ветер уносит дым от прошедших лет,
Ветер уносит гарь одинокой боли,
Ветер молчит и ждет
Кружевной рассвет
И о судьбе своей он вещает морю.

Он рассказал, что дом бы хотел иметь,
Баньку, цветущий сад, свою чашку с чаем,
Он посетил так много различных мест,
Нет лишь того, по которому он скучает.

Он же свободен,
Летает во все края,
Хочет в жару, ну а хочет – в скупую стужу.
Знает он все, даже круглая ли Земля,
Только не знает
Кому он на свете нужен.

Жаждет любви,
Даже ветер ее фанат,
Тихо сипит,
Развевая подолы платьев,
Ветер улыбке ее был бы очень рад,
Как же ее добыть,
Вот ему узнать бы.

Он шелестел листвой,
Объявлял бойкот,
Выл как голодный волк,
Разливаясь в трель,
Ветер не знал тепла,
Как в холодный год,
Ветер никто не ждал,
Может, лишь метель.

Нет ни садов, ни костров, ни уютных дач,
Нет ни тепла, ни любви, ни заветных рук,
Есть только ветер, гуляющий среди мачт,
Есть только море, единственный ветра друг…

Александр ПОПОВ

* * *

Подводникам-гаджиевцам посвящается

Порой во сне и тонем, и горим,
И, как на лодке, сон предельно чуток…
Был трудным путь от дизельных малюток
До атомных ракетных субмарин.

И у мальчишек наших путь один,
Другой, полегче, выберут едва ли,
Они и в раннем детстве твёрдо знали:
Морская служба – дело для мужчин.

Пусть неразрывна будет связь времён,
Пусть в сыновьях и внуках будут живы:
Видяев, Лунин, Колышкин, Гаджиев –
Кто погибал, но не был побеждён!

* * *

Лишь только за окном завоет вьюга,
Я сразу вспомню Север – скалы, сопки…
Как солнце после долгой ночи робко
Обозначалось за полярным кругом,

Горел костёр – один на всю округу,
И было на душе тепло и ясно,
Себя мы отдавали не напрасно
И Северу, и службе, и друг другу.

Иные времена… Другие люди…
Но служат в Заполярье наши дети,
По счастью, есть преемственность на свете,
А значит, наша память долгой будет!

Светлана ЛЕТЯГА

Набережные Челны

* * *

Василию Шукшину

Стакан наполовину полон или пуст –
о том философы ломают копья. Пусть…
Всё это слов искусная игра.
Посуда мелкая в России не в чести:
уж пить – так вёдрами, а лить – как из ведра,
да с полными дорогу перейти!

Любить, как на вечерней на заре
купает лето сосны в янтаре…
А в час урочный рубануть с плеча,
сметая всё, что встало на пути.
И, чтобы унесла тоску-печаль,
букашку малую с ладони отпустить.

Что нам стаканы да мензурки!
Что нам канканы да мазурки –
от русской «барыни» заходятся меха!
Душа поёт...
Чужой, её не трогай –
ей без того два шага до греха.
Да шаг до подвига.
И только миг –
до Бога.

Публицистика

Олег РЯБОВ

В ПОИСКАХ СЛАВЫ

И фундаментальная наука и искусство относятся к тем видам человеческой деятельности, когда в полученном продукте или в созданном произведении в значительной мере присутствуют талант и способности отдельного человека. И признание заслуг такого создателя перед обществом, а иногда даже и перед всем человечеством является естественным нашим ответом. Только вот процесс признания в этих, на первый взгляд схожих, сферах, происходит совершенно разным образом и в различных условиях.

В качестве примера расскажу о Золотой медали Ландау.

Это высшая награда для физика-теоретика, которой в настоящее время, по признанию самих ученых, награждается лучший из лучших раз в пять лет. Но впечатляет он только тех, кто хоть мало-мальски разбирается в современной физике. Для широкой публики такие награждения и победы проходят незамеченными: ни телевидение, ни радио, ни сетевые СМИ о них не кричат, да и просто-напросто они часто и не знают об их существовании. А ведь благодаря их открытиям и трудам существует современный технологически развивающийся мир.

Эти заслуги и победы наших физиков, математиков, микробиологов, медиков, химиков и других ученых по-настоящему оцениваются лишь в профессиональных сообществах. И известны всему миру наши русские научные

школы, с которыми хотят сотрудничать и сотрудничают многие иностранные специалисты. И никаких скандалов, зависти, ревности. Наоборот – признание и поддержка соратников. И авторство таких открытий бывает часто коллективным, а иногда и интернациональным.

Процесс творчества – загадка, как для простого обывателя, так и для создателя продукта. Гуляя по лесу или лёжа на диване под пледом, творческий человек может вдруг пережить озарение – найти решение задачи, нужную строку, уловить новую мелодию. Вспомним сон Менделеева или пресловутое яблоко Ньютона. Только вот творчество многих мастеров от искусства, в отличии от решения научных задач, направлено несколько кособоко в сторону славы. А как же: без славы и признания широкой публикой нет ни народного художника, ни народного артиста, да и тиражи с гонорарами ведущих писателей сильно зависят от того, насколько он известен читателю и раскручен медийными органами.

Вспоминается, как после суда над Иосифом Бродским Анна Ахматова воскликнула: «Какую судьбу делают нашему рыжему!» Но гениальная Анна Андреевна была, конечно, провидицей, и в этом нет ничего удивительного; она уже тогда всё знала или предвидела: и ссылку в северную деревню, и высылку Иосифа из СССР, и его Нобелевскую победу. Но то судилище было точкой отсчета и местом славы начинающего Бродского. А скандальная слава – это всё равно слава для творческого человека.

А помните фразу Галилея: «А всё-таки она вертится!» Скандал!

А фразу брошенную Эрнстом Неизвестным в лицо Хрущеву и председателю КГБ Шелепину: «Да не ори ты на меня!» Тоже скандал!

Однажды мне в редакцию журнала поступила разгромная статья на новую книгу моего хорошего товарища. Я позвонил и информировал его про эту статью, задав вопрос: «Стоит ли её печатать?». «Конечно, печатай – отрицательный отзыв даёт значительно больший эффект в плане пробуждаемого интереса к книге! А то всё хвалят и хвалят!»

Задаю сам себе вопрос: а много ли раз я покупал в магазине книги авторов, имени и фамилии которых я не знал никогда, и никто мне эти книги не рекомендовал, и вот – купил и не пожалел? Из тысячи купленных мною в магазинах книг могу припомнить лишь два случая, которые открыли новые для меня имена, когда я у стеллажа в книжном магазине открывал книгу и понимал, что это надо купить и прочитать: это были Виктор Конецкий и Пирс Пол Рид; обе покупки делались в пору моей юности. Остальные книги я искал и покупал, зная что-то про их авторов или хотя бы названия произведений, начиная от собрания сочинений Есенина и до новых премиальных шедевров.

А тут находится и ответ на волнующий меня в данный момент вопрос. Почему так часто в творческих коллективах и сообществах, объединяющих людей искусства, в отличие от научных институтов, происходят конфликты, связанные с доказательством лидерства, или первенства, или какого-то другого превосходства. Регулярно возникают конфликты в выставочных комитетах, в премиальных жюри, театральные и музыкальные коллективы делятся, а Талькова просто застрелили! А это так идёт война за славу, потому что слава – главный двигатель творчества работника от искусства. Большинство мастеров искусств очень ревностно относятся к достигнутому ими лидирующему положению и не желают рядом видеть своих конкурентов.

Если в фундаментальных науках мы постоянно слышим о школах, возглавляемых лучшими специалистами в данной области, то мы так же знаем и то, что ни Пушкин, ни Пастернак учеников не имели, хотя очень внимательно и критично относились к своим соратникам по перу. Да и сейчас перепалки между отдельными мастерами-литераторами говорят скорее о ревности и зависти, а не об искреннем желании найти истину или оказать помощь.

В литературе из мастеров могу припомнить, пожалуй, только Максима Горького, который щедро делился советами и своим влиянием, помогая начинающим авторам, сотням начинающих авторов, за что ему низкий поклон.

Последнее время идёт много разговоров о создании какого-то нового объединения современных наших российских

писателей с целью получать финансовую поддержку от государства, подобно Союзу писателей СССР. Так вот, не надо забывать, что тот Союз писателей СССР создавался очень трудно и долго, и ему, этому созданию, сопутствовала ликвидация постановлением ЦК ВКП(б) всех прочих писательских объединений в стране, таких, как РАПП, и всех частных издательств (исключением было издательство Academia). У государства было понимание, что литература является базовым видом искусства, без которого немыслимы ни театр, ни кино, ни эстрада, и члены того союза автоматически становились вполне осознанными партнерами государственного строительства. Союз писателей СССР был политически заточенным органом, и очень точно исполнял указания и задачи, которые спускались сверху. И писались заказные «Цемент» Ф. Гладковым, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Соть» Л. Леоновым, «Братская ГЭС» Е. Евтушенко. И получали выволочку такую серьёзную не выполнившие заказ писатели, что штаны у них оставались мокрыми.

Хотя есть и другая возможность получать от государства постоянную финансовую подпитку. Стать, как Солженицын или Шолохов, действительным членом Академии наук России, а это двести тысяч рублей в месяц.

Так что, может, будем ждать, когда в нашей академии РАН будет создано специальное отделение словесности, куда будут принимать писателей без защиты докторских диссертаций, и будут наши лучшие литераторы получать достойную академическую зарплату; мы помним, что и Пушкин, и Жуковский, и Шолохов, и Солженицын были членами Российской академии, а вот Фет только членом-корреспондентом. А, может, будет создана Академия искусств России, как государственный орган, которая будет финансироваться государством и приём в которую будет осуществляться только через тайное голосование всех её членов.

А пока что читатель будет голосовать за писателя через кассу книжного магазина, а писатель должен пиариться и бороться за свой успех любыми доступными ему способами, иногда даже некрасивыми и недостойными. С точ-

ностью до смысла народный артист Олег Табаков выразил свою точку зрения так: там, где нет успеха, меня не будет! Так же как без славы и успеха не существует большого артиста, так без них не будет и значительного писателя.

Но, есть и другая, естественная и достойная позиция, высказанная замечательным поэтом Виктором Кумакшевым, которому в феврале этого года мог бы случиться некруглый юбилей – 90 лет.

* * *

Успех…
Да разве дело в этом!
Я многих знаю,
Многих знал,
Кто сроду не бывал поэтом,
Но книжки бойко издавал.
И вот – торговлишка:
Кто – выше?
Кто – так себе?
А кто – велик?
…А где-то
«Илиаду» пишет
Безвестный и слепой старик…
И этой гнусной круговертью
Не избран он,
Не вознесен –
Он исповедь, как перед смертью,
Как перед смертью
Пишет он.

Вехи памяти

Руслан СЕМЯШКИН
Симферополь

«БУДИТЬ В ЧЕЛОВЕКЕ ЧЕЛОВЕКА»
105 лет со дня рождения Федора Абрамова

Прозаик и публицист Федор Абрамов (1920–1983) был широко известен как страстный защитник интересов русской деревни. Позиция его в отстаивании нравственно-патриотических ценностей и устоев нашего народа была неколебима. Федор Александрович старался не идти на компромиссы с совестью, пытаясь вещи всегда называть своими именами. Был он человеком страстным, убежденным, принципиальным, последовательным, и в то же время – земным, обычным, хотя и не простым в плане общения. Бесспорно, заслуживает Абрамов и доброй памяти.

Именно памяти, а не поднятия на щит теми, кто пытается использовать не всегда однозначно понимаемую и воспринимаемую фигуру писателя в каких-то своих, не совсем благовидных политических целях. И если с последним «проблем» нет, то с памятью народной далеко не все в порядке. Среднестатистический россиянин сегодня это имя практически не помнит. Немало и тех, прежде всего молодых, кто вообще его не знает. И это при том, что в целом имя писателя не выпало из информационного поля. Более того, в последнее время общественность и власть пытаются вновь привлечь к нему внимание. В честь своего земляка, уроженца села Веркола Пинежского района Архангельской области и одного из наиболее известных русских писате-

лей-«деревенщиков», губернатор Архангельской области совместно с Союзом писателей России и Российским книжным союзом в 2019 году возродили Всероссийскую литературную премию «Чистая книга», не присуждавшуюся более десяти лет. А первыми ее лауреатами совершенно оправданно и справедливо стали видный русский советский писатель северянин Владимир Личутин и известный критик, подробно изучающий современную российскую прозу Андрей Рудалев. Хочется пожелать этой авторитетной премии долгого и светлого пути. Однако, каковы бы ни были те или иные литературные премии и пропагандистская кампания вокруг них, существенного расширения читательской аудитории в нашей стране, увы, не наблюдается.

Так каким же человеком был Федор Абрамов? Почему он смог выдвинуться, пренебрегая заведованием кафедрой советской литературы Ленинградского университета, в число самых читаемых авторов страны 70–80-х годов века двадцатого?

Человеком Абрамов был непростым. Как вспоминали те, кто знал его лично, – не все, сказанное им в обиходе, стоило воспринимать за чистую монету. Как выходец из крестьянской среды он умел, коли в этом была необходимость, показать себя этаким простачком, понимающим все превратно. Не преминул в беседе напомнить и о том, что он – провинциал, между тем не редко бывавший и в Москве, а также и в крупнейших зарубежных центах, таких как Париж, Лондон, Вашингтон и Токио. Но в этом и просматривалась его глубина, знание им народных характеров и стереотипов. Ведь так как он описывал деревню и ее жителей мог описывать только тот, кто знал все ее характерные особенности и мог говорить с деревенским населением на понятном ему языке. А в русской деревне, при всей ее наивности и простоте, никогда не переводились люди находчивые, сообразительные, житейски мудрые, а в чем-то и лукавые. И в том не было ничего предосудительного. Примерно таким, плоть от плоти земли его взрастившей, был и Абрамов.

Нельзя сказать, что Абрамов оставил потомкам слишком объемное литературное наследие. И тому были объективные причины, да и жизнь его прервалась слишком рано.

Писать он, преодолевая робость, состоявшись при этом как научный работник и защитив кандидатскую диссертацию, начал только в тридцатилетнем возрасте. Писал, сразу же подобравшись к самой большой литературной форме – роману, неспешно, вдумчиво. Первый роман «Братья и сестры», не без отфутболивания его рядом редакций, увидит свет благодаря журналу «Нева» только в 1958 году. С него и начнется пряслинская эпопея, показывавшая жизненный путь деревенской семьи северного села Пекашино Пряслиных, полный невзгод, страданий, тяжелого труда и в то же время чистых помыслов, искренней любви к родной земле и ее людям, растянувшейся на три десятка лет. Тетралогия о Пряслиных, состоящая из романов «Братья и сестры», «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья», «Дом» фактически и является главным произведением писателя, сделавшим его по-настоящему знаменитым. Да и сами романы, их несомненные художественные достоинства, их галерея героев с непростыми судьбами впечатляет. Своеобразие абрамовской тетралогии просматривается также и в том, что под ее сводами писатель смог объединить романы с преобладанием социально-бытового содержания («Братья и сестры», «Две зимы и три лета»), роман социально-политической направленности («Пути-перепутья») и, по существу, роман, наполненный социально-философским содержанием («Дом»).

В писательском арсенале Абрамова присутствовали и публицистические выступления, требующие сегодня пристального разбора, поскольку в них он закладывал многие мысли, ставшие основой писательского миропонимания и являвшиеся квинтэссенцией всей его прозы. Причем были у него и такие публикации, которые вызывали восторг, оторопь, одобрение, непонимание практически одновременно. По ним возникали дискуссии, споры. Да ведь эту цель он и преследовал, так как прекрасно понимал и то, что ему – гражданину, патриоту земли русской, коммунисту – никак нельзя было отмалчиваться. Растормошить соотечественников писатель считал принципиально важной задачей. «Сегодня пассивность и равнодушие стали национальным бедствием, угрозой существования стра-

ны, – посетует Абрамов в дневнике 7 августа 1979 года. – Сегодня они приняли такие масштабы, что уже само начальство кричит караул. По крайней мере, низшие звенья. Те, что соприкасаются с народом. <…> А расплачиваться за свою пассивность и равнодушие будет сам же народ».

Как-то на вопрос о том, что же заставило писателя написать открытое письмо землякам «Чем живем, кормимся?», опубликованное первоначально 18 августа 1978 года в районной газете «Пинежская правда», а затем, через три месяца спустя, 17 ноября, с небольшими сокращениями в «Правде», Федор Александрович пояснял:

Самый главный мотив – это равнодушие, безразличие, которые я наблюдаю в нашей жизни и с которыми все чаще и чаще сталкиваюсь. И тут речь идет не только о моих земляках. И письмо было адресовано не только моим землякам, оно шире, только на конкретном материале. Если же говорить о моих земляках, то Веркольский район среди районов и сел Нечерноземной полосы был процветающим районом. У нас, например, 300 дворов в Верколе – самые новенькие, все выкрашены краской, у каждого холодильник, у каждого своя техника. Но в то же время часто видишь: в поле зашли лошади, никто их не прогонит. <...> Надоел беспорядок. И это письмо, конечно, подхватили. Но некоторым товарищам показалось, что у нас и так инициативы хоть через край и нечего о развитии народной инициативы беспокоиться.

Я должен сказать, что письмо мое не было понято и многими писателями. Многие писатели просто обиделись на меня. Ты, мол, спрашиваешь, но с кого спрашиваешь? Ты с народа спрашиваешь, а надо с начальства спрашивать. Я говорю: нет, милаша, это все не так. Я и говорю в начале письма: с кого же в первую очередь спрос за эту нерачительность, за безалаберность? Конечно, спрос в первую очередь с райкома, с дирекции совхоза и так далее. Но имеет ли при этом какое-то отношение к делу рядовой человек, он за что-нибудь отвечает или нет? Или моя хата с краю и мне все равно? Или как в некрасовские времена: “Вот приедет барин, барин нас рассудит?” Все упования на барина! <...> Знать, правильно, с руководства, с начальства надо спрашивать, на то оно и начальство, за то оно и денежки получает. Оно несет ответственность. <...>

Но до тех пор, пока мы сами, каждый из нас, каждый рядовой человек не поймет, не установит для себя непреложным законом, что все дела – это мои дела и что большой наш дом строится только общими усилиями, по крайней мере, дом – деревня, до тех пор мы ни чего не изменим. Вот каков смысл был этого письма. И этой идеи, идеи народной инициативы, активности придерживаюсь всегда, и если есть такой писатель Абрамов, то его главное кредо: будить, всеми силами будить в человеке человека..

Обширную, хотя и несколько усеченную цитату эту привожу вполне преднамеренно. В ней заложены те мысли писателя, без которых трудно его представить, тем более с позиций дня сегодняшнего. И представить в качестве сознательного гражданина, направлявшего свое творчество, голос неравнодушного, не желавшего оставаться в стороне от происходивших в стране и обществе процессов человека на то, чтобы проблемы не просто не замалчивать, но и активно включаться в общее дело по их преодолению. При этом к самому анализу текущего времени он подходил осознанно, не переставая каждодневно исследовать природу крестьянской народной души – такую непростую, противоречивую, в одночасье же и жертвенную, способную на смелые, отчаянные действия и поступки. Волновали писателя и раздумья о взаимосвязи человека и окружающей действительности. Впрямь ли современный ему человек выступал в роли хозяина той земли, которая приютила, дала кров, кормит и обихаживает? Или он, наделенный недюжинной силой и пышущим здоровьем, лишь сторонний на ней наблюдатель, уповающий на авось? И пришли думы эти к Абрамову не однажды – на протяжении долгих лет они отображались в его прозе и публицистике, понимаемые им также не сентиментально-романтически, а по-боевому, с четким посылом к читателю: «Писать для народа – значит помочь ему понять свои силы и слабости». И как ни парадоксально покажется на первый взгляд – был он за них оговорен и подвергнут жесткой, скорее даже едкой критике. Не всегда, конечно, она его преследовала. Но такие болезненные примеры, как с повестью о непростом положении дел в колхозе «Вокруг да около», написанной в 1963 году, когда писателя разно-

сили, что называется, в пух и прах, в его практике бывали, и он о них не забывал. К этому следует добавить и то, что за те свои переживания он получил не заставившую себя долго ждать гневную отповедь земляков на страницах архангельской областной газеты «Правда Севера», а затем и в центральных «Известиях» под броским заголовком «К чему зовешь нас, земляк? Открытое письмо односельчан писателю Ф. Абрамову».

Кстати, вышеупомянутое письмо Абрамова «Чем живем, кормимся?» не вызвало той реакции у читателей, на которую он рассчитывал. Хотя, безусловно, некоторые отголоски на него все же были. Недоумение и замешательство вызвало оно не только у собратьев по писательской среде, но и в отдельных высоких московских кабинетах. Некоторые исследователи творчества писателя утверждали, что за опубликование этой статьи и автора, и редакцию «Правды» подвергли критике в ЦК КПСС. Но самое показательное и принципиальное заключалось совсем даже не в этом. А в том, что Абрамова в очередной раз не поняли земляки, жители его родной деревни, не говоря уже о населении всей Архангельской области. К тому же, откровенно говоря, к книгам писателя, вызывавшим читательский интерес по всей стране, земляки-северяне, за редким исключением, особого любопытства не проявляли. В Верколе вообще мало что читали. Федора Александровича же воспринимали не иначе как местную знаменитость, далекую от них по сути, но близкую в том, что при подходящем случае о нем можно и упомянуть: дескать, знай наших. Увы, но так было. Положа руку на сердце, не слишком-то верится, что и в наше, такое апатичное, маловыразительное, во многом бездуховное, не располагающее к серьезным думам время, ситуация кардинальным образом изменилась, даже при том, что Веркола продолжает ежегодно принимать почитателей таланта писателя, приезжающих на его малую родину и посещающих семейный дом-музей Абрамовых. Что ж, имеем то, что имеем. Между прочим, тот факт, что книги писателя не пользуются читательским спросом в стране, подтвердила и правительственная «Российская газета», опубликовавшая в августе 2019 года статью

«Родом из Верколы», выделив в отдельный подзаголовок следующий акцент: «Сегодня Федор Абрамов почти забыт, его произведений не найти в книжных магазинах».

Возвращаясь же к разговору о том, что беспокоило писателя, подчеркнем, что он был далек от идеализации своего народа, но искренне переживал за него. В 1979 году, в статье «В армянском мире», написанной в форме рецензии на художественно-публицистическую книгу армянской советской писательницы Сильвы Капутикян «Меридианы карты и души», Абрамов писал:

Сегодня, когда так обострились в мире национальные проблемы, необходимо поглубже взглянуть на народ, всерьез разобраться в том, что же такое народ и национальный характер. Только ли великое и доброе заключено в нем? Не пора ли от односторонней, порой идиллической трактовки его перейти к трезвому разговору о всей сложности и противоречивости народного организма, его бытия? И не единственно ли правильное отношение к своему народу – ради его же блага, ради его духовного здоровья – видеть в нем наряду с истинно великим и его слабости, его недостатки?

Размышления писателя о судьбе русского народа были и философскими, и патриотичными, и содержащими острую проблематику, и категоричными в своей основе. Категоричность, замечу, вообще была необычайно свойственна этой волевой, сильной, и вместе с тем далеко неоднозначной натуре. И то, что утверждение о категоричности, граничившей для писателя с истиной в последней инстанции, естественно так, как понимал ее он, – прослеживается во всем его творчестве, для тех, кто с ним знаком, не является открытием. Вспомните его некоторых героев тетралогии о семье Пряслиных или мрачных старух из повестей «Пелагея» и «Алька». Разве не написаны они в чересчур темных тонах, особенно великовозрастные деревенские героини двух названных повестей? Не переборщил ли писатель, показывая их пьянчужками, только и живущими заботой об удовлетворении своей утробной зависимости? Или настолько уж пьянство косило ряды его земляков-северян в 50 –70-е годы ушедшего в прошлое столетия? Однако же

Абрамов писал именно так, высвечивая проблемы, но не оставляя порой места всему тому доброму и созидательному, что было в повседневной жизни той поры. Потому-то, при всей глубине и пронзительности, не говоря уже о художественности и прекрасном, обогащенным местными говорами языке его прозы, нельзя не замечать и ее мрачности, видимой на фоне какой-то всепоглощающей безысходности, которой нет ни конца ни края. Хотя при этом как-то вскользь прозаик постоянно и напоминает, что все же растет народное благосостояние, селяне живут сыто, материальные трудности уходят на второй план, обзаводятся они вещами, техникой.

Эта непростая коллизия, особенно если задумываться о ней и в ту же минуту представить сегодняшнее, во всех отношениях катастрофическое, положение исконной русской деревни, обреченной на жалкое существование и приговоренной к постепенному отмиранию, наверное, в чем-то объясняется тем, что Абрамов считал своей задачей художника и патриота видеть и показывать читателю не столько народные достижения, а сколько слабые стороны, бывшие по его мироощущению не менее определяющими в исторической судьбе России. Наделив лучших героев написанных им книг высокими нравственными качествами, он в то же время снабдил других такими характеристиками, от которых веяло холодом. В этом понимании жизни, народных путей-перепутий писатель был непримирим. Чужда ему была и показушная псевдонародность, затасканная некоторыми авторами донельзя. «Я не стою коленопреклоненно перед народом, перед так называемым простым человеком, – веско замечал Федор Александрович. – Нет, и народ, как сама жизнь, противоречив. И в народе есть великое и малое, возвышенное и низменное, доброе и злое. Более того, злое иногда поднимается над добрым и даже подминает его. Примеры? Да их немало как в мировой истории, так и нашей отечественной, национальной». По мнению писателя, «кадение народу, беспрерывное славословие в его адрес – важнейшее зло». Эта убежденность, непростая не только для понимания, но и для претворения в жизнь, была стержнем его прозы

и публицистических выступлений, вызывавших не единожды ожесточенные споры.

Категоричность суждений была присуща и Абрамову-критику. А работать в литературе он начинал именно в этом качестве. Не был равнодушным он к этому литературному поприщу и тогда, когда стал признанным прозаиком. Правда, в одном из поздних интервью об этой деятельности он отозвался так, что дескать «критика – это не самый сильный жанр нашей литературы». Тут же Абрамов высказал и свои претензии к ней. В них прослеживается не только пульсирующая мысль писателя, но и его укоренившийся, не покидавший Абрамова максимализм:

...Что меня не устраивает в критике? Ну, во-первых, некая мелкотравчатость, что ли, отсутствие зубастости: уж слишком много елея в нашей критике. Некоторые критики даже забыли само слово «критика». Критика вылилась у нас под пером некоторых критиков в некий дифирамбический, похвальный жанр. Это, конечно, не очень хорошо. Но самая главная моя претензия к критике: мало проблемных статей. Рецензий пишут очень много. «Критическая армия» у нас большая. А вот проблемных статей, как это умели делать наши старики – взять хотя бы революционных демократов, – этого мало. Ведь какая главная задача критики? Увидеть в самом литературном произведении те процессы, которые происходят в жизни, – как они здесь преломлены, как отражены.

Так же принципиально, по крайней мере так, как осознавал, понимал, он и выступал с критическими статьями. Пожалуй, самой известной его работой в этом направлении была статья «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе», опубликованная в № 4 журнала «Новый мир» за 1954 год. В ней Абрамов подверг гневной критике целый ряд имен, находившихся в числе, если и не корифеев, то явно признанных советских авторов. Галину Николаеву и ее известнейший, вполне удачный, имевший большое значение для первых послевоенных лет роман «Жатва» он критиковал за то, что «автор игнорирует реальную жизнь, изображенную им же самим». Но более всего в статье тогда досталось Семену Бабаевскому за его романы «Кавалер

Золотой Звезды» и «Свет над землей», Елизару Мальцеву за роман «От всего сердца», практически забытому ныне Юрию Лаптеву, написавшему повесть «Заря», а вместе с ними и Григорию Медынскому за роман «Марья». Этих писателей, удостоенных за эти произведения Сталинских премий, Абрамов бил наотмашь. Он не прощал им приукрашивания колхозной действительности и воспринимал их сочинения как примеры проявления отхода от принципов социалистического реализма. «Прекраснодушные вымыслы» и «условно-романтические выдумки», бытовавшие тогда в «деревенской» прозе, писатель окрестит «пасторальным романтизмом». В том числе и с его подачи будут вешать на этих, вообще-то далеко не бездарных, небесталанных писателей закрепившееся на долгие годы определение – «лакировочники». В полной ли мере оно к ним применимо, говорить в рамках настоящей статьи нет никакого смысла, так как вопрос этот и с позиций нынешнего времени однозначной трактовки не имеет. Посему лишь замечу, что произведения, критиковавшиеся Абрамовым, очень многими тогдашними читателями были приняты восторженно – людям не хватало тепла, материальных благ, они пережили ужасы войны, и им необходимо было увидеть и осознать что-то хорошее, пускай и несколько преувеличенное. И к хорошему, без сомнения, следовало стремиться, ставя перед собой конкретные задачи, может, не всегда и выполнимые. Впрочем, невыполнимых задач для советского человека, как известно, не существовало… Не вдаваясь же в подробности нашумевшей абрамовской статьи, подчеркнем, что субъективное мнение каждого отдельно взятого гражданина, будь то простой труженик-читатель из сельской российской глубинки или ленинградский критик Абрамов, в этом случае и преобладало.

Но и сам Абрамов, справедливости ради, не ушел в своей прозе от условно-романтических преувеличений и приукрашиваний. Писатель-документалист и литературовед Юрий Оклянский обращал внимание на то, что в первом романе «Братья и сестры» абрамовской тетралогии о семье Пряслиных писатель показал эпизоды, подпадающие под им же осуждаемую романтизацию. Так, ставится под сомнение

правдивость эпизода о сдаче в приподнятом настроении личного скота в Фонд обороны (в романе описаны события весны – лета 1942 года), не совсем правдоподобна и горячка при пахоте, которую, соревнуясь, обеспечивали женщины и старики, да и как обеспечиваются эти высокие показатели, если «с кормом беда, лошади через каждую сажень останавливаются». Отмечал исследователь творчества писателя и условно-романтический характер некоторых персонажей. Более того, он писал о том, что «чертами романтической экзальтации и ложной патетики» Абрамов в некоторых сценах наделил и главного героя будущей тетралогии – четырнадцатилетнего Михаила Пряслина.

Можно соглашаться и не соглашаться с критиками, литературоведами, писателями и исследователями, всеми теми, кто писал как о самом Абрамове, так и о его творчестве, – основания для сего не просто присутствуют, а порою просто вынуждают ввязываться в заданную тем или иным эпизодом полемику. В самом деле – все далеко не просто. Да и не могло, наверное, быть иначе. И при всем при том, Абрамов до сих пор всеобъемлюще не изучен, возможно, до конца и не понят. В наше же время официальные институты пытаются представить его чуть ли не либералом, борцом с пережитками сталинского времени и с так называемым застоем. Такая трактовка писательского мировоззрения не нова. Ее раскрутку стали осуществлять в годы приснопамятной перестройки. Собственно, это и несложно было делать. Вопросы-то для раскрутки дискуссии в нужном русле подкидывали сами произведения писателя. Возьмем, к примеру, некоторые из них: не показывал ли Абрамов горькую действительность села военного лихолетья и первых послевоенных лет, не он ли вывел в третьем романе известной тетралогии «Пути-перепутья» образ секретаря райкома партии Подрезова, убежденного сталиниста, готового на крутые и жесткие меры во имя партии, с целью реализации ее установок, но при этом бессребреника? А не Абрамов ли рассказывал о бесхозяйственности, негативных явлениях в руководстве на селе, равнодушии и беспринципности, пьянстве и других негативных явлениях 50–70-х годов прошлого столетия?

А не он ли давал нам примеры, повествующие о вымирании деревни? Да, он, Абрамов. Но какой смысл вкладывал член ВКП(б) – КПСС с 1945 года, по признанию его вдовы Людмилы Крутиковой-Абрамовой, выросший на «идеалах Октябрьской революции» и для которого не было «более святых и высоких понятий, чем романтика революции, равенство, братство, справедливость», писатель Абрамов во все им написанное? Каковым был подтекст? Какие делались выводы? Или может быть он был противником Советской власти? Но не ее ли он защищал в годы Великой Отечественной войны, служа в органах контрразведки? Не он ли был награжден высшей наградой страны – орденом Ленина и удостоен в 1975 году Государственной премии СССР за трилогию «Пряслины» (тогда еще не был написан завершающий роман данного тематического цикла «Дом», позволивший трилогию преобразовать в тетралогию)? А не Абрамов ли выступал на партийных собраниях, на съездах писателей и с других высоких трибун и призывал к объединению всех сил для наведения элементарного порядка в собственном доме, а если шире, то и в родном социалистическом Отечестве? Ответы, как говорится, лежат на поверхности. И различных инсинуаций на потребу дня по ним быть не должно. Абрамов, далекий от праздного, пустого и шаблонного пустозвонства, действительно был бойцом и пыл свой, голос свой, слово, чрезвычайно талантливо высказывавшееся, а местами уж очень нелицеприятное, направлял по назначению не ради сиюминутной славы и материальной выгоды. Цель его была вполне определенной – искоренить негативные явления, имевшие место в быту и повседневной практике управления сельскими территориями, обратить взор к проблемам деревни, помочь людям изжить в себе равнодушие, привлечь их к активному труду на собственной земле.

Все ли получилось у Абрамова? Реализовал ли он все свои гражданские и творческие планы, задумки, начинания? Нет, слишком рано смерть встала на его пути. Он ушел из этой жизни, за чистоту и праведность которой так истово боролся тогда, когда еще никто и представить даже не мог всего того жуткого и немыслимого, отвратительного,

подлого и бездушного, что через каких-то семь-восемь лет произойдет с нашей огромной страной и ее народом. Пристальному взору писателя лицезреть нутро капитализма, когда на первые роли выдвинулись призираемые им ловкачи и приспособленцы, жулики и проходимцы, не пришлось. А коли выпало бы и на его долю это испытание, он, по всей видимости, долго не раздумывая встал бы рядом с теми, кто, как и Юрий Бондарев, Иван Васильев, Валентин Распутин, Василий Белов, Александр Проханов, Владимир Бушин и другие мастера слова, возвысили в те страшные 90-е и последующие годы свои голоса во имя правды, справедливости, настоящего и будущего России.

Вся жизнь Федора Абрамова была озарена непрерывным поиском духовной красоты, праведности, человеколюбия, рачительности. Тех скреп, без которых он не мыслил русского человека. Наблюдаем ли мы их у наших сограждан и сейчас? Определенно ответить трудно, но то, что многие россияне с началом СВО круто изменились, и изменились в лучшую сторону, факт неоспоримый. Так давайте же, дабы укреплялся в нашем обществе подлинный патриотизм, дабы были мы не Иванами, родства не помнящими, а настоящими русскими богатырями, всегда готовыми защищать Отчизну, ударно трудиться и приумножать ее мощь и славу, – почаще за помощью обращаться к Федору Абрамову. Давайте вместе с ним вглядываться в бескрайнюю русскую душу и смело размышлять над тем – как живем мы на благословенной российской земле, во имя чего, ради каких благих целей и что оставим мы после себя будущим поколениям? Абрамовская философская мысль в мировоззренческих исканиях, без сомнения, может всем нам здорово помочь.

Людмила КАЛИНИНА

ЛЕГЕНДА ПО ИМЕНИ СЕРГЕЙ ЧУЯНОВ

Среди славных имен нижегородских деятелей культуры яркой звездой светит имя Сергея Петровича Чуянова (1945–2017). Известный общественный деятель, Заслуженный работник культуры РФ, писатель, журналист, театровед… Дважды лауреат премии города Нижний Новгород, лауреат премии Минина и Пожарского, он удостоен звания Почетный гражданин трех районов области: Городецкого, Болдинского, Балахнинского. За всеми званиями и премиями встает деятельный, образованный, преданный делу человек, с годами не терявший своей активности и широких интересов. За плечами С.П. Чуянова сотни телевизионных репортажей, десятки статей и книг. Не случайно обоснованно на вечере, посвященном 50-летию творческой деятельности, его называли «рыцарем культуры», «легендой тележурналистики».

Талант С.П. Чуянова, филолога по образованию, охватывал несколько разных гуманитарных сфер: Пушкинское Болдино, Горький и Шаляпин, балетный театр, народное искусство… Такое многообразие интересов само по себе уникально. Был у него дар, свойственный журналистам высокого полета, – умение свободно общаться с людьми разного уровня образования, начитанности, культуры. Ему легко и непринужденно удавалось расположить к себе собеседника.

В конце 1970-х объединение молодых литераторов «Данко» переживало трудные времена. Дом ученых нас выселил; говорили, причина в смене руководства. «Данко»

осталось «в подвешенном состоянии», тогда нас приютил Дом работников просвещения. В то время там работал С.П. Чуянов, он-то и позаботился. Как ему удалось убедить свое руководство в необходимости пригреть литературную молодежь, осталось неизвестно. Но наш руководитель стал получать зарплату, пусть небольшую, а молодые литераторы никогда не отказывались выступить перед учителями.

В те годы я жила в Автозаводском районе, и мы по пути на работу часто встречались в транспорте. Добирались до площади Минина в автобусе № 40, а это час в дороге. Было о чем поговорить, я работала в областной молодежной газете, он – на областном телевидении, многие интересы и темы пересекались.

Сергей Петрович называл себя коренным автозаводцем. Родственники трудились на автомобильном заводе, дома его всегда встречала любимая бабушка. Рассказывал, что все журнальные и книжные новинки читали вместе с ней поочередно, потом обсуждали, у нее на все было свое мнение. В доме в выходные дни и праздники всегда пахло пирогами и другими вкусностями, бабушка готовила то, что любил внук по его заказу. Видно, с ее легкой руки внук и стал гурманом; помню, я еще записала пару кулинарных рецептов от Чуянова. Работа на телевидении, сцена, встречи с людьми искусства обязывали быть аккуратным в одежде, наверное, тоже влияние семьи, любимой бабушки – всегда, при любых обстоятельствах быть в форме. Чуянов запомнился сдержанно щеголеватым: обязательно классический костюм, но рубашке с галстуком часто предпочитал водолазку, шейный платок. Он оберегал свой мир, свой дом, семью, свое духовное пространство, покой и уют. Заядлый театрал, не пропускал ни одной премьеры. Это было непросто, спектакли заканчивались поздно, но никогда не задумывался о переезде в центр города – поближе к месту работы, театрам. Возвращался домой, в автозаводскую квартиру, из командировок, из театра за полночь, ведь бабушка ждала, не ложилась спать. Только когда ее не стало, перебрался поближе к ставшему родным Нижегородскому театру опе-

ры и балета им. А.С. Пушкина. Это место облюбовал еще потому, что рядом, в шаговой доступности, жил друг – поэт Юрий Адрианов. Дом, где его радушно встречали, где можно побеседовать не только о журналистских путях-дорогах (Адрианов в молодости работал на телевидении), но и о литературе по большому счету, о книжных новинках.

Редактор отдела художественных программ Нижегородской государственной областной телерадиокомпании (ННТВ), С.П. Чуянов был и автором, и ведущим телемарафонов. Мне запомнились исполненные высокой поэзии «Болдино-97», «Дорога к Пушкину» и совсем в другом ключе – праздник народного творчества «Душа России». К этому празднику – смотру народного искусства – готовились весь год, и проходил он на площадке Театра оперы и балета. В фойе показывали выставку мастеров народного творчества, на сцене выступали певцы и танцоры. В окружении умельцев из глубинки на этом празднике можно было встретить Сергея Петровича Чуянова. Постоянный член жюри «Души России», он весь год вел по областному телевидению репортажи о народных мастерах. Рассказывал как-то, что с большими приключениями вместе с оператором добирались до самых отдаленных заволжских лесных деревушек Городецкого района и ни разу об этом не пожалели. Трудности пути забылись, в памяти остались удивительные люди. Их встречали мудрые собеседники, в волшебных руках которых рождалось чудо – детская топорная игрушка, шкатулка с удивительной резьбой… Своим человеком он стал на фабрике «Городецкая роспись», где его всегда ждали художницы. Да, многое написано о своеобразии городецкой росписи, и он не стремился удивить искусствоведческими открытиями. Писал о мастерицах, их радостях и болях, их представлении об искусстве росписи.

Не каждому дано стать истинным пропагандистом народного искусства. Сергей Петрович говорил, что и сам не понял, как, когда народное искусство поглотило его, кажется, эта красота, эти мастера были с ним всегда. Он удивлял и специалистов знанием тонкостей ремесел,

особенно городецкой росписи и резьбы по дереву. В результате – красочные альбомы С.П. Чуянова о мастерах городецкой росписи, их всего 26.

Названия книг писателя С.П. Чуянова говорят сами за себя: «Alma mater нижегородского балета», «Городецкие праздники», «Древо красоты», «На болдинском на плоту»…

Наделенный редким даром рассказчика, общения с огромной зрительской аудиторией, он как ведущий блистал оригинальными поворотами сюжетов, остроумием. Сама была свидетелем, как в Болдине зал рукоплескал, долго не отпускали его со сцены. На всенародный праздник поэзии в День рождения А. Пушкина обычно собираются пообщаться с деятелями культуры местные жители, туристы, народ не особенно искушенный в тонкостях искусства слова. Сергей Петрович всегда находил общий язык со зрителями – через знание пушкинской поэзии, нужную интонацию, меткое слово. Сила убеждения – особый дар, и Сергей Петрович им обладал в полной мере. Думаю, сопутствовал ему успех еще и потому, что в общении он был доступен, и всегда держал марку, никогда не опускаясь ниже взятого уровня.

Приезжал в Болдино не только в праздники, но и в будни, его и сейчас здесь помнят. Приезжал запечатлеть новости и проблемы в работе музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино», побеседовать с жителями деревень, некогда принадлежавших Пушкиным: в Казаринове – об истории гончарного ремесла, во Львовке – о судьбе господского дома и ветхого деревянного храма. На телеэкране появлялись не только диалоги со знаменитыми писателями, актерами, гостями праздников пушкинской поэзии, но и репортажи о болдинских проблемах.

Общение с яркими деятелями искусства как правило сопряжено с неожиданностями разного рода: трудно идут на контакт, меняют время встречи и прочее. Его журналистское общение с Майей Плисецкой, посещение балетных спектаклей с ее участием в Большом театре переросли в дружбу, так появилась биографическая книга С.П. Чуянова о великой балерине. На презентации этой

книги в библиотеке госуниверситета им. Лобачевского Сергей Петрович погрузил нас, собравшихся, в увлекательную творческую жизнь великой балерины, удивил редкими подробностями из мира балета, находками из редких изданий. Рассказывал вдохновенно, остаться равнодушным было невозможно, его засыпали вопросами. Постепенно разговор перешел на другую тему – последнюю заграничную встречу Сергея Петровича с дочерью Ф.И. Шаляпина Мариной Федоровной. Надо заметить, что свое отпускное время и деньги он всегда тратил на туристические поездки за границу, где, если представлялся случай, встречался с людьми искусства. Помню, как он радовался, что возможность выехать за границу ему, журналисту, в стране появилась.

Свидетельством тому очерк «В Риме у дочери Шаляпина» (альманах «Земляки», Нижний Новгород, 2013). Несколько раз созванивался, договорились о времени встречи. Наконец, он в доме Марины Федоровны Шаляпиной в центре Рима. Ей за 90, она последняя оставшаяся в живых дочь великого певца. На известном живописном портрете Бориса Кустодиева – великий певец и вместе с отцом Марина и ее старшая сестра Марфа. На портрете Марина держит в руках игрушечную обезьянку. Эта обезьянка и сейчас хранится в доме дочери писателя как реликвия, как память о детстве, когда семья была вместе. Вот Марина Федоровна берет в руки игрушку, вспоминает истории из детства, смахивает невидимую пыль и осторожно возвращает на место. Рассказывает, каким ей запомнился отец, какая черта его характера была главной: «Честность. Я думаю – честность. Честность по отношению к работе, к жизни, к красоте, даже к мыслям. Поэтому он и из России уехал»; «Он был очень добрый. Никогда на нас не кричал. Если же был недоволен, говорил только: “Ты зачем это сделал? Вот это не надо делать…” И нам хотелось провалиться сквозь пол»…

Марина Ивановна оказалась разговорчивой, доброжелательной. Обсуждали разные темы: молодой Ф. Шаляпин в Нижнем Новгороде в гостях у семьи М. Горького, в их доме у него есть своя комната. И все-таки…

Известно о большой дружбе и о разрыве отношений между двумя великими деятелями искусства Ф. Шаляпиным и М. Горьким. Как вспоминал С.П. Чуянов: «Мне надо было набраться духу, чтобы спросить об отношениях ее отца с М. Горьким». Получилось, что Марина Федоровна заговорила сама: «Горький приезжал в гости часто. Я видела и сидела у него на коленях. Он же был моим крестным отцом. Моим или моей сестры: нас вместе крестили».

Марина Федоровна унаследовала от своего отца и честность, и прямоту характера, потому и говорила журналисту из Нижнего Новгорода все как было: «Я знаю, что папа Горького очень-очень любил до последнего. Потому что был честным. Если он кого-нибудь любил, он знал, почему так любит. Знаете, бывает так: сегодня любит, а завтра не любит, а еще и предаст. Папа таким не был. Вот Горький – да».

Сергей Петрович Чуянов в своих увлекательных устных и письменных рассказах открывал нижегородцам удивительные факты из жизни талантливых людей, неизвестные ранее имена мастеров, обогащая нас этими знаниями. Для встреч со своими героями для него не существовало ни границ, ни расстояний, ни других сложностей. Всегда быть в пути – для него главное. Так жил Сергей Петрович Чуянов, таким он остался в нашей памяти.

Вениамин ХАНОВ

АЛЫЕ ПАРУСА МЕЧТЫ И ЖИЗНИ

литературоведа Вячеслава Васильевича Харчева

Не одно поколение студентов-филологов Горьковского педагогического института с особой теплотой вспоминает профессора кафедры литературы Вячеслава Васильевича Харчева. Вся его жизнь была связана именно с педагогическим институтом, так как основной своей задачей он считал воспитание будущих учителей русского языка и литературы. Уже во внешности Вячеслава Васильевича было нечто необычное, примечательное. Крепкий и статный, он во многом напоминал могучего русского богатыря. Даже в его рукопожатии чувствовались основательность, надёжность. Однажды на моих глазах он без особого труда разогнул подкову. Позднее я узнал, что один из предков Харчева был бурлаком и не раз прошёл Волгу с бурлацкой артелью. Даже взгляд Вячеслава Васильевича выражал душевную силу и мощь.

В самом начале обучения в педагогическом институте мы узнали, что на четвёртом курсе нас ждёт встреча с одним из самых талантливых исследователей литературы, причём имя этого учёного известно не только в нашем городе, но и за его пределами. Речь шла именно о Вячеславе Васильевиче Харчеве. Старшекурсники с восхищением говорили о его большой эрудиции, отмечали мудрость суждений, душевную отзывчивость, заботу.

На заключительном четвёртом курсе В.В. Харчев читал лекции по современной литературе и рассматривал

творчество В. Астафьева, В. Белова, Ю. Трифонова, В. Шукшина, Ч. Айтматова... Однако многие студенты обратили внимание на то, что он часто упоминает повесть А. Грина «Алые паруса», хотя впервые она была опубликована в далёком 1923 году. Все хорошо понимали, что эта книга – любимое произведение Харчева. И действительно, именно эта повесть А. Грина, полная романтики, являлась зовом сердца Вячеслава Васильевича, мелодией его души. Харчев говорит в автобиографии: «Основное увлечение в литературе – А.С. Грин». Первая книга, опубликованная Вячеславом Васильевичем, посвящена анализу творчества его любимого писателя: «Поэзия и проза Александра Грина», Волго-Вят. кн. изд., 1975. Именно произведения этого талантливого художника слова исследовал Харчев в своей кандидатской диссертации. С особым вдохновением читал он лекции и по учебной дисциплине «Русская литература XX века».

Наконец, наша встреча с Вячеславом Васильевичем состоялась. И уже на первой лекции, отметив важность выбранного нами пути, он прочитал несколько строф из поэтического цикла Н. Гумилёва «Капитаны»:

Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведал мальстремы и мель.

Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса, –
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернёт паруса.

Разве трусам даны эти руки,
Этот острый уверенный взгляд?..

Прочитав эти строфы, Вячеслав Васильевич сказал: «Желаю, чтобы в бушующем море жизни и литературы вы всегда были смелыми капитанами. Открывайте и упорно исследуйте новые миры в словесном творчестве. Уверенно создавайте в литературе и свои миры. Никогда не

забывайте о созидании. И главное – раскрывайте красоту искусства слова и человеческих отношений ученикам. И никогда не теряйте свой острый, уверенный, влюблённый в жизнь взгляд. Никогда не свёртывайте ваши алые паруса надежды и мечты».

Что же обусловило научные интересы Харчева, его стремление ко всему необычному, яркому, высоконравственному? Почему в его душе всегда были распахнуты алые паруса мечты? Многие увлечения, склонности будущего литературоведа сложились уже в ранние годы. Так как же начинался жизненный путь В.В. Харчева? Вот что он пишет об этом в автобиографии:

«Родился 11 декабря 1930 года в городе Бор Горьковской области. Самое сильное впечатление из раннего детства – рассматриваю картинки в книге, которую читает мама. Название книги «Капитанская дочка». С этого момента возникла страстная жажда читать. Были военные годы, отец – на фронте, мать – на оборонных работах. А мы, мальчишки, предоставленные сами себе, по вечерам у печки, а то и при лучине, читаем «Остров сокровищ», «Дон Кихот». И потом горячо обсуждаем. Не было большего наслаждения, чем эти вечерние часы. Забыты голод и холод, собственная бесприютность: ведь с нами лучшие герои человечества. Ничего не стоило босиком по осенней грязи пробежать десять километров за «Гамлетом», которого давали на два дня. Когда потом передо мной открылась Ленинская библиотека, я почувствовал себя счастливым. Ходил в неё, как на праздник. И никогда не было для меня слова сладостнее и желаннее, чем «литература». Даже девичьи имена не имели такого магического смысла и звучания, как это слово. Сейчас смешно вспомнить, однако в школе при ответе на неизбежный вопрос «кем хочешь быть?» сразу же сказал: «Литературным критиком». Ни разу не встречал никого, кто в детстве хотел бы стать критиком. Но от исследования литературных произведений ещё отделяли многие годы.

Особой проблемы, куда пойти учиться после окончания школы, не было – туда, где литературу изучают. Поступил на филологический факультет Горьковского университета.

С наукой о литературе знакомили С.А. Орлов, А.Н. Алексеева. Особенно же благодарен И.И. Ермакову. Потряс навсегда. Читал он «Русскую литературу XX века» по-своему, оригинально, глубоко. После окончания университета преподавал русский язык и литературу в Кунгурском лесотехническом техникуме. Потом работал в Горьковском областном культпросветучилище. Здесь и познакомился с будущей женой – Идой Григорьевной Ратнер. С 1964 года, окончив заочную аспирантуру и защитив кандидатскую диссертацию под научным руководством И.И. Ермакова, стал преподавать в Горьковском пединституте. С этого времени и занялся основательно литературоведением и литературной критикой».

На филологическом отделении педагогического института В.В. Харчев наряду с профессорами М.Я. Ермаковой и Л.М. Фарбером являлся для студентов важнейшим центром притяжения. Его постоянно окружали молодые люди, с которыми признанный мэтр науки вёл беседы о проблемах современной литературы. При этом речь шла и о творчестве горьковских писателей и поэтов. И все собеседники Вячеслава Васильевича поражались глубине его знаний.

Все чувствовали его душевную открытость, искреннее желание помочь решить возникшие вопросы. Под научным руководством Харчева студенты писали дипломные работы о творчестве В. Астафьева, М. Булгакова, Е. Замятина, и все эти исследования выпускников по решению экзаменационной комиссии получали самую высокую оценку. Причём и лекции Вячеслава Васильевича, и его статьи, и написанные под его руководством дипломы содержали вопросы, связанные с духовным формированием человека, с воспитанием его совести. Примечательно, что одна из книг, опубликованных Харчевым, так и называется «Воспитание совести».

Вячеслав Васильевич часто называл литературу «историей человеческих сердец» и обращался к понятию «народная нравственность». Именно народная нравственность являлась истоком, содержанием и пафосом его исследований. Она естественным образом была частью

его души, пламенем его сердца. Она пронизывала всё его сознание и плоть. Недаром он любил цитировать поэтические строчки А. Люкина: «Об этом счастье с детства я узнал: что людям дал, тем и богаче стал». Обращался порой Вячеслав Васильевич и к суждению А. Майкова, выраженному им в одной из поэм:

Жизнь хороша, когда мы в мире
Необходимое звено,
Со всем живущим заодно;
Когда не лишний я на пире;
Когда, идя с народом в храм,
Я с ним молюсь одним богам…

Вячеслав Васильевич следовал этому выработанному веками принципу. Для него жизнь – это взаимная любовь, товарищество, счастливая семья и, конечно же, труд как незаменимый источник материального достатка и всех благ. Вместе с тем, по утверждению Харчева, важную роль играет в жизни и литературное творчество. И если оно отвечает высоким требованиям, то становится «хлебом и солью» для людей.

Вячеслав Васильевич Харчев всю свою жизнь и посвятил литературоведению и литературной критике. И он совершал открытия. В частности, именно Харчев открыл читателям неповторимый художественный мир А. Грина. Во многом именно он ввёл этого замечательного писателя-романтика в мир большой литературы. В итоге повесть Грина «Алые паруса» стали изучать в школе. Вячеслав Васильевич всегда решительно утверждал: «Считаю, что для воспитания души Грин просто необходим». Порой обращался Харчев и к известному выражению: «Едины парус и душа». При этом он подчёркивал: «Именно душа является алым парусом для человека. Именно она указывает ему путь в бушующем океане жизни».

В.В. Харчев публиковал статьи и рецензии о современных писателях и поэтах в журналах: «Русская литература», «Москва», «Наш современник», «Литературное обозрение»,

«Молодая гвардия», «Волга», «Урал», «Уральский следопыт», «Север». Исследуя творчество В. Астафьева, В. Белова, Ю. Бондарева, он вместе с тем обращался и к произведениям писателей-нижегородцев: А. Бринского, И. Бережнова, В. Рыжакова, А. Цветнова. Тем самым критик стремился ввести их творчество в мир большой литературы. По сути дела, в поле зрения Харчева находился весь современный ему литературный процесс. А писатели-нижегородцы представали на этом общем фоне как важное звено, неотъемлемая органическая часть.

Активно обращался Харчев и к творчеству поэтов-нижегородцев: Ю. Адрианова, А. Люкина, Ф. Сухова, В. Шамшурина, М. Шестерикова... При этом критик подчёркивал, что в мире поэзии не громкий голос, а эстетическая мера, вкус и мудрость создают весомость. Отмечал он и то, что стихам должна быть свойственна душевная проникновенность. Вот поэтому, читая лирические откровения, человек «расцветает душой». Обращаясь вслед за Ю. Адриановым к народным промыслам, Харчев утверждал, что в них выражена вековая мечта людей – приблизить мир к искусству, измерять его мерою прекрасного. Причем идея красоты, идея прекрасного пронизывает всю жизнь человека: и его физический труд, и словесное творчество. При этом всюду нужны свои мастера, создания которых остаются в веках. И цитировал замечательные стихи Ю. Адрианова:

Граду Китеж не пришёл конец:
Расселился по заволжским весям,
В Хохлому, в цветастый Городец,
В птицу Сирин корабельной рези.

. . . . .

Вы налейте радость солнца в тело дерева,
Чтоб изба-то наша стала краше терема.

Исследуя творчество поэтов-нижегородцев, Харчев порой восклицал: «То, что хорошо написано, никогда не надоест и не устареет!». Эти суждения подтвердило время. Художественный мир Ю. Адрианова, А. Люкина,

В. Шамшурина и других мастеров слова до сих пор привлекает любителей поэзии.

Для студентов, особенно увлечённых литературой, Вячеслав Васильевич организовал на факультете Клуб любителей книги, где знакомил нас со своими исследованиями забытых писателей-нижегородцев: протопопа Аввакума, Б. Белозёрова, Ф. Желтова, Г. Устинова... А мы высказывали свои суждения. Позднее статьи Харчева о творчестве этих писателей составили его книгу «Нижегородская Атлантида», за которую был удостен премии города Нижнего Новгорода.

Помимо интеллектуальной глубины обладал Харчев и душевной красотой. Поэтому многие называли его «душа-человек». Ко всем студентам он проявлял неподдельное участие и в каждом из нас стремился зажечь творческий огонёк. Поддерживал Вячеслав Васильевич и наше стремление писать стихи, утверждая: «Где жизнь – там и поэзия. Нет магии сильней, чем магия слов». Начинающие поэты факультета именно к Харчеву несли свои первые стихи: ему было свойственно особое трепетно-бережное отношение к лирическим откровениям молодых авторов, и некоторые заседания Клуба любителей книги посвящались обсуждению стихов начинающих поэтов.

Лекции В.В. Харчева оказали большое влияние на формирование студентов – филологов. Важную роль сыграло в их судьбе и занятие литературным творчеством в Клубе любителей книги. В итоге многие выпускники филологического факультета стали не только искусными учителями-словесниками, но и известными журналистами, писателями, поэтами, учёными. В частности, Г.П. Чесноков на протяжении многих лет работал заместителем главного редактора газеты «Нижегородская правда». Участница клуба Ольга Николаевна Савинова, моя однокурсница, стала доктором политических наук, профессором, заведует кафедрой журналистики в Нижегородском госуниверситете имени Н.И. Лобачевского. Другой участник клуба, тоже мой хороший знакомый, Александр Николаевич Лушин в звании полковника полиции работает в Нижегородской академии МВД России. Это талантливый учёный

и педагог, профессор, известный историк, краевед и писатель, лауреат премии Нижнего Новгорода. Необходимо заметить, что сын А.Н. Лушина – Антон Александрович Лушин, ветеран МВД, добровольцем ушёл на Специальную военную операцию, где погиб при исполнении воинского долга.

Являлся участником Клуба любителей книги и другой мой однокурсник – Сергей Николаевич Барсов, работавший впоследствии заместителем главного редактора журнала «Нижний Новгород». Активно посещал занятия клуба и Валерий Павлович Поляков, который стал моим самым близким другом уже с первого курса педагогического института. Окончив вуз, он десять лет проработал учителем русского языка и литературы в Якутии, в городе Тикси, а затем вернулся в родной Чкаловск. По сложившимся обстоятельствам ему пришлось сменить профессию, и он получил должность заместителя начальника Чкаловского РОВД.

И с преподавателями, и со студентами да и со всеми окружающими Вячеслав Васильевич был очень внимателен и вежлив. Но с особой теплотой и деликатностью он относился к старшекурсникам. Так, на заключительном четвёртом курсе он многих студентов называл по имени и отчеству, тем самым выражая к нам особое уважение.

Работая на кафедре литературы, Харчев активно общался с другим преподавателем, однокурсником по университету – Александром Леонидовичем Ященко. Их дружба была дружбой на всю жизнь. Вместе с тем у Вячеслава Васильевича сложились тёплые уважительные отношения и с Леонидом Моисеевичем Фарбером. Они часто беседовали о современной литературе, о творчестве нижегородских писателей и поэтов. И однажды, уже став преподавателем кафедры, я услышал их занимательный разговор о гонорарах, получаемых за публикации. Озорно улыбнувшись, Леонид Моисеевич сказал: «Получку, разумеется, я всю отдаю жене. А гонорар, будьте добры, кладу в свой карман». «Так я делаю точно так же», – ответил Вячеслав Васильевич. И они рассмеялись. Как удивительно хороши они были в эти минуты! Словно вернулись в отшумевшие

годы молодости... Когда Леонид Моисеевич очень рано, на 61-м году, ушёл из жизни, то Харчев с глубокой горечью сказал: «Вот кого очень, очень жаль! Это был удивительно талантливый учёный. Именно с ним было интересно поговорить о литературе».

Харчев, по его собственному признанию, не расставался с книгой даже во время еды. Однако это вовсе не означает, что Харчев был учёный-сухарь: бездушный, чёрствый человек. Наоборот, он обладал отзывчивой, всех согревающей, солнечной душой. Вячеслав Василевич являлся прежде всего романтиком. Он идеализировал людей и весь был наполнен мечтами. В одной из бесед он прочитал мне двустишие персидского поэта Захириддина Бабура:

Нам нравится подчас то больше, что вдали:
Друг, что далёк от нас, дни, что давно прошли.

Прочитав эти строки, Вячеслав Васильевич глубоко вздохнул и сказал: «Эх, Вениамин, как порой хочется вернуться в ушедшую юность. Вновь почувствовать радость, счастье молодости, побеседовать с товарищами, погрузиться в очарование мечты. Где они теперь, друзья моих студенческих лет? Куда ушли эти дни? Ведь это было самое настоящее лазурное царство!». Вячеслав Васильевич прикрыл глаза и замолчал. Он всегда был устремлён к прекрасному. В его сердце постоянно жила надежда на лучшее. А над его мощной, богатырской фигурой были распахнуты алые паруса мечты и веры.

Вячеслав Васильевич Харчев предстал перед нами прежде всего как талантливый литературовед, которому были свойственны романтические устремления. Однако со временем перед нами раскрылась и другая сторона жизни Вячеслава Васильевича: его любовь к теплу родного очага, семейному теплу. У Харчевых подрастала дочь Анна, которой они были безмерно рады. Недаром её имя в переводе означает «благодать». Именно ощущение благодати вносила Аня в семейный круг. По рассказам главы семейства, было и чтение книг вслух, и рисование красками, и проведение новогодних ёлок, и даже сочинение стихов.

И однажды во время очередной встречи Вячеслав Васильевич прочитал стихотворение, посвящённое им ещё маленькой дочери.

Анна после окончания школы поступила на филологический факультет педагогического института, защитила впоследствии кандидатскую диссертацию по филологии. Влияние словесности оказалось в итоге столь велико, что свою судьбу Аня связала с нижегородским поэтом Евгением Эрастовым. Это оригинальный талантливый мастер яркого, образного слова. Я неоднократно приглашал его в педагогический институт на встречи со своими студентами-филологами, поклонниками всего, что «стройно, звучно, нежно». В настоящее время Анна Вячеславовна преподаёт русский язык в Китае. Сын Эрастовых Игорь с женой живут в Санкт-Петербурге. С ними Анна Вячеславовна поддерживает тесную связь.

Заканчивался наш последний, четвёртый год обучения в пединституте. Сдав зимнюю сессию, мы пригласили Вячеслава Васильевича к себе в общежитие на улице Бекетова. Нам хотелось вместе с любимым преподавателем встретить замечательный студенческий праздник Татьянин день. Харчев согласился. И вот в назначенное время в нашей родной 532-й комнате собрался небольшой круг друзей. Было, разумеется, «шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой». Было и чтение собственных стихов.

Продолжались зимние дни нашего последнего года обучения в институте. И вот однажды у меня возникла острая необходимость проконсультироваться у Харчева, чтобы написать статью о поэзии Валерия Шамшурина. И я оправился к Вячеславу Васильевичу на Бор, где он проживал в родительском доме, расположенном недалеко от Волги. Наша беседа затянулась, и в итоге я опоздал на последний автобус, идущий в Горький. Однако мне нужно было обязательно вернуться в общежитие. И тогда Харчев посоветовал доехать до берега Волги и перейти её по льду. «Так делают многие», – сказал он. Вместе с другими опоздавшими я добрался до берега и отправился в дальнейший путь по тропинке между льдинами. Какой это был удиви-

тельный переход! Бодрил и щипал лёгкий мороз. А впереди, на горе, призывно мигая огнями, сиял любимый город. Я шёл и думал о Харчеве, о творчестве В. Шамшурина, о необъятном небе, щедро усыпанном звёздами и ласково укрывшем землю. И вдруг я вспомнил, как Вячеслав Васильевич признался мне в том, что его любимыми поэтическими строчками В. Шамшурина являются следующие:

Земля и небо – всё кругом
Такой сияло красотою,
Что мне хотелось стать звездою
Или раскрывшимся цветком.

И тогда я подумал, что то же самое можно сказать и о самом Харчеве. Это он является сияющей звездой в науке о литературе и критике. Это он, имея светлую отзывчивую душу, предстаёт перед нами, словно распустившийся приветливый цветок.

Вместе с тем, слушая лекции Вячеслава Васильевича, читая его книги, беседуя с ним, мы воспринимали его как нечто великое, могучее. Даже в его внешности было что-то богатырское. И в этом богатыре билось пламенное чуткое сердце. Он умел прощать. С уважением относился к ближнему. Советовал нам никогда не бояться трудностей и постоянно стремиться к совершенству. «Дорогу осилит идущий», – уверенно утверждал он. И я вспомнил, что в родительском доме Харчева и в его городской квартире на скромных божницах всегда сиял образ Христа. А рядом с ним находились и другие иконы. Вспомнилось мне и мудрое суждение Фёдора Достоевского, к которому порой обращался Вячеслав Васильевич: «Всякая нравственность выходит из религии, ибо религия есть только формула нравственности».

И вот наступило последнее занятие у любимого преподавателя на заключительном, четвёртом курсе нашего обучения в институте. В конце лекции мы горячо поблагодарили Вячеслава Васильевича за внимательное, доброжелательное отношение к нам. В конце этой встречи мы подарили любимому преподавателю букет цветов и вручили посвящённое ему стихотворение:

А потом группой из трёх студентов мы спустились с площади Минина вместе с Харчевым к Волге и посадили его на фильянчик. Любимый Учитель оправился в родной ему город Бор. Это были глубоко волнующие, невероятно трепетные минуты.

Проводив Вячеслава Васильевича, мы повели разговор о нём и о других преподавателях, о тех, «кто создал нас», кто «воспитал наш пламень». Это и профессора: М.Я. Ермакова, З.Е. Либинзон, Л.М. Фарбер. Это и доценты: О.Л. Мощанская, А.Н. Орфанова, В.Г. Ермушкин, А.А. Тиховодов, А.Л. Ященко.

После окончания института я три года отработал в Якутии учителем русского языка и литературы. Когда я вернулся в Горький, то по рекомендации именно Харчева меня пригласили в родной институт на должность ассистента кафедры литературы. В итоге я снова оказался рядом с одним из самых эрудированных и талантливых преподавателей. Вновь передо мной распахнулась его солнечная душа. Опять я почувствовал его внимательное, заботливое отношение.

Шло время. Я по-прежнему активно общался с Харчевым и неоднократно приезжал к нему на Бор. Передо мной раскрылись новые свойства его натуры. Оказывается, он был не только талантливым учёным-литературоведом, но и любящим заботливым сыном. Так, по сложившимся обстоятельствам Вячеславу Васильевичу долгие годы пришлось ухаживать за своей престарелой матушкой, которая в нём души не чаяла. При этом все хозяйские дела по дому выполнял он сам. Приходилось Харчеву заниматься и огородом. Порой я помогал ему копать землю, собирать ягоды смородины и крыжовника. А он занимался заготовкой солений на зиму: закатывал банки с огурцами и помидорами, квасил капусту. Меня восхищало, что Вячеслав Васильевич умеет делать всё. Иногда ко мне подходили соседи Харчева и отзывались о нём с большим уважением, говорили, что он всегда откликается на любые просьбы и во всём помогает: «Да он у нас и швец, и жнец, и на дуде игрец!» И я осознал, что Вячеслав Васильевич Харчев всем сердцем неразрывно связан со своей малой роди-

ной. Именно она является для него живой водой небесных колодцев.

После увольнения из института Вячеслав Васильевич тяжело заболел и вскоре умер. Ему только что исполнился 71 год. Последний день жизни Харчева, по словам его жены Иды Григорьевны, был удивительно солнечным. И вдруг в комнате, в которой находился Вячеслав Васильевич, засияли лучи, словно приглашая его в иной светлый путь…

О Вячеславе Васильевиче Харчеве можно словами Пушкина сказать: «Он создал нас, он воспитал наш пламень, поставлен им краеугольный камень». По сути дела, Харчев представляет собой образ русского человека в максимальном его проявлении. Поэтому вполне закономерно, что в городе Бор одна из улиц названа его именем.

Неумолимо идут под уклон уже поседевшие наши годы. А мы порой вспоминаем, как ещё будучи студентами, провожали на фильянчик любимого преподавателя. И вдруг в нашем сознании возникает яркая картина. Мы видим, как на палубе плывущего по Волге фильянчика стоит могучий талантливый человек земли русской и машет нам рукой. Он светло улыбается. Завораживающим приветливым лучом сияет его улыбка. А над ним раскинулось бездонное голубое небо, и кружат белокрылые чайки, которых он любил угощать. Трепетная радость и горькая печаль наполняют наши сердца. Но вдруг кажется, что над этим, словно летящим над Волгой фильянчиком, вот-вот взметнутся алые паруса, символизирующие неутомимое, вечное стремление Человека к творчеству, к новым свершениям.

Алена БАИКИНА
Выкса

В КОНЦЕ АВТОГРАФА НЕИЗМЕННО ПИСАЛ: «ДУШЕВНО»

О Валерии Шамшурине – поэте, наставнике, человеке

Дождь лил с утра. По асфальту текли не ручьи – реки. «Ни одной сухой нитки – это теперь про меня», – так я думала, стоя перед окрашенной странной розовой краской дверью. Улица Минина, дом 4. Не хватало мужества дотронуться до массивной ручки. «Либо сейчас – либо никогда!» – и я потянула на себя тяжелую створку.

Коридор. Надпись: «Отдел поэзии». Я выдохнула, шагнула в кабинет и, не поднимая глаз, выпалила: «Здравствуйте! Я поэт!»

Мне 21 год. С волос, легкого розового платья, наброшенной на плечи мужской болоньевой куртки стекает под ноги вода. Вокруг голубых, насквозь промокших тапочек уже образовалась лужица… В модной (но тоже основательно подмоченной) сумке-банане, заботливо упакованная в целлофановый пакет, лежала здоровенная, размером с амбарную книгу, тетрадь стихов.

Из всего произошедшего дальше значение имеет только один эпизод. Руководитель отдела поэзии Горьковской писательской организации Александр Тюкаев, оказавший «мокрому провинциальному самородку», как он сам потом шутил, всяческую поддержку в виде горячего чая и успокаивающих речей, сказал:

– А стихи пусть Шам посмотрит.

Я удивилась. Вроде мой новый знакомый не шепелявил. Но переспросить, кто посмотрит, не посмела.

– О! А вот и Шам! – сказал Александр Константинович, указывая на стремительно приближавшегося к нам мужчину. – Валерий Анатольевич! Тут вот девушка приехала… Стихи привезла.

На меня в упор смотрели темные, пронзительные, мне показавшиеся очень острыми глаза:

– Откуда? А, из Ветлуги… Ветлуга – это хорошо. Ветлужский край богатый…

И ушел.

Так я впервые увидела Валерия Шамшурина. Его имя мне тогда ничего не говорило.

В следующий раз мы встретились через 15 лет, осенью 2005 года. Выксунская делегация молодого литературного объединения «Слово» второй раз приехала на масштабный фестиваль «Ока литературная» в Павлово. Я шла здороваться к знакомым, и вдруг...

– Ой, Саша! Тюкаев! Ой… Здравствуйте, Валерий Анатольевич!

– Алена из Ветлуги? Здравствуйте-здравствуйте!

– Я теперь из Выксы.

– Я знаю Выксу. Прекрасный город. Я там был в музее, на заводе. У меня даже стихотворение есть. Потом, после мероприятия расскажу.

Глаза те же темные, пронзительные. Но смотрит мягче. И улыбается, будто мы только вчера общались. Я долго думала потом: как он запомнил меня? Тюкаев объяснил: Шамшурин сборники фестивальные редактировал. И еще после нашего выступления на второй «Оке» про меня речь зашла. Мол, была такая, насмешила весь Союз своим появлением. А через год пропала. Но, надо же, писать не бросила да и в творческом плане выросла.

О Шамшурине тогда в нашей литературной среде говорили много. Больше как о редакторе. Суров, категоричен. Многие на него обижались: правил безжалостно, безапелляционно. Резал по живому. Любимчиков

продвигал. До сих пор не знаю, как мне повезло оказаться в их числе.

На самом деле Валерий Анатольевич тогда много работал с провинциальными (не качественная, а чисто географическая категория) литературными объединениями. «Слово», созданное в Выксе в 2003 году, его заинтересовало. И еще через год в том же Павлове, на той же «Оке литературной», он сказал:

– Алена, брось уже ты этот «кружок кройки и шитья». Надо серьезным делом заниматься. У вас есть хорошие ребята. В Союз вас надо готовить. Вот этим и займись.

В ноябре 2006 года председатель Нижегородского отделения Союза писателей РФ Валерий Шамшурин и член Союза писателей РФ Владимир Жильцов приехали в Выксу. Местные СМИ писали: «Гости побывали на развалинах Троицкого собора, удивились великолепию Христорождественской церкви, пообщались с благочинным отцом Геннадием, прошлись по парку и плотине Верхнего пруда. А главное – встретились с самодеятельными авторами лито «Слово» и просто заинтересованными людьми».

На самом деле в центральной библиотеке, при которой было создано литературное объединение, решался вопрос организации в Выксе семинара молодых писателей Поволжья. Шамшурин взял на себя сложнейшую задачу: собрать в небольшом, не слишком удобно расположенном городке необходимое для кворума число секретарей СП РФ. Сумел обаять выксунскую администрацию. С начальником управления культуры Юрием Жулиным у них нашлась масса общих тем. На мои ахи, охи и страхи мэтр спокойно отвечал:

– Все будет хорошо. Ты справишься.

Неизменный секретарь, супруга Тамара Александровна, отвечала в трубку:

– Да, Алена, дома. Для Выксы он есть всегда. Он вас любит.

Когда мы приезжали с вопросами и трудностями, Валерий Анатольевич вникал в детали, давал советы. И между делом рассказывал о своих проектах, готовящихся к выходу книгах, о встречах, поездках, планах. А мы сидели и пе-

реглядывались: как у него сил на все это хватает?! Вообще мыслимо ли, чтобы одни человек столько успевал.

Сам редактировал мой первый сборник. Я все ждала, когда же проявится его жесткая позиция, когда же он начнет «резать по живому». Ничего подобного. Мягко, аккуратно:

– Ты вот здесь посмотри. Сама подумай…

А однажды сказал фразу, которую я потом много раз повторяла своим молодым (и не очень) начинающим авторам:

– В конце концов, это твоя ответственность. Напечатают книгу, и уже поправить ничего будет нельзя. Поэтому ты должна быть уверена в каждом стихотворении, в каждой строчке. Чтобы потом не стыдиться своего сборника.

Написал вступительное слово. Не то чтобы хвалил. Скажем так: отметил. Благословил.

Много работал с выксунским прозаиком Анатолием Пантелеевым. Тут завязалась настоящая дружба. Лес, рыбалка, охота, местные легенды, «богатая крепкими натурами старина и деятельными личностями новизна» – и творчество, и характер Анатолия Сергеевича импонировали Шамшурину. Вступительное слово к очередной книге автора получилось очень теплым.

Нижегородский альманах «Земляки», увидевший свет в конце 2007 года, имел подзаголовок «Выксунский прорыв». Да, на семинаре, где обсуждали рукописи почти тридцати участников, семь получили рекомендации в Союз писателей. Среди них трое выксунцев: ваша покорная, прозаик Анатолий Пантелеев и поэт Наталья Сынкова.

А когда все закончилось, Шамшурин хитро так поглядел – умел он с прищуром, голову слегка наклонив, не поймешь: шутит или серьезно говорит… И спросил:

– На следующий год потянем еще один семинар? У тебя там вроде народ остался перспективный.

Я, где стояла, там и села.

Потянули, конечно. С этаким-то мотором. Валерию Анатольевичу нездоровилось, у него болел желудок, все мои попытки угостить его выксунскими разносолами он пресекал и просил овсянку. Но работал с утра до вечера,

не щадил ни себя, ни авторов. Тогда в Союз писателей был принят выксунец Владимир Белов. И, кстати, на том семинаре рекомендацию получила молодая поэтесса из Новокуйбышевска Карина Сейдаметова. Да-да, та самая, что сейчас возглавляет журнал «Наш современник».

Шамшурин потом шутил, что мероприятие «слава Богу и Алене, все равно, невзирая на погоды, провели». Много хвалил сотрудников центральной библиотеки, которые разделили с нами все организационные трудности что первого семинара, что второго.

– Везде бы так библиотеки работали! – и для каждой сотрудницы, прощаясь, нашел слова признательности.

Есть в моем дневнике грустная запись, сделанная в 2010 году: «Звонила Шамшурину. Тамара Александровна сказала: 8 ноября был инфаркт, оперировали. Теперь в госпитале. Блин…»

А в 2011 вышел сборник «Болдинское братство». Поэтическая антология, куда вошли стихи участников Пушкинских праздников в Большом Болдине. Составитель – Валерий Шамшурин.

«Энерджайзер», – думала я о нем иногда.

– А я как раз про вас пишу, – рассмеялся как-то в трубку вместо приветствия. – Погоди, скоро увидишь! Отличная книга получается.

Речь шла о «Нижегородском притяжении». Валерий Павлович показывал нам с Анатолием Пантелеевым снимки замечательного фотографа Владимира Алексеева, которые отобрал для книги.

«Когда я думаю о Выксе, вспоминаю ее – на сердце становится тепло!» – так Шамшурин ответил на наше поздравление с 80-летием.

Перебираю его книги с автографами. «Алене, Александру, Елизавете…» Всю семью знал, обязательно передавал привет супругу, справлялся об успехах сына и дочери. А в конце каждого автографа неизменно писал: «Душевно». Обозначал высшую степень сердечной близости.

Да, именно таким он для нас, его выксунских «любимчиков», и остался. Душевным, мудрым наставником.

И стихи его, написанные в 70-е годы прошлого века, в Выксе помнят. Кстати, рифму, которая сейчас стала своеобразным арт-символом города, придумали не приезжие художники, а нижегородский поэт Валерий Шамшурин.

Я с пламенем яростным свыкся,
Которым охвачена даль.
Зарёй обожжённая Выкса
Сливает в изложницы сталь.
И жар под ногами струится,
И мечутся блики огней.
И пламя стекает на лица
Знакомых рабочих парней.
Мне видится в гуле пожаров
Омытых окалиной лет
Семи боевых коммунаров
Расстрелянный бандой рассвет.
Их души в немыслимой выси
Бессмертно сияют, горя...
И нет, не случайно по Выксе
Разлита такая заря.
И нету заре той заката.
Причастные к ней навсегда
Идут после смены ребята,
Ещё не остыв от труда.
Идут горделиво, неспоро
Хозяева этой земли
По той же тропе, по которой
Их деды когда-то прошли...

Далекое – близкое

Николай СМИРНОВ

ЛЮДИ, ГОДЫ, ВСТРЕЧИ...

Клара Степановна Лучко

Двухтысячный год. Начало июня. Я сижу в своем кабинете.

Вдруг – звонок. В трубке женский голос: «Вы Смирнов? Руководитель народных художественных промыслов?» Отвечаю утвердительно. Голос продолжает: «А я – Клара Лучко». Я делаю паузу и интересуюсь: «Кто это в понедельник с утра пораньше надо мной подшучивает?» Женский голос продолжает настаивать, что это, мол, правда Клара Лучко. Я молчу, а потом осторожно говорю, что да, все знают вас, вы – мировая знаменитость, но мы ведь раньше никогда не встречались. И мне не понятна цель звонка, создается ощущение, что меня кто-то разыгрывает. В ответ собеседница сообщает, что меня она не разыгрывает, а приглашает на свой юбилей, который состоится через месяц. Там будут самые влиятельные лица нашего государства, включая президента России, а именинница желает также пригласить и меня. «Причина, по которой я хочу видеть вас у себя на дне рождения, – говорит она, – это загадка, а разгадку вы узнаете, когда приедете ко мне на юбилей».

Поскольку все это выглядело крайне интригующе, я обратился за советом к Ивану Петровичу Склярову, в то время губернатору Нижегородской области. Тот посоветовал мне ехать. Я купил в подарок набор хохломской роспи-

си, состоящий из девяносто шести предметов и, на всякий случай, взял с собой двух крепких молодых людей. Мы сели на автомобиль и двинулись в Москву, где на Тверской в 12 часов дня нас должен был ждать помощник Клары Лучко Александр. Мы, как и обещали, подъехали в полдень, и действительно, в оговоренном месте нас встретил вежливый молодой человек, посадил в свою машину и через пять-семь минут мы оказались у одной из сталинских высоток. Я впервые увидел такое грандиозное строение и впервые же увидел консьержку, придирчиво осматривающую всех, входящих в подъезд. Мы вдвоем поднялись на восемнадцатый этаж, позвонили в одну из дверей, которая быстро открылась, и я увидел, что на пороге стоит Клара Лучко.

Хозяйка провела нас по своей квартире, и вот тогда я и понял, почему она меня пригласила – вся квартира была обставлена изделиями мастеров народных художественных промыслов, причем именно Нижегородской области. Уже сев за стол и вручив подарок, вызвавший неподдельный восторг именинницы, я спросил у нее, в чем причина такой любви к изделиям нижегородских умельцев. Актриса рассказала, что, будучи еще молодой, двадцатитрехлетней, она играла в фильме, который снимался в Горьковской области, в городе Урене. Жили они в избе у бабушки, а на выходных их возили в музеи и на предприятия народных художественных промыслов. Красота этих изделий несказанно поразила женщину. Клара Лучко встречалась с мастерами, брала мастер-классы у именитых художников, и сейчас у нее в жизни есть два увлечения – любовь к театру и кино и преклонение перед изделиями народных кудесников Нижегородской области. И действительно, в ее квартире по углам стояли вазы городецкой и хохломской росписей, на стенах висели панно тех же мастеров, скатерти изготовлены из чкаловского гипюра, на полу красовались половички из Шахуньи, а ложки с вилками были павловского и ворсминского производства.

Мы прекрасно посидели, поговорили, сфотографировались. Клара Лучко подарила мне свою авторскую книгу

с дарственной надписью. Впечатления от встречи остались самые позитивные, но на пресловутый банкет с участием российских VIP-персон, который должен был состояться вечером и на который нас пригласили, мы не остались, решив, что он вряд ли что-то добавит к этой замечательной встрече. Я впоследствии часто рассказывал с трибуны об этой истории, и всегда мой рассказ сопровождался аплодисментами зала.

Иосиф Давидович Кобзон

Дважды мне довелось встретиться с очень интересным человеком – Иосифом Давидовичем Кобзоном. Первая встреча произошла в 1980 году, когда я работал секретарем райкома партии в Ковернино. Праздников тогда было много, и отмечали их неформально, не жалея сил и времени. Так, в последнее воскресенье июня праздновался День молодежи. Мы долго готовились, на стадионе устанавливалась сцена, составлялась программа. Со всего района съезжались тысячи жителей, выступали именитые люди, самодеятельные коллективы, работали буфеты с пирожками, поражающими разнообразием начинки, подавали даже первые блюда – можно было взять уху или зеленые щи. Главным событием праздника, конечно же, считалось выступление приезжих звезд театра и эстрады. В тот раз приглашены были столичные знаменитости – Иосиф Давидович Кобзон и Петр Петрович Глебов, а также русский народный хор, состоящий из более чем ста человек, приехавших на нескольких автобусах. Представляете, небольшой райончик Ковернино, и тут такое событие! Кстати, тогда нам предлагали даже приезд Аллы Пугачевой, правда, предупредив, что мы должны выбрать одного из двух – либо Пугачеву, либо Кобзона; в один аквариум эти две рыбины не поместятся. Что поделаешь, конкуренцию на эстрадных подмостках никто не отменял…

Когда эти три группы гостей прибыли, я отправил нескольких членов райкома встречать Глебова с его подопечными и народный хор, а сам остался с Кобзоном. Погода

в тот день была замечательная, настроение у людей праздничное, приподнятое, ведь в гости к людям приехали звезды кино и эстрады, в буфете подавали изумительное бочковое пиво со свежайшими закусками, не возбранялось и сто граммов принять… Обращаясь мыслями в то время, я вспоминаю чью-то расхожую фразу: «Как же мы хорошо плохо жили».

А с выступлением Иосифа Давидовича вышел любопытный казус – планировалось, что петь он будет часа полтора, но, когда после третьей песни Кобзон сошел с эстрады, публика решила, что всё, мэтр утомился, и не стала вызывать его на «бис», как предполагалось. Таким образом, мы использовали замечательного певца всего процентов на двадцать. Затем я повел нашего гостя по сельскому поселению, а тогда еще сохранялись традиции приема высоких гостей: жители выходили нас встречать наряженные, в платочках и народных костюмчиках, с гармонями, балалайками, где у кого как. И везде своя программа – песни, пляски, а затем обязательное угощение – самогончик под хрустящие грибочки, сальцо… И тут мы обратили внимание, что сопровождающая Кобзона молодая женщина, видимо, референт, мягко, но настойчиво блокировала все попытки певца хотя бы пригубить рюмочку. Нам это показалось странным.

Потом я пригласил нашего гостя в свою квартиру, располагавшуюся на одной из центральных улиц, где в новых уютных домиках жили и инструктора райкома, и технички, и кочегары. Жилье было со всеми удобствами – тепло, водопровод, словом, все, кроме газа. Рядом с домом располагались свои огород и банька. Вот так жили в те времена.

Вечером мы повели всю делегацию в ресторан на обед. Я встал и поблагодарил гостей за внимание к нам, сельским жителям, отметил их высокий профессионализм и предложил тост за дружбу. Все выпили, а бдительная помощница опять перехватила руку Иосифа Давидовича и помешала ему поддержать тост. Выглядело это так нарочито, что мы невольно стали гадать, что не так с Кобзоном. Ведь водка в те времена была чистейшая, лучшая в мире, и все предпочитали

ее коньяку. Но пиво пить она ему разрешала. Уже провожая высокого гостя к машине, я не удержался и спросил его спутницу, чем вызвана ее непонятная бдительность? Оказалось, все просто – в семь вечера Иосиф Давидович давал концерт во Дворце спорта. Только и всего.

Вторая наша встреча состоялась в городе Семенове на фабрике «Хохломской росписи» в начале 2000-х годов. Кобзон тогда занимал пост председателя комитета Государственной думы по культуре, и этот комитет курировал художественные промыслы. Мы пригласили Иосифа Давидовича, чтобы пообщаться без канцелярщины и, разумеется, решить ряд вопросов, касающихся финансирования наших предприятий. Уже вечером, за чаем, после всех дел я спросил Кобзона, помнит ли он ту встречу в Ковернино, на что наш гость кивнул, но по его глазам я понял, что сделал он это из вежливости. Все же с той поры минуло четверть века.

А на другой день у нас состоялось совещание на фабрике с участием руководителей предприятий всех видов художественных промыслов Нижегородской области. Кобзон вел себя как заинтересованное лицо, всё воспринимал с интересом.

Но произошел забавный случай. Я выступал на том мероприятии с предложениями о поддержке промыслов на государственном уровне и в заключение передал Иосифу Давидовичу музыкальный диск под названием «Заветная глубинка» со следующими словами: «На этом диске наша известная исполнительница песен о промыслах на Нижегородской земле – Раиса Ивановна Маркова». Там были записаны шестьдесят три песни, и я предложил Иосифу Давидовичу найти время и прослушать хотя бы часть их с тем, чтобы впоследствии исполнить наиболее понравившуюся ему песню на одном из своих концертов. Казус заключался в том, что он из слов «шестьдесят три песни» услышал только «три песни», и сказал мне в ответ: «У вас разве три песни про промыслы? А я думал, что про промыслы есть только одна». Зал оценил юмор, все зааплодировали Иосифу Давидовичу, и это смягчило серьезную обстановку, которая была в зале.

Борис Ефимович Немцов

Вскоре после своего вступления на должность губернатора Борис Ефимович Немцов назначил меня председателем Комитета по полиграфии Нижегородской области. Работать я начал 9 января 1992 года. И вот в марте месяце того же года меня пригласил Немцов и сообщил, что на его губернаторской даче в Зеленом Городе живет председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский и создает там свою эпохальную программу, где пошагово расписывает, что необходимо сделать, чтобы пребывающая в глубоком кризисе Россия за пятьсот дней превратилась в цветущую Францию, используя преимущества рыночных отношений в экономике. А на субботу наш губернатор был приглашен в Казань, где президент Ельцин собирал глав всех регионов, и к тому времени у каждого из них на руках должен был быть экземпляр этой программы, а всего их надо было напечатать пятьсот штук. Обрисовав ситуацию, Немцов вручил мне напечатанный на машинке, компьютеров тогда еще не было, труд Явлинского, который по объему был более 300 страниц.

Разговор этот происходил в среду в одиннадцать часов. То есть я располагал лишь двумя днями и тем отрезком времени, который остался от среды, чтобы отредактировать, сверстать и напечатать книгу немалого объема, и это при том, что вопросами полиграфии я начал заниматься всего лишь двумя месяцами ранее. А надо сказать, что Немцов поступал очень жестко, если не выполняли его прямые поручения, тем более когда существовала вероятность опозориться в глазах первого лица государства.

Самым сильным издательством Нижнего Новгорода на тот момент было Волго-Вятское, и я немедленно позвонил его директору, чтобы рассказать о стоящей передо мной задаче, добавив, что тут имеет место прямое указание президента. Но директор сразу и в категорической форме ответил мне отказом, добавив, что неважно, чье это поручение, «хоть господабогово», но выполнить его нереально. В такие сроки да еще и на оборудовании пятидесятых годов что-то напечатать невозможно. Я побежал к управделами

губернатора, но у него в распоряжении были только ксероксы с ограниченной производительностью. Тоже не вариант. Я немедленно собрал всех своих работников, но никто, включая главного инженера, не смог мне ничего подсказать. Ситуация выглядела абсолютно безнадежной, но тут меня посетила мысль о том, что управделами администрации города Нижнего Новгорода – мой старый товарищ, знакомый мне еще по совместной работе в обкоме партии. Я бросился к нему:

«Делай что хочешь, но спасай меня, именно – спасай!» И этот человек мне все сделал… На мое счастье, месяцем раньше в администрации закупили новейшее оборудование, которого не было еще ни у кого, и только-только успели его опробовать. Другие заказы были отставлены, и в пятницу в семь часов вечера все пятьсот экземпляров «замечательной» книги Явлинского были у меня на руках.

Вспоминается еще один инцидент, связанный с тогдашним губернатором нашего региона. Где-то через полгода после истории с трудом Явлинского меня пригласил Борис Ефимович и протянул книжку стихов Баркова. Три тысячи экземпляров. Издатель – выксунская типография. Барков, современник Ломоносова, писал стихи, которые можно назвать озорными, а можно – матерными или даже похабными. В той книге неконвенциональной лексики хватало. И Немцов дал мне распоряжение – разобраться с ситуацией, почему такие книги выпускаются, директора уволить. Дело было до приватизации, и все типографии были государственными. Моя тогдашняя должность позволяла мне наказать, вплоть до увольнения, любого работника полиграфической отрасли, включая директора.

Я приехал в Выксу; директор той типографии встретил меня и сначала повел показывать свое хозяйство. Прекрасное помещение, великолепное оборудование, все новое и красивое. Потом пригласил в кабинет, где на столе красовались нарезанная колбаска, сырочек, бутылочка водки. Я сразу сказал – бутылочку убрать, разговор у нас будет неприятный. Затем протянул ему книжку и поинтересовался, зачем он напечатал такое, рассказал о реакции Немцова на публикацию. Директор побледнел, услышав, что

его хотят снять, причем даже не «по собственному желанию», а как не справившегося с работой, и рассказал, что после развала Союза финансирование практически прекратилось, выдавать зарплату, оплачивать электричество и коммуналку было нечем, как вдруг какое-то казанское издательство обратилось к нему с предложением за очень хорошие деньги напечатать эту книжку. Он согласился, на вырученные средства погасил все долги и тем самым спас типографию от закрытия. Я уже писал выше, что всегда старался нести людям только добро. Что называется, мухи не обидел. Комара. И тогда я сказал директору, что доложу Немцову о вынесении ему строгого выговора с занесением в личное дело, которого на самом деле не будет, хотя с моей стороны это и не очень хорошо. И велел тому принести мне оставшиеся экземпляры скандальной книги. Он принес. Как сейчас помню, их было тридцать штук в оригинальной упаковке.

На следующий день в кремле я встретил Ивана Петровича Склярова, с которым мы всегда находились в приязненных отношениях, рассказал ему эту историю и показал книжки, а затем попросил, чтобы он сам доложил Немцову обо всех обстоятельствах дела и о принятых мерах в виде строгого выговора. Ведь человек ничего плохого не сделал, он спас коллектив, а мат, ну что мат? Он ни для кого не является чем-то необычным. Просто, у автора такая форма изложения своих мыслей. Скляров кивнул в знак согласия и предложил оставить у него весь пакет с книгами. Я оставил и стал ждать приглашения на неприятный разговор с Немцовым, который, по моему разумению, неминуемо должен был состояться, когда тот узнает о моем поступке, но прошел месяц, другой, третий, мой выксунский знакомый часто звонил мне, благодарил, а тема эта как-то рассосалась сама собой. Через три месяца я узнал, что Немцов никак не отреагировал на доклад Склярова, только махнул рукой. А когда при встрече я попросил дать мне хоть одну книгу Баркова, Иван Петрович со смехом сказал, что все книжки растащили едва ли не в тот же день. А может, и сам Немцов прихватил себе экземпляр-другой… Сожалею, что и у меня не осталось ни одной книги.

Надежда Георгиевна Бабкина

Когда в нашем регионе организовывали выборы в Государственную думу, исполком партии «Единая Россия» пригласил меня для участия в дебатах, на что я сразу заявил, что в данном мероприятии с удовольствием поучаствую, но кандидатом в депутаты Государственной думы становиться не желаю, у меня другое видение моей будущей работы и самой жизни. Это, повторюсь, не относится к дебатам, участие в которых было для меня настолько интересным, что я всегда с удовольствием на них соглашался, причем надо отметить, что приглашения эти поступали ко мне неоднократно.

В 2011 году впервые по линии партии «Единая Россия» прозвучало слово «праймериз». Я вообще не люблю нерусские заимствования и такие слова не воспринимаю, но деваться некуда – объявили именно праймериз. Термин этот утвердили на уровне руководства партии в Москве, поэтому спорить было бесполезно. Словом, состоялись встречи, которые проводились на очень высоком информационном уровне, задействованы были все средства массовой информации, залы были переполнены, и только во Дворце культуры Автозавода присутствовало более тысячи человек.

Где бы ни проводились эти праймериз, к каждому из них я готовился очень тщательно, и вот в 2011 году меня пригласили принять участие во встрече с именитой певицей Надеждой Бабкиной, которая являлась кандидатом в депутаты Государственной думы Российской Федерации от Нижегородской области. В рамках этого события предусматривалась встреча с деятелями культуры всей нашей области. Мероприятие проходило в концертном зале «Юпитер», где зал также вмещал около тысячи посетителей. Со всех районов прибыли делегации деятелей культуры, и вот в этом переполненном зале и состоялась встреча. Бабкина отметила важность развития культуры нижегородской земли для России в целом и заверила, что если ее поддержит избиратель, то она, будучи депутатом, приложит все силы для успешного решения вопросов развития

культуры нашей области, в чем ей поможет не только будущий статус, но и ее широкая известность. Когда мне было предоставлено слово для выступления, я закончил его тем, что передал Бабкиной диск, сопроводив его такими словами: «Уважаемая Надежда Георгиевна, на этом диске записаны шестьдесят три песни о народных художественных промыслах Нижегородской области, которые исполняет наша певица Раиса Ивановна Маркова. Я бы вам предложил найти время прослушать эти записи и выбрать одну песенку, которая вам понравится, чтобы затем исполнить ее во время праймериз. Это резко поднимет ваш авторитет и значимость в глазах избирателей». Бабкина с видимым удовольствием приняла от меня этот подарок и кивнула, улыбаясь, а зал зааплодировал.

Всё бы хорошо, но затем, спустя два месяца, у нас случилось очередное мероприятие в рамках этого самого праймериз, и во Дворце культуры завода Красное Сормово состоялась плановая встреча. Зал, как и всегда, был переполнен, присутствовали губернатор, председатель Законодательного собрания, мэр города и, естественно, около тысячи избирателей. Я приехал на это мероприятие, которое было назначено на 16:00, раньше, примерно минут за сорок, меня зарегистрировали, встретили и провели в зал, где можно было скоротать время и попить чайку. Смотрю и вижу – сидит там только один человек, и это была именно Бабкина, мы с ней оказались один на один. Я спросил, помнит ли она наш разговор двухмесячной давности и тот диск с песнями о художественных промыслах? Услышим ли мы сегодня во время встречи песню с того диска?

Я ожидал положительного ответа, но все произошло иначе. Бабкина сообщила мне, что она крайне занятой человек, у нее плотный график проведения концертов по всему миру и времени для прослушивания диска у нее попросту не нашлось, поэтому исполнить мою просьбу она не в силах. Мне в ответ осталось лишь пожать плечами. Выступала Бабкина, как всегда, хорошо, но я уверен, что если бы она исполнила хотя бы один куплет из нашего диска, то кроме аплодисментов несомненно получила бы и голоса нижегородских избирателей.

Михаил Иванович Пуговкин

Однажды, будучи студентом пединститута, я вместе с сокурсницей Верой Симановской пошел в кинотеатр «Палас». Демонстрировался фильм с участием Михаила Пуговкина в главной роли, а после просмотра состоялась встреча с самим артистом. Я за свою жизнь встречался со многими великими актерами, но настолько интересной встречи что-то не припомню. Во-первых, удивила его отличная физическая форма: рассказывая о сыгранных ролях, актер демонстрировал танцы, которые ранее исполнял в фильмах. Пуговкин также разыгрывал сценки из разных кинокартин, причем менялся при этом полностью, следуя роли, которую играл. Менялось все – выражение лица, тембр голоса, пластика, а еще поражали энтузиазм и одержимость, с которыми он говорил о своей работе.

В заключение Михаил Пуговкин сказал, что в профессии актера, особенно, популярного актера, существуют две главные сложности. Первая – это невозможность сыграть все хорошие роли, которые тебе предлагают, от большинства из них приходится отказываться, что очень болезненно воспринимается как режиссерами, так и теми должностными лицами, которые ныне именуются продюсерами фильма, но другого выхода нет – невозможно одновременно сниматься в пяти-шести картинах, играя зачастую совершенно разных людей. Другая сложность заключается в болезненном процессе постоянного перевоплощения, происходящего при погружении в каждую новую роль; объяснить это состояние трудно, пока сам хотя бы раз не прочувствовал нечто подобное.

Я до сих пор с удовольствием вспоминаю о той встрече с великим артистом, хотя после нее у меня остался небольшой, не совсем приятный осадок – случайно обернувшись назад, я обнаружил, что в зале нас сидело всего семь человек. Представляете? Такой актерище выступает перед практически пустым залом. До сих пор не понимаю причины этого равнодушия – то ли зрители, пришедшие посмотреть кино, не поняли приглашения на встречу со звездой, то ли были еще какие-то обстоятельства, но, как бы то ни было,

мне довелось тогда присутствовать на удивительно красочном выступлении, запомнившимся на всю мою жизнь, несмотря на то, что видели его всего лишь семь человек.

Борис Николаевич Ельцин

В один из летних дней 1998 года меня пригласил нижегородский губернатор Иван Петрович Скляров, чтобы сообщить о скором приезде в наш город президента РФ Бориса Николаевича Ельцина. Я на тот момент возглавлял Департамент народных художественных промыслов, и моей обязанностью, в частности, было устройство профильных выставок. В тот раз Иван Петрович выделил нам большой павильон на территории ярмарочного комплекса, где мы должны были создать экспозицию, призванную поразить воображение нашего высокого гостя. Для меня эта работа была привычной, мы устраивали наши выставки, проходящие на самом высоком уровне, в Совете Федерации и в Государственной Думе, в залах Кремля, в том числе, в президентском зале.

Наша выставка, естественно, не стала исключением, там все было продумано до мелочей, но я, оставаясь верным себе, не смог удержаться, чтобы не приготовить сюрприз, о котором не знал никто, включая и руководителя нашего региона. Я рассуждал так – если Иван Петрович Скляров, назначая меня директором департамента, заявил, что ждет от меня новых идей и сюрпризов, то необходимо ему эти сюрпризы обеспечить. К назначенному дню выставка, на которой были представлены все сорок три наших предприятия, была готова. Около каждого из сорока трех стендов стояли директор и главный художник, а моей задачей было провести Ельцина по всей выставке, уложившись в отведенный мне час времени.

И вот, ровно в одиннадцать, двери павильона отворились и вошла делегация, которую возглавляли президент России и губернатор Нижегородской области. За ними шли высокопоставленные чиновники и представители разнообразных СМИ, в том числе работники телевидения, несущие свою аппаратуру. Иван Петрович представил меня президенту, и я,

вскользь обмолвившись о красоте и величии народных художественных промыслов, предложил Ельцину перед осмотром нашей экспозиции присесть на стоящий посреди зала огромный трон, сделанный из цельного куска дерева и разрисованный мастерами хохломской росписи. Это и был тот сюрприз, о котором я ничего не сказал Ивану Петровичу. Ельцин присел на трон и на его лице появилась гримаса негодования, а затем он прогудел, сильно «окая»: «А шо так жостко?» Это гневное заявление первого лица государства привело всех в ступор, так как никто не ожидал от него подобной реакции, выглядевшей крайне неуместно посреди окружавшей нас красоты. Все словно отступили, и я оказался один на один с недовольным президентом. А ведь после того, что произошло, зная непредсказуемость Бориса Николаевича, можно было в обморок упасть. То, что мне удалось не только устоять на ногах, но и мгновенно отреагировать, я отношу исключительно за счет Божьего промысла. Все происходило как во сне, но окружающие потом рассказывали, что, продолжая улыбаться, я ответил, почему-то «окая» не хуже Ельцина: «Борис Николаевич, жостко потому, что трон изготовлен из дерева, но у него аура мягкая, поскольку это кресло сделано руками мастеров, у которых теплая душа и жаркое сердце, и когда вы встанете с этого кресла, благотворная аура передастся вам, и вы почувствуете себя намного сильнее, что поможет вам в вашей трудной работе по руководству нашим государством».

Представляете, такое придумать? Повторяю, я получил этот свой ответ откуда-то сверху. Ну а Ельцин, услышав мои слова, улыбнулся, встал, погрозил мне пальцем и сказал уже совсем другим, мягким голосом: «Ну, это другое дело». Затем пожал мне руку и предложил начать осмотр выставки. Вечером, едва проводив президента с его кортежем, меня вызвал губернатор Скляров и с ходу начал отчитывать за «мои новшества», о которых я ни словом не упомянул до начала высочайшего визита. Я в ответ лишь сослался на слова самого Ивана Петровича, желавшего сюрпризов, хотя и понимал прекрасно, что если бы не сошедшее на меня озарение, то этот сюрприз, скорее всего, был бы последним, который я придумал, находясь на должности директора департамента.

Людмила ПАНОВА

ТАТЬЯНА И МАТВЕЙ

Многие годы не дает мне покоя одна история военного лихолетья… Однажды, приехав в деревню в гости к своим родителям, я пошла в соседнее село навестить маму моей лучшей школьной подруги. Был декабрьский день с ненастным небом и крупными хлопьями снега, тихо падающими на землю. Антонина Матвеевна была не только мамой моей подруги, но и землячкой моей матери. Они тоже дружили с далекой поры босоногого детства.

Тетя Тося, увидев меня из окна, вышла встречать на крыльцо своего дома. Она была рада мне, как она говорила, как будто со своей дочкой тоже повстречалась. Быстро собрала нехитрое угощение, стала расспрашивать про мою жизнь, сообщила новости о Тане, вспомнила наши школьные годы и незаметно перешла на воспоминания о своем далеком детстве и юности, пришедшей на тяжелые годы войны. Нужно отметить, что рассказчиком она была отменным. Образная речь, четкая дикция, некоторая народная напевность, присущая речи сельских жителей – точно сказку слушаешь. Время летело незаметно, а я, завороженная, слушала и слушала историю ее жизни: о ее семье, родителях, приходе немцев в родную деревню в Великую Отечественную войну, тяжелом военном времени и трудных послевоенных годах… Иногда ее рассказ прерывался от подступивших слез. Больше всего меня поразила одна история, о которой я и хочу рассказать. Это как дань памяти Антонине Матвеевне, моим родителям Антонине Александровне и Виктору Алексеевичу и всем землякам, чьи детство и юность пришлись на военные годы.

Шла осень 1941года. Татьяна вышла на крыльцо дома. Был холодный октябрьский вечер. Уже стемнело, но на западе со стороны Ржева на горизонте небо постоянно менялось:

темнота озарялась яркими вспышками, как летними зарницами. Постоянно слышался какой-то гул, который был то громче, то тише. Линия фронта все ближе и ближе.

«Идут на нас, немцы проклятые», – с тоской подумала Татьяна и вернулась в избу. Свой дом-то у них сгорел, и их приютила добрая баба Глаша, за что Татьяна была ей безмерно благодарна. Дома было тихо. Дети – старший сын, уже подросток, Павлик, 12-летняя дочка Тонечка и трехлетний Толик сидели за столом и ждали ужина. Поставила на стол чугунок с картошкой и чашку с квашеной капустой, отрезала ребятишкам по кусочку хлеба. Пригласила отужинать вместе с ними и старенькую хозяйку.

На печке лежал тяжелобольной муж Матвей, он тихо угасал от неизлечимой болезни – рака желудка. Он уже почти ничего не ел, мало двигался и только иногда тихим голосом просил пить… Татьяна присела на лавку и погрузилась в горестные думы. Как жить дальше? Что с ними будет? Вот-вот фронт дойдет до их деревни. Куда она с больным мужем и детьми? Вот Толик-то совсем маленький, пешком идти не сможет. Да и старенькую бабу Глашу жалко, ей-то тоже далеко не уйти.

А как хорошо жили-то раньше. Муж был мастером известным – валял валенки для всей округи. Не роскошествовали, но достаток в доме был. Четверо деток народили. Старшая, Настя, уже совсем невеста, 18 лет, фельдшер, где-то на военной службе, тоже воюет вместе со всеми. Как ты там, доченька родная? Сохрани тебя Господь!

После ужина Татьяна уложила детей спать всех вместе на широкую кровать и сама прикорнула рядом с ними. Проснулась она рано, затопила печку. Дети крепко спали. Подала на печку попить Матвею, он тихо постанывал от мучившей его боли. Вдруг в дверь постучали, и на пороге появился красноармеец.

– Быстро собирайтесь и уходите из деревни, – сказал он. – Немцы в соседней деревне Лыково (деревни Васильево и Лыково разделяет небольшая речка Нашига). По речке передовая фронта проходит. Мне дан приказ предупредить об этом всех жителей вашей деревни.

Красноармеец, не задерживаясь, быстро выскочил из их избы и побежал дальше. Татьяна подбежала к кровати и разбудила ребят. Сказав им, чтобы они побыстрее одевались, заметалась по избе собирать вещи. Хотелось как можно скорее убежать, спрятать детей в безопасности.

– А как же Матвей, – промельнула у нее мысль.– Ведь он не сможет с нами уйти и бросить я его не могу здесь одного, умирающего. А ребятишки? Как их спасти? Что делать? Что делать?

Она безвольно присела на лавку. Дверь открылась и вбежала соседка Нюра и с порога закричала: «Что же ты сидишь-то, не собираешься, вот-вот нашу деревню немцы займут. Слышишь, как стреляют?» С той стороны речки из Лыкова немцы начали обстреливать Васильево артиллерийскими снарядами. В избу прибежали и другие соседки. У всех были растерянные и испуганные лица. Страшно было от воя рвущихся совсем рядом снарядов.

– Да что же мы сидим, – засуетилась Нюра, – спасаться надо. Давайте хоть на огороде в яме спрячемся.

И первой выскочила из избы, за ней побежали и все другие. Сбежав с крыльца, Нюра тут же упала, раскинув руки, сраженная осколками разорвавшего совсем рядом снаряда. Один из осколков попал в правую руку Тоне, бежавшей за ней следом. Все бросились назад в избу.

– Ой, мама, больно, больно, – заплакала Тонечка.

– Сейчас, сейчас, доченька моя дорогая, сейчас я тебе помогу, – отвечала ей Татьяна. Она, не раздумывая, схватила кружевную накидушку с подушек на кровати и замотала дочке руку. Вскоре обстрел стих.

– Надо как-то выбираться, немцы скоро в деревню войдут, – говорили соседки.

– Да куда же я пойду с детьми, – отвечала им Татьяна. – Матвей совсем уже не ходит. Пусть что будет, то и будет. Останемся в своем доме.

Все потихоньку вышли из дома, и вместе с Татьяной осталась только баба Глаша и еще одна старушка. Ей уже было более 80 лет, и, как оказалось, она была одна из родственниц бывших помещиков Вульфов. Ветер военного лихолетья

занес ее в Васильево, и у нее уже не было сил бежать от войны куда-то дальше.

…Спустя некоторое время в избу вошли двое немецких солдат в касках и с автоматами наперевес. Оглядев всех с порога, увидели лежавшего под шубой Матвея.

– Партизанен, Партизанен, – закричал один из них и вскинул автомат, чтобы дать очередь. К нему наперерез бросилась старушка Вульф и громко заговорила по-немецки: Nein, nein…Er ist krank. Er hat Typhus... (Нет, нет… Он больной. У него тиф…) Немцы тут же быстро вышли из избы, видно испугавшись этой страшной болезни.

Начался снова обстрел. Теперь уже стреляли наши с тыла деревни, пытаясь выбить из нее немцев.

«Надо все-таки как-то выбираться из дома», – думала Татьяна.

Слабым голосом заговорил Матвей:

– Таня, спасай детей. Уходите. Не думай обо мне. Может, и обойдется. А то ведь погибнем все, если снаряд в дом попадет. Сохрани вас господи!

Собрав потеплее детей, Татьяна тихо, осторожно повела всех вдоль стен избы. Спрятались они в воронке на задворках. Там уже были и другие соседки со своими ребятишками, не успевшие до немцев уйти из деревни. К ночи все стихло, но становилось все холоднее и холоднее.

– Надо хоть как-то уходить из деревни. Погибнем же здесь все, – говорили бабы.

Потихоньку выбравшись из воронки, они пошли по задворкам деревни. Некоторые избы были уже полностью разбиты снарядами и сожжены. Ветер разносил клочья дыма над еще горевшими домами. Было тихо, и от этой тишины становилось еще страшнее. На конце деревни беженцы увидели уцелевший дом, и кто-то предложил: «Давайте в этом доме переночуем, а утром пойдем дальше. Куда же мы с ребятишками ночью. Вдруг на немцев нарвемся. Да и замерзли же все».

Но дом оказался закрыт Тогда сын одной из соседок Ванька сказал: «А я сейчас в форточку влезу и открою окно. И вы тоже залезете». Когда все оказались в доме, впотьмах нашли в сенцах дрова. На каржинке печки лежали несколько сухих

поленьев, приготовленные на растопку. Нащипали из них лучины найденным кухонным ножом. Дрова быстро разгорелись, и дом стал наполняться теплом. Окна закрыли снятыми с пола половиками, чтобы свет топящейся печки не проникал наружу. Все согрелись и забылись тревожным сном кто где смог: на лавках, на кровати, на печке. И рано утром, когда еще чуть-чуть только рассветало, пошли из деревни дальше по свободной от немцев территории. И уже за деревней догнала их машина с красноармейцами и довезла километров за десять в другую деревню, где их и приютили как беженцев.

В избу, где они остановились, набилось много таких же, как они, бегущих от войны. Вся мирная жизнь их была разрушена: брошены дома, имущество, погибла домашняя скотина, и впереди их ждала неизвестность. Дети запросили есть, и Татьяна разделила между детьми горбушку хлеба и оставшуюся вареную картошку, что в спешке успела высыпать из чугунка, когда покидали дом. В голове бились тревожные мысли: «Как там Матвей? Один, больной, на холодной печке. Изба-то уже выстыла. И даже воды-то подать некому».

– Побегу к нему, – решилась Татьяна. – Хоть печку ему протоплю.

Попросив хозяев дома присмотреть за детьми, вышла из дома и пошла в сторону Васильева. Шла быстро с одной мыслью: «Успеть бы. Хоть попрощаться с Матвеем. Только бы был живой».

Вот и Васильево.… Как же изменилась деревня. Низкий дым стлался от тлеющих пожарищ на месте многих домов, кругом валялись полусгоревшие бревна, разбитые стекла, повсюду чернели воронки от разорвавшихся снарядов. И как мало осталось домов. Но дом бабы Глаши уцелел.

«Слава богу, – подумала Татьяна, – может живой еще отец-то наш». Но в деревню ее не пустил наш сержант, стоявший на посту на околице.

– Нельзя туда – сказал он. – Немцев ночью из деревни выбили, и теперь там наши позиции. С того берега снайперы стреляют.

– Родненький, сыночек, ну пусти ты меня Христа ради. Муж там мой один, больной. Умирает он, – взмолилась Татьяна.

– Погибнешь же сама и мужа не спасешь, – отвечал постовой.

Татьяна была в отчаянии: «Что же делать-то? Вот он, Матвей, рядом и не попадешь к нему. Хоть бы еще одним глазком взглянуть».

К понурившейся женщине подбежал подросток.

– Колька, это ты? Живой, славу богу, – обрадовалась она этой нежданной встрече. Она хорошо знала этого жившего по соседству шустрого и ловкого паренька. – Как ты, откуда здесь?

– Да не успели мы уйти от немцев. – А я знаю, как в нашу деревню попасть,– ответил ей мальчишка. – Теть Тань, а ты дай солдату что-нибудь из оружия, он и пропустит.

– Да где ж я возьму, оружие-то? – спросила Татьяна.

– Пойдем со мной, теть Тань,– отвечал Колька. – У меня его много.

Они подошли к сараю на краю деревни. Внутри под соломой лежали гранаты, автоматы, винтовки.

– Да где же ты взял-то столько? – поразилась Татьяна.

– Да я у убитых солдат утром насобирал. Бери, тетя Таня, что хочешь, – ответил ей Колька.

Боязливо взяв несколько гранат, Татьяна снова вернулась к постовому и отдала ему их.

– Поосторожнее только, не попади под немецкую пулю, – напутствовал ее сержант.

Татьяна, не чуя под собой ног, побежала домой. Вскочила в избу и сразу к печке:

– Матвеюшка, родной, живой ли?

– Живой, живой я, Таня, вот только зазяб маленько, – отвечал ей с печки закутанный в овечий тулуп Матвей.

– Сейчас, сейчас, Матвеюшка, печку затоплю, согреешься, – отвечала ему Татьяна. Быстро растопив печь, слазила в подпол, достала картошки и поставила в чугуне вариться. Ее руки сноровисто делали привычную работу, а голову уже одолевали другие мысли : «А как там дети ? На чужих же людей оставила?» Душа рвалась к ним, и не было сил оставить Матвея в таком беспомощном состоянии. Вот уже и печка протопилась, и картошка сварилась.

– Таня, иди к детям, нельзя их одних оставлять-то, – тихо проговорил с печи Матвей. – Не дай бог немцы и до этой деревни дойдут.

– Да как я, Матвеюшка, брошу-то тебя одного, – сквозь слезы сказала Татьяна.

– Да что уж, Таня, мне все равно помирать, не выкарабкаться мне, а тебе еще детей поднимать надо, – тихо проговорил Матвей. – Времена-то какие тяжелые. Война проклятая. И Тонюшка раненая, к доктору ее надо. Береги их, деток наших. Иди, иди, Таня, к ним.

Она поставила на печку воду в кринке и положила рядом еще теплой картошки. Крепко обняв Матвея, трижды поцеловала его, чувствуя, что прощается с ним навсегда. Превозмогая себя, Татьяна направилась к выходу и, дойдя до порога, оглянулась и замерла, увидев глаза Матвея, смотрящие ей вслед. В них было все: благодарность за счастливо прожитые совместные годы, боль, что не может быть рядом с ней и детьми в это тяжелое время, немая мольба о прощении за это, не измеримая ничем глубокая тоска предстоящего одиночества, затаенный страх перед притаившейся рядом смертью и неизвестностью за их судьбу.

Этот взгляд не отпускал ее и вместе с тем требовал идти к детям. Он проникал ей глубоко в душу и рвал ее на части: одна из них стремилась к детям, другая просила остаться с Матвеем и встретить его смертный час рядом с ним. Не помня себя, как безумная, Татьяна перешагнула порог и закрыла за собой дверь. С глазами, полными слез, она сошла с крыльца избы и пошла по дороге, ведущей к детям. В этом трудном, невозможном выборе: остаться с умирающим мужем или вернуться к брошенным на чужих людей детям, пересилила ее материнская любовь и желание быть поскорее рядом с ними, защитить, сохранить их, как завещал ей Матвей. В них продолжение жизни и Матвея, и их рода.

Ночью беженцев отвезли еще дальше в сторону Кувшинова, и вновь навестить Матвея Татьяна уже больше не смогла. После долгих мытарств по чужим углам, когда под Новый, 1942 год родные места освободили от немцев, вернулась Татьяна с детьми в дом, где они жили. Первое, что она увидела,

войдя в избу, это были смотрящие на входную дверь глаза мертвого Матвея. Он все-таки их дождался… Соседи помогли ей похоронить Матвея, завернутого в тот же тулуп, который согревал его, в одной из воронок от снарядов на местном кладбище.

А до Победы еще было так далеко…Впереди Татьяну ждали тяжелые испытания: ей пришлось отправлять детей собирать подаяние, чтобы спасти их от голода, многие дни и месяцы переживать за дочку Тонюшку, отправленную вместе с подростками на работу в далекий город Молотов, каждый день ждать вестей от пропавшей на долгое время на войне старшей дочери Анастасии и работать, работать, работать… Пережив все трудности, что выпали на ее долю, она вырастила всех детей, помогла им встать на ноги и до конца своей жизни была приветливой и доброй ко всем: первая спешила на помощь и делилась последним с нуждающимися, помогала, чем могла. Свою доброе отношение к людям, сострадание к ним, свою душевную открытость миру она передала и своим детям, и внукам.

Проба пера

Арина ШЕЛЕПОВА
11-й «Б» класс, школа № 176

СОН

На часах была полночь. Аня вышла из ресторана «Красная стена» после очередной мучительно долгой официантской смены и пошла по плохо освещенной Кожевенной улице. Уже ночная темень мягко окутывала брусчатку, мудрые старые домики и загадочные вывески. В голове Ани крутились мысли о теплом, достаточно уютном общежитии, разогретом обеде и, совсем немного, о завтрашних четырех парах. Осталось только перейти Кожевенную и сесть в давно уже ожидающее такси. Она взглянула на часы в телефоне и отметила странность: время не изменилось. Ее задержали на работе, поэтому по ее смутным предположениям сейчас должно было быть около десяти минут первого. Но было ровно 12. Будто время кто-то небрежно кинул в морозильную камеру. И словно в подтверждение ее «холодным» мыслям по спине пробежали мурашки. Неожиданно воздух пронзил неведомо откуда взявшийся по-зимнему ледяной ветер. И тут, в полнейшей темноте спящего города, Аня услышала кашель. Он доносился из свода арки. Девушка была иногородней студенткой и не так много знала об этом месте, однако она была прекрасно осведомлена, что тут никто не живет. Кто мог кашлять в нежилом квартале да еще и в такой поздний час?

Аня, движимая слегка безрассудным любопытством и вооруженная телефонным фонариком, двинулась в сторону звука. Осветив пространство, девушка прочитала «Ночлежная квартира. 5 коп на нарах, 3 копейки – на полу». Кашлянули еще раз где-то в самой глубине арки,

где темнота съедала свет фонарика. Аня сделала шаг вперед. Кашель и хрипение повторились. Холодок вернулся. Аня увидела перед собой слегка приоткрытую добротную деревянную дверь, за которой почти не горело света, лишь теплился какой-то слабый огонек на стене. Аня потянула ее на себя, несмотря на то, что мурашки на спине собрали целый бунт, противившийся данному действию. Вдруг кто-то схватил ее за плечо. Не сильно, не требовательно. Скорее даже упал, будто хотел не удержать, а удержаться. Аня вскрикнула и повернулась. Луч фонарика выхватил из темени сначала серый балахонный потрепанный платок, потом, кажется, такого же возраста и качества платье и, наконец, соответствовавшее «образу» измученное, изможденное лицо, которое вновь залилось приступом кашля:

– Постой, молодая, без меня не примут, помоги-ка мне.

– Но кто вы? Что вы тут делаете в такой час?

– Знамо, что делаю, живу, а звать меня Анной.

Аня задумалась. Поток мыслей прервала рука, внезапно втащившая ее вовнутрь. На первый взгляд это был словно подвал, похожий на пещеру. Каменные своды потолка нависали грозные, обвалившейся штукатуркой, закопченные. Единственным пристанищем уюта здесь были деревянные, добротные нары. Сколоченные на совесть, они несли в себе что-то русское, душевное, крестьянское. Люди тут были буквально повсюду. Несчастные, сиротливые, они сидели на полу и нарах, практически друг на друге. И со всех сторон на Аню смотрели русские, как эти добротные нары, простые, но отчаявшиеся глаза. И все это протягивало к ней руки: и мужчины, и женщины, и своды потолка, и Васька Пепел, и действительно живший тут когда-то бедняк. И столько было тут истинного человеческого горя, что не выдержала: упала без чувств прямо на руки стоявшей позади нее женщины, и последним, что она видела, была едва теплящаяся лампа на стене…

Аня проснулась в кафе, прямо за одним из столиков, посмотрела на время, удивилась странности своего сна, не замечая завязанный серый потрепанный платок на своей шее.

Книжная полка

ЧИТАЕМ ЗЕМЛЯКОВ

Провинциальная гордость

Михаил Сеславинский. Книжный труженик. Л. М. Турчинский и его библиотека. Издательство «Янус-К», 2024.

Это чувство знакомо многим. Представьте себе, смесь радости и гордости, которая наполняет человека, когда житель деревушки, поселка или даже крупного города вдруг узнает, что его земляк, с которым он ходил в одну школу, или жил в соседнем доме, или просто бродил по одним и тем же улицам, стал федеральным министром или народным артистом, или олимпийским чемпионом.

Вот схожее с этим чувством проснулось во мне, когда у меня в руках оказалась книга «Книжный труженик». Это книга о нашем земляке-нижегородце, переплётчике, реставраторе, библиофиле и ученом Льве Михайловиче Турчинском, с которым мне повезло в жизни с десяток раз встречаться и очень приятно общаться.

Лев Михайлович в течении нескольких десятилетий проработал реставратором книги в Государственном литературном музее, но почти каждый год он приезжал навестить свой родной Нижний Новгород, и мы с ним обязательно встречались или в книжном магазине, или дома у Юры Адрианова, с которым он был особенно близко дружен. Разговоры велись только про книги: Лев Михайлович был ходячим библиографическим справочником. В его монографии «Русская поэзия XX века. 1961–1991. Библиографический справочник» описаны 80 000 изданий, сборников стихов – вы только представьте себе эту цифру! А ещё на титульном листе этой книги, которая стоит

на моей полке, есть инскрипт: «Олегу Рябову с благодарностью за помощь. 20. 5. 2017»

Но если вернуться к книге «Книжный труженик», составителем которой стал также наш земляк М. В. Сеславинский, то сразу же хочется напомнить, что библиофил – это человек, для которого книга в первую очередь артефакт, то есть произведение искусства, и текст тут играет не первую роль: важнее бумага, шрифты, поля, форзацы, иллюстрации. И в этом плане издание выполнено безупречно.

Отдельно хочется отметить описанные тут 333 уники из собрания Турчинского с автографами выдающихся русских поэтов XX века; они представляют не просто интерес как диковинки, но и доставят и наслаждение любому любителю русской литературы.

О. Р.

Память об изначальном

Роман Марины Соловьевой «Время неискушенных», Нижний Новгород, изд. «Книги», 2024.

Написать об этой книге подталкивает еще и обложка: она настолько не соответствует содержанию, что начинаешь подозревать некий издательский умысел – и даже не столько коммерческий, который лежит на поверхности, сколько иронично-символический, в духе заглавия романа О. Генри «Короли и капуста». Как известно, в этом названии автор явил нам ровно то, что в его книге совершенно отсутствовало. Книга Марины Соловьёвой – о путешествиях, но гораздо в более глубоком экзистенциальном смысле, чем антураж задорной пляжной картинки. Хотя, безусловно, туристско-беллетристический оттенок в повествовании не просто присутствует, а благотворно наполняет его изгибы. Но толчком и мускулом «Времени неискушённых», прежде всего, является… время. Переломное, разрушительное, трагическое, голодное, счастливое… как говорится, нужное подчеркнуть, но для многих это тот случай, когда выбор невозможен. Те самые девяностые годы, о которых уже так много написано, снято и передумано, но человеку, пережив-

шему их, обязательно будет казаться, что главное осталось за кадром – пока он сам не попытается описать свой опыт.

Однако каждому писателю знакомо это чувство неуловимого нерва истории: вроде вот он, яркий и животрепещущий сюжет, сам бог велел воплотить его в художественной форме, а… не ложится на бумагу, не пишется почему-то! И только когда будут набраны слои следующих горьких и самых разных «опытов» и эпох жизни, станет понятно – нужно было выбрать другой ракурс, расфокусировать стереотипы восприятия, чтобы приблизиться к истине.

И у Марины Соловьёвой это получилось. Балансируя между легкостью и глубиной, юмором и ностальгическим флёром, она выбирает трепетную ноту, чтобы напомнить о том, что нам никогда не суждено вернуться в ту же Венецию или в тот же Париж. Как и в одну и ту же реку. Не только потому, что первое впечатление неповторимо – хотя и поэтому тоже. Не только потому, что когда-то мы были моложе – хотя и эту причину трудно отрицать. Но главное – исчезли те, кто был вместе с тобой той коллективной неискушенной душой… Компанией друзей, которые вместе вырвались из нищеты и безнадеги 1990-х и веселой оравой неофитов взбудоражили доселе невиданную ими старушку Европу.

Впрочем, автор книги не обходит стороной и другой вопрос – а чем мы платим за внезапно обрушившиеся на нас блага и удовольствия? Какой ценой вырываемся из безнадеги… Или нам придется расплатиться позже? Ведь именно пресловутые девяностые жёстко объяснили нам: не обманешь ты – обманут тебя. Но в этом как раз нет никакого открытия, об этом не возопил только ленивый. «Время неискушенных» мягко и непринужденно погружает нас в осознание иного толка: такие понятия, как обман, подлость, предательство, просто… стерлись с тех пор. Ибо негласно «легализованы» в отношениях между людьми. В романе, конечно, нет никакого морализаторства, но есть момент, пронзительный своей узнаваемостью: когда понимаешь, что не настолько страшно само предательство близкого человека, нежели то, как легко тебя предали. И совершенная уверенность предателя в собственной безнаказанности.

То есть отсутствие некоего естественного совестливого чувства, что за жестокий поступок тебя, возможно, настигнет возмездие. И более того – издевательски провозглашаемое удивление, почему же преданный не радуется за предателя! И вот что интересно: с некоторых пор – да вот как раз с тех самых 90-х, когда буйным цветом расцвела самостийная психология, – такое изощренно подлое поведение стали приписывать социопатам и нарциссам, то есть людям с личностными расстройствами. А даже тяжелое расстройство личности, пускай это вроде как не болезнь, но тем не менее может быть врожденным свойством. И некоторые формы можно сдерживать медикаментозно. Таким образом, активно внедрялась мысль, что вроде как тот, кого раньше можно было смело назвать сволочью и чёрной душой, он не так уж и виноват. Ведь если у него мозг так сформировался, он над этим не властен…

Конечно, здесь происходила путаница между дилетантскими представлениями о человеческой психике и так называемой большой психиатрией, но в результате она поспособствовала расширению окон Овертона и глобальному кризису идеи возмездия за зло как таковой. И роман «Время неискушенных», не говоря об этом впрямую и формально являясь ироничной и элегантной литературной роуд-муви, затрагивает важные мировоззренческие и философские слои сознания и болезненно актуальные вопросы бытия. Тем самым пробуждая память о «божественных настройках» души, когда еще оставались незыблемыми кантианские «звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас».

А еще в романе Марины Соловьевой есть милая читательскому сердцу целая галерея колоритных и обаятельнейших персонажей – случайных, а порой судьбоносных попутчиков, которых нам щедро дарят путешествия. Особенно когда мы еще неоперившиеся туристы, которые по неопытности готовы доверять этому безумному и прекрасному миру. И одна из таких встреч волшебным образом открывает потайную дверцу между художественной и документальной прозой, что придает книге уникальный исторический оттенок.

Дарья СИМОНОВА, Москва

«Я строю дома из спичек…»

Дмитрий Терентьев. Заитилье. Изд: «Перископ-Волга», 2025.

Дмитрий Терентьев – давно состоявшийся поэт. Мало родиться поэтом, им нужно стать. Как алмаз, пройдя усердную тончайшую обработку, перерождается в бриллиант, так и стихи, отбросив всё лишнее, тяжёлое и ненужное, становятся стихами. Терентьев сделал себя сам. Благодаря усидчивости и старанию белоусый юнец стал мастером слова.

Зима на раненую землю,
мотает белые бинты…

Мне холодно, я кутаюсь в толпу,
нижегородский говор изрыгая…

Я строю дома из спичек
Эти спички никогда не сгорят…

«Заитилье» – это четвёртый сборник поэта. Книга поделена на девять глав. Каждая глава раскрывает отдельную тему: городскую, духовную, любовную лирику. Есть стихи, которые автор посвятил ушедшим в мир иной друзьям и товарищам.

АЛЕКСЕЮ ШАЛАШОВУ

Снова перечитываю личку,
словно ты живой и пишешь:
«Брат,
помнишь тему:
едет электричка,
или это листья шебаршат?»

Немало в поэзии Терентьева про мифологию Нижегородского края, про самих нижегородцев, про города и сёла, про вековые традиции. С особым трепетом и любовью поэт воспевает хвалу матушке-Волге.

На Стрелке до утра кутить,
по-чаячьи раскинув руки,
за косы реки ухватить,
связать от скуки;
смешать их криком «молочай»
(на птичьем с чайками балакать),
где слиты
горьковское «чай»,
нижегородское «однако».

Каждая строка дышит любовью к Нижегородской земле, где жили и трудились наши предки – радовались урожаю, горевали невзгодам, любовались звёздным небом, любили и мечтали, дышали в полную грудь и думали свою нелёгкую думу. В книге «Заитилье» Дмитрий Терентьев так же задаётся вечными вопросами, философствует о прошлом и будущем, ищет грань между жизнью и смертью, борется с одиночеством, беседует с Богом… Каждый найдёт для себя что-то близкое и родное.

Антон ЛУКИН, Дивеево

Предчувствие дышит с каждой страницы

Николай Свечин. Адский прииск: Роман. – Москва: ЭКСМО, 2025.

«Адский прииск» – уже 37-й роман Николая Свечина о приключениях сыщика Алексея Николаевича Лыкова. Действие романа разворачивается в 1914 году, накануне Первой мировой войны. Лыкову уже почти шестьдесят лет, он уже почти ровесник своего автора, но, несмотря на возраст, Алексей Николаевич не утратил ни прежних навыков, ни хватки сыщика, ни своих незаурядных физических и интеллектуальных способностей. И автор не даёт своему герою поблажек, и спокойной службы в столичном департаменте полиции тоже не сулит, ибо административной карьеры Лыков так и не сделал и в большие начальники, невзирая на все свои таланты, не выбился.

На этот раз Николай Викторович услал Алексея Николаевича – не далеко, не близко – не много, не мало –

а в саму Якутию, на Колыму, выслеживать «диких» старателей. Не вдаваясь в подробности и не раскрывая всех перипетий сюжета, скажем только, что читателя, как и всегда у Свечина, ждёт лихо закрученная детективная интрига, опасные приключения главных героев, много любопытного этнографического и исторического материала, которого сам читатель, случись ему такая нужда, мог бы долго и, скорее всего, не всегда успешно, разыскивать в специальной литературе, (а здесь всю эту работу за него проделал автор), ну и конечно фирменный свечинский юмор, который тоже всегда был отличительной чертой его детективов.

Но есть в этой книге и ещё что-то новое, что делает «Адский прииск» не просто увлекательным детективом, а полновесным историческим романом. И это новое – это предчувствие надвигающейся катастрофы. Напомним, действие книги происходит в 1914 году. Предчувствие это дышит почти с каждой страницы «Адского прииска». И даже Лыков, сам Лыков не в силах предотвратить этой катастрофы, поставить на её пути заслон и, кажется впервые, он чувствует своё бессилие, ощущает себя зёрнышком, попавшим в жернова истории, чувствует, что он также, как и все, беззащитен перед неумолимым ходом исторического процесса и надвигающейся лавиной, которая сметёт не только его, но и всю Российскую империю, превратив уже её – всю целиком – в адский прииск. Скажем прямо, главный герой, испытывает просто метафизический ужас, когда думает о ближайшем будущем, и это чувство, не знаем как для читателя, а для него – новое.

Денис ЛИПАТОВ

«И прозрачная кисть дорисует его…»

Виктор Ляпин. Свет подорожников: Книга стихотворений. Нижний Новгород: издательство «Книги», 2024.

Новая книга стихов нижегородского поэта Виктора Ляпина, вышедшая в издательстве «Книги» – это своеобразный

лирический дневник современника, «горожанина на природе». Книга состоит из двух частей и включает в себя 151 стихотворение.

Даже само содержание уже читается как поэма, буколика. Вот, например, названия нескольких стихотворений: «Посмотри, как светятся берёзы…», «О ежевике твоих глаз…», «Пряный вечер нас околдовал…», «Соловьиною Волгой в ночи…», «Жаворонок, жаворонок, гость нежноголосый…», «Цапля, умчавшая к тем берегам…» и т. д. Лирическое это путешествие продолжается на протяжении без малого 160 страниц, но это не просто приятная и бесцельная прогулка. Поэзия Ляпина не исчерпывается пейзажной лирикой. Очень часто это путешествие становится философским. И на этом пути читателю повстречаются – и в эпиграфах, и в самих стихотворениях – такие собеседники, как Чехов, Григорий Сковорода, царь Соломон, Гай Валерий Катулл, Евгений Боратынский, Николай Рубцов, и даже троянская Елена Прекрасная, и даже безвестный слагатель гимнов древнего Аккада из XX века до нашей эры! И ещё многие другие. И надо думать, все они не случайно забрели в стихи Виктора Ляпина. Каждый из них знает ответ на какой-то вопрос, который и старается узнать у них поэт.

Стихотворение, давшее название всей книге, её и завершает. Его лирический герой – немолодой, одинокий и не совсем удачливый художник, всю жизнь пытающийся нарисовать только ему понятный и видимый образ – свет подорожников: «нарисует – сотрёт, нарисует – сотрёт…» Но эта бескорыстная преданность искусству, вечная неудовлетворённость собой и результатами своего труда, понимание, что идеал – свет подорожников – в принципе недостижим – и есть отличительные черты настоящего художника, и они не могут быть не вознаграждены, пусть и в метафизическом смысле:

«Он уйдёт в снегопад, напившись безбожно. / Как всегда одинок, не продав ничего. / Но останется в воздухе свет подорожников. / И прозрачная кисть дорисует его…» («Свет подорожников».)

Денис ЛИПАТОВ

«Но есть ещё любовь на свете…»

Сборник стихотворений Маргариты Шуваловой «Липовый цвет», М.: типография имени Пушкина, 2024.

…Как хорошо,
когда в кругу душевном
оттенки чувств понятны и близки
и в жизни,
далеко не совершенной,
есть вдохновенья
яркие мазки!

Часто поэзия помогает выразить невыразимое – те оттенки чувств, которые мы замечаем внутри себя, но не можем подобрать для них словесную форму. Это с лёгкостью делает Маргарита Шувалова.

В новый поэтический сборник поэтессы вошли избранные стихотворения, новые и ранее публиковавшиеся. Поэтому перед нами встаёт сначала образ поэтессы девушки с её сомнениями и переживаниями, затем зрелой женщины с твёрдыми убеждениями и чёткой жизненной позицией. Её стихи различаются и по настроению, и по тематике, и по технике написания, отражая тем самым душевное состояние автора в разные периоды. Бросается в глаза интонация сборника: лиричная, грустная. Но неизменно с убеждённостью, что всё можно пережить, потому что мир – это любовь.

…Страх, побеждая к высоте,
Душа опять любви захочет.

…Пусть сказка – ложь и грёзам этим
не изменить жестокий род,
Но есть ещё любовь на свете,
Что падать духом не даёт.

Весь сборник пронизан любовью к родному краю, к Родине.

…Эту землю можно лишь любить
И беречь, как собственную жизнь,
Как своё заветное, родное.

Интонация стихов то грустная, то радостная. В этом тоже проявляется многогранность таланта поэтессы.

…И во всякое время,
С небом чувствуя связь,
Драгоценное семя
Сеют здесь, помолясь.

Незабытое дело.
С ним любовь заодно,
Чтобы полюшко пело
И звенело оно

Колосками живыми
Для тебя и меня,
Нежным запахом хлеба
Пахла наша земля.

Маргарита Шувалова рассуждает о жизни и смерти. Мы все понимаем, что одного без другого не бывает, но после её стихов не возникает чувства безысходности, они оставляют светлое и радостное чувство.

Летних гроз череда –
Громовая ночей лихорадка
И дождей утоленье
Заждавшейся влаги земли –
Представляется мне
Как в природе извечная схватка
Двух воинственных сил:
Злобной смерти и нежной любви…
…Новый мир обретут поутру
Окрылённые люди –
Светлый нежности мир
В свежих росах бессмертной любви.

В стихах Маргариты Шуваловой есть жизнеутверждающие ноты, призыв не унывать, двигаться вперёд, надеяться в лучшее, мечтать и верить.

В отеческих добрых усильях
Родимой земли благодать.

И если даны тебе крылья,
Умей на них твёрдо стоять.

Или ещё:

Не стыжусь себя кольнуть
Строгим назиданьем:
Хочешь быть счастливой – будь!
Было бы желанье.

Произведения Маргариты Шуваловой проникновенны и красивы. Они однозначно оказывают воздействие на эмоциональную сферу читателя и заставляют его вслед за автором испытывать эмоции, которые она переживала в тот или иной момент. В них чувствуется и осенняя грусть, и веяние весны, и тоска, и надежда.

Стихотворения Маргариты Шуваловой оставляют в душе след и заставляют думать и чувствовать. И верить в лучшее, как это делает сама поэтесса:

Не считая ни лет и ни бед.
Свет на землю прольётся лучами.
Ничего невозможного нет
для души, одержимой стихами.

Ольга КОСОВА, Кстово

Юрий НЕЧИПОРЕНКО
Москва

ЗАРАЗНЫЙ ПРИМЕР

Этот рассказ был написал давно и несёт в себе приметы советского времени – и дух его тоже, неповторимый. Так что я решил не менять тут ни слова, ведь проблемы, о которых он повествует, вечные...

Ю. Н.

Утро принесло горькую весть – теннисные мячики вошли в моду у собак. То есть вместо палок теперь собакам бросают мячики – те бегут за нами, находят – и приносят, виляя хвостами. Слегка надкусывают, мотая головой из стороны в сторону, и так далее.

Это все означает, что не видать нам теперь мячиков, как собственных ушей. Мячи уже давно исчезли из магазинов – но раз в году появлялся-таки счастливец, который их встречал и закупал впрок.

С владельцами собак конкурировать невозможно. Раньше мячи исчезали, потому что их рекомендовали для занятий физкультуры школьникам – подростки бросают в длину мячики вместо гранат. Со школьниками ещё можно было как-то соперничать, выуживать у них мячи, выменивать и клянчить – но собаки крепко держат мячики в зубах – и не отпустят ни за что! Не говоря уже о том, что владельцы собак – вездесущие и, как правило, влиятельные люди: им достать мячи – раз плюнуть. Так что теперь мячи уже никогда не появятся в магазинах.

То, чем мы тогда играли, напоминало не мячи, а ободранных цыплят: голые резиновые тельца с редким пушком...

Вот, скажем, у Никиты, моего друга из Питера – негодная собака, доберман-пинчер. Гнусная ищейка – умудрилась унюхать у меня в сумке мячи и вырыть, выхватить их оттуда, пока мы говорили с хозяином на кухне в преддверии обеда упоенно о мифологиях – псина в знак протеста, из собачьей ревности, покусала мои мячи.

Горестный итог дню подвело сообщение, что в магазинах расхватан геркулес. Собственно, геркулес и мячи – два насущных продукта материального производства – потому что кроссовки могут быть и дырявыми, голову можно мыть без шампуня – но нельзя играть дырявыми мячами и питаться одними сухарями.

На этом фоне разворачивалась жизнь Ани. Аня – мутировавшая Таня: одна буква выпала, твёрдая Т в начале, и Ане не хватает твёрдости, зато в ней много мягкого, текучего, висячего – как челюсть у бульдога: нюни, няни, ини,– в общем, много женского начала .

У Ани была подруга Ася, и эта Ася была – асса, свист, туши свет! Почему была – она и есть такая! И есть у Аси папа, муж и друг. Папа – начальник, муж – труженик, и друг – юрист. Так что Асино окружение составляет минимальную ячейку правового общества. Каждый из членов ячейки давал Асе что-то своё: папа – дачу, на которой Ася жила с сыном, муж – деньги, а друг – мечту.

Ася была вся в дарах – заполнена, законопачена, окружена и защищена. В таком состоянии она поехала в Сочи с сыном. Месяц минул – и миновали деньги. А надо было покупать билет – но посещения Луна-парка, мороженое и кино для мальчика отняли у Аси значительную часть защиты, именно ту, которую давал муж, а у друга Ася денег не брала – потому что «святое», он писал письма каждый день, и его дары никто отнять не мог.

Встала проблема: нет билетов, за ними надо стоять в липкое и обморочное время полдня, и нет денег на билеты. Слать телеграмму «Вышли тысячу» – значит, унижаться, а Ася никогда не могла себя унизить. Стоять в очереди – тоже унижаться.

Ася оказалась с ребёнком без защиты, одна на опасном побережье горячего моря. Её надоумили, что она может достать билеты кое у кого за свои красивые глаза, за свои плечи и руки, за все, что у неё прекрасного – а Ася была настоящая красавица, как вы уже догадались, потому что только красавицы так беззащитны и горды – жизнь их очень сложна.

И решилась Ася поделиться своей красотой избыточной, которая ей уже поднадоела здесь, после месяца жизни без мужа и без друга: решилась – подошла к человеку в парке и сказала, что ей нужны билеты. Он спросил – сколько, она сказала – взрослый и детский. Он сказал, что билеты будут завтра в два часа и спросил, куда принести.

Она назвала гостиницу и номер.

Мальчик пошёл со своим приятелем в кино, в два часа билеты лежали на столе, а человек мыл Асю в ванной. Он мыл её долго – полчаса, час – чуть не протёр (как пошутила потом Ася) – наверное, он хотел её отмыть, оттереть от мужа и от друга, от всей предыдущей жизни, от папы даже, от дачи – в общем, он долго старался.

Но ничего не получилось – по крайней мере, так утверждает Ася: ничего у него не получилось, никак не тронул её этот человек, и совершенно безразлично она предоставила ему свои глаза, и плечи, и руки – в общем, все, что было у нее прекрасного, чем владела она задаром с детства.

Никак не проник он к ней в душу – и осталась она совершенно безучастной.

Потом Ася рассказала всё другу – и он очень страдал, он мучился за Асю, ему было плохо. Но она не могла поступить иначе: с другом она откровенна до конца, у них одна душа. Другое дело – муж: ему Ася ничего не сказала – зачем ему знать, что кто-то её мыл? Необязательно!

А также рассказала всё Ане – потому что она, как и друг, душа. И сказала в конце – что ничего она не почувствовала – только что вот не было билетов – а потом вдруг появились. Села в поезд и поехала домой.

Надо знать Аню, чтобы понять, как на неё подействовал Асин рассказ. Потому что Аня считает, что Ася – красавица,

а себя числит в симпатяшках. И этот рассказ был ещё одним ударом. Потому что Ася за красоту и смелость получает без очереди и без денег – а Аня всегда стоит в очереди и тратит деньги. Обидно.

Однажды, уже после этой истории, Аня, как водится, стояла в очереди за билетами. Купила – и вдруг обнаружила, что все наличные деньги вместе с кошельком из сумки исчезли. А ехать надо было срочно в Ригу, добыть там игрушки детям. Дело было важное – игрушки в Риге делали отменные, а нашим детям очень не хватало для развития прибалтийских игрушек.

Поэтому, чувствуя груз ответственности, Аня села в поезд и поехала – без денег.

Сошла. Сразу же за ней увязался какой-то человек южной национальности. И если бы раньше, в условиях отсутствия Асиного опыта, с одной стороны, и наличия наличности в кармане, с другой, Аня бы немедленно цыкнула на этого немолодого человека с лысиной и брюшком – его бы как ветром сдуло с его авоськой, – то теперь она позволила ему быть рядом. Он шёл за ней по пятам и умолял её, канючил – ему нравилась Анина красота, и он жаждал приблизиться к ней – чтобы обнять, осязать и полнокровно ощущать, хотя бы и недолго, Аню рядом с собой. Он хотел передать ей свою радость, упоение и восторг – в общем, все то, что передают друг другу мотыльки, жучки, птички и прочие твари Божии – пестики, тычинки, вы знаете лучше меня.

Аня колебалась – потому что этот человек был для неё ординарен, и не разделяла его восторгов, – то есть не было у неё никакого восторга по отношению к себе… Напротив, она подозревала, что он заблуждается. И к нему не было восторга – потому что у Ани тоже был муж, и друг был, и ребёнок – как у Аси.

Нехорошо, если у одного человека есть восторг – а у другого нет – какое-то есть в этом неравенство, несовершенство. Однако тот человек, с восторгом, он мог как-то поделиться своим счастьем, что ли, скомпенсировать неравенство. Вполне естественно – если одному человеку

очень хорошо, а другому – не очень, то необходима компенсация.

Вот о размерах такой компенсации и зашёл разговор с восторженным, увлечённым человеком. Это, пожалуй, и испортило Анино впечатление больше всего – потому что ей не повезло: не очень-то и щедрым, скорее расчётливым оказался этот человек. Хотя расчётливость – не такое уж и плохое свойство, ещё оно называется бережливостью, в другой ситуации Аня очень бы приветствовала бережливость и отозвалась бы о её носителе с похвалой, если бы это был близкий ей человек.

Но тот человек, с брюшком, – изначально был очень далёк – и хотел стать близким очень быстро. Поэтому Ане не понравилась его бережливость.

Сказать честно, они торговались, даже долго – но что же ещё ожидать от человека с авоськой: он, наверное, привык на рынке покупать помидоры – и не привык расплачиваться за счастье.

Так или иначе, дело было сделано – опять душ, ванная – и долго-предолго Аню мыли. Но она после Асиного рассказа была уже готова к этому. Все кончилось благополучно – и на удивление так же безучастно, как и в Асином случае. Можно было и не терять деньги – ничего нового к ощущениям, которые копила, набирала Аня от мира действительности, эта история не добавила.

Вообще, конечно, всему Ася виной: зачем так часто в Сочи в кино ходила и мороженое сынку покупала? Хотя, с другой стороны, два человека испытали счастье, целых два человека, – так что в этом мире увеличилось счастье на два человеко-часа.

А билеты и стояние в очереди? Разве было бы Асе приятно мучиться в жару? А потеря денег, а игрушки для детей – хорошо было бы, если бы дети остались без игрушек?

Так что итог в обоих случаях кому-то может показаться положительным (несмотря на безучастность Аси и Ани). А может, дамочки к тому же и врут – всё-таки было им приятно, что так восторженно, с таким рвением к ним отнеслись – и на жертвы были готовы, на значительные жертвы их кавалеры!

О счастье, ты возможно! На корте нашёл два мяча, почти новеньких «Ленинграда». Странно, конечно, что мячи зовут ленинградами – ну, город так назвать – это ещё куда ни шло – он же на месте стоит. А мячи все лупят, пинают, бьют – пока они становятся совсем лысыми, неприглядными. Лысые мячи надо отдавать собакам. Им же все равно, какие мячи носить, за какими бегать – а в теннисе невозможно управлять такими мячами: все равно, что играть камнями.

Это утверждение не голословно – однажды мне удалось у соседской собаки отнять новенький ленинград, а взамен ей подсунуть лысый!

Потом ещё повезло удивительно: встретил на улице старуху с двумя пачками геркулеса. Она меня направила в магазин «Диета»:

– К храму иди, милок, в «Диету», что у храма.

Так я шёл и у всех спрашивал – эта дорога ведёт к храму «Диеты»?

И надо же – такое совпадение – прошёл по улице Льва Толстого, мимо его дома! Впервые оказался в этом месте, хотя Толстого очень уважаю. Он вегетарианцем был, овёс употреблял.

Никита, когда что-нибудь вкусное готовит, над моим пристрастием к геркулесу насмехается. Будешь геркулес-кашку есть, говорит, – большим писателем станешь: как Лев Толстой. Напишешь ещё одну «Анну Каренину». А зачем нам ещё одна Анна Каренина?

Я сразу даже и не смог ответить на его каверзный вопрос. Затруднился. А потом уже думаю – не получится у меня про Анну Каренину, даже если захочу. Потому что таких не видел. Сейчас уже другие героини пошли. Вот, например, Аня и её подруга Ася.

Геркулес у храма купил – без очереди! И задумался: какая странная метаморфоза – Лев Толстой все отдал людям и ратовал за вегетарианство, а нам сейчас приходится отбирать мячи у собак, и на всех не хватает овса.

1990

Евгений ОБУХОВ
Дедовск, Московская область

ЛАНДО

Каждый месяц сразу после минуты близости она прятала лицо в подушку, роняла ему на грудь расслабленную руку и тихо выдыхала: «Мой князь!»…

Он гордился, лежал победно поверженный, и ему было приятно. Жалел только, что каждый месяц случался не каждый месяц. Муж-то у неё не работает, всё время дома торчит. От безделья встречает у самого офиса, по магазинам за ней таскается. Ещё двое детей. В выходные её увозили на дачу, аж до утра понедельника. Понятная, в общем, ситуация.

Иногда муж уходил на какие-нибудь собеседования по поводу устройства на какую-нибудь работу, и тогда после закрытия офиса наконец-то он мог встретить её. Ждал, как давно-давно условились, возле супермаркета, что в полукруглом доме. Там при входе и при выходе скопление всяких киосков, куча народу – хоть битый час стой и таращись на витрины, никто не обратит внимания.

Он забирал у неё тяжёлые сумки и помогал до самой «Александрии» - дальше было нельзя: за углом торгового комплекса гаражи с мужниной машиной, и в конце переулка уже её дом, откуда всё из окон видно.

По пути они торопливо и взволнованно сообщали друг другу зряшные случайные новости, так ничего толком и не успев рассказать. Забирая сумки назад и сразу опуская плечи под их тяжестью, она иногда со смехом говорила:

– А ведь моя прабабка была княгиня!

Он оставался стоять на месте, наблюдая, как она усталой и гладкой, чуть приземлённой походкой скрывалась за углом. Оглядывался и начинал ненавидеть эти бутики, повсеместную рекламу, эти бешено перемигивающиеся светофоры, эту магистраль, которую, если не поспешить, в один зелёный не перейдёшь…

А у неё прабабушка была княгиня.

Значит, и она бы – да, пусть с вечно неработающим князем-мужем – но жила бы в огромном дворце, вон типа как в том, где сейчас банк. Там несметное число комнат. И не приходилось бы ждать раз в месяц не каждый месяц, нет!

И он представлял себя и её в девятнадцатом веке. Она, княгиня, с её бы этим мужем, конечно же, принимали бы по средам. А то бы ещё и по субботам, как в наиболее влиятельных домах столицы. И всегда можно было бы где-то уединиться. Ведь дом большой, а народу из-за частоты приёмов мало. Кто-то из круга знакомых в тот день мелькнул ради приличия и сразу уехал бы, а кто-то бы и вовсе не появился под каким-нибудь благовидным предлогом – ну, там вроде того государь вызвал, или на войну отлучиться надобно.

Зато он приезжал бы совершенно свободно каждый раз, каждый раз! Причём, ещё на проспекте чуть-чуть бы отпускал вожжи. Коренной чуял бы, вопросительно косился бы на него заигравшим тёмным глазом: типа того, правда ли, можно, что ли?.. И, убедившись, что – да, пускался бы своей более свободной, восхищавшей весь город озорной рысью. А за ним и пристяжные начинали бы хулиганить, чуть выше отбрасывая в галопе задние ноги…

Весь проспект замирал бы, любуясь. А он, снова крепко взяв вожжи, заворачивал бы в ворота её дворца, слыша натужный вздох рессор на резком крене. Лихо мчался по аллее, плавно объезжал бы огромную круглую клумбу и вдруг, захлебнувшись в возгласе, резко тормозил бы прямо у колоннады, точно напротив парадного входа в её дом.

Выбегал бы сам дворецкий, принимал бы из его рук вожжи, чтобы отвести ландо в сторону, во двор. И ласково говорил бы ему:

– А ты, голубчик, ступай вон в то крыло, рядом с кухней комнатка – тебя и покормят. Пока господа там в зале отужинать и поплясать изволят…

Тьфу!

Он снова огляделся. Жёлтый ландо «майбах» нагло сигналил ему, намереваясь припарковаться прямо на тротуаре.

– Обочины мало?! – крикнул он этому уроду и, делая шаг в сторону, тихо добавил: «Козёл!»

От этого на душе стало как-то спокойнее.

Да с таким настроением месяц-полмесяца прожить до следующей встречи – ерунда! Это же не целый век!

«Ты мой князь!» – скажет она ему.

Ольга БОРИСОВА
Самара

СЛАВИК

1

Вячеславу Владимировичу не спалось. Он ворочался с боку на бок, поглядывая на окно в надежде увидеть рассвет, но он не занимался.

– Тебе что не спится? – проронила Полина, приподнимая голову от подушки.

По-стариковски кряхтя, он встал с постели, натянул на ноги старые тапочки, отправился на кухню.

– Что, и водички попить нельзя? Спи уже! – шумно хлопнув дверью, вышел из спальни.

Поставив чайник на газовую плиту, сел у окна и, всматриваясь в ночь, задумался. Вот уже шестьдесят лет исполнилось, вроде и не жил ещё, а уже дедом кличут. Как жизнь быстро пролетела, не заметил даже, когда состариться успел. Всё куда-то бежал, деньги зарабатывал, торопился быт наладить, чтобы жить в сытости и на старость не жаловаться. А вот она и старость подступила, а чего хорошего в ней? И дом добротный отстроили, и деньжата водятся, пусть небольшие, но им с Полиной хватает, а покоя-то в душе нет. Дети в городе живут, важные стали. А внуки и глаз не кажут. Что им тут делать?! Им теперь телефоны и компьютеры важнее деда с бабкой. А если приедут, то от айфонов оторваться не могут, впялятся в них и слова доброго не дождёшься. Чужими стали. Разве раньше так жили? Раньше малому радоваться умели,

в гости друг к дружке ходили. А вечерами по-соседски на скамейках собирались. Рядом детишки в разные игры играли, и мы им иногда подсобляли…

Закипел чайник. Дед налил крутой кипяток в любимый бокал с подсолнухом на круглом боку. Из шкафа достал чайный пакетик и конфеты. Закрыв плотнее дверь, включил на тихий звук телевизор: «Всё веселее будет». Шла передача о животных. Прихлёбывая чай и ещё находясь во власти нерадостных мыслей, Вячеслав Владимирович отрешённо смотрел на экран. Быстро мелькали кадры. Сначала показывали кошек, что-то о них говорили, потом появились смешные обезьяны, прыгающие по веткам где-то в Индонезии. А затем показали красавцев попугаев. Один из них жил с учёными и считал себя хозяином на станции. Он доставлял всем немало хлопот, но его баловали и любили. Но, самое главное, попугай умел говорить.

«Птичку, что ли, купить? – пришла внезапная мысль. – Хоть поговорить будет с кем, а то от жены слова доброго не дождёшься. Молчаливая с молодости, да и я за сорок лет совместной жизни надоел ей хуже горькой редьки. Характерец у меня ещё тот». После выпитого горячего чая его внезапно сморил сон, и он заторопился в постель.

2

– В общем так, Полина! – проснувшись, не требующим возражения голосом начал разговор супруг. – Завтра едем в город на птичий рынок.

– На кой тебе птичий рынок понадобился?

– Птичку какую купим, – схитрил он. – Пусть поёт, веселее в доме будет. А то живём, как в гробу глухом. От тишины уже уши вянут.

– Придумал ещё! У тебя же телевизор в каждой комнате с утра до вечера включен, хоть из дома беги. Птиц на улице полно, иди да слушай!

– Живой души хочется, Полинушка, – он крепко прижал её к груди. – Я сам буду за ней ухаживать.

На следующий день, выкатив из гаража старенькую БМВ, они спозаранку отправились в город.

Шумный, в осеннем золотисто-багряном убранстве, он встретил их скрипом тормозов, сигналами клаксонов множественных машин и утренней сутолокой спешащих на работу людей.

– Боже мой! Суматоха-то какая. Как же тут люди живут? – то ли удивлялась, то ли возмущалась Полина. – У меня уже голова кругом идёт.

– Привыкли. Им такая жизнь нравится.

– Как она может им нравиться? Спокойствия совсем нет, – она вздохнула. – Вот бегут, чуть ли не под машины лезут, словно роботы какие, и даже не задумываются, куда и зачем. Потом придёт понимание, да поздно будет. Человеку созерцание нужно и общение с небом, чтобы душой живыми быть.

Оставив на стоянке машину, в поисках нужной птицы они пошли по рядам. Выставленные на продажу пичуги безразлично наблюдали за прохожими, но Вячеслава Владимировича не интересовали простые птички, ему нужен только говорящий попугай. У одного продавца они нашли маленьких ярких попугайчиков. Они прыгали по клетке, суетились, громко кричали.

– Красивый у вас товар! – присматриваясь к птичкам, начал он издалека.

– Берите! Волнистые попугайчики.

– А они говорящие? – и, получив отрицательный ответ, направился дальше.

– Ты что, говорящего попугая купить решил?! – еле поспевая за мужем, с негодованием в голосе спросила Полина.

– Да!

– Совсем рехнулся под старость. Мало нам телевизоров, теперь ещё попугай орущий в доме появится.

Но Вячеслав Владимирович не слушал жену, а старательно искал желаемое. Обойдя всех торговцев птиц и не найдя себе пернатого друга, направился в продовольственные ряды. За ним покорно шла супруга, в душе обзывая муженька всякими нелестными словами. Вдруг мужчина остановился, заметив у ограды рынка худенького, небольшого росточка парня, державшего в руке клетку

с жёлто-синим попугаем. Он торопливо подошёл и ещё не успел спросить, как услышал протяжное:

– Здра-авствуйте! Славик.

– Откуда он знает моё имя? – удивлённо и в то же время обрадованно спросил Вячеслав Владимирович.

– Это его зовут Славиком. Он культурный, знакомится с вами.

А попугай, обрадованный, что у него появился собеседник, встрепенулся и снова выдал:

– Чё уставился? Сижу битый час взаперти. Летать хочу.

Вячеслав Владимирович оторопел. Вот она, его мечта!

– А что он ещё говорить умеет?

– Да многое. Славик у меня толковый. Быстро учится. Возьмите, пожалуйста! – парень умоляюще посмотрел на покупателей. – Я при храме служу и живу рядом. Его крохотного кто-то во двор подбросил. Жалко стало бедолагу, домой принёс, вырастил. Везде попугайчика с собой брал. Да вот недавно Славик службу в церкви чуть не сорвал. Настоятель сильно разгневался, – он тяжело вздохнул. – Я его бесплатно вам отдам, главное, не обижайте. Он хороший.

– Мда… Жалко, наверное, расставаться с другом?

– Я в семинарию только что поступил. Мне его некуда деть.

– Ну что, тёзка, пойдёшь к нам жить?

– Жить… жить. Лучше бы накормил меня, – недовольно пробурчал попугай.

Поблагодарив парня, всунув ему в руку свёрнутые купюры, мужчина взял клетку и, довольный покупкой, отправился обратно на стоянку. Вслед ему шла удивлённая жена. Она ещё никогда не видела говорящих птиц.

3

Славику отвели место на кухне. Клетку торжественно водрузили на тумбу возле окна. Открыв дверцу, позволили вылететь. Попугай, покружив, последовал в горницу знакомиться с новым местом жительства. Присев на спинку велюрового кресла, хрипло произнёс: «Здравствуйте! Сла-

вик». Оглядев комнату зоркими глазками-пуговками, слетал в спальню, гостевую и вернулся на кухню. Он облюбовал себе место на спинке старого дивана, стоящего у стены за печкой, где после обеда любил вздремнуть хозяин дома. После сытного ужина, утомлённый городом и дорогой, Вячеслав Владимирович прилёг на диванчик. Славик, нахохлившись, уселся рядом. Вскоре оба уснули.

Смеркалось. За окнами стемнело. Вдруг кто-то громко, нараспев пробасил: «Господи, упокой душу усопшего раба твоего!» Хозяин дома вздрогнул, бешено заколотилось сердце. «Неужто помер?!» – пронеслась в голове тревожная мысль. Он осторожно приоткрыл глаза. Траурная темнота нависла над ним: «В гроб положили, отпевают! А я ведь живой!» Он со всей мощи голоса заорал: «Я живой! Живой!» На кухню влетела Полина. Управившись с хозяйством, она только что зашла в дом.

– Слава, что случилось?! Что с тобой? Тебе плохо?

Супруга включила свет. Он встал с дивана, оглянулся по сторонам:

– Надо ж, приснится такое! Аж сердце зашлось. Вроде как помер и в гробу лежу.

– Спал в неудобной позе, вот и приснилось. А попугай-то где?

Из-за спинки дивана появилась голова, и два глаза виновато посмотрели на хозяина. «Здрасьте!» – прохрипел попугай и запел басом:

– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

– Вот кто меня хоронить вздумал! – хозяин дома погрозил Славику пальцем. – Ах ты, птица божья, до смерти напугал! Ну надо же, как умеет. Что он нам ещё выдаст?!

И Славик выдал рано утром, когда все ещё крепко спали. Закрытый в клетке, он завопил: «На молитовку! На молитовку!» И возмущённый, что никто не реагирует на его призыв, снова запел басом: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».

– Вот, старый, хотел весёлости, получай, – сонно проронила Полина. – Вставай, корми домочадца.

Ближе к обеду, вроде как по делу, в дом заглянул Федька Косой. Увидев гостя, Славик спрятался за клетку.

– Это что за чудо у вас? – удивился Федька, стоя на пороге кухни.

– Ты чего, дружище, спрятался? – Вячеслав Владимирович погладил питомца по голове. – Иди знакомься.

Попугай нехотя взлетел. Покружив возле незнакомца, сел ему на плечо. Заглядывая в лицо, вдруг спросил:

– Чай пить будешь?

Федька оторопел. Показывая пальцем на попугая, заикаясь, спросил:

– Он что, го-го-ворить у-умеет?! – собрался с мыслями. – Я таких только по телевизору видел.

– Он ещё не то умеет, – многозначительно ответил хозяин дома.

На следующий день все в селе уже знали, что Савицкие завели говорящего попугая.

– На кой им этот попугай? – удивлялись одни.

– Богатеи, с жиру бесятся. Всё хотят как городские жить, – ехидничали другие.

– А может, Федька приврал? Что с него станет. Надо Силантиху порасспросить. Та всё знает, – говорили третьи.

Силантиха появилась через день. Она уверенно зашла в дом:

– Полина, с магазина иду. Там колбасу привезли, копчёности разные. Сходила бы, разбирают быстро.

– Ты же, Валентина, не за этим пришла.

– Да, конечно. Я по делу заглянула, – ответила она, оглядывая прихожую. – Шкаф красивый у вас! Современный. В городе купили? Пройти хоть можно?

– Ну, проходи! – Полина улыбнулась, зная причину прихода первой сплетницы на селе.

– Мы тут решили кабанчика в выходные забить да маленько мясцо распродать по соседям, – затеяла разговор, зыркая глазами по всем углам. – Может, вы тоже захотите купить? Мы недорого продаём.

Полина решила поддержать игру:

– А почему же не купить? Купим килограмма три.

– В магазине сегодня слышала, вроде вы птичку говорящую приобрели. Врут, наверное, наши бабы. Им соврать что мёду испить.

– Нет, не врут.

– Неужто разговаривает, как мы?

– Ещё как разговаривает!

– А где же он? Показала бы, посмотреть хочется.

– У телевизора сидит, песни слушает. Он у нас меломан, оказывается.

Полине хотелось, чтобы Славик заговорил, сразив тем самым Силантиху, иначе её кумушки во главе с самой Валентиной промоют им все кости.

Славик стоял на полу в горнице и внимательно смотрел на экран, где шла передача «Звёзды девяностых». Ансамбль «Божья коровка» исполнял песню «Гранитный камушек». Полина выключила телевизор, чем вызвала недовольство попугая. Он, переминаясь с ноги на ногу, начал громко кричать, а потом, подражая солисту, запел:

Не ходи к нему на встречу, не ходи,
У него гранитный камушек в груди…

От удивления Силантиха присела на диван.

– Боже мой, он ещё и поёт. Не наврал Федька!

«Забавный какой, – подумала Полина. – И правда с ним веселее»…

Утром Валентина Силантьева еле дождалась, когда откроется магазин. Ей не терпелось скорее поведать селянам о невиданном чуде, свидетелем которого она сама стала.

– Он песни девяностых любит, знает их наизусть. А как поёт! Даже лучше, чем певцы.

– Да ну тебя, Валька! Придумала же, – произнесла кто-то из женщин, пришедших купить продукты.

– А ещё он молитвы читает, – она торжествующе огляделась. – И не только читает, но креститься умеет!

– Ну это ты совсем хватила! – возмутилась Платониха. – Как птица может креститься?!

– Кто бы сказал, не поверила бы, а тут сама видела, – и, довольная собой, добавила, – а кто не верит, сходите и посмотрите. – Она ухмыльнулась и с гордо поднятой головой удалилась из магазина.

Не стало покоя в доме Савицких. Соседи, находя любой предлог, забегали в гости, чтобы послушать попугая

и подивиться его способностям. А Славик с каждым их приходом выдавал что-нибудь новенькое: «Ходят тут, ходят. Дел дома, что ли, нет!» А Глашке Петровой, как-то зашедшей на минутку, заявил: «А ты, Глашка, не путайся с чужими мужиками. Иди лучше полы дома помой. Грязь развела». Возмущённая Глашка, ехидно крикнув на прощание: «Попугаев тут развели! Сплетники! А ещё культурными называются!» – быстро исчезла за дверью, не забыв громко ею хлопнуть.

– Птица говорящая, ты так нас со всеми соседями перессоришь, – тоже возмутился Вячеслав Владимирович. – При тебе говорить-то ничего нельзя, тут же всё выложишь.

– Зато теперь не скучно. Ты же этого хотел, – проворчала жена. – Нет, Слава! Старость приходит не для развлечений, а для созерцания. В отпущенное Богом время нужно многое успеть, дела на Земле доделать, а главное – жизнь свою исправить, чтобы в вечность с чистым сердцем войти. Птица и то это знает, каждое утро молитвы нам читает, а тебе всё веселья хочется. Горе ты моё…

Полина прислушалась.

– Калитка хлопнула, – она спрятала улыбку в уголках губ, – очередных гостей встречай…

ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ

Владимир ПЕСКОВ

Кто как пьёт

Как он богат, великий наш язык!
Его словарь в сравненьях бесконечен.
Кто с Бахусом сдружился и привык,
Особенным эпитетом отмечен.

Вот «в доску» напивается столяр,
А «в стельку» – мастер обуви, сапожник.
Ещё один знакомый экземпляр –
«В дрезину» пьяный железнодорожник

Отполз от шпал, мол, лыка не вяжу,
И кроет белый свет могучим матом…
Я как-то в морг зашёл, а там гляжу –
«Мертвецки» пьян паталогоанатом.

И дальше я представить вам могу,
Как, отмечая каждую получку,
Извозчик напивается «в дугу»,
Электрик – тот, конечно же, «в отключку».

И, словно попадая в рай земной,
Доходят до такого состоянья:
Охотник – «в дупель», «в лоскуты» – портной;
Вот результат лихого возлиянья.

Пожарник «в дым» вчера употребил,
Кумир футбольный «в ауте» свалился,
Да и стекольщик сам себя добил –
Опять конкретно «вдребезги» напился.

«В осадок» выпал химик. Не впервой…
Как мне знакомы эти злые штучки!
Сейчас пишу с нетрезвой головой.
Ещё глоток, и всё – дошёл «до ручки».

Диане Кан. Заждалась!

Вот-вот мой звёздный час пробьют куранты!
Ни слова о любви не говоря,
Я сто столетий прождала вас, Данте!
Он мне с улыбкой отвечает: «Зря!»

Диана Кан (г. Оренбург)

Вот-вот мой звёздный час пробьют куранты,
Но не сложилось, мягко говоря.
Напрасно долго поджидала Данте,
А он с улыбкой бросил: «Ну, и зря!»

Что ж, ладно, мир поэтами обилен.
В мечтах своих восторженно паря,
Я сто столетий прождала Вас, Вильям –
Шекспир в ответ лишь молвил: «Ну, и зря!»

Я поняла, что счастье не случится,
Что жизнь – неисправимый драматург:
Ждала Вийона, Бёрнса, Гейне, Китса –
Никто не хочет ехать в Оренбург!

Михаилу Песину. О граблях

Когда уж я устану, Боже правый,
на грабли наступать одни и те же?

М. Песин «Грабли»

Я шёл по лугу, песни распевая,
И вдруг споткнулся, как об кончик сабли,
Об железяку, что торчала с краю.
Я понял: наступил на чьи-то грабли.

Мне прилетело черенком по морде,
И сразу стало как-то не до песен.
Взял грабли в руки. Не сломались, вроде.
На черенке виднелась надпись «Песин».

Хотя мы были с ним едва знакомы,
Я позвонил, не оробев ни капли,
Мол, затуши уныния синдромы,
Нашлись тобой потерянные грабли.

В ответ услышал: «Я прошу, не трогай
И лучше к ним не прикасайся даже,
Иди, как шёл, ступай своей дорогой,
Оставь в покое мой любимый гаджет.

Пойми, бывает мне, поэту, туго,
Ну, не приходят рифмы, мухи-бляхи.
Тогда я выхожу гулять по лугу,
А грабли – хрясь, и черенком по ряхе.

И сразу мысль становится прозрачной,
Сюжет, как Феникс, восстаёт из праха,
Стихи ложатся песнею удачной,
Достойные любого альманаха».

Волшебный гаджет! Верите ребята?
А я поверил, может быть, с испугу.
Я понял всё, но грабли перепрятал
Туда, где сам люблю гулять по лугу.

Олегу Рябову. Фокусник

Прикурю от солнца сигарету,
Зачерпну из облака вина
И рвану гулять по белу свету,
Прыгнув из открытого окна…

О. Рябов, из цикла «Одиночество»

Как же я завидую поэту,
Он же просто чудо сотворил:

Вытащил из пачки сигарету,
Спичек нет – от солнца прикурил!

Просто удивляюсь этой прыти,
Зря свои способности скрывал:
Захотел вина, и чтобы выпить,
Взял и просто облако позвал!

А потом, стихи вещая гулко,
Радостно, от страха не дрожа,
Сиганул, родимый, на прогулку
Из окна, с восьмого этажа!

Нам беречь лихих поэтов надо.
Где ещё найдёшь таких светил!
Хорошо, что я тогда был рядом
И ему соломку подстелил.

Николаю Симонову. Ночные гости

Наверно, песня моя спета!
Дай боже отдыха очам!
Ан нет – французские поэты
Ко мне приходят по ночам.
. . . . .
Де Кабестань – без головы.
. . . . .
Верлен несётся с пистолетом
За юным демоном – Рембо.

Н. Симонов «Французские поэты»

Ночь настаёт, а с ней – мученья.
Вчера хотел заснуть – увы!
Ко мне припёрся на леченье
Де Кабестань. Без головы!!!

Хотел налить ему рюмашку,
Чтоб горе в водке утопить,

Но углядел свою промашку:
А чем он, бедный, будет пить!?

Да, вероятно, он ругался,
Но я не мог услышать брань.
Наш разговор не состоялся –
Ушёл ни с чем де Кабестань.

Уже восток светлел алея.
Отняв желанный шанс на сон,
Ко мне с верёвкою на шее
Пришёл повешенный Вийон.

Мы нашей встрече были рады.
Расположившись на привал,
Вийон читал свои баллады,
Я одобрительно кивал.

Вторую ночь сидел без сна я,
Был истощён и утомлён,
Куда пропал поэт – не знаю.
Видать, обиделся Вийон.

Проходит жизнь в бедламе этом.
Истошно, яростно крича,
Верлен несётся с пистолетом.
Ещё замочит сгоряча!

И в продолженье грустной темы,
Явив мальчишескую стать,
Рембо врывается, как демон,
Чтоб мне сонеты почитать.

Я восклицаю, что обуза
Такая мне не по плечам.
Я вас люблю, мои французы,
Но не ходите по ночам!

Игорь РОДИН
Москва

Светловолосым богиням
(Вроде бы перевод с древнегреческого)

О, прекрасные девы, в смятении падаю ниц перед вами!
Красотою своей затмеваете вы Афродиту.
Ваши губы подобны кораллам,
добытым на острове Корфу,
Ваши груди подобны высоким горам Пиренейским.

Проезжаете мимо вы в красной спортивной
своей колеснице
И волнуете взоры мужчин дорогой силиконовой статью.
Как изысканно смотритесь вы с небольшой собачонкой
под мышкой
И неброской сверкающей сумкой из кожи питона!

Вы по мраморной лестнице виллы идете в покои,
Где вас ждет утомленный трудами почтенный патриций.
Он слепил вас своими руками с макушки до пяток
И он хочет узреть на закате свою Галатею.

Сергей ФИЛИППОВ
Москва

* * *

Моё глубокое почтенье!
Моё почтение всем вам,
Живущим в экопоселеньях.
Мир вашим замкам и домам.

Поклон от тех, кто вновь унижен.
Кто прозябает не у дел.

От их лачуг, квартирок, хижин,
Трущоб, «шанхаев» и фавел.

В посёлках, наглухо закрытых,
Вдали от посторонних глаз
Вся современная элита
Сегодня прячется от нас.

Под сенью девственной природы,
Скупив озёра и леса,
А их токсичные заводы
Коптят нещадно небеса.

Пытаясь в свойственной манере
Им незаметно, под шумок,
У неделимой биосферы
Оттяпать лакомый кусок

В отдельном экопоселенье,
Что, несомненно, говорит
О скудости воображенья
Так называемых элит.

Семейное чтение

Валерий РУМЯНЦЕВ
Сочи

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ

Игра

После ковида, который долгое время был главной темой в общении учеников 5-го «В», некоторое время все разговоры вертелись вокруг оценок и компьютерных игр. Но былого интереса уже не было. Чувствовалось отсутствие острых ощущений.

Однако не зря говорят, что свято место пусто не бывает. Появился квадробинг.

И довольно быстро вошёл в моду. Особенно в младших классах. В связи с этим резко повысился интерес к зоологии. Сначала дети лишь изучали повадки различных животных и пытались им подражать. Кому-то это быстро надоедало, а кто-то увлёкся этим занятием не на шутку.

В 5-м «В» самыми ярыми квадроберами стали два друга – Паша Ветров и Дима Дашечкин. Когда они на перемене весело гонялись друг за другом, изображая щенят, то неизменно вызывали одобрительные возгласы зрителей. И завистливые взгляды тех школьников, которые не могли похвастаться чем-то подобным.

Долгое время Паша и Дима были главной достопримечательностью класса. И они этим очень гордились. Но пальма первенства требует постоянного ухода. Иначе её плоды могут утратить свой вкус. Постепенно интерес к знаменитым квадроберам стал снижаться.

В 5-м «В» была традиция в конце каждого месяца собираться после уроков и поздравлять одноклассников, у которых в этом месяце был день рождения. Пили чай с печеньем, делали селфи с именинниками и устраивали разные конкурсы. Называли между собой эти посиделки «днями печенья».

И вот на очередное такое чаепитие одна из девочек – Эллина Чайкина – пришла в образе кошечки. Это был шок для всех собравшихся. Лапки, ушки, мордочка – всё было так похоже. А длинный пушистый хвост – вообще нечто. Эллина мгновенно стала центром всеобщего внимания.

Девчонки восторженно гладили кошачьи аксессуары и выдавали восхищённые междометия.

– Ну, Элька, ты даёшь, – с одобрением протянул Дашечкин. – Добро пожаловать в клуб квадроберов.

А Ветров дёрнул Чайкину за хвост и спросил:

– Да, классные прибамбасы. Где достала?

Эллина грациозно взмахнула лапкой, царапнув Ветрова за ухо, и прошипела:

– Фи… Собака! Отвали, пока цел!

– Ну правда, Эль, – пришёл другу на помощь Дашечкин, – скажи, откуда всё это.

И девчонки тоже затеребили подругу:

– Да, Эллинка, где взяла такую прелесть? Колись давай…

Не выдержав напора одноклассников, Чайкина сдалась и выдала секрет:

– Мама на день рождения подарила. На «Вайлдберриз» заказывала.

– На «Вайлдберриз»? А что, уже продают такое? – послышались удивленные голоса.

– А то. На «Ягодках» всё продают, – авторитетно заявила Эллина.

В тот же день Ветров и Дашечкин зашли на сайт Wildberries и посмотрели, что там можно купить для квадробинга.

Разнообразие предложений поражало. Но еще больше поражали цены этих предложений.

– Трудно будет уговорить родителей, – вырвалось у Дашечкина.

– Ничего, прорвёмся, – уверенно сказал Ветров. – Придумаем что-нибудь.

На следующий день, придя в школу, Ветров увидел довольное лицо Димы и сразу понял причину этого.

– Уговорил родителей? – спросил он. – Да вижу, что уговорил. Что сказал?

Дашечкин улыбнулся:

– Обещал тройку по русскому исправить. А ты?

– А я сказал: у других ребят в классе есть, а у меня нет. Мы что, хуже всех? Так мне кроме того, что сам выбрал, ещё и будку заказали. Прикинь, я в ней и спать смогу.

– Ну и везёт же тебе, – с завистью протянул Дима.

Прошла неделя мучительных ожиданий. Наконец заказанные товары были получены. Друзья вдоволь наигрались с ними, устроили фотосессию и выложили в соцсети. Потом стали думать, как эффектнее поразить одноклассников.

Урок истории начался как обычно. Сначала Геннадий Петрович проверил домашнее задание, устроив беглый опрос. Затем класс прослушал доклад одного из учеников. Учитель благожелательно внимал выступающему и довольно кивал, отмечая наиболее удачные места. Он, конечно, понимал, что большая часть доклада была просто скопирована из интернета, но уже то, что ученик сумел найти нужную информацию среди гор мусора, было совсем неплохо.

Похвалив докладчика и объявив новую тему, Геннадий Петрович раздал классу чистые тетрадные листки и сказал:

– Как мы с вами уже знаем, древнейшие люди прошли четыре стадии развития: от человека прямоходящего до человека разумного. Теперь мы приступаем к изучению истории цивилизаций. И начнём изучение с государства на берегах Нила. Сейчас вы посмотрите небольшой фильм о Древнем Египте. А после этого письменно ответите на несколько вопросов. Какие будут вопросы, я вам заранее не говорю, по-

этому будьте внимательнее и постарайтесь выделить самые важные моменты из показанного в этом фильме.

Шторы на окнах опустились, и включился проектор.

Дашечкин и Петров переглянулись и бесшумно сползли на пол.

После показа фильма учитель напомнил классу, что теперь предстоит небольшая письменная работа. Потом он подошел к доске, чтобы записать вопросы, на которые нужно было ответить.

И тут Геннадий Петрович почувствовал какое-то оживление в классе.

Учитель повернулся и увидел, что в проходе стоят две собачки. То, что это Ветров и Дашечкин, можно было догадаться только по опустевшим местам этих учеников. Ну, ещё и по одежде. А вот мордочки и хвосты были вполне натуральными.

Иван Петрович не спеша подошёл к Ветрову и, наклонившись, почесал его за ухом.

– Хороший пёсик, – ласково произнёс учитель. – Ты учиться пришёл?

Ветров вошёл в роль и лизнул гладившую его руку.

Дашечкин решил получить свою порцию внимания и, глядя на учителя, негромко тявкнул.

Геннадий Петрович взглянул на него и восхищённо сказал:

– Ты тоже хочешь учиться? Какие глазки умные! Вот видите, ребята, – обратился он к застывшему классу, – даже собачки тянутся к знаниям. Берите с них пример. А сейчас давайте за работу. Не отвлекайтесь. На перемене с ними поиграете.

Убедившись, что большая часть класса вернулась к работе, учитель тихо сказал квадроберам:

– А вы, друзья, подождите. Не мешайте остальным. Скоро урок закончится. И когда в следующий раз придёте в школу, вы уж не забудьте намордники надеть. Так, на всякий случай.

Ветров обиженно заскулил и отвернулся. До конца урока друзья молча просидели под столом. Зато после звонка они в полной мере насладились вниманием одноклассников.

На следующий день учителя истории срочно вызвали к директору. В кабинете кроме Анфисы Леонидовны – директора школы – сидела и какая-то женщина с высокой модной причёской и круглым недовольным лицом.

– Геннадий Петрович, это мама Паши Ветрова, – сказала директор. – Она говорит, что вы на последнем уроке не совсем корректно отнеслись к её сыну…

Госпожа Ветрова возмущённо всплеснула руками:

– Не корректно? Да он явно издевался над Павликом. При всём классе. Это что у вас, нормально – ребёнка травмировать? Мой сын вчера сам не себя не похож был, когда из школы пришёл.

– Да он и на уроке сам на себя не похож был, – усмехнулся историк. – Вы ведь знаете, что ваш сын увлекается квадробикой?

– Знаю, конечно. Я о своём сыне всё знаю. Но это не ваше дело – чем там мой сын увлекается.

Геннадий Петрович пожал плечами и согласно кивнул:

– Не моё. Здесь вы правы. Ну а если увлечение вашего сына начинает мешать другим? Тогда как? Вчера, например, Паша чуть не сорвал мне урок. Да и вообще, вам не кажется, что в 12 лет подобные увлечения выглядят уже несколько странно? Если для первоклассников бегать в масках животных ещё допустимо, то к пятому классу пора бы уже и переболеть этим. По-моему, у вас есть повод для беспокойства. Смотрите, как бы ваш сын не заигрался. А то потом эту проблему решить будет очень непросто.

Госпожа Ветрова с перекошенным лицом вскочила со стула и выпустила наружу распиравшее её негодование:

– Не надо меня учить, как мне моего сына воспитывать. Я же мать – я знаю, что для него лучше. А вот таких, как вы, вообще нельзя к детям допускать. Намордник он хочет на моего сына надеть… На себя надень! Я найду на вас управу.

И она вышла из кабинета, хлопнув дверью так, что почётные кубки на стенных стеллажах задрожали.

– Зря вы так, Геннадий Петрович, – осуждающе произнесла Анфиса Леонидовна. – Нельзя в таком тоне разгова-

ривать с родителями учеников. К тому же, отец Ветрова – большой друг нашей школы. Именно с его помощью был установлен забор вокруг школьной территории.

– Да при чём тут забор, – отмахнулся Геннадий Петрович, – я ведь говорю о воспитании. Вам не кажется, что человечество медленно, но верно сходит с ума?

– Ну, это не нам с вами решать. Вы там с квадроберами поаккуратнее. А то как бы эта родительница и в суд на школу не подала. Нам скандалы не нужны.

Полгода школа жила без скандалов. А потом, как всегда неожиданно, произошло очередное происшествие. Паша Ветров на перемене сильно покусал второклассницу, которая никого не трогала и, стоя на четвереньках, мирно ела из мисочки свой Kitekat.

Синица, голубь и Серёжка

Сергей и Фёдор дружат с первого класса, а сейчас учатся в 7-м «Б» и сидят за одной партой.

Сергей живёт в пятиэтажке, Фёдор – в частном доме, возле которого просторный двор.

В этом дворе они решили пострелять из воздушной винтовки.

– Мы можем сделать только двадцать выстрелов: десять – я, десять – ты. Выясним, кто лучше стреляет, – сказал Фёдор и стал расставлять в конце двора старые консервные банки.

– А пуля пробивает консервную банку? – спросил Серёжка.

– А чёрт его знает – посмотрим, – сказал Фёдор и первым начал стрелять.

Из десяти выстрелов он поразил три цели.

– А теперь давай ты, – передал винтовку другу.

– Тебе хорошо, ты много пострелял, а я в тире был всего два раза, – пожаловался Сергей.

Он взял винтовку и непроизвольно направил створ на товарища.

Фёдор отвёл рукой ствол в сторону и строго сказал:

– Никогда не направляй ствол в сторону человека, запомни это на всю жизнь.

– Да я нечаянно… – стал оправдываться Сергей.

– Ладно, давай стреляй. Потом сравним результаты, – торопил Фёдор, предчувствуя свою победу.

Серёжка выстрелил девять раз – и промахнулся.

Когда он собрался спустить курок и сделать последний выстрел, вдруг увидел, что напротив него, совсем рядом, на дерево села синица. Он прицелился и выстрелил.

Синица замертво упала на землю.

Друзья подошли к ней и стали рассматривать бедную птицу.

Из головки синицы медленно вытекала тоненькая струйка крови. Она и мёртвая была красива: белые щёки, оливковый цвет оперения спины, жёлтое оперение живота.

– Ну, ты просто ворошиловский стрелок, – похвалил Фёдор друга и похлопал его по плечу.

Сергей смотрел на мёртвую синицу, и ему не верилось, что это он убил её.

– Зачем я, дурак, сделал это? – сокрушался Сергей.

– Да ладно тебе. Подумаешь, подстрелил птичку, великое дело, – утешал его Фёдор.

И с этого дня у Сережки, можно сказать, начался новый этап в жизни.

Он вспоминал об убийстве каждый день, и его терзала мысль, зачем он это сделал. «Дурак, дурак, такая красивая птица», – клял он себя. У совести хорошая память. На душе было противно. Каждый день его грызла совесть. А как известно, совесть грызёт до тех пор, пока у неё не сотрутся все зубы.

Раньше, проходя по городу, он почти не обращал внимания на птиц. Ну летают, и пусть летают. А теперь он всегда замечал их, часто останавливался, разглядывал их внешность, наблюдал за их повадками. Но вот беда: синичек не было видно. «Может, я убил последнюю», – как-то подумал он – и ему стало ещё тревожнее на душе. В основном перед его глазами мелькали голуби и воробьи, изредка показывались скворцы, вороны или сороки.

И вот через три недели после происшествия, Сергей увидел наконец-то синичку. «Слава богу, не последняя», – подумал он, и на душе у него немного отлегло. В тот же день он сделал кормушку для птиц и повесил её на дерево возле своего балкона. Но сколько он ни сыпал раскрошенного хлеба в эту кормушку, ни одна синица не появлялась.

«Может, синицы не едят хлеб?» – подумал он. И, включив ноутбук, стал искать информацию о синицах. Выяснилось, что осенью и зимой они поедают зерновые растительные корма и различные семена растений. С учётом того, что на дворе был конец февраля, Сергей накупил пшеницы, ячменя и проса. Запасся он и семенами ели, сосны, берёзы и рябины.

Целую неделю школьник мастерил новые кормушки. Изготовив десять штук, он развесил их по всему городу в надежде, что синица, которую он недавно увидел, найдёт хотя бы одну из них. Пищу во все кормушки он носил каждый день.

И вот однажды он увидел синицу. Она находилась в его кормушке, но, увидев человека, вспорхнула и улетела. Душа Сергея ликовала. Это был самый счастливый день в его жизни за последние месяцы.

Когда наступил июнь, у Сергея начались новые проблемы. Ещё зимой он прочитал, что летом синицы питаются в основном животными кормами, то есть жуками, мухами, мошкой, комарами, клопами, пауками. «Что делать? – сокрушался он. – Где я возьму столько насекомых? И купить их нельзя нигде».

И тогда он завёл банку с крышкой и складывал туда насекомых, которых отлавливал в своей квартире. Но охота на насекомых не давала нужного эффекта. И он попросил своих друзей, приятелей и знакомых из числа школьников последовать его примеру и помочь ему.

Первой в классе согласилась помочь Лена Скворцова: она любила Сергея с четвёртого класса.

Тем, кто отказывался, он говорил:

– Я у тебя куплю.

И после этих слов кое-кто соглашался.

А некоторые ещё и торговались. «Чёртовы бизнесмены», – ругался он про себя, но виду не подавал, чтобы не спугнуть продавцов.

А когда Сергей попросил об этом Фёдора, тот вытаращил глаза и сказал:

– Такой ерундой я заниматься не буду.

– Да пойми ты, синиц очень мало, летом они другую пищу не едят, – убеждал друга Серёжка.

– Я сказал не буду, значит, не буду. И отстань от меня, – рассердился Фёдор.

– А ты знаешь, есть народные приметы, – не унимался Сергей. – Если во двор прилетает синица, то будут счастливые перемены в жизни. Если испачкает одежду – к деньгам.

– Я в приметы не верю, – отмахнулся Фёдор.

– Ну, народ-то зря не будет говорить, – продолжал Сергей. – Эти знания людей накоплены тысячелетиями. И пословиц с участием синицы много придумано. Мне вот больше всего нравится эта: лучше синица в руках, чем журавль в небе.

– Пословица правильная, но ловить насекомых я не собираюсь.

– У нас, оказывается, есть Союз птиц России, – продолжал гнуть свою линию Серёжка.

– Да ты что? – удивился Фёдор. – А я и не знал.

– Так вот, по инициативе этого Союза, 12 ноября считается синичкиным днём…

Но убедить друга так и не удалось.

Как-то в июне, в субботу, Сергей вышел из своей комнаты на балкон. В метре от него сидел голубь. Вид у него был жалкий. Крылья опущены до пола, на появление человека он никак не отреагировал. «Или умирает, или заболел, надо ему помочь», – подумал Сергей и пошёл на кухню. Взял кусок хлеба и вынес корм больной птице. Присел на корточки и стал крошить хлеб. К его удивлению, голубь, волоча по полу крылья, решительно приблизился почти вплотную к его рукам и стал азартно клевать крошки. Сергей обрадовался, что у пернатого есть аппетит.

А через четверть часа Сергей подумал, что голубю надо и воды дать. Наполнил блюдечко водой и вынес на балкон.

Каково же было его удивление, кода он увидел, что все крошки хлеба голубь уже склевал. И вскоре возле птицы уже была новая порция корма.

На следующий день, проснувшись, Сергей первым делом заглянул на балкон. Голубь выглядел пободрей, крылья уже не свисали до пола, вся пища была съедена, воды в блюдечке не было.

Сергей вновь вынес кусок хлеба на балкон, присел на корточки и начал крошить. Голубь активно клевал корм, почти касаясь рук кормильца. «Брать его в руки нельзя, а то испугается», – подумал Сергей. И вдруг голубь поднял голову и стал ворковать. Такого в жизни Сергея никогда не было. В его душе проснулась радость.

Во время завтрака отец Сергея спросил:

– Мать, а ты видела? Там этот Сережкин голубь весь балкон загадил.

– Да ты что? – всплеснула руками хозяйка квартиры. – Прогнать его надо…

– Не вздумайте трогать птицу, – возмущённо сказал Сергей, и его брови нахмурились. – Как он поправится и улетит, я сам всё там уберу и вымою.

Мать с отцом переглянулись и замолчали. Таким решительным они своего сына никогда не видели.

Весь день Сергей кормил и поил своего нового питомца. А вечером перед сном, заглянув на балкон, увидел, что того и след простыл.

Душа Сергея ликовала. Бывает такое состояние души, которое стоит целого состояния. Это и был тот самый случай.

После этого Сергей стал интересоваться сначала голубями, а потом прочитал много литературы и о других птицах.

И решил показать Фёдору, что зря тот равнодушен к пернатым. В одной из бесед Сергей сказал:

– А ты знаешь, что совы не могут двигать глазами? Вместо этого они поворачивают головы до 270 градусов без вреда для здоровья.

– Ни фига себе, – удивился Фёдор. – Интересно, как это они так могут.

– А знаешь, кто самая болтливая птица? – продолжал орнитолог-любитель.

– Скорее всего, попугай, – ответил друг и добавил: – Есть попугаи, которые знают около двадцати слов.

– Двадцать слов – ерунда. Самой болтливой птицей считается жако (серый попугай). Он может запоминать более 1500 слов.

– Ты шутишь? – спросил Фёдор.

– Нисколько. А вот ещё есть тундровый лебедь. Так у него наибольшее количество перьев. Их количество достигает 25 тысяч.

– Вот это птичка. Сколько подушек можно сделать, – засмеялся Фёдор.

– Но самая уникальная птица – это лирохвост, обитающий в Австралии. Он обладает сложнейшей голосовой системой. Она позволяет имитировать почти любые звуки, вплоть до воя бензопилы, выстрелов из винтовки, автомобильной сигнализации или человеческого голоса.

– Ну ты прямо как Дроздов со своей программой «В мире животных».

– Давай я тебе дам книги про птиц, а ты почитай, – предложил Сергей.

– Нет, не надо, – отказался Фёдор. – Я читаю только детективы и фантастику.

После этого разговора Сергей почувствовал, что их многолетняя дружба дала трещину.

Почему же Сергей так увлёкся орнитологией?

Птицы показывают нам, что крылья – великое дело. Имея крылья за спиной, можно подняться на вершину знаний. А без них жизнь теряет всякий интерес.

Разговор о важном

Оля Черникова чувствовала себя самым счастливым человеком в городе. Она стала победительницей областной олимпиады по математике. А когда Злата Карловна, которая была у них в 11-м «Б» классным руководителем, через неделю сообщила ей ещё одну новость, Черникова стала ещё счастливей. Победители областных

олимпиад со всей страны поедут на зимних каникулах в сочинский санаторий «Юность». Проживание и питание бесплатное, а билеты на дорогу покупают родители.

У Оли отца не было, а мать получала маленькую зарплату.

Вечером, когда мать пришла с работы, Оля сообщила ей о возможной поездке, но, помолчав, сказала:

– Оказывается, железнодорожные билеты опять подорожали…

– Ничего, доченька, – сказала, вздохнув, Варвара Петровна, – не переживай. Я продам золотое кольцо моей бабушки...

– Может, мне всё-таки отказаться от поездки?

– Ни в коем случае. Такое везение бывает раз в жизни. Я не побывала в Сочи, так хоть ты съездишь. Говорят, там очень красивый город.

Жизнь в классе шла своим ходом. Как и раньше, среди учащихся особо выделялись двое: дочь директора школы Валя Козлова и Валера Орлов.

Валю Козлову в классе не любили. Она была уж слишком высокомерна. Когда у кого-то вылезает спесь, она выплескивается на окружающих. Пытаясь унизить того или иного одноклассника, Валя открыто смеялась над теми, кто носил дешёвую одежду и у кого были кнопочные сотовые телефоны. А на днях она пришла в серёжках с бриллиантами и хвалилась перед одноклассницами. Многих в классе раздражало, что учителя ставят ей отличные оценки, которые она явно не заслуживала. Ни для кого не было секретом, что Козлову тянут на медаль.

А вот Валера Орлов пользовался в классе большим авторитетом. Это был добропорядочный человек, склонный к справедливости. И учился так, что никто не сомневался, что золотая медаль у него уже в кармане. Эпизодически он слегка конфликтовал с Козловой, высмеивая недостатки её натуры. Но время проходило, и конфликты забывались. Если кто и боролся всегда за правду, так это Валера Орлов. Именно поэтому у него было прозвище «правдоруб». Орлову многое не нравилось в жизни класса, и он часто пытался изменить что-то к лучшему.

Всё, что не укладывалось в его представление о добре, он считал злом.

Когда стало известно, что Черникова стала призёром олимпиады по математике, Валера Орлов искренне поздравил и по-дружески обнял Олю. А Валя Козлова сделала вид, что ничего существенного в их коллективе не произошло.

Новый год стремительно приближался. Оля Черникова представляла, как через несколько дней будет ходить в Сочи по олимпийским объектам, которые она видела только по телевизору; как будет любоваться диковинными растениями в дендрарии; как обязательно посетит башню на горе Большой Ахун. Много картин рисовалось в её воображении.

Каждый день приближал Олю к выезду в Сочи. Но то, что несёт нам грядущий день, он часто не доносит.

Черникова с нетерпением ждала, когда Злата Карловна скажет ей о дате предстоящей поездки. И наконец, не выдержав, сама спросила об этом классного руководителя. Но та лишь пожала плечами и как-то торопливо сказала:

– Документы для санатория ещё не пришли из роно. Как только получим – я сообщу. Не волнуйся.

– Спасибо, Злата Карловна, – улыбнулась Оля. – А то мама всё спрашивает, когда билет покупать.

Черникова ушла, а учительница, вздохнув, принялась за бумажные отчёты. Но перед глазами настырно всплывали детали вчерашнего разговора с директором школы.

Злата Карловна зашла к нему в кабинет как раз по поводу Черниковой. Узнать, известно ли уже, когда девочке следует выехать в Сочи.

Директор после некоторого раздумья недовольно произнёс:

– Поторопились вы, Злата Карловна. Не посоветовались. Не нужно было говорить Черниковой об этой поездке.

– Да почему? Она же победила на олимпиаде.

– Ну победила, победила. Разве в этом дело? Вы, как классный руководитель, должны быть в курсе материального положения в семье этой ученицы. Разве может она позволить себе такую дорогую поездку? Одна дорога чего

стоит. А там, в городе? Как эта бедная девочка будет себя чувствовать рядом со своими сверстниками из обеспеченных семей? Нет, мы не можем рисковать неокрепшей детской психикой.

– Но что же делать? – растерялась Злата Карловна. – Она ведь ждёт, надеется.

– Ничего, переживёт. Что-нибудь придумаете, – спокойно сказал директор.

Он встал из-за стола, давая понять, что разговор окончен, и добавил: – Кстати, вы помните, что у вас в марте аттестация? Правильно расставьте приоритеты. А сейчас идите работайте…

После окончания зимних каникул, Черникова узнала, что в сочинском санатории вместо неё была Валя Козлова. А Оля так мечтала! Когда умирает мечта, воля начинает спотыкаться. Черниковой больше не хотелось учиться. Окружающий мир уже не казался ей таким привлекательным и интересным, как раньше. У неё постоянно было плохое настроение. Это бросилось в глаза многим в классе. Заметил это и Валерий Орлов.

Через неделю между Ольгой и матерью состоялся такой разговор.

– Мама, как гадко всё это выглядит.

– Гадко, конечно, всё это… Но Козлов – директор школы, а я кто? Рабочая на фабрике. Так что смирись, – сказала Варвара Петровна и тяжело вздохнула. – Это, доченька, и есть жизнь.

– Мам, не могу…

– Но ведь могли и не отправить в Сочи победителей. Так что плюнь и забудь. А то вон, смотри, похудела даже.

В ходе разговора обида разрослась, и Оля заплакала.

– Поплачь, доченька, поплачь, – утешала Варвара Петровна дочь, ласково поглаживая её по голове. – Слёзы на то и слёзы, чтобы смывать с лица горе.

В классе ситуацию с поездкой в Сочи активно обсуждали, но делали это полушёпотом. Никто не хотел портить отношения с Валей Козловой, а значит, накануне выпускных экзаменов и с директором школы. Вместе с тем в душах многих одиннадцатиклассников играл оркестр

возмущённых чувств в адрес Козловой, но не было дирижёра. И вот он появился. Добрый нрав способен испортить любое злое дело.

Настал день, когда проходил очередной классный час, но теперь он назывался предметом «Разговор о важном». В первую минуту урока классная назвала его тему:

– Сегодня мы поговорим о медицине в России…

Валерий Орлов поднял руку.

– Что ты хочешь сказать, Валера? – спросила Злата Карловна.

– Злата Карловна, в программе «Разговор о важном» мы о чём только ни говорили: и о Дне российской печати, и о Дне студента, и о массовом спорте в России. Сегодня вот нам предлагают поговорить о медицине в России. Какая у нас медицина, мы все знаем. Сталкиваемся с ней постоянно. Я полагаю, что в программе этого предмета нет главного: разговора о совести и чести. Или нашей стране не нужны выпускники школ с совестью и честью?

В классе после этих слов наметилось оживление. А Орлов быстро продолжил, чтоб его не перебили:

– Нам на примерах надо показать, что корысть – это ржавчина в душе. Вот у нас Оля Черникова, победительница областной олимпиады, заслуженно должна была бесплатно побывать в сочинском санатории, а поехала туда Валентина Козлова. Так кто же такая Валя Козлова? Пройдоха?

В классе долго терпели выходки Козловой. Последняя капля терпения – это толчок к действию.

– Пройдоха…Пройдоха… – неожиданно раздались мальчишечьи голоса.

– А теперь хором! – крикнул кто-то. – Прой-до-ха!

И вдруг произошло ещё более невероятное: больше половины учеников начали скандировать:

– Прой-до-ха! Прой-до-ха! Прой-до-ха!..

Злата Карловна не верила своим глазам. На мгновение ей показалось, что это кошмарный сон. Она хотела что-то строго сказать, но её язык онемел, и она только как-то несуразно замахала руками.

И в этот момент Валентина Козлова выскочила как ошпаренная из класса. Ей было не до того, чтобы понять: любую ложь подстерегает капкан правды.

Прозвучавшая правда частично утолила жажду справедливости. Как только Козлова выбежала и громко хлопнула дверью, в помещении класса раздались аплодисменты. Все, кто раньше полушёпотом осуждал её поступок, сейчас по непонятной самим им причине стали смелыми и продолжали аплодировать.

Не делала этого только близкая подруга Козловой Екатерина Сахарова, дочь известного в городе бизнесмена. У неё было прозвище Барыня.

Черникова тоже никак не участвовала в стихийном протесте класса против Козловой. Оля считала, что в какой-то степени из-за неё в классе впервые произошёл настоящий бунт.

Вдруг Барыня встала и крикнула:

– Кто без греха, бросьте в меня камень! С каждым может такое приключиться! – и предложила: – Давайте её простим.

– Простить – значит понять и забыть. А в данном случае невозможно ни понять этот гнусный поступок, ни простить! – заявил до сих пор стоявший Валерий Орлов и сел на своё место.

Взбешённая Сахарова схватила свою сумку и сумку исчезнувшей подруги и с брезгливым выражением на лице вышла из класса.

Злата Карловна наконец-то пришла в себя и охрипшим голосом сказала:

– Что вы творите? Нам нельзя враждовать. Всем нам нужно, чтобы у нас было чувство единения…

– Чувство единения возникает у тех людей, которые уже едины, – решительно сказал Орлов, не вставая с места и заключил: – Вот кто аплодировал, те и едины. Кто скандировал, не хотят быть едины с Валей Козловой.

Классная впилась в Орлова глазами так, что клещами не оторвёшь и с нескрываемой злостью сказала:

– Деликатные вопросы лучше задавать молча.

– А я, как Лев Толстой, не могу молчать, – быстро отреагировал Орлов и усмехнулся.

– Ох, трудно тебе будет, Орлов, в жизни, – сказала учительница и неожиданно объявила: – Все свободны.

Злата Карловна не представляла, как она будет докладывать директору школы о том, что только что случилось.

Валентина Козлова в классе больше не появилась. Отец перевёл её в соседнюю школу, где директором был его друг. Но и в той школе Валентину за глаза ученики называли «Пройдоха».

Через полгода учёба в школе завершилась.

Козлова получила серебряную медаль.

Валерий Орлов никакой медали не получил.

На выпускном вечере Оля Черникова спросила зачинщика бунта:

– Не жалеешь, что пострадал за правду?

– Если пострадал за правду, значит, правда не пострадала, – ответил Валерий Орлов и рассмеялся.

У костра

Больше всего в жизни я люблю ходить в походы. И вот сегодня, как говорит мой друг Женька, сбылась мечта идиота.

Мы только что окончили седьмой класс и пошли в двухдневный поход с ночёвкой.

Мы уже наигрались в волейбол и в футбол, поджарили на костре сосиски и с удовольствием съели их. А к ним добавили продукты, которые были в рюкзаках у каждого из нас. Уже перепели все песни, которые мы обычно пели хором под гитару.

И вот почти весь наш класс сидит на берегу реки вокруг большого костра, и моя душа наполнена радостью. Уже стемнело, и галдёж пошёл на убыль.

Вместе с нами и на сей раз наша учительница по русскому языку и литературе Нина Васильевна, она же и наша классная. Мы её любим больше, чем кого-либо из учителей. Она всегда понимала нас и пыталась найти в нас что-то хорошее. И если у многих учителей были уничижительные прозвища, то свою классную за глаза мы ласково называли Нивасик.

И неожиданно для всех Нина Васильевна предложила:

– А давайте по очереди по кругу каждый расскажет какой-нибудь интересный случай, который произошёл с ним в школе за этот учебный год…

– А смешной можно? – спросил кто-то.

– Конечно можно. Ну что, принимается? – задала вопрос классная.

– Да… Принимается… Давайте… – раздались голоса.

– Вот и хорошо, – сказала Нивасик и добавила:

– Оля, начнём с тебя и пойдём по часовой стрелке.

– Ой, а я что-то сразу и не могу вспомнить… – смутилась Оля Черкасова. – Но я расскажу про своего брата Диму. Он тоже в нашей школе учится, в третьем классе… Им учительница задала выучить наизусть стихотворения про бегемотов. И он так прочитал: «Вот летают бегемоты, кто-то с песней, кто молчком. Я бегу, обутый в боты с фиолетовым очком». А надо было «с сачком».

Все похихикали, громче смеялись пацаны.

Следующим рассказчиком была Татьяна Черникова. Она улыбнулась и говорит:

– Почему-то с ходу вспоминаются только смешные случаи. Все, наверное, обратили внимание, что наша буфетчица любит надевать розовый костюм и розовым веки накрасить. Мы вот недавно с Яной зашли в буфет и видим: она скомкала пиццу в руке, запихала её в рот и говорит с полным ртом: «Это я её вам рекламирую».

Было не очень смешно.

Следующей была Таня Свириденко. Она говорит:

– А я тоже про своего брата расскажу. Фёдор учится в первом классе и тоже у нас. Приходит он недавно домой и говорит родителям, что их учительница ест собак. А он очень любит собак. И просит родителей рассказать об этом директору школы. Оказалось, что их учительница объясняла что-то, проронив фразу «Да я на этом собаку съела».

А Соня Головко тоже про буфетчицу рассказала:

– Я в марте ездила на областную олимпиаду по русскому языку. Утром в гостинице спустились в буфет на завтрак. Разглядываем ценники и видим на одном написано

«шеколад». Девчонки тыкают в ценник пальцем и смеются. Буфетчица увидела нашу реакцию, дёрнулась, но ничего не сказала. Вечером приходим в этот буфет на ужин. Смотрим, на ценнике написано уже не «шеколад», а «шиколад». Мы грохнулись со смеха. А обиженная буфетчица гордо так говорит: «Что ржёте. Я же знаю, что *жи – ши* пишется с буквой И».

Все посмеялись, но недолго.

Наверное, Михаилу Зубову больше всех понравилось выступление Аси Плохотиной, потому что в её рассказе он был главным героем. Ася говорила громко и чётко:

– У меня самая интересная история связана с уроком физкультуры. Вы видите, какой у нас Миша громадина, наверно, рост под два метра. Так вот, играли мы в баскетбол. Несётся, значит, Миша с мячом к нашему кольцу. И тут мои 155 сэмэ при тощеватом сложении решили блокировать его. По офигевшим глазам Миши, бегущего на огромной скорости прямо на меня, я поняла, что такой подставы он не ожидал. Успел затормозить в последний момент, с досадой посмотрел так сверху вниз и торжественно вручил мне мяч.

– Браво, Миша! – крикнул кто-то. И все дружно зааплодировали.

– Миша, а ты помнишь эту сцену? – спросила Нина Васильевна.

– Конечно, – ответил смущённый Зубов. – Разве такое можно забыть.

Интересную историю рассказала Анна Житецкая:

– Это было не с нами, но имеет отношение к нашей школе. Папа познакомился с мамой на пляже в городе Сочи, далеко от нашего города. Оказалось, что живут они в одном городе и оба заканчивали нашу школу. Зимой я поехала к бабушке в деревню. Там в её альбоме увидела фотографию, на которой папа на последнем звонке несёт на руках первоклассницу с колокольчиком. Оказалось, что эта первоклассница – моя мама. А у нас дома такой фотографии нет.

– Вот как в жизни бывает, – удивилась Нина Васильевна. – Прямо сюжет для повести.

Следующим встал Алексей Николаев, держа в руках тетрадь, и сказал:

– Вы знаете, что после школы я собираюсь поступать в университет на филологический факультет. Хочу изучать русский язык, в нём так много интересного. И хочу пропагандировать наш язык, а то от вывесок на английском уже рябит в глазах. Живём будто в оккупированной стране. Поэтому внимательно слежу за речью людей…

– Алёша, – прервала его Нивасик, – ты молодец.

– Спасибо, Нина Васильевна, – сказал Николаев и продолжил: – Год назад я начал записывать перлы наших учителей. Вот они для меня и были запоминающимися моментами прошедшего года. Кое-что почитаю вам. Первое. «Микробы в наш организм попадают с руками».

– Это Надежда Филипповна, – крикнул кто-то, назвав по имени нашу биологичку.

– Не будем называть имён – сказал Алексей и посмотрел в сторону Нины Васильевны. Видимо, он сомневался, стоит ли подчёркивать безграмотность учителей и тактично ли всё это выглядит.

Не увидев на лице Нивасика возражений, Николаев стал читать дальше:

– «Это вам тригонометрия, а не физика какая-то, где надо химичить».

Кто-то захихикал, а кто-то стал перешёптываться. Алексей улыбнулся и процитировал:

– Замечание на физкультуре. «Синицын, если и на этот раз не перепрыгнешь коня, то ты загубишь бедную скотину».

– Было такое! – крикнул Синицын.

– «Оля, перестаньте улыбаться, вы не на Тверской».

– Это про меня, – сказала Оля Черкасова и закрыла лицо руками.

А оратор не унимался:

– «Зубов, твой затылок меня не возбуждает».

– Зубов уже второй раз главный герой, – не выдержала Нина Васильевна и засмеялась.

Алексей посмотрел на Женьку Самойлова и сказал:

– «Самойлов, у тебя, как у лягушки, язык постоянно открыт».

– Она меня уже задолбала, – возмутился Женька, но кто конкретно его замучил, не сказал.

Следующая цитата была такой:

– «Богомолов, ты почему у доски кривляешься? У вас что, в семье так принято… у доски кривляться».

Юрка Богомолов не стал подавать свой голос, и Алексей продолжил:

– «Синицина, ты что мел лижешь, корова что ли?»

Людки Синицыной с нами не было.

А дальше мы услышали такое:

– «Сменная обувь – это ваше лицо».

Но больше всего мне понравилась последняя фраза будущего филолога:

– «Дежурные, откройте окна и гоните всех из класса».

Из всех выступающих Алексей Николаев получил самые громкие аплодисменты.

Очередь выступать дошла до старосты класса Марины Зайцевой.

Она встала, сделала большую паузу, тяжело вздохнула и сказала:

– А для меня самая яркая история за прошедший год случилась, когда заболела Тома Зудина. Помните, она попала в реанимацию, и, чтобы поддержать её, Нина Васильевна принесла 29 конвертов, отменила сочинение и попросила каждого из нас на уроке написать ободряющее письмо Тамаре. К сожалению, она опять в больнице, и её сейчас нет с нами. Каждый из нас тогда написал письмо, положил в конверт, запечатал и в графе «кому» надписал конверт. И я через два дня, когда Тому перевели из реанимации в общую палату, вручила ей эти 29 писем. Если бы вы видели в этот момент её глаза… Такого взгляда я ни у кого не видела. И никогда не забуду этот благодарный взгляд. Мы с ней тогда обнялись, долго стояли в обнимку и плакали. Бывает боль, которую можно утопить только в собственных слезах… – Марина помолчала и добавила: – Вот этот эпизод жизни и был для меня самым-самым за последний учебный год

Когда Марина Зайцева села на своё место, все молчали.

И вдруг ветки деревьев над нашими головами зашумели от налетевшего ветра, и неожиданно пошёл проливной дождь.

Все разбежались по своим палаткам. Дождь долго не прекращался. Костёр быстро залило водой.

Жаль, что до меня не дошла очередь, и я не успел рассказать, какой момент жизни за прошедший учебный год был для меня самым ярким.

Стану ли я писателем?

У нас в 6-м «Б» классе Анна Петровна недавно спрашивала, кто кем хочет стать. Ребята и девчонки называли разные профессии. А Павел Парамонов заявил:

– Хочу стать самым богатым бизнесменом в России.

– А зачем тебе быть самым богатым? – спросила Анна Петровна.

– Чтобы покупать жене самые дорогие вещи, возить её на лучшие в мире курорты и жить на Рублёвке в самом дорогом особняке, – ответил Парамонов.

А когда Анна Петровна спросила Томку Чижову, та отчебучила.

– Раньше, – говорит, – я хотела стать космонавтом, а теперь я хочу быть женой Павлика.

И только я один в классе хочу стать писателем.

Родители научили меня читать, когда мне было пять лет. И ещё до первого класса я прочитал много книжек и очень хотел стать писателем. Но когда в начале первого класса мы учились писать буквы, то быть писателем я расхотел. Это сколько же надо мучиться, думал я, чтобы написать столько букв, чтобы хватило на целую книгу.

Но вскоре я научился быстро писать. И прочитал ещё очень много интересных книг. А такие книги, как «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара, «Белеет парус одинокий» Валентина Катаева и некоторые другие перечитывал несколько раз. А главный герой книги «Овод» Артур снился мне по ночам, и я пытался его спасти, но так и не смог.

Зато когда я читал книгу Носова «Незнайка в Солнечном городе», то не пытался никого спасать, а просто наслаждался чтением. Многие коротышки были очень похожи на ребят из нашего двора, и я удивлялся: как это Носов о них узнал. Наверное, он тоже жил в нашем городе.

И мне снова захотелось стать писателем, чтобы так же интересно рассказывать о том, что увижу.

Эта мысль окончательно захватила меня, когда прочитал «Северные рассказы» Джека Лондона. Я был просто в восхищении и несколько дней ходил, перебирая в памяти прочитанные страницы. Теперь по ночам мне снились собачьи упряжки и мужественные люди, покоряющие заснеженные просторы. Как мне хотелось оказаться среди них!

Когда дома я поведал о том, что хочу стать писателем, папа сказал:

– Почти все писатели вели дневники. Вот и ты заведи дневник и каждый день записывай туда свои впечатления от прожитого дня. В результате будешь формировать в себе те качества личности, которые нужны писателю. Это, сынок, очень трудная профессия. Тут нужны широкие знания и главное – научиться с помощью художественного слова создать произведения.

– Хорошо, – согласился я и спросил. – А что главное в любой книге?

– Что главное? – папа на несколько секунд задумался и сказал: – Главное – чтобы книга давала новые знания, воспитывала в человеке всё хорошее и доставляла удовольствие при чтении.

– Да, непросто, но я попробую, – решительно сказал я.

Папа задумчиво посмотрел на меня, потом порылся в книжном шкафу, нашёл какую-то книгу и протянул мне:

– Вот, возьми. Джек Лондон, который тебе понравился. Он пишет про человека, который тоже хотел стать писателем. Может, тебе будет интересно.

– Конечно, будет, – заверил я радостно.

В тот же день, а это было в начале учебного года, я завёл дневник. Но прошла неделя, другая, а я туда ничего не записал. Не было ничего интересного ни в школе, ни на улице.

И вот вечером, когда у меня было почему-то плохое настроение, отец спросил меня:

– Писательский дневник завёл?

– Завёл, – ответил я.

– И сколько записей сделал в дневнике? – поинтересовался папа.

– Пока ни одной, – сказал я.

– Как ни одной? – удивился папа, и у него даже поднялись брови. – Прошло уже две недели. Разве ничего интересного не было в твоей жизни?

– Ничего, – сказал я.

– Странно, – сказа папа. – Вот сегодня на уроках что ты узнал нового?

– Узнал новое домашнее задание, – пошутил я.

Разговор не клеился, и пала отстал от меня.

В самом деле, ну что я мог такого особенного записать в дневник писателя? Как Сашка Пинчук обиделся на Марью Петровну за то, что она поставила ему двойку, а он разозлился и перед следующим уроком в кабинете биологии надел на скелет человека женское платье? Это же неинтересно.

А вот если бы я в течение этих двух недель покорял со скалолазами Эльбрус или в качестве пассажира пролетел на сверхзвуковом истребителе, то да, было бы о чём написать в дневнике. Но, как говорит мама, не судьба.

Как-то незаметно пролетел этот учебный год, и вчера уже прозвенел последний звонок. А в моём дневнике писателя всего четыре записи. Да и то ни ахти какие. Мне понравилась только вчерашняя запись.

«Я и моя младшая сестра Надя в школу пошли вместе. Надя идёт нарядная, с двумя букетами цветов. Нас увидела соседка и говорит:

– Здравствуйте, у вас сегодня последний звонок, да?

А Надя говорит:

– Да, тётя Лена, последний звонок.

– А кому цветы несёшь? – спросила соседка.

– Один букет математичке, – говорит сестра, – она нам разрешает на уроке выходить в коридор, чтоб на звонки родителей отвечать. Её директриса за это ругает, но она всё равно разрешает нам выходить.

– А второй букет кому подаришь? – поинтересовалась тётя Лена.

– Географичке, – говорит сестра. – Она нам часто интересные обучающие видео показывает.

– А другие учителя тебе не нравятся? – спрашивает тётя Лена.

– А другие, – говорит Надя, – ещё как личности себя не продемонстрировали.

А вот это я написал, сам не знаю, зачем. Но вроде в дневнике нужно писать всё, что приходит в голову или случается с тобой. Вот я и написал.

«Вчера прочитал, наконец, роман Джека Лондона, который дал папа. “Мартин Иден” называется. Если честно, половину не понял.

Очень грустная история. Но главным героем можно восхищаться. Я и восхищаюсь. Мартин Иден хотел стать писателем – и стал. И я стану. Ему было трудно, но он победил. И я победю. Или побежду?

Короче, одержу победу. Вот только тонуть не буду».

Ну и ещё одна запись, вроде бы неплохая. Зимой я её записал.

«Наша классная Наталья Сергеевна ведёт у нас литературу. Она любит вставлять в речь различные поговорки, афоризмы. Сегодня она опять отчитывала нас и сказала:

– Вам нужно зарубить себе на носу, запомнить, что школа для вас – второй дом, и здесь я – ваша вторая мать.

После этой фразы неожиданно раздался стук в дверь. Наталья Сергеевна на это никак не отреагировала. Людка Громова, которую учителя называли “сорвиголова”, сидела ближе всех к выходу. Она подошла к двери, открыла, ей кто-то что-то сказал. Людка повернулась к Наталье Сергеевне и говорит:

– Мам, здесь к тебе пришли».

Я тут, конечно, приврал. На сей раз Людка не решилась на дерзость. Это я для того, чтобы сюжет был поинтересней.

Мало, мало я сделал в этом учебном году записей. Ну, ничего, на следующий год постараюсь сделать больше.

А пока буду, как Мартин Иден, идти к намеченной цели. И на завтра у меня уже намечено одно важное дело.

На следующее утро я и мой друг Костик, с которым мы жили в одном подъезде, собирались идти покупать крючки для предстоящей рыбалки. Едва я успел позавтракать, как за мной зашёл Костик, и мы вышли на улицу.

Солнце уже вовсю припекало, лёгкий ветерок разгонял тополиный пух, в парке пели птицы. Каникулы только начинались, и настроение было отличным.

Смеясь и дурачась, мы шли по улице и строили планы на ближайшие дни. Костик свернул было к рыболовному магазину, но я потянул его за руку:

– Погоди, мне нужно ещё в одно место зайти.

– Куда? Зачем? – поинтересовался Костик.

– Увидишь, – загадочно бросил я.

Мы прошагали ещё минут десять, потом свернули к реке и подошли к зданию с большой вывеской над входом.

– Союз писателей России, – прочитал я и сказал Костику: – Подожди меня здесь. Я быстро.

Затем я попытался открыть дверь, но она не открывалась. И только тогда я заметил ещё одну надпись сбоку двери на картонке:

«Вход с чёрного хода».

Мы обошли здание и нашли дверь, на которой красовалась небольшая табличка: «Союз писателей России».

Костик остался снаружи, а я открыл дверь и вошёл в полутёмный коридор. Там было несколько дверей, и я замешкался, соображая, за какой дверью может быть вход в большую литературу.

Наконец, я выбрал дверь с надписью «Секретарь» и решительно нажал на дверную ручку. Дверь отрылась, и я шагнул внутрь.

За столом, заваленным книгами, сидели трое мужчин и одна женщина.

– Тебе чего, мальчик? – спросил один из мужчин, сидящий во главе стола.

– Вы писатели? – на всякий случай поинтересовался я.

– Конечно, писатели. Ещё какие, – усмехнулся другой мужчина. – А что ты хотел? Автограф?

– Я тоже хочу стать писателем, – заявил я. – Вот пришёл в ваш Союз записаться.

Писатели переглянулись и на их лицах засветились улыбки. А писатель, сидевший во главе стола, радостно сказал:

– Хорошее дело. Мы всегда рады молодым дарованиям. Только, знаешь, писательство – это очень трудное занятие. И не каждому по силам.

– Знаю, – кивнул я.

– Откуда, позвольте спросить? – вступил в разговор молчавший до сих пор мужчина. – Знает он! Учительница в школе сказала?

Я пожал плечами:

– Да нет, книги читаю. Там всё написано.

– Ну и какую же последнюю книгу ты прочитал? Неужели «Денискины рассказы» осилил?

– «Мартин Иден» Джека Лондона, – гордо сказал я.

И, глядя на ошарашенные лица писателей, добавил:

– Джек Лондон – это американский писатель. И его роман произвёл на меня неизгладимое впечатление.

– Да знаем мы, кто такой Джек Лондон, – пробормотал писатель, сидевший во главе стола.

Некоторое время он молча смотрел на меня, что-то обдумывая.

А потом сказал:

– Да, видим, ты настроен серьёзно. И мы тебя с радостью примем в наш Союз, только есть одна маленькая деталь. Нужно, чтобы ты опубликовал хотя бы одну книгу. А для этого её нужно ещё написать. У тебя с этим будут проблемы? Сумеешь написать?

Я небрежно махнул рукой и с оптимизмом ответил:

– Конечно напишу. Раз надо – какой разговор.

– Ну вот и договорились, – облегчённо вздохнул писатель, завершая разговор, – Удачи тебе. До свидания. Приходи, когда напишешь. Будем ждать.

– До свидания, коллеги, – вежливо попрощался я и закрыл за собой дверь.

Не успел я сделать и нескольких шагов, как в кабинете раздался громкий смех.

«И среди писателей есть весёлые люди», – подумал я.

Костик ждал меня, изнывая от нетерпения. Мы отправились в рыболовный магазин, и по дороге я подробно рассказал ему, что было в Союзе писателей. А в конце со вздохом сказал:

– Только теперь у меня времени свободного мало будет. Писателем знаешь как трудно работать. Придётся много тренироваться, чтобы руку набить.

– А ты можешь за меня сочинения писать, – предложил Костик.

– А что, это идея, – кивнул я согласно.

Мы купили крючки, и мысли переключились на скорую рыбалку.

Дома я долго просидел, описывая сегодняшний день в писательском дневнике. Наконец была поставлена последняя точка, и я с чувством исполненного долга закрыл тетрадь и встал из-за стола.

А всё-таки интересно, стану ли я писателем?

Мария БАЛЫКОВА

ВЕРА В ЧУДО

– Идемте скорее, – ребятишки окружили Елену Ивановну.

– В чем дело? – женщина поставила ведро с водой. Набрано оно было прямо здесь, на Невском, из пробоины в асфальте, оставшейся после фашистского артобстрела.

– По дороге расскажем, – сказал мальчик в огромной ушанке, видно, отцовской.

– А вода? Мне надо ее в больницу отнести.

– Мы поможем, – два мальчугана в клетчатых пальто потащили ведро в сторону больницы.

Елена Ивановна побрела за ребятами. На Садовой вошли в пятиэтажный дом.

Печь с медной дверцей топки, выломанный паркет, сундук с тряпками, на полу – стопка книг, в основном детских – Маршак, Чуковский, Барто.

– И что тут? – оглядывалась по сторонам Елена Ивановна.

– Вот, – указал на сундук тот же мальчик в ушанке.

Девочка на тощих ножках, которые смотрелись совсем по-куриному в большущих валенках, аккуратно начала перебирать тряпки. В них лежал человечек, маленький, узкий, как луч света. Невозможно было понять, мальчик это или девочка, сколько ему лет или месяцев.

Елена Ивановна, работая педиатром, много видела детских страданий. Да таких, что не всякому взрослому вынести. Говорят, человек ко всему привыкает. Так вот, привыкнуть к творящейся действительности Елена Ивановна

не могла. Но для переживаний времени не было. Время вообще обретает особый вес в войну. И тратить его надо на дело, если уж тебе дана такая роскошь.

– Кто это?

– Это Настя Мирова, – всхлипывая, ответила девочка на курьих ножках.

– Вера, ну чего ты опять разревелась? – мальчик в ушанке участливо хлопнул девочку по плечу, – Это Настя, наша соседка. Она осталась совсем одна. Помогите ей, пожалуйста.

– А где ее мама?

– Вон. Умерла сегодня. Мы как узнали, сразу к вам. А то и Настя погибнет.

В дальнем углу комнаты на металлической кровати лежала женщина, опухшая от голода. Казалось, просто спала.

Елена Ивановна направилась к сундуку с Настей. Ребенок размером с куклу. Потрогала лобик – горячий. Даже пахнет по-младенчески. Елена Ивановна начала рыться в тряпках, чтобы закутать малышку. Сняла с себя шаль в мелкую дырочку, завернула девочку. Взяла ее на руки. Не весит ничего. Вправду – кукла.

– А сколько ей?

– Два года скоро, в декабре, – протянула Верочка, – так ведь, Вань?

Мальчик в ушанке кивнул.

– Не помню, какого числа. Но перед самым Новым годом – это точно.

Настя стала новым пациентом детской Ленинградской больницы. Разместили ее в палате для тяжелобольных. В 2 года она весила 4 килограмма. Организм истощен.

Впрочем, почти у всех пациентов была дистрофия. Елена Ивановна никогда не забудет, как заходила в палату и слышала:

– Дай, дай, – мальчики и девочки тянулись хилыми ручками к хлебу.

Врачи, медсестры, нянечки не доедали сами, а детей кормили. Отдавали почти все. Себе оставляли крохи, чтобы держаться на ногах. А держаться надо было: работа

круглосуточная, рук не хватало. Медики должны были не только лечить, но и топить буржуйки, носить воду. Операции, переливания крови, уколы делали при коптилках. Также принимали роды. После воздушных тревог ребят переносили в подвал. Однажды медсестра Тоня Тамберг вынесла пятерых новорожденных в своем халате. И это спасло им жизнь – бомба попала в роддом.

Утром Елена Ивановна заглянула к Насте. Состояние девочки по-прежнему тяжелое. Она почти все время спала. А если просыпалась, была вялой, едва двигалась и смотрела в одну точку.

– Без изменений, – вдохнула сестра Соня. – Тут уж надеяться не на что.

– Ах, Сонечка, надо верить. Если чему и учит война, так это вере. Забери ее у человека, и совсем худо будет, – Елена Ивановна погладила Настю. Девочка неожиданно откликнулась на прикосновение – моргнула и будто улыбнулась.

Елена Ивановна спешила на обход, когда в коридоре снова встретила вчерашних ребят.

– Здравствуйте. Мы пришли навестить Настю. И… вот, – Ваня протянул ушанку. Там лежал ремень. – Это Насте. Он кожаный. Сварите.

– Мамка его еще через мясорубку пропускала, – добавила Верочка.

От мысли о еде у Елены Ивановны желудок сжался и заурчал. Когда она последний раз ела?

– Ребята, вы молодцы, что думаете о тех, кто слабее. Но мы заботимся о Насте. Так что заберите ремень.

– Можно увидеть Настю? – спросила Верочка.

– Нет, ей надо набраться сил. Я спешу.

Елена Ивановна скрылась в палате. Ребята побрели к выходу. Верочка заметила, что на валенок прилип листок и стала его убирать. Но тот никак не давался.

– Пить, – услышала Верочка полушепот и заглянула в палату. На кровати у двери лежала девочка, тоньше нитки. Верочка не испугалась. Она и до этого видела детей, больных дистрофией. Только у этой девочки ноги были огромные, распухшие. Они едва помещались в мужские

валенки. Вера взяла кружку, зачерпнула воды из ведра и осторожно, как цыпленка, напоила девочку. Та взглянула на нее, потом закрыла глаза и больше ничего не говорила.

Ребята на других кроватях с перебинтованными головами, руками и ногами тоже ничего не сказали.

Вера вышла из больницы. На крыльце ее ждали друзья. Рот у девочки скривился, на глазах выступили слезы.

– Мне их жалко… – всхлипывала Верочка.

– А нам, думаешь, не жалко? – спросил мальчик в клетчатом пальто. Его звали Коля.

– И нам жалко, – ответил точно такой же мальчик в точно таком же клетчатом пальто. Это его брат-близнец Толя.

– Только чем же мы им можем помочь? Ремень они не взяли, – сказал Коля.

– Да и одним ремнем не поможешь, – включился в разговор Ваня. – Им не только еда, им папки с мамками нужны. А где же мы их возьмем? Им семья нужна, понимаешь? Чтобы там любовь, забота, радость.

– Точно! Праздник! – у Верочки слезы мгновенно высохли. – Мы устроим для ребят в больнице представление!

– Какое?

– Новогоднее! У всех дома есть игрушки? – глаза у Верочки щурились от улыбки.

Ребята кивнули.

– Давайте из них сделаем перчаточных кукол. И покажем кукольное представление.

– Вера, тогда давай постановка спектакля на тебе? У тебя так выступать хорошо получается. Ты так выразительно на линейке стишок для пионеров и октябрят читала, – Ваня показал большой палец вверх.

– Спасибо, – щеки у Верочки зарумянились не только от мороза.

– А что ставить будем? – спросил Коля.

– Я у Насти видела книжку «Двенадцать месяцев». Она такая волшебная. То, что нужно.

– Только нам еще декорации нужны, – заявил Толя.

– Может, вы с Колей ими займетесь? – спросил Ваня. – Вы на трудах такие скворечники делали. Точно справитесь.

– Это мы за раз, – в один голос ответили близнецы.

Ребята пошли домой мастерить кукол.

Верочка решила сделать главную героиню сказки – падчерицу. У нее была подходящая кукла с фарфоровой головкой и тряпичным телом.

Верочка взяла ножницы. Подошла к кукле. Взмахнула ножницами. И опустила руку со вздохом. Как же можно хорошую куклу резать? Ведь даже не играла в нее, берегла.

Девочка пошла убирать ножницы. Оглянулась на куклу. Та смотрела на нее глазами девочки с огромными ногами в мужских валенках.

Вера взяла куклу и разрезала тряпичное тело так, чтобы в его можно было надеть на руку. Теперь она будет дарить радость, а не пылиться на полке. Вере показалось, или кукла вправду посмотрела на нее с благодарностью?

* * *

Наконец все было готово к представлению. Дату спектакля назначили на 31 декабря, в самый Новый год. Врачи нарядили елку в палате. Ее привезли с окраины Ленинграда, когда ездили разбирать деревянные дома на дрова, чтобы отапливать больницу.

Елочные игрушки медики принесли из дому, некоторые сделали сами ребята из старых лампочек, проволоки, пружин. Все годилось. Надо было только проявить фантазию. И ёлка засияла празднично. Впервые в больнице пахло не лекарствами, а хвоей.

В ночь с 30 на 31 декабря Вера, Ваня, Толя и Коля почти не спали. Волновались перед премьерой. Хотя все слова знали на зубок, все равно выступать страшно. Верочка хотела даже расплакаться, но сдержалась. Все-таки теперь она не просто Вера Радостина. Она – режиссер и актриса. И плакать теперь может, только если по роли положено.

На сдвинутые кровати уселись зрители, задумчивые и серьезные.

– А где Настя? – Вера пробежала глазами по собравшимся ребятам.

– Она в палате для тяжелобольных, – ответила Елена Ивановна.

– Но мы же для всех спектакль готовили. Или вы хотите Настю без праздника оставить? – у Веры дрожали губы, но голос был твердым.

– Сонечка, – позвала Елена Ивановна, – принеси Настю.

– Но, Елена Ивановна, как же? Она совсем плохая...

– Будь добра, Софья, принеси Настю, – Елена Ивановна препарировала взглядом Сонечку.

Через две минуты Настя лежала на кровате в палате. Глаза у нее были полуоткрыты.

– Начнем, ребята? Сказку Самуила Яковлевича Маршака «Двенадцать месяцев» вам представят ученики 4 «Б» класса Ленинградской школы № 47! – объявила Вера.

Дальше был спектакль. Белки с зайцами скакали по сказочному лесу. Падчерица говорила звонким Вериным голосом.

Больше не существовало больничных серых стен, ноющих рук и ног, урчания животов. Ребята перенеслись в сказочный мир, улыбались. Для многих эти улыбки были первыми после долгих месяцев.

И тут страшной действительностью ворвался в мир сказки сигнал воздушной тревоги.

Сестры и врачи схватили младших. Вера взяла Настю. Ваня – малыша с забинтованной головой Мишу. Спокойно, но быстро все двигались в подвал.

Спустились. Елового аромата больше не было. Пахло чем-то прелым. Слышно жужжание комаров. Ничего не видно.

Вдруг из темноты раздалось:

– Даёшь пледставление?

– Давай! Давай! – скандировали ребята, хлопали в ладоши и стучали ногами.

– Тише, ребята, тише, – успокоила Елена Ивановна. – Представление продолжится, но позже. Все куклы, то есть актеры, остались наверху.

– Они здесь, – наперебой закричали Коля и Толя. – Мы их с собой прихватили.

– Какие ответственные у нас реквизиторы, – похвалил Ваня. – Но все равно здесь не видать ничего.

И тут тьма растворилась в потоке света. Это Миша с перебинтованной головой зажёг отцовский карманный фонарик. Тут же вспыхнул ещё один луч. И ещё. И ещё.

– Акт второй, – объявила Верочка.

Ребята перенеслись во дворец, где Королева никак не могла написать диктант без ошибок. Вот смеху-то было. А потом и вовсе запросила подснежников. И это в декабре. Ну разве так бывает?

Весь спектакль ребята не проронили ни слова. Подвал, освещенный четырьмя карманными фонариками, превратился в иной мир, где все было возможно. Где встречаются двенадцать месяцев, где подснежники цветут в декабре и добро побеждает зло.

Сказка закончилась. Нет, не так: представление закончилось. А сказка продолжалась. В сердцах ребят. Каждый хотел обнять артистов. И артисты обниматься рады.

Вера поцеловала Настеньку в макушку, та схватилась маленькой ручкой за куклу падчерицы из сказки.

– Понравилась? Хорошая кукла? На – дарю.

Настя улыбнулась.

Александр ЧУРСИН
Санкт-Петербург

МИНИАТЮРЫ

Мачта

Молодая стройная мачта жила и работала на небольшой прогулочной яхте. Здесь же служил и её отец – старый тяжёлый якорь. В мачту был влюблён крепкий и разворотливый штурвал – та отвечала ему взаимностью, и ни для кого на яхте не было секретом, что они скоро поженятся.

Хоть якорь и дремал целыми днями на песчаном дне, верная подруга цепь раззванивала ему обо всех новостях. Она сообщила, что как только яхта выйдет в море, то штурвал сделает мачте предложение. Конечно, якорь всегда был против каких-либо плаваний – стоянка более была ему по сердцу: что может быть прекраснее судна, спокойно застывшего в уютной гавани на надёжном якоре, где не страшны никакие ветра и жестокие волны! Но иногда старому якорю всё же хотелось отдохнуть, он мечтал полежать на разогретой солнцем палубе, послушать плеск волн и звонкий голос рынды, в то время как штурвал и мачта уверенно и неспешно ведут яхту вдоль береговой полосы...

Но не о том думал молодой шумный парус, который недавно появился на яхте. Он тут же привязался к мачте, взволнованно захлопал, зашептал: «Ты такая стройная, тонкая, высокая! Зачем тебе это колесо от телеги, которое не видит дальше бушприта? Я покажу тебе сверкающий океан, бескрайний горизонт, огромные волны! Ты узнаешь, сколько счастья в свободном полёте и радости в настоящей любви!.. Мы убежим! Я украду тебя из этой мутной гавани, из этого болота!»

И мачта слушала... Она слегка наклонилась и сверху вниз посмотрела на штурвал, и он показался ей кругленьким и невзрачным.

«Погоди, моя красотка, мне бы только ветер поймать покрепче, а там понесёмся так, что только дух захватит!» И у доверчивой мачты уже от этих слов захватывало дух...

Жадный до приключений парус выполнил своё обещание. Когда прилетел такой сильный ветер, что даже в бухте вода наморщилась и потемнела, парус вдруг расправился, ухватил мощнейший шквал, тот накренил мачту и потащил яхту из гавани. Рында проснулась и стала тревожно отбивать склянки, извещая о беде. Якорь привычно упёрся ногами в дно и уверенно держал яхту, когда та металась и билась на цепи, как большая рыбина на толстой леске. Но тут со стоном цепь лопнула, и яхту неудержимо повлекло в открытый океан, где её с распахнутой пастью уже ждала буря. Смелый штурвал крутился из последних сил, но ничего не мог сделать, мачта онемела от ужаса, яхта завертелась волчком, а злобные волны со всех сторон прыгали на борта и старались вцепиться в палубу скользкими пальцами. Яхту уносило всё дальше, дальше... и теперь лишь изредка появлялась над чернильными волнами верхушка белой мачты.

Только маяк видел, как оторвался от мачты парус, как легко, точно воздушный змей, взмыл он к тёмным облакам, как потащили его свирепые вихри далеко за бурлящий горизонт.

Через три дня, когда волны устали и улеглись, на берегу нашли яхту. Она лежала на боку без такелажа, с треснувшей мачтой. Невдалеке обнаружили разбитое рулевое колесо. Паруса больше никто не видел.

Лужа и туча

На просёлочной дороге лежала большая лужа и отражала полнеба.

Впечатлительные художественные натуры рассказывают, что днём в лужах купаются облака, а ночью живут звёзды. Очень может быть. Но подошла нестерпимо жаркая пора: раскалённое солнце и знойный ветер принялись

иссушать лужу. И скоро она стала такой маленькой, что не могла вместить ни облачка, ни десятка звёзд.

Потом лужи совсем не стало. Обнажилось её дно, которое за пару дней высохло и потрескалось.

Тёмно-лиловая туча, проплывавшая над знакомым местом, решила по привычке посмотреться в лужу и полюбоваться своим отражением. Но подружки-лужи не было... Туче стало очень грустно, и она заплакала. Когда устала плакать и протёрла глаза – увидела родную лужу на старом месте. Туча обрадовалась: лужа вновь жила, блестела на солнце и отражала полнеба с маленьким прозрачным облачком, в которое превратилась теперь сентиментальная туча. Облачко помахало подружке рукой и налегке побежало дальше.

Если бы наши слёзы могли оживлять наших близких…

Перстень серебряный

Брак их не был счастливым. Скрипка и не предполагала, что смычок окажется таким ревнивцем. Если бы в музыкальном коллективе, руководимом мужем, можно было обойтись без пальцев и подбородка, то смычок давно бы их уволил. Его подозрительный глаз часто подмечал, что во время концерта пальцы слишком ласково прикасались к скрипичной шее, слишком нежно перебирали струны, а подбородок прижимался к ней с явной страстью!

«А моя-то и рада, уж и растаяла!» – с досадой думал ревнивец и в бессильной злобе пилил скрипку, иногда больно ударяя её по струнам. И однажды в конце выступления скрипка не выдержала и запела так грустно, так горько разрыдалась, что многие носовые платки в зрительном зале принялись вытирать хлюпающие носы.

Поздним вечером, когда супруги улеглись в свой футляр, скрипка укрылась отдельным одеялом, отвернулась и презрительно бросила через плечо прижавшемуся было к ней мужу:

– Не прикасайся ко мне. От тебя пахнет канифолью.

– Никуда не денешься, – ухмыльнулся смычок, – без меня ты никто. И выброси блажь из своей деревянной головы. Кто он? Один из пальцев? Подбородок?

Скрипка страдала.

Но, как многие ослеплённые ревностью мужья, смычок не догадывался, откуда грозит настоящая опасность. Он забыл о тех пальцах, которые помогали ему исполнять виртуозные движения и пилить скрипку, а иногда сами касались струн. На среднем пальце восседал массивный серебряный перстень с печаткой... Все считали его бесполезным в работе, но терпели в коллективе, поскольку ходил слух, что перстень «оттуда»... К тому же парнем он был простым, «пальцев не загибал» и официально числился в коллективе талисманом.

Перстень тайно любил скрипку. Та это чувствовала и всё чаще тайком от смычка посылала ему взгляды, полные нежности. Разумеется, в ансамбле все об этом знали, кроме мужа, чуткое ревнивое сердце которого всё же было не на месте. Коллеги с интересом ждали: чем разрешится ситуация?

Но случилось несчастье: то ли от напряжённой работы, то ли от душевных переживаний скрипка тяжело заболела – она потеряла голос и могла только шептать.

– Без голоса я не смогу жить, – шептала скрипка, – лучше бросьте меня в камин...

Старый опытный доктор, внимательно осмотрев и выслушав больную, объявил, что голос можно вернуть, только поставив на скрипку струны из серебра самой высокой пробы.

Много струн из благородного металла приносили для скрипки, натягивали на колки, пробовали, но каждый раз придирчивый смычок не удовлетворялся звучанием: видимо, низким было качество серебра. Скрипка готова была впасть в депрессию...

Тогда перстень скользнул с пальца и с тихим звоном упал на грудь скрипки – её лакированную деку.

– Ах! – вздохнула скрипка, первый раз ощутив возлюбленного совсем близко.

– Моя любовь, всё будет хорошо, – успел сказать перстень, а пальцы подняли его и унесли. Перстень пропал.

Через три дня скрипка получила прекрасные серебряные струны, отливающие матовым блеском. Смычок про-

бежался по ним, и скрипка запела великолепным звонким голосом. Звук был такой красоты, что на вечернем выступлении смычок, забыв ревность, был в отличном настроении: гладил и ласкал скрипку, и та отвечала самыми сложными фиоритурами, самым чистыми тоном! Опять носовым платкам пришлось потрудиться, но теперь они утирали слёзы счастья.

После концерта за кулисами собрались коллеги, пришли многие инструменты из оркестра, и все стали наперебой поздравлять скрипку, восхищаясь её обновлённым великолепным голосом. Даже строгая дирижёрская палочка легонько стукнула её по плечу и сказала: «Прелестно!»

А больше всех радовалось тоненькое, почти незаметное серебряное колечко, надетое на мизинец. Это был влюблённый перстень, только после операции по переплавке изменившийся до неузнаваемости... Он тоже крикнул «Браво!» и «Поздравляю!». Но голос колечка был совсем слабым, и скрипка его не услышала.

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Яков ЗВЯГИН

Назад в школу

Здравствуйте, родители! Садитесь!
Успокойтесь и начнём урок!
Там, на задней парте! Не вертитесь!
Или вы не слышали звонок?

Папа с мамой! Хватит обниматься!
Дай сюда! Что у тебя в руке?
Папа! Дома будешь улыбаться!
Мама! Встала и пошла к доске!

Мало ли, что ты весь день варила,
Не могла за целый день присесть!
Некогда ей, видите ли, было –
А стирать и гладить – время есть?

Папа! Где домашнее заданье?
Что? Не подготовился? Опять?
Надоели эти оправданья.
Дома надо было повторять.

Знаешь что? Не ты один работал!
Все, как ты, должны кормить семью!
Он устал, измотан, весь в заботах –
А как будто я не устаю!

Дай сюда дневник! Не ясно, что ли?
Нет, не запасной, а основной!
Значит, так! Пишу, чтобы завтра в школу
Вы пришли с ребенком… то есть со мной!

Бьешься с вами, бьешься! Всё без толку,
Прям хоть на работу не ходи.
У меня вас вон, смотрите, сколько!
Вам-то просто – я у вас один.

Вот скажите, я не понимаю,
Кто-нибудь из вас мне даст ответ?
Почему-то я всё успеваю,
А у вас всё время – «время нет»!
У меня футбол 5 раз в неделю,
А еще с девчонками в кино,
А еще бассейн, компьютер, велик,
А еще гитара заодно!

Я смотрю на вас, и мне обидно.
Я на вас потратил столько сил,
Я считаю, вам должно быть стыдно.
Думаю, что я не заслужил…

…Что? Уже вставать? Еще немного…
Мам, ну ладно, я еще чуть-чуть…
Одеяло, подожди, не трогай,
Не дадут ребенку отдохнуть.

Говорю же, я уже умылся!
И почистил зубы, говорю!
А какой хороший сон приснился,
Завтра непременно досмотрю!

Ирина ШЕЙБАК
Санкт-Петербург

Зачем собаке нужен хвост?

– Зачем собаке нужен хвост? –
Задал малыш такой вопрос.
И правда, что́ с того хвоста,
Когда тарелочка пуста.

Когда и косточку для вас
Хозяин варит целый час.
Потом он мясо ест в обед,
А для собаки мяса нет.

– А хвост, скажите, здесь при чём?
– А хвост появится потом!
Когда собаке кость дадут,
Наш хвостик будет тут как тут.

Он завиляет, закружит,
Он благодарен, он дрожит!
И выражает всем подряд,
Как кости той наш пёсик рад.

А если б не было хвоста,
То радость стала бы пуста.

Старый чайник

Выпускает чайник пар:
«Ах, как быстро стал я стар!
Весь испачкан правый бок,
Крышку мне хозяин сжёг».

Так он охал и хрипел,
Но внезапно закипел.
Засвистел свисток от пара,
Как сигнальная фанфара.

Испугался кот Матвей
И подпрыгнул у дверей,
Побежал по коридору,
Прыгнул в комнате на штору.

Но не выдержал карниз,
Кот свалился сверху вниз.
Замяукал, зашипел.
Зря ты, чайник, закипел!

Игра

Сиреневый мячик мне бросил малыш.
– Сыграем с тобою, чего ты стоишь!
Я буду командой, а ты – вратарем –
А после игры за собой уберем.

– Согласна, – сказала тогда. Сгоряча!
И два пропустила в ворота мяча.
Осколки стекла убираем вдвоем.
Ах, как же мы весело, дружно живем!

Берёзка

Обожаю белый цвет
С чёрными полосками.
И зовёт меня весь свет
Русскою берёзкой.
Я расту в своей стране,
Нет страны красивей.
Называем мы её
Матушкой-Россией.

ЗЕМЛЯКИ

НИЖЕГОРОДСКИЙ АЛЬМАНАХ

Выпуск тридцать восьмой (№ 1, 2025)

Главный редактор *О.А. Рябов*
Составители *Андрей Иудин, Олег Рябов*

Шеф-редактор *Андрей Иудин*
Макет *Арсения Костромина*
Дизайн обложки *Геннадия Щеглова*
Корректор *Наталия Петрищева*

В оформлении обложки использована работа
Вячеслава Грачева «Вдовьи слезы»

Подписано к печати 05.06.2025. Выпущено в свет 27.06.2025.
Бумага 60x84 17/16.
Гарнитура «Times New Roman». Печать офсетная.
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 27,9. Тираж 1000 экз.
Свободная цена.

16+

Учредитель и издатель ООО «Книги»
Адрес редакции: 603057, Нижний Новгород, ул. Бекетова, 24/2,
ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13